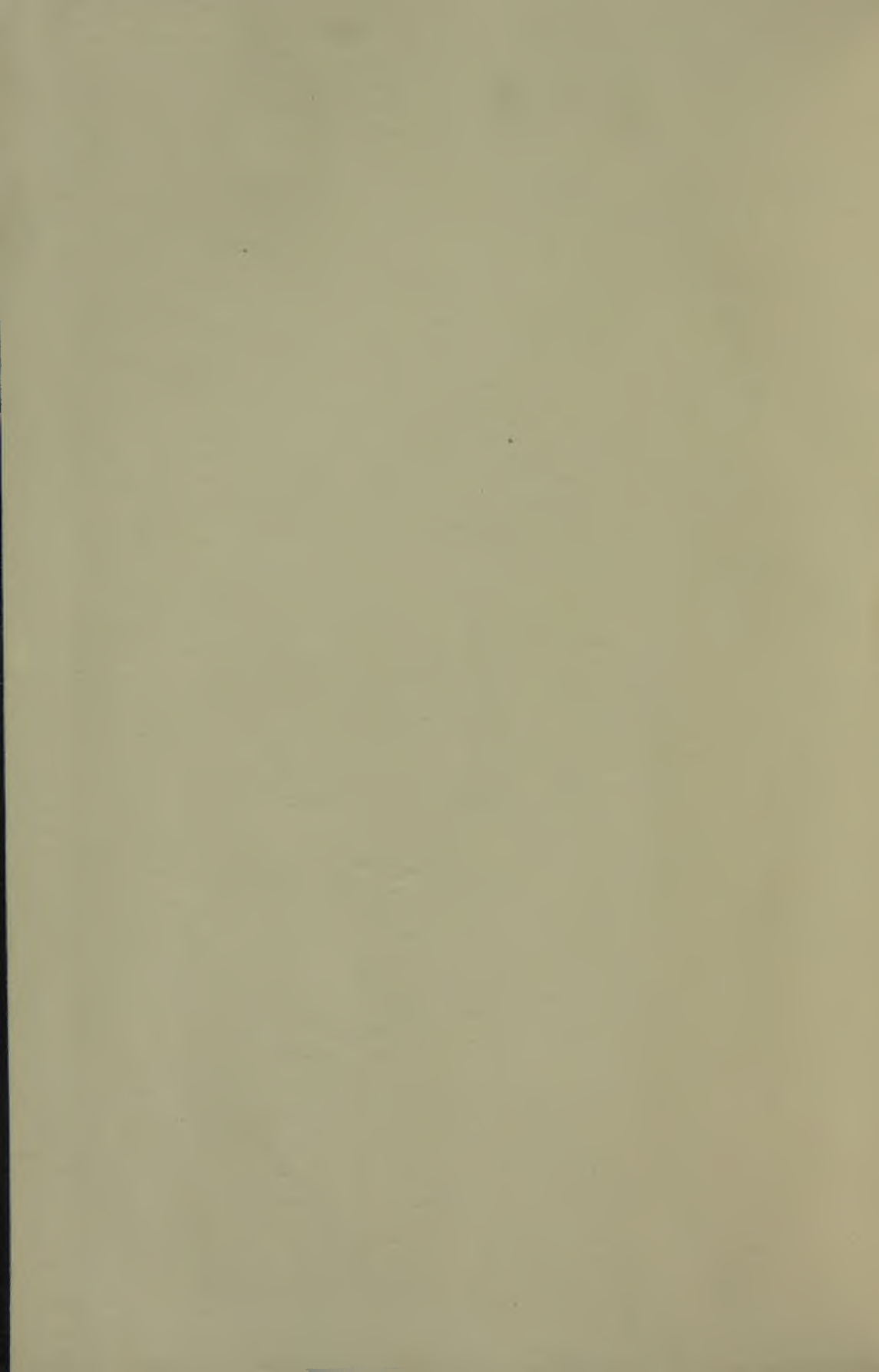


184(2Рос-Хат)6-
А 36

ЕРЕМЕЙ АЙПИН

КЛЯТВО ПРЕСТУПНИК

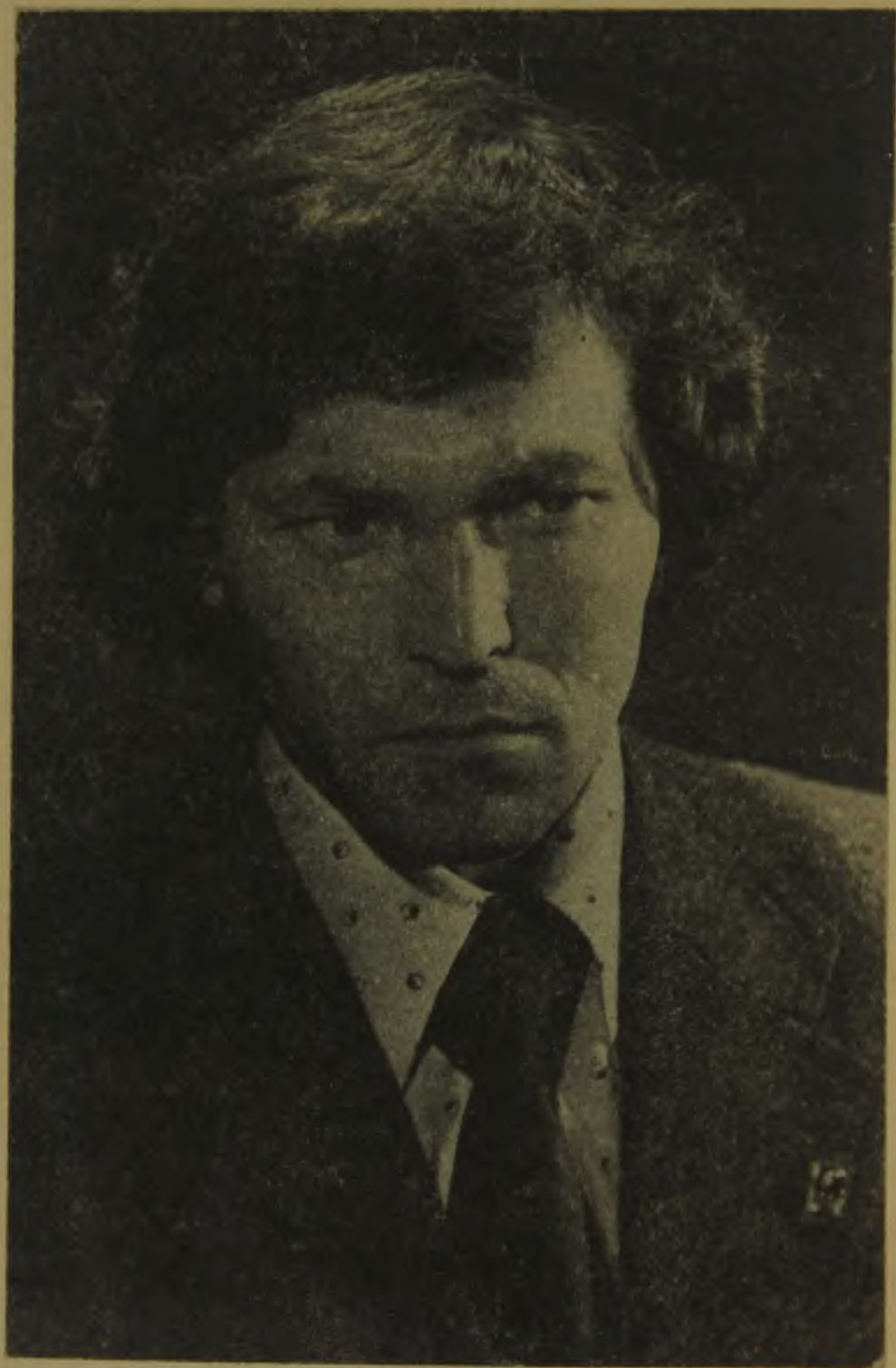


ЕРЕМЕЙ АЙПИН

КЛЯТВОПРЕСТУПНИК

Избранное

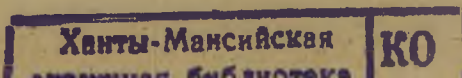
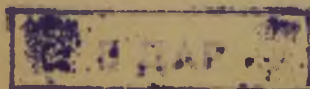
**Москва
“Наш современник”
1995**



ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

Рассказы разных лет

- 49246 -



84/2 Рос-Хат) 6 ч
К С(Хат)
А 36

Моей милой Татьяне, вдохновившей
на эту книгу.

АВТОР.

НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Осень водила меня по таежным нехоженным тропам.

Она что-то ласково шептала мне на опушке леса. Я смотрел на высокое-высокое небо, на плавающие в голубой мари дальние сопки, на восходящее чистое солнце и все слушал и слушал ее нежный очаровывающий шепот. Я видел, как она играла с золотыми рифлеными листьями березы. Я смотрел, как она снимала с ветки листок и, словно маленькое теплое солнце, подносила мне.

Осень увела меня в светлый сосновый бор.

Она остановилась на взгорье, где светлородные сосны тихо перебирали струны хантыйской скрипки — нарсьюха. И мы, замерев, слушали эту симфонию золотисто-огненной коры, зеленых и порыжевших иголок, седых лишайников и белого ягеля. И высокое небо вторило соснам невесомым смычком журавлиных стай, и ветерок тонко и нежно подыгрывал на струнах паутины, и лучи солнца легко и плавно скользили по неприметным клавишам чуткого бора. И под эту симфонию все вдруг поплыло в прозрачную синеву бездонного неба.

Осень вела меня по зыбким болотным кочкам.

Она замедлила шаг возле пурпурно-трепетной осинки. Осинка была светло-зеленой, упругой и гладкой. Только пурпурные листья напевали древние мелодии рек и озер, черных урманов и рыжих болот. Она была стройна и трепетна.

Осень завела меня в тихое чернолесье.

И была она, и была рябина. И была огненнокудрая рябина холодной и терпкой, тревожной и сладкой, прекрасной и дивной, словно поцелуй любимой женщины.

Осень привела меня в укромный лесной закоулок.

Она раздвинула поникшие травы. Она раздвинула поздние блеклые цветы. И аромат побитых первыми заморозками цветов, и аромат примятой травы. Волглый запах прошлогодней листвы, волглый запах таежной земли.

Хвоя.

Мхи.

И было и тепло, и уютно, и хорошо.

И было и радостно, и грустно, и больно.

И было...

И в этом была ее прелесть... Потом было высокое и далекое небо с седыми журавлями и всеобъемлющим солнцем...

Осень водила меня по таежной земле. И, может быть, я подумал:

Как хороша ты, Осень!

И, может быть, я сказал:

«Как хороша ты, Осень!»

И, быть может, я крикнул громко:

— Как хороша ты, Ос-сень!..

Слишком громко.

И Она грустно улыбнулась и ушла. Она шла по таежным нехоженным тропам, по светлому сосновому бору, по зыбким болотным кочкам. Она шла по тихому чернолесью, по укромным лесным закоулкам, по грустной таежной земле. И с упоением били меня по лицу хлесткие дожди, злые ветры, колющие иглы и пурпурно-золотая листва. Все тщетно. Она ушла. Она легким белым облаком растворилась над топкой болотной трясиной и ушла в небо.

Где ты, О-о-сень?!

Где ты!..

МЕДВЕЖЬЕ ГОРЕ

Вот уже третий день мы преследуем медведя-шатуна. Зверь попался матерый. Не раз догоняли, но на выстрел не подпускал. Сколько сырых ночей придется коротать под открытым небом?! Сколько будет еще костров и привалов? Одна надежда на деда Ефрема — лучшего медвежатника нашего рода.

В сумерках, когда глаз теряет след на снегу, мы распрягаем усталых оленей и разводим жаркий костер. Наскоро ужинаем, кормим измученных хвостатых*, сушим мокрую одежду и обувь, развешиваем у огня оленью упряжь и арканы. Потом, уgomонившись, второй раз завариваем крепкий ароматный чай. Осенний вечер длинный — его надо скоротать. И тут наши взоры обращаются на седобородого деда Ефрема.

— Ну, Старый Человек, что-нибудь нам Расскажи... — просим мы, молодые охотники.

* Хвостатый — здесь: собака. Когда охотники-ханты говорят о медведе, то «собаку» не называют «собакой», чтобы не унижить достоинство хозяина леса.

Дед молча набил табаком трубку, потемневшую от времени и дыма. Не спеша прикурил от красного уголька и выдохнул сизое облако дыма. Проследил зорким оком, как дым поднялся и растворился в темном небе.

Отблески костра резвятся на серебристой голове Деда, освещают суровое лицо, перечерченное глубокими морщинами.

Потрескивает огонь.

На сосновых поленьях посипывает смола.

Мы терпеливо ждем.

— Шатун — это не обычный лесной зверь, — начинает наконец дед Ефрем. — Это проклятый самим богом медведь. Оленя ест. Огня не боится. Человека может кончить, потому как бог не помнит его — вот он и грешит...

Дед помолчал, потом добавил:

— Ой-ёй, много-много беды может наделать. Поэтому, если взял его след, нужно идти до конца...

И боровые сосны словно придвинулись к нашему костру, притихли, перестали меж собой шептаться. Им тоже, видно, интересно, что поведает нам бывалый таежник.

— Шатуна надо отличать от хорошего медведя, — проговорил Дед, не обращая на нас внимания. — Медведь, как и человек, бывает разный...

Помолчал он как бы в раздумье, посопел трубкой, потом неторопливо начал свой рассказ:

— То было в пору моей молодости. В одиночку промышлял зверя и птицу, всякое со мной случалось. Тайга-то она какая? — горазда на разные неожиданности. Много слышал и пережил на своем веку, но такое только один раз видел...

Мы теснее придвинулись к Деду и затаили дыхание. Лайки-медвежатницы за костром, услышав голос старого охотника, наострили уши и, казалось, следили за каждым его движением. Олени, что копытили неглубокий снег возле нарт, теперь мирно жевали жвачку и прислушивались к легкому дыханию тоже притихшего соснового леса и говору почтенного человека.

Жили мы тогда на болоте, на берегу озера Большой Вирсани, вспоминал Дед. За табаком да за чаем ходили на Аган-реку по Бору Зимних Домов. Кто бывал там — видел тропу. Видел и песчаные поляны на окраине бора. Летом такие пески очень любят дикие олени. Они так накаляются, что мошкара и комары не выдерживают зноя — крылышки сохнут. Вот олени и спасаются там от гнуса. В жаркий летний день я возвращался домой. Подхожу к пескам, гляжу — медведица! Да не одна, а с маленькими деточками. За корягой притаилась. Смотрю, что же дальше будет. Мать цап за шкуру медвежат, трясёт и шипит, словно что-то внушает несмышленишам. Затем оставила их, а сама крадется к поляне, где олени лежат. Медвежата присели, чернеют, как

обгорелые пеньки. Только звездочки* сверкают черными ягодами. Забавные такие! Видно, не поймут, почему мать не берет их с собой. Поерзали немного и не выдержали — когда мать скрылась в кустах, пошли следом. Но тут под лапкой медвежонка треснул сучок. Мать в тот же миг вернулась. Грозно оскалилась, но не зарычала — побоялась испугнуть оленей. Оглянулась вокруг, увидела валежник. Подняла одной лапой конец замшелого дерева и сунула под него своих детей. Пусть, мол, побарахтаются, пока на охоту схожу. Сама — снова к поляне. Я привстал, вижу: медведица вскинулась на задние лапы и навалилась на оленя. Поймала добычу.

Стадо как ветром сдуло.

Разбежались олени.

На поляне остались лишь медведица со своей добычей.

Ну, думаю, пора уходить. Я тут лишний.

Медведица немного постояла над убитым оленем, будто размышляла, прикидывала. То ли добычу тащить к детям, то ли детей привести к добыче. Как лучше сделать? Постояла еще немного и вернулась к деткам. Но что такое?! Медведица подняла валежину — а детки-то не шевелятся. С небольшим шумком, похожим и на бормотание, и на мольбу, она давай их тормошить и обнюхивать. Движения все быстрее, шум — все громче. Она неприкаянно туда-сюда, влево-вправо, вперед-назад. Что-то неладное случилось. Детки все неподвижны, все безмолвны. И тут медведица-мать заревела на весь лес:

— Бу-ху-ху-уу!!!

Какой это был рев!

Деревья, показалось мне, и то заплакали.

А у меня аж сердце упало. И ноги пропали, будто убежали куда. Словно окаменел я, шелохнуться не могу. Только глаза мои все видят да ум все это укладывает в память.

А медведица-мать вихрем крутанулась по лесу туда-сюда и бросилась на дерево. Как полоумная, ломая сучья, полезла на большую сосну.

Что затеяла?!

Может, думаю, рехнулась с горя. Детки, ведь, как-никак. Ничего я не успел сообразить: с ревом она грохнулась с этой сосны. С самой макушки. Упала около мертвых медвежат. Моему разуму и телу совсем плохо стало. Я бросился к ней. Она застонала, вернее, зарыдала, как человек-мать, а потом звезды ее стали медленно гаснуть в страшной тоске. Вскоре она была уже мертва. Видно, сломала себе хребет...

Замолк дед Ефрем, наклонил седую голову. Мгновение сидел неподвижно, потом пососал потухшую трубку. Молча взял головешку, молча прикурил. Затем отыскал на небе Большую Медведицу, прикинул время.

* Звезды — здесь: глаза (о медведе).

Пламя притухающего костра делало его еще более мудрым и таинственным.

Молчали люди.

Молчали сосны.

Молчали звезды на небе.

Молчал наш костер, догорал наш костер. Мы не догадывались подкинуть в огонь смолистого сушняка. А дед Ефрем был занят: набивал табаком свою древнюю трубку.

1972

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Когда тупой палец капитана лег на спусковой крючок и черные дула медленно поплыли вверх, Костя Казамкин вспомнил, как всходило солнце вчера утром. Он проснулся до зари и вышел на палубу. Серые домишки лесоучастка еще ползали в белесовой дымке утреннего тумана. Заречный лес замер в напряженной чуткой тишине. Тяжелая вода бесшумно лизала голубой борт катера.

Костя, прищутив зоркий охотничий глаз, наблюдал, как в тихой курье за рекой ондатра косила траву. Она плыла вдоль берега с пучком пырея, и волны двумя крылами расходились от нее. Иногда она останавливалась, заплывала в травы и пополняла свой пучок. Отсюда она виднелась темной точкой, но Костя не сомневался, что это ондатра: только она в такую рань выходит на кормежку. Подивился: сколько лесов вырубили на этой некогда щедрой реке Аган, сколько воды ее перемутили катера, сколько ее леса прочесывали лесорубы с ружьем, а зверь-птица еще не перевелась вся. Река яростно борется за свою жизнь.

Задумался Костя и забыл о времени.

И вдруг осеннее бледное небо вспыхнуло розовым пламенем, и округа вздрогнула от далекой журавлиной песни.

Взошло солнце.

Во сне ему привиделся точно такой же рассвет — неожиданный и стремительный. Только солнце упало тогда на оленью упряжку и старое зимовье в сосновом бору. Это было всего год с небольшим назад в прибрежье Агана...

Костя еще потоптался на палубе, не замечая пронизываю-

щей свежести осеннего утра, и, наконец, нехотя взялся за холодную скобу дверцы. Войдя в кубрик, он почувствовал, что капитан уже проснулся. Его неподвижное лицо повернуто к потолку. Оно ничего не выражало — ни радости и печали, ни покоя и тревоги. Неподвижные серые глазки стеклянно уставились на желтые разводья на краске, словно неподвижными были и мысли в его голове, что не могли поколебать маску лица. Костя давно заприметил, что никто не задерживал взгляд на лице капитана: высокие старались смотреть поверх его головы, низкие же упирались глазами в его грудь. Костя же, поскольку был одного роста с капитаном, научился, не отводя глаз, не видеть его лица. А был капитан вовсе не уродом, а наоборот, был недурен собой. Но когда долго смотришь на его лицо, на душе становится тоскливо — человека охватывает необъяснимое беспокойство.

Капитан хрустнул суставами, скинул одеяло и хриловатым со сна голосом пропел:

— Пос-след-ний рай-йсс!..

Костя ничего не сказал.

— Слышь, Костатин — последний райсс!..

— Слышу, — буркнул Костя.

— Люблю последние райсы, обожаю!

Костя все молчал.

— Тут каждый мысок, каждый заливчик накрепко запомнит капитана Буркина! Так-то, мой друг! — напевал капитан.

Он торопливо натянул на тощее тело тельняшку, сунул под мичманку прядь жидких бесцветных волос и шагнул к иллюминатору. Сонные глазки его ожили и теперь беспокойными мышатами метнулись на берег, где уже задымил печными трубами лесозащитный.

— Сбегаю в поселок и снимемся, Костатин! — низким голосом произнес Буркин, выходя из кубрика. — Готовь катер в последний райс!

Редко оживают его глаза — значит, что-то задумал, соображал Костя. И дался ему последний рейс — чем он лучше остальных?! Поскорей бы уж кончалась навигация!

Ему не терпелось взять отпуск, чтобы встретить первый снег в тайге на охоте. Плавал на катере первое лето. После школы одну зиму охотился с отцом, а потом поступил на курсы мотористов. Ох как тянуло тогда на сильные и быстроходные катера, что сновали по таежным рекам. Снился ему белый катер-красавец с мелодично поющим двигателем. Но у каждого времени свой сон — река быстро наскучила однообразием: плоты и баржи вниз и вверх по течению. Все рейсы одинаково скучные и нужные — разве с тайгой сравнишь?! Там ведь охотник редко когда пройдет дважды по одной и той же тропе. И в это утро, на рассвете, когда увидел ондатру в курье, понял, что тайга потянула его обратно на промысел зверей и птиц. Потянула. потянула решительно.

Стоя перед штурвалом в ожидании капитана, он задумчиво водил пальцем по запотевшему стеклу рубки. Под его рукой рождались резвые олени, пастушьи чумы, сосенки и легкие наряды охотника. Но линии тотчас же запотевали, и все растворялось в белесом тумане, словно уносилось в прозрачное осеннее небо. Он не знал, сколько оленьих упряжек умчалось ввысь — рука ходила сама собой. Тут его вывел из задумчивости грохот капитанских сапог по железной палубе. Буркин с длинным свертком под мышкой протиснулся в рубку, поставил его в угол и взялся за штурвал. Забурлила вода за кормой, катер круто развернулся и помчался вниз по течению. На буксире болтался пустой понтон из-под горячего.

Когда поселок скрылся за поворотом, капитан уступил штурвал Косте и развернул сверток.

— Во какую пушку заграбастал! — воскликнул он.

Костя никак не отреагировал.

— Стакнулся с продавщицей, в городе хрен купишь без бумажки!

Костя опять смолчал.

— Так-то, учишь жить, Костатин, пока Буркин не скопытился!

Костя неопределенно хмыкнул только.

— Шестнадцатый калибр, хромированные стволы — настоящая пушка! — продолжал бахвалиться Буркин.

— Зачем тебе пушка-то? — спросил наконец Костя.

Он был удивлен тем, что за все месяцы совместной работы он ни разу не видел ружья в руках капитана. Казалось, тот никогда всерьез не интересовался охотой. И вот на тебе — сразу «пушку» купил.

— Ха-ха, знаешь, какой я стрелок! — хохотнул Буркин. — Таких еще надо поискать!

— Да?

— Да, мой друг! На любого зверя аль птицу больше одного патрона не трачу!

— Хм-м...

— Хотя мишку косолапого — одним выстрелом уложу! Поэтому как всякое зверье предо мной страх чувствует. Возьми того же мишку — силен, а боится меня!

— Да не боится он, — вступился Костя за медведя.

— Ха-ха, не боится?!

— У него нрав нелюдิมый, не любит зазря встречаться с человеком...

— Во-во, через страх и не любит человека! — упрямылся Буркин.

— Не-е, это не так...

— Вот ежели я бы с кулаками ходил по лесу, так он не стеснялся бы встречи со мной! — разглагольствовал Буркин.

— В лесу голова нужна, а не кулаки.

— Ладно тебе, тут такая пушка и последний райс — пожалте, мишка косолапов, на бережок!

— Жди, так он тебе и пожалует! — пробурчал Костя.

— Хрен с ним! — махнул рукой Буркин. — Без него не будем скучать, все-таки последний райс!

— Ума он еще не лишился...

— Ты все о мишке?

— Ну-у, о нем.

— Я, брат, еще ни разу не заканчивал навигацию без пушки. Бывало, и мишки косолаповы попадались. Ты меня еще не знаешь!..

А Костя и вправду совсем не знал своего капитана. Весной Буркин сам вызвался взять к себе новичка. Ни о чем не спрашивал, только поинтересовался, на самом ли деле Костя сын охотника. Получив утвердительный ответ, Буркин тогда удовлетворенно хмыкнул. Мол, сработаемся, землячок. И верно, Костя быстро освоился на катере. Помогла и природная сообразительность коренного жителя тайги, род которого многому научился на таежных тропах, многое постиг в борьбе за жизнь. А Буркин оказался вполне сносным капитаном-шефом — был в меру требовательным, к мелочам не придирался. В леспромхозе он был на хорошем счету. Этим летом директор хотел взять его на свой катер, да Буркин почему-то отказался. Мол, от начальства подальше спокойнее жить. Водил дружбу с егерями и рыбинспекторами, которых он частенько на катере угощал разными напитками. Смотря, кто что предпочитал. Словом, самый обыкновенный капитан. Только вот к его бесстрастно неподвижному лицу Костя никак не мог привыкнуть.

Двигатель работал ровно и монотонно. Шум его гулким эхом отзывался в настороженном осеннем лесу. Катер уверенно бежал по реке. Костя безошибочно угадывал русло, избегал отмелей и подводных коряг.

— Понимаешь, Костатин, я более двух десятков навигаций закрыл, — говорил Буркин, прочищая ружье от смазки. — Привычку имею к последним райсам. Вот прикинь, до города сколько можем плыть?

— Ну, как всегда.

— Э-э, нет. Вместо двух дней можем плыть четыре, а то и неделю.

— Как так?

— Ведь двигатель может отказать.

— Может, конечно.

— Все лето не можем без единой поломки плавать...

— Все бывает, — согласился Костя.

— Во-во, а в низовье я такие места знаю, что тебе, сыну охотника, и не снились!

— Какие такие места?

— Где что водится — увидишь, зенки на лоб полезут!

Эх, да ты неспроста пушку-то купил, подумал Костя. И сети, выходит, не зря припас для последнего рейса. Напо-

следок похозяйничать решил в низовье. И он впервые почувствовал острую неприязнь, почти ненависть к своему капитану и неосознанно отодвинулся от него. Он невольно насторожился и боковым зрением следил теперь за Буркиным, словно тот собирался напасть на него с новой «пушкой».

— Вообще-то, Костатин, хочу рвануть на нефть али газ.

— Кем, куда? — спросил Костя, чтобы не так тягостно было от молчания.

— Дизелистом, к примеру, на буровую.

— Что, тут плохо?

— Знаешь, лес уже не в цене. Лес это что утлая лодчонка в луже, а нефть — это сила! Почему все на нефть перекинулись? Нефть это как крейсер, который любой океан переплывает!

«Сам-то всю жизнь по луже плавал и ничего!» — подумал Костя.

— Все сейчас плывет нефтяникам, все для них!

«Каждому свое: кому лодчонка утлая, кому крейсер!» — подумал Костя.

— Опять же бабки им отваливают не считая!..

«Это главное для тебя, капитан!»

— Хошь, и тебя возьму на буровую, Костатин?

— Зачем?

— Станешь там моим помощником. Дизелисту это положено.

— Что нам делать на одной буровой... вдвоем?!

— Как что?! — не понял Буркин. — Станем вкалывать. Держись за капитана, не пропадешь!

— Верно, с тобой хоть не утонешь, — ехидно заметил Костя.

Капитан был занят ружьем и не обратил внимание на интонацию своего напарника.

— Знаешь, почему я взял тебя на катер? — спросил Буркин.

— Нет, не знаю.

— У тебя совесть добрая, как у хорошо отлаженного двигателя.

— Как это... добрая совесть?! — удивился Костя.

— Зазря не обидешь человека, не умеешь пакости делать...

— А если ты ошибся, капитан?

Буркин оторвался от ружья и медленно повернул свое неподвижное немое лицо в сторону собеседника. Его холодные колющие глазки впились в Костин подбородок. И тому рулевая рубка показалась вдруг тесной и неудобной. Капитан молча смотрел на Костю, словно хотел убедиться, что это не кто иной, а его подчиненный, с которым плавал все лето. Наконец на его лице появилось что-то похожее на улыбку и приглушенно ласковым голосом выдохнул:

— Я, друг мой Костик... не ошибаюсь!

Я понял тебя, подумал Костя. Я должен показать, что

ты не ошибся. Но ведь я не двигатель, не машина. Это вот катер куда повернешь, туда и пойдет.

Между тем Буркин закончил чистку своей пушки, пристегнул к ней ремень и, лихо сдвинув на затылок мичманку, прищуренным глазом глянул в стволы. Затем закинул ружье за плечо, крутанулся по рубке, хлопнул себя по животу и не выдержал:

— Ну как, похож на охотника?!

— Как наемник! — засмеялся Костя.

— Где ты наемника видел?

— В газетах такие снимки — хоть сейчас в Африку давай! Только пулемета не хватает на плече да усов! — сказал Костя и спохватился, что шутка-то получилась неуместная для капитана.

Но Буркин уже наполнялся какой-то неумемной радостью и словам Кости особого значения не придал, только пробурчал:

— Придумал тоже — наемник! Кто я, грабитель, что ль, насильник какой?!

— Просто обликом, с пушкой-то шибко грозный!..

— Держись, миша косолапый!

— А так вроде бы ничего, самый мирный капитан...

— То-то, мирный, а наемники мне и во сне не снятся.

«Да чтоб сегодня же приснились!» — мысленно пожелал ему Костя.

Буркин загнал в стволы два патрона с жаканом и дробью и вышел на палубу. Ружье он держал перед собой наготове. Замасленный короткий палец лежал между курками: на который нажать раньше — на левый или правый? Но, как на зло, река будто вымерла — ни чирка, ни халея, ни пташки глупой.

Глаза капитана скользнули по прибрежному лесу — и безрезки зябко съежились и поникли.

Он долго стоял на палубе, оглядывая серое небо и молчаливый лес, бегущий навстречу катеру. Наконец опустил ружье, дыханием погрел красные от холода руки, перевернул на борту спасательный круг с номером катера и ввалился в рубку.

— Первый выстрел должен быть удачным! — сказал он.

— От тебя все зависит, — проговорил Костя, чтобы не молчать.

— Иди, приготовь что-нибудь, пора пожрать.

— Думал, свежим мясом накормишь.

— Все будет, дай срок.

Сначала капитан сам отнес ружье в кубрик, лишь после этого встал за штурвал. После обеда Костя не выдержал, снял со стенки капитанскую двустволку, внимательно осмотрел ее. С охотничьим пристрастием. Даже патроны вытащил и заглянул в стволы. Ружье ему понравилось. С такой пушкой

он еще не ходил по звериному следу. Повесил двустволку на место и прилег на койку. Потом встал, взялся за кусок лосяного рога, из которого вырезал разные украшения и застёжки для оленьей упряжи. Но все валилось из рук, и он отложил рог. Полистал книжку — и читать не хотелось. Беспокойство, что вселилось в него после того, как Буркин вытащил ружье, с каждым часом все усиливалось. Словно в его душе вот-вот должна лопнуть важная и очень нужная струна, без которой жизнь станет бессмысленной и глупой. Да тут еще встала перед глазами Малая Излучина, что выше лесоучастка по течению. В прошлую осень, в это же время, когда только начался гон, там он наткнулся случайно на два оленьих трупа — срезаны только головы и ляжки. Искать виновников было бессмысленно: по реке сновало столько моторок и катеров, что ищи не ищи — все впустую. А олени хорысамцы, видно, приглянулись кому-то своими ветвистыми рогами. Мало ли у кого был в ту осеннюю пору последний рейс по Агану. Может быть, Буркин там проплывал?! Может, как раз пристреливал новое ружье?! Кто знает, на воде следов не остается. В этой глухомани ни егерей, ни рыбинспекторов — никого. На Обь выедешь — там другое дело, быстро приберут к рукам. Катерники это хорошо знают, стрелянные все, на своей шкуре испытали.

Маялся Костя, не находил себе места. Терзало предчувствие неминуемой беды. Рано или поздно столкнется лоб в лоб с капитаном. И от того, как он поступит, во многом будет зависеть его дальнейшая жизнь. И не только его жизнь, иногда ему казалось, что от этого будет зависеть жизнь и реки, и тайги, и всего его маленького народа ханты. А что он сделает в решающую минуту — он еще не знал. И это еще более тяготило и томило его душу.

Но в этот день ничего не случилось.

Капитан раньше обычного поставил катер на прикол и объявил о ночлеге. Потом он немного побродил по берегу с ружьем. Вернувшись на катер, включил клотик и завалился спать. А Костя, промаявшись всю ночь, заснул под самое утро. И привиделось ему, что по первой пороше он распутывает след лисицы. И когда стал настигать ее, услышал крик «лось!» Какой же это лось, подумал он. Ведь я бегу за лисой. Но крик повторился, и он окончательно проснулся. В иллюминаторах стоял день, стучал двигатель, за бортом бурлила вода. Он вскочил и высунулся из кубрика.

— Лось! — прошипел Буркин. — Ружье! Ружье давай!

Изрядно помешкав, Костя подал двустволку.

— Становись за руль! — командовал Буркин. — Жми на всю катушку! Давай!

Из рубки хорошо был виден сохатый, переплывавший реку. Из воды торчали часть головы с крепкими бронзовыми

рогами и темная полоска спины. Костя понял, что лось ввели в заблуждение крутой поворот реки и шум катера. Он услышал стук двигателя сзади, и поэтому рванулся через реку. Но за это время катер обогнул мысок и выскочил на него. Костя прикинул расстояние — далекоовато, лось не подпустит, на выстрел. Это же, видимо, сообразил и Буркин: выхватил старый топор и с остервенением ударил по толстому буксирному канату. Топор был тупой, и капитан безостановочно молотил по веревочному канату, приговаривая:

— Рраз — раз! Рраз — раз!..

По легкому толчку Костя понял, что катер освободился от понтона: Буркин перерубил-таки буксирный трос, скорость увеличилась.

— Нажимай, не успеем! — кричал Буркин.

Бросив топор, он помчался на носовую часть катера и уже оттуда командовал:

— Жми! Жми прямо на него!..

И сокрушенно вздыхал:

— Неужели уйдет, а?!

Сохатый уже подплыл к спасительному берегу, но не мог выбраться на сушу — было слишком круто. Он повернул вдоль яра, выискивая пологое место.

А катер, ревя, разрывая реку посередине, подбирался все ближе и ближе.

— Теперь не уйдет! — воскликнул Буркин. — Будет мой!

— Пока еще не твой, — сказал Костя.

— Не бойсь, буркинская рука не подведет!

Сохатый наполовину выбрался на сушу. И катер разъяренным зверем неся прямо на него.

И когда тупой палец капитана лег на спусковой крючок и черные точки дула медленно поплыли вверх, Костя Казамкин прокрутил в мыслях прошедшие сутки — со вчерашнего раннего утра до сего мига. Прокрутил и подивился тому, что проплавал все лето с капитаном, а так и не узнал его, не понял, не мог предположить, чем тот дышит.

Тут ружейный гром рванул осенний лес.

Сохатый удивленно глянул на катер и, отряхнувшись от воды, устремился к лесу и вскоре скрылся за деревьями.

Буркин, обескураженный, переводил взгляд то на берег, где скрылся лось, то на ружье.

— Во паразит, еще оглядывается! — наконец выругался он, придя в себя. — Погоди, еще попадешься мне!

— Бывает, — сказал Костя, убавляя обороты двигателя.

— Первый-то неудачный выстрел, — бормотал Буркин, вытаскивая гильзу. — Будто из кочерги выстрелил!

— В тайге всякое бывает, — односложно повторил Костя.

— Еще раз подведет пушка — утоплю ее, не пожалею! — бубнил капитан. — Сколько мяса упустил — не меньше пятисот кило!...

— Ружье ни причем, — сказал Костя.

Буркин протер запотевшее красное лицо, поставил ружье в угол рубки и устало опустил на табуретку. Некоторое время плыли молча. Костя крутил штурвал. А капитан, прикрыв глаза, будто задремал. Потом он пошевелился, поерзал на сиденье и вяло проговорил, будто самого себя спрашивал:

— И куда эта чертова пуля улетела?..

— Пуля? — переспросил Костя.

— Хотел бы я знать... — закончил свою мысль капитан.

Костя помолчал, потом сказал неторопливо:

— А пуля — вот она! — и он разжал кулак перед носом капитана.

Буркин остолбенел, будто гром его поразил. Только бесцветные глазки заматались: пуля — Костя, Костя — пуля. Он сидел неподвижно, лишь глазки носились туда-сюда, туда-сюда. Потом рука его рванулась за пулей, но Костя машинально сжал кулак.

— Дай, пар-разит! — тонко пискнул Буркин.

— Не дам! — крикнул Костя.

— Отдай, сукин сын!

— Не дам!

— Сам возьму!..

— На, попробуй!

И они сцепились, стукнулись об одну стенку, о другую. Ружье грохнулось на пол. Бинобль сорвался с крючка. Кружки загремели со столика. Захрустело битое стекло.

Неуправляемый катер запетлял словно пьяный.

А команда в рубке перекатывалась от одной стенки к другой. Шла борьба за пулю, словно от нее зависело теперь все на этом свете.

Лишь когда по рубке дробно и гулко, как выстрелы, застучали береговые ветки и кусты, Буркин выпустил Костину руку и бросился к штурвалу, вывел катер на середину реки.

Костя отряхнул телогрейку, поднял с пола ружье. И, выходя из рубки, глухо сказал:

— Нету твоей правды!..

Но лицо капитана уже обрело былую неподвижность, будто ничего не произошло.

На палубе было свежо.

В просвет между облаков прорвались грустные лучи осеннего солнца, и стало вокруг заметно светлее. Сквозь шум двигателя Костя уловил птичий щебет. Значит, жизнь в лесу еще не замерла вконец, не остановилась. И бледное небо разрезал косой клин запоздалых журавлей. Их прощальную песню Костино ухо не уловило, видно, глушит ее двигатель катера. Но все равно он улыбнулся им вслед, будто пожелал счастливого пути.

- 49246 -

Тайга готовится к зиме.

Вот и сохатый, что скрылся в этом лесу, торопится сейчас по своим спешным делам. А поглядел на Костю так, словно хотел что-то сказать на лосином языке. Может быть, поблагодарил. И, возможно, теперь в своем стаде рассказывает притихшей лосихе о том, как спас его сын охотника, плавающий на шумно чихающей огненной лодке.

Мысли его устремились в тайгу, куда еще не добрались пока ни буркины, ни катера и баржи, ни поселки временщиков — лесорубов и нефтяников. Пока все не уничтожили, не загадили, иди, протапывай охотничьи тропы и дороги, распутывай звериные следы, до одурения вдыхай чудный запах свежих снегов и зеленой хвои. Иди, спеши...

Он взглянул в ту сторону, куда ушел сохатый, и разжал пальцы правой руки. С его ладони скатилась свинцовая лосиная погибель, которая булькнула за бортом и мгновенно скрылась под водой.

1972

ВОЛКИ

Бежал Охотник...

Убегал.

Деревья бешеным стадом неслись навстречу. И, подняв снежный вихрь и слившись в сплошную стену, уносились назад. Охотник кубарем скатился с обрыва и, поднявшись, бросился вперед.

Пот — в глазах. Усталость бьет сознание.

Еще шаг — и он упадет. Но волчий вой и предсмертный визг собаки ударили его лучше всякого хорей* — и он снова рванулся, не разбирая тропы. Когда стая начинала наступать, он судорожно срывал с пояса беличьей тушки и швырял на снег. Волки мигом пожирали их и опять пускались в погоню. И, наконец, разорвали Лайку. Молодому Охотнику подумалось, что она сама набросилась на вожака стаи, чтобы спасти хозяина. Пугнуть зверей нечем — кончились патроны. И толку мало от малокалиберной винтовки. Выстрел — щелчок,

* Хорей — шест, которым подгоняют оленю упряжку.

выстрел — щелчок. То ли дело настоящее ружье! Бабахнешь — так хоть гром стоит в лесу! А потом и вовсе не заметил, как винтовку потерял. Огонь не разведешь — спичек с собой не брал, поскольку не курил. Молодой, ум еще не подрос, сказал бы на это Дед.

До зимовья осталось совсем немного, когда он увидел впереди зеленые огоньки. Затем они появились справа. Послышался звук клыков слева. Идти некуда. Окружили, понял Охотник. Белок сожрали, собаку сожрали, а теперь хотите...

— Пос-смотрим, пос-смотрим!.. — пребормотал Охотник.

И он рванулся вверх по сучкастому стволу кедра.

Ветви в кровь царапают лицо и руки, но он, бормоча-ругаясь, упорно ползет по стволу. Опомнился на самой верхушке. Тут только перевел дух, смахнул пот с лица и увидел над собой жаркие звезды таежного неба, а внизу — их холодное отражение. Волки метались-клубились вокруг старого кедра. Вплотную к дереву не подходили. Видно, все же побаивались человека. Охотник беззвучно пошевелил губами: один, два, три... Получилось, вроде бы, семь. Он тотчас вспомнил рассказы стариков о том, что стая из семи ни пред чем не останавливается. Не боится человека с луком. Не боится огня. Говорили, что такая стая может войти в дом с горящим очагом. Это самое яростное и остервенелое сборище, которому все нипочем. Три-пять, сказывают, — не так страшно. В старину, во всяком случае, так считалось.

Может, это выдумка стариков, подумал Охотник, успокаивая себя. Может, раньше так было... И какой черт занес их в тайгу?! Ведь живут они на севере, ближе к лесотундре, а здесь совсем не попадались. Почти никогда. Только давным-давно, в глубокую старину, по рассказам стариков, они изредка забредали в эти края. С тех времен и остались о них разные были-небылицы. Все дело в том, как они прокормятся зимой? Кого добудут в глубоких и рыхлых снегах? Осенней зимой, по мелкоснежью, порыскают по тайге, а потом куда? И какой черт... А черт ли? По слухам, там, на севере затеяли какую-то большую стройку. Может, как раз их землю, где они жили и охотились, отняли? Вот они и пустились по белому свету. Пустились не по своей воле...

Ночью наплыли облака, и погасли звезды.

Охотник, чтобы не свалиться во сне, пристегнулся ремнем к дереву и, обессиленный, обняв ствол кедра, будто бы задремал. Теплилась в нем надежда, что к утру волки уйдут. И привиделось ему, что сидит на деревьях все его родная деревушка Еган. Волки всех загнали на деревья. На дремучем лишайчатом суку примостилась мать с вечным шитьем в руках. Возле нее младшие сестры грустно ловят прозрачные хлопья снега. Под деревом волки остервенело рвут их игрушки и буквари.

Теперь малышам нечем играть, нечего читать, нечему учиться. Неподалеку от них, на другой сосне, устроился отец. Сидит он, перебирает шишки, поглядывает на восток. Видно, восхода солнца ждет старый охотник. Печальный и невозмутимый — похоже, ничего уже не удивляет его...

Волки всех разогнали по деревьям.

На верхушке тонкой березки покачивается плотный и тучный Иван Михайлович, управляющий Еганским охотхозяйством. Видно, березке невмоготу стало — все ниже и ниже наклоняется она.

«Первым, первым меня волки сожрут!» — кричит Иван Михайлович.

«Нет, ты — не первым будешь!» — сказал Охотник.

«Это почему?»

«Утром не поешь — березке легче станет».

«И то верно — завтракать-то нечем!»

«Не пообедаешь — тоже легче...»

«Верно...»

«И ужина, поди, не будет...»

«Так сколько не евши-то сидеть станем?..»

«Это уж кто кого пересидит — то ли они нас, то ли мы их...»

«А есть-то хочется!»

«Всем хочется...»

«У-у, проклятые! — рычит вниз Иван Михайлович. — И швырнуть им, чтоб убрались, нечего!»

«Им тоже есть хочется...»

«Будь дома, я б им что-нибудь швырнул, — принялся рассуждать Иван Михайлович. — Баба у меня запасливая, нашла бы какое кусичище. Мясо или рыбу... Может, и шкурку нашла бы. Все отдадим — только б убрались к черту, проклятушие!..»

Сидит управ на березке, покачивается.

В следующий раз, когда Охотник глянул на него, будто и впрямь березка чуть разогнулась, а Иван Михайлович словно бы легковеснее стал, даже вроде бы повеселел. Знать, на пользу ему идет сидение на дереве.

Волки всех загнали на деревья.

Вот и Дед корчится на дереве. Трухлявая сухостоина досталась ему. И трубку запалить нельзя. Ствол смолистый, лишайчатый — вспыхнет ненароком, не жди добра. Пушистые хлопья снега белят его седые волосы. Казалось, голова его стала еще блее. Крепко досадили ему волки на старости лет. Сидит старый Дед, что-то недовольно бормочет. Возможно, ворчит о том, что вот на старости лет даже спокойно умереть не дадут. Вот времена-то пошли...

По соседству с ним учительница Еганской школы Александра Петровна. Тоненькая, почти прозрачная и совсем беспомощная. Ее белые локоны разметались по ветвям. А в ее огромных

голубых очах мечутся незванные волки. Раньше читала о них только в книгах. Теперь же пришло время поближе узнать их. Охотник хотел окликнуть ее, приободрить, но тут на своем дереве увидел невесту Анастасию. Она почему-то в серой волчьей шубе, показывает на звезды и целует Охотника. Ее волосы щекоют нос. А поцелуй отчего-то не томительно-сладкий, а смолисто-терпкий и холодный. Аж дрожь пробирает все тело. Он попытался оторваться от нее, от едких скипидарных губ, но никак не может. Задыхаясь, силился крикнуть — и тут проснулся. Голова сползла со ствола. Губы прижаты к заиндевавшему суку, а в нос попал стебелек лишайника.

Ночь. Холод. Тьма.

Поерзал по стволу, похлопал себя руками, пытаюсь согреться. Когда же утро придет? Только прикрыл глаза, снова пригрезились жители деревушки, сидящие на деревьях. Услышал свое имя:

«Микуль, Микуль, ты почему на дереве сидишь?!»

Повернулся на зов и увидел вдали, над деревьями своего школьного приятеля Митрия Казамкина. Тот после школы определился на электростанцию, а потом устроился работать на буровую. Буровая та ищет нефть на дальнем урмане. В прошлом году Охотник побывал там, осмотрел ее. Похожа она на дерево — есть корни, есть ствол и вершина. А на середине ствола просторное, закрытое со всех сторон, гнездо. Тут и дождь, и снег — все нипочем. Сиди, стой и работай спокойно. Вот там и стал работать Митрий, верховым теперь он зовется. Как ни встретит Охотника, все расхваливает свое дерево-буровую, сбивает с таежной тропы. Заманчиво Охотнику, интересно, да знает — без тайги тоскливо станет. Как жить? Чем дышать?.. Теперь вот, вдали над лесом, в срединном гнезде буровой Митрий маячил. Маячил, помахивал рукой и кричал:

«Микуль, Микуль, ты почему на дереве сидишь?!»

«Волки загнали на дерево!..»

«Давай сюда! Давай ко мне!»

«На чем — верхом на волке, что ль?!»

«Не можешь?!»

«Нет, конечно...»

«Ну, тогда я к тебе двинусь!»

«На чем?»

«Погоди, счас дизель запущу!»

«Зачем?»

«На буровой подъеду к тебе!»

На буровой?! — ужаснулся Охотник. Он видел на дальнем урмане, как ходит буровая. Мазутно-грязным чудовищем-великаном, слепым и беспощадным, медленно и неуверенно, на

ощупь, покачиваясь, вцепившись стальными когтями в судорожно рычащие трактора-жуки, ползет по тайге, оставляя за собой лишь перекореженную землю и вывернутые с корнями деревья. Ползет, слепо и глухо, все сминая на своем пути...

И, ужаснувшись будто бы, Охотник крикнул:

«Не надо!»

«Кто же тебя с дерева снимет?!»

«Не надо — пусть меня лучше волки съедят!»

«За ними дело не станет!»

«Нет-нет, пусть лучше волки!..»

«Ну, смотри — волки сожрут и глазом не моргнут!..»

И Митрий исчез. И тут же покачнулся черный ствол чудовища-великана — и он рыча пополз к Охотнику. В срединном гнезде появился некто волкоподобный и, оскалившись клыками, принялся управлять чудовищем. Рычание все нарастало. Оглянувшись, Охотник увидел, что со всех сторон, рыча и простуженно чихая, поползли черные и смрадные чудовища. И с каждого, оскалившись, выглядывали волкоподобные. Они все рычали и чадили черным чадом. И гул их все нарастал и нарастал. И от невыносимой тоски сжималось-сжималось-сжималось — сжалось и исчезло сердце Охотника. И он проснулся.

Гул давил на него сверху вниз.

Гудела вся тайга.

Гул давил на него со всех сторон. Давил сверху, с боков, снизу.

Он сначала ничего не мог понять, откуда идет гул. Лишь окончательно проснувшись, сообразил, что это самолет в темном небе. Звук его, отзываясь в каждом дереве, кустике, хвоинке, наполнил всю округу. И теперь, удаляясь, начал слабеть и наконец совсем стих. Снова на землю опустилась тишина.

Чудной сон приснился, подумал Охотник. И верно, что бывает наяву, то еще чуднее покажется во сне. Только вот не понятно, если судить здраво, по-таежному, с чего волки держат зло на учительницу Александру Петровну?! Она всю жизнь детей уму-разуму учила, букашку зазря не обидит. А против волков и вовсе никогда не выступала. Другое дело — охотники. Их испокон веков кормила и одевала тайга, не однажды на лесной тропе сталкивались с разными хищниками... Правда, женщины и дети тоже никакого дела не имеют к волкам. Разве они виноваты в том, что родились в охотничьей семье?! За что им должны мстить волки?! За что их на деревья загнали?!

Тьма еще густо висела на деревьях. Но чувствовалось, что она быстро растворяется. Становилось заметно светлее, как это бывает в тайге перед самым рассветом. Рассвета еще нет, но вот-вот он придет...

Охотник стал всматриваться в землю.

Волки какой-то незаметной жизнью жили в кустах возле дерева. То тут мелькнет тень, то — там. Охотник определил вожака. Это матерый волчище со всклоченной шерстью и поседевшей гривой, по цвету белесый до серо-стального. Крупный полярный волк. Поблизости от него все время держался молодой, у которого вместо правого уха — два огрызка, будто рогулька для кострища. Сверху, в зыбком полумраке, они показались Охотнику не такими страшными, как вчера на земле. Бродят себе клочкастые грязные шкуры без костей.

На востоке занималась бледная заря.

Волки не собирались покинуть свою жертву.

Ты, кажется, Анастасия, последний раз целовала меня, подумал Охотник и грустно усмехнулся.

Не позавидуешь: волки терпеливо ждут. А Дед-напарник поехал за продуктами — когда вернется, неизвестно. Если волки не уйдут, Охотник окоченеет на дереве. Либо волки, либо птицы-вороны — одно не лучше другого.

Он открыл меховой подсумок на правом боку: кусочек кожи, ткань с иголками, бечевка, нить-насторожка для самострела, петли на зайцев. Спичек нет, но есть тяжелый нож с костяной рукояткой. Он приятно оттягивает пояс. Может, спуститься и с ножом наброситься на стаю, подумал Охотник. Ну, кончу одного... Кончу второго. Останется пять разъяренных и голодных. Силы не равные. Значит, не выход. Надо придумать что-то другое. Что делать?! Разве можно смириться с такой кончиной на пороге в жизнь?!

Мысли его были бессвязны и безрадостны.

Хилое осенне-зимнее солнце зацепилось за гребеночку леса. Лучи его не греют, а своей тусклостью нагоняют лишь тоску. Не грусть и печаль, а именно тоску. Охотнику подумалось: без тусклого солнца было бы легче.

Хотелось тепла.

Хотелось еды.

Хотелось горячего чая. Хоть глоточек.

Он начал собирать снежинки с веток. Но это еще больше обострило голод. И он понял, какво голодным волкам, согнанным с родной тундры. И, как ни странно, в нем шелохнулось что-то похожее на сочувствие к ним, бесприютным и гонимым...

Как ни слабы были лучи солнца, но они пробились в него и будто бы чуть-чуть согрели продрогшее тело. И он закрыл глаза и задремал. Пришел в себя от того, что кто-то пристально смотрел на него. Тихонько открыл один глаз, потом второй. С соседнего дерева черными бусинками буравила его белочка.

— Тебя тоже волки загнали на дерево? — спросил Охотник.

Белочка сложила на груди лапки, закивала головкой с пушистыми кисточками ушей, зацокала. Ее цокот был очень похож на утвердительный ответ:

«Да-да...»

— Вернее, волкоподобные?

«Да-да-да...»

— Поди, не сладко тебе живется в таком лесу?..

«Да-а...»

Она еще что-то сказала на своем беличьем языке и перескочила на соседнее дерево, затем на другое. И поскакала по тайге. Лишь снежинки сыпались с ветвей и, искрясь на солнце и медленно кружась, оседали на землю.

Как же я раньше не догадался, озарило Охотника. Надо попробовать, как белочка делает.

Он долго сидел в раздумье, потом, решив, что терять нечего, раскачал вершину кедра и прыгнул на соседнее дерево. Хвоя прожгла лицо, звонко треснул сучок, но он удержался на второй ветке. Полез по стволу вверх. Теперь нужно перебраться на березу, что всего в трех-четыре шагах. Ветвей на ней немного — можно сорваться на зубастую волчью пасть. Но делать-то нечего, другого выхода нет. Раскачал дерево и, когда вершина приблизилась к березе, скакнул на нее. Судорожно вцепился в ствол, потом отдышался, выбрал толстый сук, поудобнее устроился на нем.

Перескакивая с лесины на лесину, он понадеялся пробраться к зимовью. По деревьям, не прикоснувшись к земле. Напрямую рукой подать. Но нужно петлять, искать гривы, где лес гуще, где легче перескочить с дерева на дерево.

Отдышавшись, он огляделся. Оказалось, поспешил: дальше некуда, нет вблизи дерева, на которое можно перебраться. Вот так дела, теперь в обратную сторону надо. К тому старому кедру, откуда начал путь по воздуху...

Он прижался щекой к стволу, и сами опустились отяжелевшие веки. Снова пригрезилось ему чудовища-великаны с волкоподобными в срединном гнезде. Теперь волкоподобные виделись ему отовсюду. Внизу, в кустах притаились не волки, а волкоподобные. Прикрывшись волчьими шкурами, они преследовали Охотника. Они ждут свою добычу. Они ждут свою долю.

Охотник открывал и закрывал глаза.

Он все острее и острее чувствовал, что хочет есть. Его тело раздирали три волкоподобных.

Голод.

Холод.

Жажда.

Потом к ним прибавился сон. Сон тяжело наваливался на него. Он терял ощущение времени и чудом удерживался на дереве. Все смешалось в его сознании. То ли он все делал наяву, то ли во сне.

Время шло своим чередом.

Свет сменялся тьмой, тьма — светом.

Холод то отступал, то снова наступал.

Стая волков ли, волкоподобных ли зорко стерегла его в кустах на земле. Земля — это стая, а стая беспощадна, а стая — безумна...

На постоянно угнездились в нем голод и жажда.

Ветви в кровь исцарапали его руки и лицо, но он не чувствовал боли. Только вперед, только к дому, к зимовью. Ему хотелось жить...

Он уже не мог усидеть или устоять на одном месте. По стволу он двигался то вверх, то вниз. Потом не заметил, как спустился на землю. В сумерках, на вечерней заре, спустился на землю и пошел на стаю. А ему привиделось...

Ему привиделось, как раскачавшись, на макушке тонкой березы опустил на крышу домика-зимовья. Как сорвал замшелую доску и пробрался в сени, а оттуда в избушку. Как сдернул со стены двустволку и распахнул тяжелую сосновую дверь.

Он шел на стаю.

А ему привиделось, как он поднял ружье, и как предночные сумерки рванули два огненных язычка, почти одновременно выскочившие из ружейных стволов. Как стая взвилась в воздух и растворилась в густо нахлынувшей тьме.

Охотник шел на стаю...

1973

В УРМАНЕ

* * *

Старику снился Ленинград. Низкое, отяжелевшее от свинца небо давило на крыши домов. До костей пронизывал ветер студеной Ладоги. В глазах багровые молнии. Неутихающий рокот орудий.

Старик открыл глаза, прислушался: где-то на востоке раздавались раскаты грома. Вскоре полил дождь — в реке заплясала вода. На выцветший полог упали крупные, тяжелые капли, пробившие разлапистый шатер могучих кедров. Тайга глухо застонала.

По шуму деревьев, по взбулькиванию воды в реке таежник определил, что дождь скоро кончится, надо вставать.

Он вскипятил чай и позавтракал. Затем сел в одноместный обласок и направил его в низовье речки. Течение подхватило верткое суденышко и понесло.

Ездил он за гусями. В середине лета они пасутся в пойме реки, куда приходят с окрестных озер и болот. Старик каждый год ездил за ними. И теперь на носу обласка сидели два гусенка. Он разговаривал с ними: «Что у вас отнимают люди?.. Озера с травянистыми берегами... Глиняные отмели рек, где так много жирных вкусных червей... Запах мокрой травы... Но вы на меня, старика, не сердитесь. Что поделаешь — жить-то надо. Лесорубы хорошие — они вас хорошо кормить будут. Скажу им, чтобы не обижали вас. Подрастете, выведете им гусят... Молодые вы, привыкните, в тепле вам жить... А я вот, видно, старею, старею. Не знаю, как бы и жил, не будь у меня обласка, ружья, лесов этих и троп...

Тени от деревьев укоротились — полдень. Река помертвела. В тайге словно все вымерло — ни зверей, ни птиц. В тишине слышится лишь писк комаров.

Поперек реки лежала осина.

«Утром грозовой ветер свалил», — отметил старик.

У него с детства была привычка: все подмечать в лесу и находить объяснение любому явлению. Потому и помнит все коряги и водовороты по Вонтъегану — Урман-реке, или Урманной.

Проплыл он под лежащим деревом и пристал к берегу.

«В половодье тут затор речку перекроет», — подумал он, вытаскивая топор.

Взмах, еще взмах — и по воде поплыли бело-желтые ароматные щепки.

Ствол неожиданно переломился, и один конец скатился с обрыва. Лезвие скользнуло по дереву — и в миг горячая волна объела ногу. Зажал рану левой рукой, а правой развязал тесемки на кожаных нырниках и рубашкой перебинтовал ступню.

До дома еще далеко — много поворотов и прямик, поэтому он старался сберечь силы.

На речку навалилась тишина, стало душно. Но охотник спокойно и равномерно работал веслом. Только изредка отрывал твердую мозолистую ладонь от рукоятки весла и тыльной стороной смахивал с лица пот.

Над рекой носились стрекозы, хватали на лету комаров. Солнце играло в их прозрачных, слюдяных крылышках. Вот одна, гоняясь за мошкой, так низко опустилась к воде, что не удержалась и села на гладкую поверхность, словно самолетик на поплавках. Стрекоза забилась, затрепыхалась,

а когда крылышки ее намокли, затихла. Охотник осторожно взял стрекозу и положил в вещмешок. Вскоре крылья ее обсохли, она спорхнула и улетела.

...К вечеру старик почувствовал себя совсем разбитым, уставшим. Руки еще делали свое дело, но сидеть в обласке стало мучительно. Поясница ныла еще сильнее, чем нога.

В сумерках пристал к пологому берегу, заросшему талом и березой. Обласок вытянуть не смог, привязал суденышко за тухт* к низко склонившейся над водой березе, накрылся пологом. Знал, что на воде не уснет, но за ночь отойдут натруженные руки, ослабнут мускулы.

— Березовую чагу бы растолочь да рану присыпать, — сказал сам себе. — Да кабы ее достать...

Тупая боль не давала сомкнуть глаз. Нога отяжелела, опухла. Поймал себя на том, что думает только о прошлом. Почему? Может быть, в старости всегда так бывает? Человек подводит итог прожитой жизни? Или это от того, что есть о чем вспомнить? И сны-то в последнее время снятся совсем не лесные, не охотничьи, как было раньше... Чаше всего видится ему Ленинград... сорок третьего года... Низкое свинцовое небо, близкие разрывы артиллерийских снарядов...

Ночь он провел без сна.

Утренние лучи солнца пробились сквозь прибрежный лес и теперь светлыми полосками резвились в темной воде Вонтьегана. В березняке трещали и свистели на разные голоса птицы. Тайга успокаивала.

На рассвете он отвязал обласок. Обогнув заросший тальником мыс, выехал на длинную прямую. Через борт плескала вода.

«Проклятое течение», — мысленно выругался охотник, выравнивая обласок.

Буровая вышка...

Она стояла там, где речка оmyвает сосновый бор — разрывает небо над стайкой берез, над хмурым сосняком, над приунывшей рекой. В сторонке столпились жилые домики. Доносился шум дизелей. Охотник уже видел на большой реке такие вышки, не раз наблюдал, как трубы уходят под землю.

По лицу его пробежала тень, отразилась в усталых глазах, словно тело его пронзила острая боль. «Там им места, что ли, мало?! Зачем на эту глухую речушку пришли? Погубят рыбу, чем кормиться станем? Лес вырубят, пожгут, где зверя промышлять? Совсем плохо жить станет...»

Плыл он по середине реки, где течение сильнее. На берегу сидел с удочкой одинокий рыболов. Охотник даже не взглянул на него. Весло равномерно поднималось и опускалось. Смот-

* Тухт (рыт) — поперечный брус обласка, распорка (хант.)

рел он вдаль, на светлые плесы родной Урманной. В голове билась одна назойливая мысль: «Теряю последнюю речку, теряю...» Лицо его оставалось непроницаемым: будто нет искромсанного бульдозерами бора, нет ни вышки, ни балков, ни людей. Крепко задумался таежник.

И вдруг... обласок резко рвануло в сторону, опрокинуло. Рукой, в которой было зажато ружье, старик успел обхватить поперечник, тухт. С трудом освободил ноги; загребая свободной рукой, потянул обласок к берегу. Обласок не поддавался. Течение сносило его, но старик боялся отпустить тухт, боялся потерять ружье. Нестерпимо жгло раненную ногу, силы покидали его... Последнее, что он слышал — это тревожный писк гусят, вынырнувших из-под обласка...

Очнулся он в балке. Первое, что увидел — солнечный лучик, пробившийся к нему сквозь маленькое оконце.

Запахло лекарством. На ступне разматывали тряпки.

Чей-то молодой голос рассказывал:

— Смотрю, нет его. И на помощь не зовет!

— Эх, ты, горе-рыбак, старика чуть не утопил...

— Паромный канат надо снять.

— Давно пора! Леня, что ли, весло выстругать...

— Кто знал, что такое случится!

Охотник огляделся: женщина в косынке возилась с его ногой. Помогал ей круглолицый плотный парень в синей беретке. В углу на некрашенном столе стояла рация. Тут же сидел пожилой мужчина с редкими светлыми волосами и худощавым лицом. На широком лбу гнездились тяжелые морщины. Одной рукой он настраивал передатчик. Взгляд его прищуренных глаз был устремлен в окно. «Что он там видит? Может, на лес смотрит, на тайгу? — соображал охотник. — Должно быть, главный — все к нему идут, слушают его... Где видел его? Не мог видеть, показалось. Маленько леший меня попутал, старого. Однако, все на тайгу смотрит — на что еще там можно смотреть?! Конечно, на лес... исковерканный, до которого никому нет дела. Не помню, никто, кажись, на тайгу так не смотрел...» Мысль, что этот человек понимает тайгу, обрадовала охотника.

Вскоре он задремал. Проснулся от гула вертолета.

— Ну, дед, выздоравливай быстрее! — сказал на прощание главный. — Мы с тобой еще на охоту ходим, на рябчиков. Возьмешь меня?

Охотника отнесли в вертолет, тот легко оторвался от земли и взял курс на районный центр.

Под лопастями, кивая верхушками деревьев, плыл черный урман.

Не одно столетие жил этот кедр. На его вершине было гнездо орла. Каждый год орлица выводила здесь птенцов. Но в этом году оно пустовало. Что с птицей случилось? Почему она не вернулась в свое жилище?

Ствол дерева давно замшел, кора догнивала на землю. Поредевшие ветви безжизненно торчали в разные стороны. Кедр умер стоя. Он простоял бы еще не одно десятилетие, не раз бы на его ветвях отдохнули стаи перелетных птиц, если бы не... огонь... Пламя вырывалось из дупла, лизало шершарый ствол, вгрызалось в обнаженные корни.

«Теперь его не спасти, — оправдывался охотник, вытирая рукавом малицы слезы, бежавшие из глаз от чада и дыма горевшего леса. — Долго жил, почти мертвый, а все жить хочет...»

Лес наполнился треском ломающихся деревьев и веток. Они словно убегали, искали спасения, но огонь догонял их.

Тайга стонала, как смертельно раненный зверь.

Кедр вздрогнул и рухнул на обугленный грунт. Стоявший рядом молодняк до земли поклонился ему. Под ногами охотника задрожали корни деревьев.

Пожар низовой, с ним легче бороться.

«Надо остановить огонь здесь, на излучине реки. Потом будет поздно, дальше пойдет сплошной лес», — думал старик.

Огонь был как бы в кольце: с трех сторон река, с четвертой — человек. На мшаннике он сбивал пламя ветвистой елочкой. Следил, чтобы поблизости не было деревьев — огонь пересекал по веткам.

По лицу потоком струился пот, заливал глаза. Подняв голову, он увидел человека в телогрейке и светлой кепке. Тот окапывал пожар.

«Здесь это ни к чему, — подумал охотник. — Не поможет...»

Он выпрямился и крикнул:

— Деревом надо тушить, елку возьми! Смотри!..

Теперь он не делал ни одного лишнего движения, ни одного неточного хлопка по пламени, ненужного шага или поворота. Он не чувствовал усталости, он гордился своим превосходством над человеком, приехавшим из города, где нет таких лесов, таких деревьев и такого неба. Здесь, в тайге, он был намного грамотнее...

Наконец вышли на берег реки, огонь остался в кольце.

Оба вздохнули и спустились к воде умыться.

— Зовут меня Федором Петровичем, — сказал приезжий. — Короче, Петрович.

— Коска, значит Константин. Появилась седина — прибавили «ики», старик, значит, пожилой человек, — ответил охотник.

— Ну, значит, я тоже ики, видишь, и у меня седина, — улыбнулся Федор Петрович.

Коска узнал Петровича — тот, худощавый, что отправил его на вертолете в райцентр.

— Как сюда попал, на пожар-то?

— Ездил на сорок вторую скважину. Вижу, горит. Решил посмотреть. Увидел тебя, ну и...

— А-а, спешишь?.. Так езжай, Петрович, я тут за огнем присмотрю. Скоро дождь пойдет, потухнет.

— Откуда знаешь про дождь, батя?

— Вон туча — затяжная, наверное, будет — два дня или больше. И плечо болит — к худой погоде...

— Отчего болит-то?

— Железо там.

— На охоте?

— Не... Под Ленинградом. В сорок третьем...

— Под Ленинградом? Я ведь тоже с самого начала войны там... И семья...

Петрович как-то странно кашлянул и замолчал. Засобирался в путь. На прощание скороговоркой сказал:

— Так ты, Константин, приезжай к нам. Ружье заберешь, обласок.

— Приеду, спасибо.

— Ну, будь здоров!

— Йим улым!*

Коска долго смотрел вслед Петровичу. Ему опять вспомнились далекие годы и свои нелесные сны.

* * *

В Сибирь Федор Петрович приехал из Ленинграда сразу после войны. Был лесорубом, работал в приисковой геологической партии, затем стал буровым мастером. За его плечами не одно лето в таежной глуши, не одна зима с жестокими морозами и два месторождения нефти.

Встреча с охотником далеким эхом отозвалась в его сердце.

Это было в годы войны на холодной вьюжной Ладоге. В кузове попутного грузовика рядом с ним сидел солдат с прокуренными усами. Чтобы скоротать время, они разговаривались. «У нас на Оби бывают такие холода, что деревья ломаются, — рассказывал попутчик. — В такой день об охоте

* Йим улым — до свидания (хант.)

и не думай: снег очень шумит. Зверь далеко слышит. Рыбачить тоже плохо: лунку выдолбишь, невод под лед не успеешь спустить, как ее ледяной корочкой затянет. Особенно в тиховодье... Вот фрица бы в такой холод — хорошая приманка для песцов выйдет... У нас перед войной колхоз организовали. Школу в деревне открыли. Хорошо жил народ, дружно. Охотником я был, а теперь снайпером стал...» — Замолчал. Разорвался снаряд, потом второй, третий. Петрович и сейчас помнит, как ледяная вода словно парализовала его — все тело окаменело и стало тяжелее свинца. Смертельный холод рванулся от ног к сердцу. Вцепился в кусок льда, но продержался недолго — потянуло ко дну. «Конец!» — резануло в мозг. Тут он услышал напряженный голос попутчика: «Держись! Держи веревку!» На морозе шинель Петровича превратилась в ледяной панцирь. «Кровь... Да ты, никак, ранен?» — бормотал его спутник, расстегивая полушубок. Очнулся Петрович в санитарной палатке.

Когда он выписался из госпиталя, в кармане нашел веревочку, сплетенную косичкой... Та веревочка долго хранилась в нагрудном кармане его гимнастерки, но потом куда-то исчезла, потерялась... Потом он показал старику буровую, говорил о нефти, о будущем таежного края.

— Дедушка, иди к нам верховым, всю тайгу увидишь с высоты! — шутили рабочие в замасленных робах.

— Мне на земле хорошо, отсюда я больше вижу, — отвечал с улыбкой охотник, прищуренным глазом поглядывая на вышку.

— Он ко мне пойдет заместителем! — улыбнулся Петрович, похлопав охотника по плечу.

— По какой части?

— По научной! — серьезно ответил мастер. — Природа и люди...

— Соглашайся, дедушка, с нами не пропадешь! — весело предложил молодой чумазый дизелист. — Я ведь тоже потомок охотника...

— Мув нэма? — спросил старик.

— Я, деда, по-хантыйски не понимаю, — сконфуженно признался парень. — Сирота я, в детдоме воспитывался.

— Как зовут? Имя твое как?

— А, Митька. Дмитрий.

— Грех родной-то язык не знать, — покачал головой Коска. — Эх, времена-то какие...

Федор Петрович взял его за руку и, увлекая в балок, протянул мечтательно:

— Вре-ме-на-а!.. Вот откроем на этой площади нефть — еще одно месторождение будет. И это все на твоей земле, батя. Предки твои ходили по тайге и не знали, что у них под ногами такие сокровища!

— Э-э, всех рыб-зверей разгоните, где охотиться?

— Искусственные меха пойдут, из нефти.

— Почему тогда все покупают шкурки из тайги?

— Верно, батя, — проговорил Федор Петрович. — Все верно, но у каждого времени свои дела, свои люди. Тут ничего не поделаешь.

И добавил:

— В одном ты, пожалуй, прав, — беречь надо природу, с умом подходить, — но все же завтра будет лучше, чем сегодня. На этом жизнь наша держится.

— Э, да завтра, может, меня не будет, — ответил охотник, вспомнив обугленный кедр-гигант. — Это не так важно. Я хочу, чтобы всем хорошо было, понимаешь?! Я что? Я уже отжил свое...

— Хитер, хитер ты! Чтобы волки сыты и овцы целы?! У тебя, Константин, светлая голова — попытайся все-таки понять наше нефтяное время!

Коска неопределенно хмыкнул, понизив голос:

— Скажи правду, Петрович, — от нефти пропадет рыба?

— Стараемся, чтоб не пропала... Не думай, что ты один о природе печешься...

С этого дня Коска стал часто наведываться на буровую: ему не нравилась нефть, зато нравились люди. С веселым и беззаботным Митькой его связывали кровные узы. Толковый парень, думал он, глядишь, совсем нефтяным человеком станет, тоже неплохо. Свой человек при нефти будет. Пришелся по душе и немногословный мастер Федор Петрович, который разговаривал с ним, как с равным себе, был искренним. Коска ценил это выше всего.

Однажды Федор Петрович, когда провожал Коску на берег (тот торопился, не долго и побыл на буровой), увидел на обласке котелок в берестяном футляре, украшенном витиеватым узором. На ручке котелка болталась веревочка. Она была сплетена косичкой из трех толстых ниток. «Где я мог видеть такую веревочку?» — соображал он. А ведь видел, видел... Неужто... Нет, невозможно...

В тот день Петрович так и не решился заговорить с Коской о Ленинграде. Отложил до следующей встречи — слишком тяжелы для него воспоминания о родном городе, где погибла в блокаду семья — мать, жена и сынишка.

В тот день не решился.

* * *

Из-за деревьев выползло ленивое осеннее солнце. По рекеплыли желто-оранжевые листья берез и рябин, и огненные —

осины. По обоим берегам стояла тайга — кедры и ели. Лишь в прибрежье встречались лиственные деревья. Есть в этом массиве небольшие болотца и озера, петляют речушки. Но хороших охотничьих троп нет.

Охотник спешил. До темноты хотелось добраться до Елочного. Это большой полуостров с настолько узким перешейком, что если встать на середине, то слева и справа виден Вонтъеган. Осенью лоси любят пастись на этом полуострове. Покрыт он густым ельником, по которому и днем-то нелегко пройти. По краям мелкий осинник и березняк.

Солнце уже скрылось за горизонтом, когда он добрался до полуострова. Походил по перетаске, осмотрел подстилающую глину тропы. Побродив по мелколесью, убедился, что сохатых нет. Ни зверя, ни птицы.

«По речке пришлый люд много ездит, — подумал он, — разогнали зверей своими тарахтелками. В глубь урманов ушли, подальше от реки».

Осмотрел окрестность, и утром двинулся дальше, в черный урман. Пошел снег. Идти становилось все трудней и трудней. От долгой ходьбы стерлись кожаные подошвы стареньких ныриков. Чтобы снег не падал внутрь и стельки из сухой травы не вываливались, обмотал нырики портянками. Но и это не помогло — к вечеру они намокли, хоть выжимай. Сапоги в тайгу никогда не брал: слишком тяжелы, громоздки и скрипят — зверь за тысячу сажений услышит.

Зачем он идет, куда? Никто его не обязывал протапывать тропы в угрюмой тайге. Вспомнились слова Петровича: «Туго стало с продуктами. На базе вертолет вышел из строя. А по реке... скоро шуга пойдет... Что делать?..»

Все трудней и трудней становилось идти. Болела голова. Старенькое одноствольное ружье, с которым не расставался никогда, вдруг отяжелело, стало цепляться за кусты. Краска на ложе давно осыпалась, износился боек, но оно еще ни разу не подводило охотника. Почему же теперь мешает движению? Приклад ружья покрыт зарубками. За ними — вся жизнь охотника. Отметины поглубже — медведи и лоси, а что помельче — лисы, выдры, соболя. Некрупные звери и птицы сюда не вписываются, не хватит места. За каждой зарубкой — целая история: то увлекательная и смешная, то суровая, полная лишений и риска. Этим и прекрасна жизнь охотника.

На лосей он наткнулся в прибрежном осиннике уже в сумерках. Когда поднимал ружье, деревья вдруг собирались в хоровод. «Не вовремя! — подумал он, потирая снегом виски. — Люди ждут, надеются... Петрович ждет...»

Опустился на снег, оперся о старый трухлявый пенёк. Ствол ружья ходил из стороны в сторону. Последним усилием воли он заставил себя прижать приклад к плечу. Надо вовремя опустить курок, думал он, тогда не промах-

нусь, лишь бы... Только шевельнул пальцем, как серо-черная фигура лося переместилась влево. «Да постой ты на месте... ну, не шевелись...» взмолился охотник. Сохатый остановился, вытянул шею, захватил изжелта-зеленую кору осины. С кустов посыпался куржак.

На ружейном стволе таяли снежинки.

Осинник вращался в бешеной пляске.

* * *

Небо усеяно пронзительными звездами. Снег покрылся корочкой льда. Хруст его эхом отзывался в тайге. Коска расстелил на лапнике шкуру лося шерстью наружу и завернулся в нее. Он лежал теперь как в спальном мешке. Сначала немного зябко от сырой шкуры, но шерстью внутрь нельзя: при сильном морозе она так застынет, что не выбраться потом из нее.

Утро было необыкновенно звонким.

Коска сделал волокушу из шкуры, чтобы побыстрее перетаскать мясо на берег.

На ремне за спиной поправил пожелтевший медвежий клык, с которым никогда не расставался: по поверью, он снимает боль с мышц спины и позвонков. Его когда-то носил дед, потом отец. Затем вырезал из брюшной части шкуры два куска, обмотал ими нырки. Новые пимы не совсем удобные, зато теплые.

Устало подошел к кострищу под кедром, где оставил два дня назад обласок. Обласка не было. На снегу четкие отпечатки сапог. Пустые консервные банки, бутылки, втопанные в грязь окурки. На кустике трепыхались глухаринные перья.

На реке появились забереги.

Шуга скользит по черной воде, звенит в тишине серебром.

Из-за леса вырвались скудные лучи осеннего солнца, скользнули по белому бережку, сверкнули и заискрились на заберегах, незаметно пробежали по темной воде и перескочили на маленький плотик из сухих лесин, плывший по середине реки, задержались на мгновение и заспешили дальше, чтобы охватить всю необъятную ширь тайги, чтобы разбудить зверей и птиц, чтобы отогнать ночную мглу и согреть одиноких путников. За первыми лучами брызнул поток света, осветивший всю окрестность.

Обрадовался Коска: он любил идти навстречу солнцу. Оно пригревало все сильнее, и он не заметил, как задремал. В его воспаленном мозгу опять всплыло и завертелось давно минувшее: тяжелое небо и кровавые молнии, стонущая земля

и грохот орудий, разваливающиеся дома и лица... изуродованные голодом, знакомые и незнакомые лица... живые и мертвые. Петрович... «Где-то видел, видел его и раньше...»

После сильного перенапряжения его всегда преследуют видения прошлого.

Вздрыгнул он от толчка, поднял отяжелевшие веки — плот зацепился за корягу. Надо съездить, посмотреть, думал он, как люди живут. Теперь, по слухам, там хорошо стало. С Петровичем надо поговорить...

Ему хотелось верить в то, что сегодняшний Ленинград отодвинет в его воображении тот, другой... что не дает ему покоя.

А шуга все поет свою песню.

Любил Коска осенний ледоход: у реки тепло и уютно, весело хрустят льдинки, перегоняя друг друга. Весной совсем не то, зябко у воды, на душе становится муторно. Льдины мрачные, обреченные на гибель. Охотнику всегда казалось, что льдины осенью смеются, а весной плачут.

За три поворота от буровой ухо таежника уловило странный, не свойственный тайге гул, который все нарастал и нарастал — словно ураганный ветер валит гигантский лес. Увидев буровую, понял — что-то стряслось: к редким дымчатым облакам тянулась черная струя жидкости. Она неистово резвилась на солнце. По воде плыли тысячи золотых чешуек. На них лежали крохотные летние радужки.

В это время Петрович возбужденно кричал в трубку:

— У нас фонтан! Аварийный! Нефть с газом!..

Смахнув пот с осунувшегося лица, натянул телогрейку. Теперь техника бессильна, думал он, нужно попробовать перекрыть скважину вручную. Когда помощь-то прибудет?..

Он знал, какой это риск — нефть с попутным газом! От одной искорки в секунду все может взлететь на воздух. А для перекрытия скважины надо поднять на вышку тяжелый фланец фонтанной арматуры, доски и прочее оборудование. Не сидеть же сложа руки?!

Коска торопливо закрепил плот, на котором привез буровикам мясо, и поднялся на берег. Вокруг вышки все было черным: и люди, и трава, и деревья. Струя с таким гулом вырывается из скважины, что ничего не слышно. Только по движению губ можно догадаться, о чем кричит человек.

Митька с товарищами тянет канат, пропущенный через блок. Груз поднимается медленно, с остановками. Охотник видит, как скользят крепкие рабочие руки по замасленной веревке, как с лихорадочной поспешностью перехватывают ее повыше. Вдруг веревка останавливается — замешкались рабочие. Коска поспешил на помощь и взялся за трос. В его шершавых мозолистых ладонях канат не скользит — и груз пополз

вверх. Неожиданно трос ослаб. Коска ничего не успел увидеть — только перекошенное испугом лицо Митьки, тот что-то кричит старику, но что — не слышно. Потемнело в глазах, показалось — кто-то сорвал с неба солнце и уносит его. Он упал ничком.

Руки его распластались крыльями, словно обняли напоследок свою израненную землю. Нефтяной дождь давил его в глинистый песок и затягивал жирной пленкой пожелтевший от времени медвежий клык на спине и шнур на поясе, сплетенный косичкой...

Старому таежнику навсегда отоснился Ленинград...

1972—1973

КОНЕЦ РОДА ЛАГЕРМОВ

Маремьян Лагерм попал в эти края давно, когда глаза видели лучше лебединых, слух был острее, чем у дикой чернобурки, а в мускулах чувствовалась твердость лезвия копья — без ружья выходил на медведя. Река щедро кормила рыбой, а в прибрежных урманах водились и зверь и птица. Место глухое, необжитое, зверье нагуленное, непуганное — привольно жилось. Только далеко в низовье реки находился маленький поселок, где были пункт по приему пушнины, магазин, школа и десяток-другой жилых домиков рыбаков и охотников. Оттуда Маремьян привез себе жену, срубил избушку. Жил он отшельником. Слыл человеком нелюдимым, угрюмым, с темным прошлым. Ходили слухи, будто пришел он с побережья Оби в смутные двадцатые годы. Жена народила ему семерых сыновей и дочь. Старший сын и дочь умерли во младенчестве. Оставшихся в живых сыновей он вырастил смелыми и удачливыми охотниками. Славилась они как меткие стрелки и непревзойденные следопыты. Но двоих проглотила война, одного заломал медведь, другой погиб на дальневосточной границе. Остался самый младший сын — Прокопий, единственный. Он стал известным в округе охотником. Жизнь шла своим чередом. Старая Анна с молодой невесткой Машенькой занимались хозяйством по дому, а мужчины — промыслом. Но обычный бег времени неожиданно прервался...

За тремя песками* от избышки Маремьяна вырос новый поселок лесорубов Чистоборск. Говорили — лес будут корежить. А еще ниже по течению — песков и пряниц восемьдесят надо проехать — нефтеразведчики основали свой город. Там землю таежную станут буравить.

По некогда тихой реке засновали быстроходно громкие дюралевые шлюпки.

В тихий летний дом Лагермов зачастили гости: то за рыбой и мясом, то за снастями рыбацкими. Но больше всего ценились меха.

В это лето повадился сюда главный лесничий из Чистоборска Никита Никитич Щепкин, добродушный коротыш с блестящей лысиной. Охотничьи собаки люто ненавидели лесничего и, когда тот появлялся, поднимали яростный лай, наверное от того, что от него всегда разило спиртным. «Мик! — сказал Маремьян. — Пусть будет так!»

В тот вечер Мик приехал с высоким белокурым парнем неопределенных лет. Оба подвыпившие. Маремьян быстрым цепким взглядом окинул незнакомца: его красивое возбужденное лицо было помятым и красным от выпитой водки. Глаза ледяно-голубые, мертвые. Казалось, плесни туда воды — вывалится кусок льда. «Беспалый», — определил Маремьян, здороваясь с ним. — Без мизинца».

— Здорово, мужики! — Мик кричал так, словно все вокруг него были глухими.

— Здорово, здорово...

— Как поживаем, мужики!

— Живем помаленьку...

— Это вот Митрий! — представил Мик своего попутчика.

— Так скажи...

— Вишь, какой красавец!

— Ну...

— Мой новый помощник!

— Как варежки, ты их через каждый месяц меняешь, — заметил Прокопий, чинивший вершу перед домом.

— Этот надолго — твердый орешек!

— Твердый, значит?

— Да! — лесничий повернулся к помощнику. — Старик верно бачит, Митрий?!

— Старик знает, что бачить! — подыграл Беспалый.

— Ну, мужички, пошли в избу — мы вам кое-что привезли! — крикнул Мик.

Все двинулись к дому. Прокопий нехотя отложил в сторону вершу и присоединился к незванным гостям. Приезжие поста-

* Песок — здесь: песчаная речная коса в Сибири, средняя протяженность которой километр — полтора.

вили на стол литр водки, попросили свежей малосольной рыбы.

Мик без умолку болтал и размахивал короткопалыми ручищами. Лишь время от времени, прерывая себя, рассказисто похохатывал, как мелкий бес.

Беспалый же изредка вставлял словечко, скалил зубы в нераскрытой полуулыбке. Глаза его беспокойно что-то выискивали вокруг, ощупывали все предметы. «Что он вынюхивает, как лиса? — размышлял Маремьян. — Наверно, что-то ему очень нужно».

Тут Мик снова наполнил стаканы.

Из открытых окошек избушки вырывались невнятные фразы, бестолковый шум. Собаки наострили уши, потом глухо взвыли.

Лесничий подсел к Маремьяну:

— У тебя мотор поломался, говоришь?

— Да, не работает.

— Пойдем, я мигом сделаю!

— Ты же... пил.

— Ну и что?!

— Разберешь мотор, а собрать не сумеешь.

— Так я ж не пьян!

Мик проворно вскочил на ноги:

— Вишь, стою — не падаю!

— Вижу.

— А разбирать мотор не стану — так скажу, что барахлит!

— Это я сам знаю...

— Пошли, дружище! — Мик потянул хозяина за рукав. — Нет, стой! Дай, чмокну тебя, дружище!

У него была привычка, подвыпить, целовать всех подряд. Однажды Маремьянова медведевая собака чуть не откусила ему нос. Мик вздумал чмокнуть ее за то, что она удержала медведя, мясом которого он потом всласть полакомился.

— Ладно, посмотри, — неохотно согласился Маремьян, чтобы отвязаться от него.

Они вышли на улицу. После их ухода нить беседы подхватил Беспалый, оборотился к Прокопию:

— Много в тайге соболя?

«Расставляет сети на зиму», — подумал Прокопий. Помолчав, он неохотно ответил:

— Раньше водился, теперь меньше стало.

— Отчего мало?

— Всякий зверь покой любит, тишину.

— Что, покоя не стало?

— Раньше один хозяин в тайге был — охотник, а теперь сколько?!

— Сколько?!

— Считай: геолог, сейсмик, нефтяник, лесоруб... Все в лес

идут — кому надо и кому не надо. С ружьем и без ружья...

— Соболь совсем не перевелся?

— Нет...

Беспалый, помолчав, жестко сказал:

— Мне позарез нужна дюжина соболей!

Прокопий ничего не ответил.

— Если деньги не нужны, могу достать все, что тебе надо...

Охотник будто не слышит.

— Хошь дюральку, лодку?..

Охотник молчит.

— Хошь «Вихрь» достану?

Охотник ни слова.

— Хошь бензопилу?

Охотник все молчит.

— Могу карабин! Кого хошь замочишь!..

Но охотник и на это не отреагировал.

— Может, техника какая нужна, а?! Говори, что хошь!..

Прокопий приподнял голову, перевел взгляд на собеседника.

— Ну... Ну-ну, давай!.. — подбодрил Беспалый.

И Прокопий серьезно, без всякой усмешки, медленно и тяжело отвесил свои слова:

— Мне вот позарез нужен вертолет!..

Беспалый в упор глянул на него ледяными глазами:

— Шутишь, что ль?

— Какие шутки!

— Зачем тебе вертушка?

— На дальние урманы летать...

— Тебе что — земли мало?

— Вблизи мало что осталось — все ваш брат-браконьер до срока выбивает... Вот вертолет пригодился бы...

Беспалый недоверчивыми ледяшками вцепился в охотника, протянул тягуче:

— Изгаляешься, что ль?..

На что Прокопий опять же с твердым лицом сказал неспешно:

— Ежели бы все охотники сдавали пушнину лесорубам, так государство, поди, давно бы развалилось...

— Зря стараешься: героя все равно не дадут — не та отрасль!

— Без всяких героев жили и проживем.

— Знаю: все равно ведь кое-что налево фугуете, мошенничаєте, коль навар есть.

— Мы не мошенники...

— Пожалеешь, что не мошенник! — пообещал Беспалый и положил на стол руку с неприличной картинкой-татуировкой.

Эта выставленная напоказ татуировка показалась Прокопию особенно оскорбительной и наглой, и он неожиданно вспыхнул: сдерживая внутренний огонь, резко бросил:

— Грозишь?!

— Пожалеешь!.. — многозначительно повторил Беспалый. — Мошенником легче прожить!

И тут Прокопий кивнул в сторону выхода:

— Это вот... дверь...

— Пожалеешь... — еще раз повторил Беспалый и вышел вон. В доме водворилась тишина.

Вдохнула старая Анна, мать Прокопия. Поднялась молодая хозяйка Машенька, начала убирать посуду со стола. Прокопий тоже встал, потоптался посреди пола и направился к выходу. Вершу нужно закончить и невод прибрать, ответил он на вопросительный взгляд жены.

В это время Маремьян и Мик мирно копались в подвесном моторе, лежавшем на куске брезента.

Вдруг глухой дуллет рванул вечернюю тишину.

Все бросились на берег.

Прокопий лежал наполовину в воде. Беспалый отчаянно дергал шнур стартера, но «Вихрь» не заводился.

У Маремьяна вмиг вышибло всю водочную одурь. Он подскочил к Прокопию и выхватил его из воды. Лицо сына стало берестяно-белым...

Речная вода всколыхнулась и алым пламенем лизнула берег.

Маремьян мгновенно почернел... Приложил ухо к груди сына и замер.

Мик бочонком носился по берегу, размахивая руками и пискливо кричал:

— Ружье! Ружье! Дайте мне ружье!

Беспалый бешено рванул шнур — мотор чихнул. В его руке осталась рукоятка от шнура. Он схватился за весла и поплыл к противоположному берегу. А там в несколько прыжков скрылся за деревьями. Тут Мик увидел катер, вынырнувший из-за поворота.

Маремьян оторвался от сына — в затуманенных глазах блеснула надежда: «Жив еще!»

— Неси тряпки! — вдруг заорал он на обезумевшую старую Анну, которая душераздирающе взывала. — Не вой, не покойник!

Старая рысцой помчалась к избушке. Она продолжала всхлипывать и выть, и древнее морщинистое лицо ее было совершенно сухим: выплакала все слезы за долгую и суровую жизнь. Вскоре она вернулась.

— За невесткой присмотри! — крикнул Маремьян, трясущимися руками перевязывая сына. — Перестань выть!

Он не терпел слез. Невестка Маша была в положении. И когда увидела мужа в окровавленной рубашке, мертвенно бледного, подкосились у нее ноги — упала на желтый речной песок.

В суматохе не заметили, как причалил катер, из рубки вышел начальник лесоучастка Шнейдер.

Накануне они с Маремьяном собирались на рыбалку.

— Несите его в каюту! Да побыстрее! — крикнул Шнейдер, увидев Прокопия.

Мик вертелся у всех под ногами и, захлебываясь, рассказывал:

— Он его, наверное, в упор. Я, я... Меня там не было. Ружье мое картечью... Мне ружье не дали, а то бы такого гада...

Катер круто развернулся и, оставляя за собой белые бурунчики, помчался к лесоучастку.

Молоденькая белокурая фельдшерица опустила руки и почти шепотом сказала:

— Я не могу, операция нужна. Скорее в район! И пить... Пить не давайте!

Шел девятый час вечера.

Радист, не выслушав до конца, отрубил:

— Нет, связь у меня в одиннадцать утра. Кто сейчас меня примет?

— Через другие станции попробуй! Можешь? — попросил Шнейдер. — Пойми, задержка даже на час...

— Человек может умереть, дубовая твоя голова! — взорвался лесничий Мик.

— А я тут при чем? Сказал же — завтра... А сейчас нет...

Неожиданно Маремьян с нестариковским проворством выскочил из-за спины Шнейдера и схватил радиста за грудки, прошипел, приподняв его:

— Как нет?! Как нет?!

Он вцепился в радиста с отчаянием загнанного зверя, который готов на все. Первым опомнился Шнейдер: он схватил Маремьяна за руки и вывел на улицу.

— Вот что сделаем, Маремьян, — заговорил он. — Я дам самый быстроходный катер, вези сына к геологам. Фельдшера возьмете. Там в экспедиции базируются вертолеты, дадут. Иного выхода нет. Выиграете десять часов...

Из небольшого юркого «костромича» выжимали все. Механик-моторист что-то смазывал, чистил, закручивал, прикладывая ладонь к корпусу двигателя, прислушиваясь к его дрожащую.

Северная ночь настолько коротка и светла, что не зажигали фару. Гул мотора тревожным эхом отзывался в спящей тайге.

В каюте на жестких нарах в бреду лежал Прокопий. Маремьян, не доверяя молоденькой девушке-фельдшерше, ни на минуту не отходил от сына. Сын с трудом стонал, губы запеклись, лоб покрылся испариной. Отец прикладывал к его горячему лбу мокрые бинты. Когда они нагревались, он убирал их. Смачивал водой запекшиеся губы. Иногда сын порывался встать, скрипел зубами. Отец успокаивал его,

что-то шептал ему, обещал, умолял, хотя вряд ли потом мог вспомнить то, о чем говорил.

К утру сын очнулся — в глазах появилось осмысленное выражение. Он долго смотрел на отца, губы пытались вытолкать невнятные, добытые мукой, слова:

— Сын... бу...

Отец кивнул и попытался улыбнуться: мол, отлично все понял. Но потом до него дошел истинный смысл этих слов, и он ужаснулся: может быть, это последнее дыхание сына, слова прощания... грань между жизнью и смертью. Иначе зачем просить, для чего? И вдруг так горько стало отцу, словно сердце прищемило глыбами льда и оно стало медленно-медленно плющиться. И само собой, без его воли, на заросшую щеку выкатилась слеза, выжигая и вспахивая глубокую борозду. Сын, кажется, заметил это, хотел успокоить отца:

— Па-а...

Отец замотал головой. Он заметил, что глаза сына снова туманятся, что он вот-вот потеряет сознание. И тогда отец заговорил. Ему надо многое сказать сыну, его прорвало — говорил захлебываясь, без остановок. А что говорил — не мог потом припомнить. Может быть, оправдывался за свою нечаянную слезу, которую не удержал потому, что умирает последний сын — продолжатель рода, умирает на его руках, а он беспомощен перед костлявой старухой. Старшие сыновья погибли далеко от дома, и он не видел, как они умирали. Поэтому он выдержал их гибель, перенес. И надежда на своего младшего, бывшего всегда под рукой, помогала: передал ему весь свой жизненный опыт и свою мудрость, вложил в него свою душу. Быть может, говорил об отцовском горе. Оно не легче материнского. Мать выплачется — ей легче станет. А отцу нельзя плакать, мужчины не плачут, тайга презирает тех, кто плачет. У отцовского горя нет выхода — оно жжет изнутри и порою все выжигает... Возможно, он говорил молитвы, обещал богу в жертву все, что у него было, и даже собственную жизнь, — лишь бы Верховный спас последнего сына. Если в ураган рухнет старое дерево — его не жалко, отжило свое, а когда погибает молодое неокрепшее деревце — погибает сама жизнь.

Сын застонал тяжело, с надрывом. Отец замолк.

Сын давно потерял сознание и не слышал отца. Голова Маремьяна сникла, отвалилась на грудь, словно шея отказалась держать ее — тяжелую и лохматую, она семь десятков была черная как смоль, а теперь за одну ночь подернулась седым пеплом.

...Речной кулик пропел что-то на своем птичьем языке, и взошло солнце. Катер развернулся и мягко приткнулся к причалу. Городок геологов спал сладким предутренним сном.

Маремьян побежал к начальнику нефтеразведочной экспедиции, человеку лет пятидесяти с иссеченным морщинами лицом, многое повидавшему на своем веку. Тот сам разбудил командира вертолета, наказал, чтобы тот на подходе вызвал санитарную машину.

Вертолет рванулся в небо.

...Заряд разорвал печень. Операция длилась четыре часа. После этого еще одиннадцать часов жизнь боролась со смертью. Но исход этой борьбы не мог решить ни Маремьян Лагерм, отец семи сыновей и дочери, ни врачи, ни бог. Все были бессильны.

На следующий день Маремьян вернулся домой. Старуха Анна кое-как выдавила:

— Машенька ро-дила...

— Кого?! — встрепенулся Маремьян.

— Сына... мертвого...

Они взглянули друг на друга и замолкли.

Время безжалостно и жестоко, как и судьба. Они остались с тем же, с чем встретились полвека назад. Только тогда им было по двадцать и все было впереди, а теперь по семьдесят и все, все уже позади.

На полуглиссере приехал вечно сонный участковый лейтенант Петушков. Осмотрел место происшествия, поводит замусоленным карандашом по записной книжке, такнул, дважды чертыхнулся и собрался уезжать.

— Никуда не денется, — сказал он, заметив хмурый взгляд Маремьяна. — Два дня уже прошло. Еще через два кончатся патроны, комары не дадут житья. Сам придет, куда он денется!

Участковый зевнул, вполз в кабину и был таков.

Маремьян сидел на перевернутом обласке и смотрел на темную речную воду. Трубка давно потухла. Старуха беспокойно наблюдала за ним. Она не знала, о чем он думает. Но по тому, как голова его клонилась все ниже и ниже, она догадывалась, что думы мужа тяжкие и мрачные. Наконец он сказал:

— Приготовь сухарей на четыре дня.

— Ох-хо-хо! Что задумал опять? — запричитала старуха. — Головушку потеряешь свою! Ох-хохо!..

Но все же отыскала заплечный мешок. Ей еще ни разу не удавалось отговорить Маремьяна. Что упадет ему в ум — хоть шею свернет, но не отступится. Таков он был, особенно в молодые годы.

...По едва заметным признакам таежник находил след человека, который намного грубее и заметнее наметанному глазу, чем звериный в чернотропье. Сломана ветка, ободрана кора, осыпаны цветки и примяты мхи — все это о чем-то говорит, это язык тайги.

Беспалый шел прямо на юг, к Оби. Там большой поселок, отделение совхоза. Туда и метил преступник. Его нужно догнать на водоразделе или на худой конец в поселке. Если он, Маремьян, опоздает, то преследуемый скроется, вырвется из тайги. Вырвется туда, где он, Маремьян, безвластен и бессилен, потому что его сила только в знании тайги, ее законов. А там он кто?!

Не давала покоя мысль, что убийца сына, как и он, Маремьян, видит солнце и небо, вдыхает хвойный запах. Эта мысль острой болью вклинивалась в мозг. Имеет ли право на все это тот, кто сгубил жизнь? Он сам себе подписал приговор. Сам, никто не вынуждал. Значит, я должен судить его во имя единственного сына и внука. Взять грех на душу нелегко, но и не взять... еще тяжелее. Тяжко бремя усопшего, но во сто раз тяжелее оно у живущего на земле...

Жизнь за несколько соболиных шкур? Человеческая жизнь... разве это мыслимо? Человек превратился в зверя... только более опасного, чем лесной хищник.

Маремьян шел всю ночь. Было светло и мошкары меньше, чем днем. След Беспалого все время тянулся по левому берегу ручья. Видимо, опасаясь заблудиться, тот не отходил от воды.

Когда солнце выбралось на верхушки хмурых елок, Маремьян сделал первый привал. После кружки крепкого чая покормил собаку. Затем натянул полог в тени, в нескольких шагах от солнечных лучей, и задремал. Солнце разбудило его вовремя, как раз в намеченный срок.

В полдень Маремьян услышал лай своей собаки. Она тьякнула несколько раз и замолкла. Он насторожился. В голове лайки не было ни озлобления, ни беззаботности, ни игривости, а будто только удивление: погляди, хозяин, что я нашла. Маремьян снял с плеча ружье, раздвинул кусты. У ручья лежала вздувшаяся лосиная туша. Над ней висел рой мух. Маремьян подошел к кострищу, что оно скажет. Пепел есть, а ветрено было вчера ночью. Значит, был здесь днем. Пустая бумажная табакерка — курево кончилось. Мясо жарил, с собой взял. Спал недолго, животом болеет... С лосихой, однако, погано обошелся, даже кишки не выпустил, разве можно так? Он покачал головой, вытащил внутренности лосихи и на совесть, по-хозяйски накрыл тушу ветками, словно собирался когда-нибудь вернуться сюда.

Маремьян уже хотел уйти, когда с другой стороны ручья на него вышли два ушастых лосенка, чудом державшихся на длинных тонких ногах. Солнце тонуло в их грустных выразительных глазах. Идут прямо на него, словно он убил их мать, он лишил их радости земной...

Лосята остановились у самой воды: Маремьян не мог отвести от них глаза. Выживут ли?.. С каких пор дикие звери

без страха стали подходить к человеку? С каких пор перестали бояться?! Может быть, что-нибудь в мире изменилось, случилось что-то непонятное и страшное?! Да, да... страшное и непонятное!.. Маремьян вмиг вспотел, по спине поползла тяжелая липкая капля...

Он взял собаку на поводок и рысцой, ломая сучья и кустарник, бросился в глушь, подальше от злополучной поляны.

Усталое солнце стало медленно падать за горизонт. На мохнатых лапах елей застряли последние гаснущие лучи, медно отражаясь в струях ручья. Тайга насторожилась, замерла. Провалится солнце за лес — настанет время хищников.

На закате Маремьян попил чаю, взглянул на уходящее солнце, чтобы знать, каким будет завтрашний день, и пустился в путь.

Ручей давно исчез меж корневищ столетних гигантов-елей, и теперь Маремьян шел по следу, чтобы не потерять Беспалого в этой глуши. Помятая трава, поломанный кустарник и трухлявые колодины говорили о том, что преследуемый уже кое-как передвигает ногами и делает частые привалы.

Начался водораздел — густая, сумрачная и труднопроходимая грива, заросшая кедром и пихтой. Моховой покров по колено — трудно ступить. После пойдет смешанный лес и там будет река и поселок.

Всю ночь пробирался Маремьян сквозь девственный урман. Терял след, снова находил и шел дальше. Поутру впереди взлаяла собака Маремьяна, чуть позже выстрел. Лайка, взвизнув, свалилась под куст. Вздогнул кедрач. Маремьян заскочил за ствол дерева, притаился. Стало так тихо, словно остановился бег времени. Следопыт снял кепку, стряхнул с нее паутину, разгладил и осторожно высунул из-за кедра, поскреб ногтем по коре. Гулко бабахнуло — на козырьке осталась рваная дырочка.

— Черт возьми, козырек попортил, — досадливо пробормотал Маремьян.

Пуля шмякнулась о ствол рядом стоявшего дерева. Кедр брызнул янтарно-чистыми слезами. Они неторопливо катились на неровной серой коре и уходили в изжелта-зеленый мох, в землю. Маремьян пристально смотрел на капли, бегущие по шершавому стволу кедра. Время излечит тебя, Кедр! Теплые ветры зализжут твою рану, осенние дожди промоют ее, яркое солнце согреет, и через год-другой все пройдет. Ты молод, ты силен. Ты проживешь много-много лет...

Раздался треск ломающихся веток. Беспалый небольшими перебежками от дерева к дереву уходил от таежника. Охотник даже не взглянул ему след: о чем-то думал, что-то прикидывал. Может решал, быть или не быть...

Маремьян похоронил собаку и пустился в погоню. Но шел

теперь не след в след, а сторонкой, присматриваясь к каждой коряге, прислушиваясь к шорохам и звукам. Знал, что Беспалый попытается любой ценой оторваться от него, думая, что за ним идет несколько человек. Но осторожность никогда не повредит.

Солнце плыло высоко над тайгой — наступил полдень.

Вдруг Маремьяна остановил звук, похожий на стон. Он доносился откуда-то из-под земли. «Что за черт? Какая нечистая сила днем-то?» Удивленный Маремьян сделал шаг, другой... Никого нет, а стон слышится... из-под земли. «Леший, что ли, меня водит!» — выругался он, собираясь уйти. Но тут увидел ружье — двустволку Мика. То самое ружье... Оно лежало на мху, сверкая лакированным прикладом, вот, протяни руку и... Маремьян схватил ружье и хрястнул по дереву. Неистово молотил двустволкой по чему попало. Ему казалось, что при каждом ударе ружье повизгивает и стонет. Это доставляло необъяснимое удовлетворение. Уже отлетел приклад, рассыпались железяки и винтики. Когда от ружья ничего не осталось, он остановился, тяжело перевел дух, недоуменно поглядел по сторонам, и, опустошенный, повалился на землю, как в бездонную пасть какого-то чудовища. И не мог потом вспомнить, сколько пролежал так без всяких мыслей и чувств. Пришел в себя от того же подземного стога. Маремьян сделал шаг и замер — будто на стену наткнулся. В яме под корягой лежал Беспалый. Волосы в красно-бурой глине, лицо от мошкеры стало безобразным, бледным и безжизненным. По носу сновал муравей с кедровой иглой. Лежал какой-то бесформенной грудой, присыпанной сверху мхом. Ничего общего с тем Беспалым, которого преследовал Маремьян. Только глаза те же — до дрожи ледяно-голубые и мертвые.

«Медведь могилу приготовил», — не то подумал, не то пробормотал вслух Маремьян.

...На ночлег Маремьян выбрал поляну между двух разлапистых кедров. Напоил Беспалого чаем и уложил в полог. Сам прикорнул возле костра из гнилушек. Прошедший день вконец измучил его, поэтому задремал сразу, но спал чутко. Во сне слышал, как вздыхала тайга и трещал сверчок на стволе умирающего дерева.

Беспалый неподвижно лежал на спине. Он видел сквозь ситец полога неясные очертания деревьев, далекое небо в сизой дымке, да слышал унылую песню комаров. Боль в ноге не унималась. Но он старался не стонать, хотя знал: когда стонешь — легче. Боялся, что Маремьян проснется, будто таежник мог проникнуть в его мирок, заглянуть в душу. Этого он смертельно не хотел. Как ни странно, в этой глуши он боялся умереть. Теперь, когда смерть подошла почти вплотную и бродит где-то совсем рядом, со страшной силой хотелось жить. Где угодно, хоть в клетке. Ничего не нужно, готов отдать все, чтоб

только вернуть жизнь. Раньше смерть была где-то далеко, говорил о ней презрительно, с гонором. А теперь?.. Все зависит от этого угрюмого человека, который не сказал за весь день ни одного слова. Молча подносил кипяток и пищу, молча стелил постель, словно был один в лесу. А ведь он, Беспалый, совсем не хотел убивать этого парня. Сначала он озлился на несговорчивость Прокопия — ведь мог просто пообещать, до зимы вон сколько времени, а он даже слово обещания пожалел. А когда понял, Беспалый, что охотник не чувствует страха перед ним, то вконец взбесился. Не помнит, кто бы мог выдержать без внутреннего содрагания скрывающий холод его ледяно-мертвых глаз, когда, чуть сощурившись, буравил взглядом человека. А тут какой-то охотник только усмехался небрежно — или малость тронутый, или сильнее его, Беспалого. Неужели сильнее?! В нем что-то зашевелилось, заерзало — не то страх, не то слабость. Потом его охватил испуг и бешеная злоба на всех, кто был сильнее и не хотел попадаться в его сети.

Там, на пристани, все вышло как-то случайно, он сел в шлюпку, чтобы отрегулировать дозирующую иглу в моторе. Но шлюпка была не привязана, ее подхватило течением и стало относить от берега. «Эй, подтяни, уносит меня», — крикнул он Прокопию и протянул ружье Мика. «Давай», — сказал Прокопий и взялся за стволы бескурковки. И тут Беспалый увидел, что дула смотрят прямо в охотника. Если нажать на спусковые крючки... ведь курков — не то не надо взводить.

Свое прошлое он почти не вспоминал. Война сделала его сиротой. Бродяжничал, скитался по детдомам. Потом попал в воровскую шайку, где кое-чему обучился. И сам начал добывать деньги всеми способами, ничем не гнушался. Грабил сберкассы в небольших селениях и скрывался. Первый раз пошел на «мокрое» вроде тоже случайно. Ночью, после очередного ограбления, подвернулся милиционер — видимо, заподозрил что-то неладное. Пришлось тюкнуть его по голове, чтобы отключился на время. Оказалось — совсем. Подобрали только утром. После Беспалый оправдывал себя тем, что не мог предвидеть последствий... Сюда, в Сибирь, Беспалого привезли на старой железной барже как рабочую силу. Но рук он не стал мозолить: кому это нужно?! Есть другая сфера деятельности: недавно вдвоем с дружкой очистили в селе отделение связи и рванули в тайгу, неделю блуждали. Когда осталась буханка хлеба, он решил, и труп в болотной жиже утопил. Рассуждал: «Зачем делить на двоих? Кому нужен этот дружок? Лягачи спасибо скажут, когда узнают — давно его разыскивают. Если бы не я его, так через день бы он меня кокнул!»

Он лежал, и мир сквозь полог виделся ему прозрачным

и далеким. Не мог понять, почему Маремьян ломит под ним свою хребтину. Он всегда презирал людей непонятных, таинственных. Если не хочет марать руки — оставил бы, все равно не выжить. Так поступил бы всякий здравомыслящий. Так поступал он, Беспалый. Зачем спасать убийцу сына? Предать законному суду? Лучше самому свершить. И даже не своими руками, а с помощью угрюмой тайги. А вдруг старик рехнулся?! Рехнулся — вот и тащит...

Трудно постигнуть душу человеческую. Но вдвойне трудно, если она бесхитростна и кристально чиста.

Втайне Беспалый надеялся, что, когда кончится последний сухарь и выйдут все патроны, когда Маремьян выбьется из сил, что-то произойдет: таежник должен покинуть его в этой глуши, чтобы спасти себя. Тогда все станет на свое место и он умрет со спасительной мыслью, что все люди — звери, что каждый старается урвать приличный кус: только одни это делают незаметно, красиво, изящно — на их стороне закон, а другие — грубо, открыто, всеми дозволенными и недозволёнными способами, как он сам. Такие стоят вне закона.

Но настало утро и Маремьян снова пристроил его на свои плечи.

Наконец, кончились сухари, патроны были уже на исходе. Самое время спастись сильному, а не то будет поздно. Беспалый по ночам не смыкал глаз: прислушивался, когда Маремьян потихоньку встанет и ускользнет в тайгу. Ему казалось, что охотник обязательно бросит его ночью. Но наступал день, и все начиналось сначала. Маремьян шаг за шагом пробирался сквозь дебри к спасательной реке. Чем труднее становилось, тем с большим упорством шел он вперед. Откуда у него берутся силы, откуда это упорство — Беспалый силился понять, но тщетно.

Маремьян иногда сам удивлялся тому, что не бросил Беспалого, взвалил на себя такую ношу.

Тот день проплыл в каком-то тумане, хотя на небе не было ни единого облачка, солнце золотым шаром висело на своем обычном месте, щебетали птицы. Все шло своим чередом, жизнь не останавливалась, спешила. Узловатые сильные пальцы охотника беспокойно крошили веточку лиственницы, словно они должны были решить, что ему делать. «Может быть, надо побыстрее убежать отсюда, пусть медвежья берлога станет ему могилой. Но медведь — этот дух тайги — никогда не простит, что Дом его стал кладбищем, а я видел и не вычистил... Но ведь Беспалый приносит людям только зло. Кому такой нужен? На земле и без него много зла. Никто не будет упрекать старого Маремьяна. Да и за что? За то, что похоронит убийцу. Но мертвого можно закопать и жить со спокойной совестью, а этого, живого... попавшего в беду... В беду... По неписанным законам таежным попавшему в беду надо

помочь. Давно в тайге перевелись бы все охотники, если бы не помогали друг другу, если бы не спасали попавших в беду, если бы не отдавали все, что нужно для поддержания жизни. В тайге это свято соблюдали. Ни один настоящий таежник не может преступить этот закон. Большой грех — дать угаснуть жизни, когда можешь предотвратить смерть. Человек иногда бывает сильнее смерти... и намного сильнее, чем думают...» Маремьян сипнул потухшей трубкой, вытащил ее изо рта, наклонился, чтобы высыпать пепел. И увидел под ногами кожаный бумажник. Из рассыпанных денег и бумаг глянули на него детские глаза. Большие и выразительные. Он отступил на шаг — глаза следили за ним. Несколько мгновений стоял неподвижно, затем выволок Беспалого из берлоги, приспособил к его переломанной ноге выструганную из сушняка дощечку. Брезгливо вытер руки, словно прикоснулся к дерьму.

После, пробираясь по ельнику, Маремьян подумал, что вот вроде бы немало прожил, а никогда толком не знаешь, какие разумные и безрассудные поступки сделаешь. Не знаешь, а жизнь заставит... Пришла мысль о медведе. Этот всевидящий чернолицый тайги вряд ли простил бы то, если бы его Дом стал могилой и охотник не вычистил бы его.

...На вечерней заре Маремьян вышел на тропу и остановился на склоне таежной сопки. Сбросив свою ношу и, не оглядываясь, направился в сторону поселка.

Он решил, что участковому тоже надо поработать.

Он шел, и на него нахлынули воспоминания. Полвека тому назад, здесь, на этой реке, в леденящую стужу вооруженные военными ружьями всех его родных кончили. Под обрывом, в полынне... За то, что его отец вывел из-под смертельного удара других с такими же ружьями. А он, Маремьян, на охоте был, жив остался. Но потом и он отомстил за них — жестоко, беспощадно. И навсегда покинул эту реку, чтобы она не напоминала о тех днях, смутных и горьких. И вот приходится возвращаться...

От недалекой реки повеяло пронизывающей стынью.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Утром она проснулась от лебединого крика. Они трубили на болотном озере. И хотя до озера было недалеко, ей казалось, что лебеди где-то рядом, за прокопченными стенами избушки — так отчетливо доносились их крики. Они играли словно на серебряных трубах, они звали: хотелось выйти и взглянуть на них. Тревожила и осень: сентябрь донага раздел деревья — лес насторожился, стал чистым и звонким. Прозрачными были воздух и утро. Все стало тонким, трепетным, воздушным. Ничто не задерживало звуки, ничто не искажало их. Сколько в них грусти! Если внимательно прислушаться, уловишь все: и тяжесть неведомого, далекого пути, и тоску по родному озеру, и надежду на возвращение, надежду на жизнь...

Девушка лежала в тепле спального мешка и слушала лебедей. Слушала так долго и внимательно, что стала понимать эту миморную музыку осени. Для нее ясно доходило то, что играли лебеди. И мысль, что ей доступен язык этих гордых птиц, радовала ее. Никто еще не понимал языка птиц. А, оказывается, можно. Только никто до нее так терпеливо не прислушивался к голосу птиц, поэтому и никто не понимал их. И вот она первая... На ее бронзовом от ровного загара лице блуждала улыбка. Улыбка до того легкая, что, казалось, ее может вспугнуть любой неосторожный шорох, любой посторонний звук. И тогда бы нежная кожа быстро разгладилась — ни морщинки, ни складочки, будто бы не улыбалась вовсе. Только ресницы затрепетали бы гневно. Но никто не осмеливался нарушить таежную тишину, никто, кроме озерных лебедей. А они не мешали ей. Как хорошо, что уговорила Диму взять с собой в это царство тишины и звуков! И уезжать никуда не хочется. Так и жила бы весь век в этой прокопченной таежной заимке с ее лебединой музыкой и запахами осени... Ей показалось, что так и будет. Что может помешать ее мечтам?!

Тонко скрипнула половица. Это поднялась бабушка Дарья — махонькая, но необыкновенно проворная старушка-хозяйка. Первым делом она затопила чужал — потянуло легким дымком. Наконец двери сказали, что хозяйка вышла на улицу. Если хозяйка встала, значит, половина седьмого — хоть часы прове-

рай. У нее все приготовлено с вечера: береста для огня, дрова, вода, спички. Утром только шаг — и оживает весь дом в одно мгновение.

Попозже, кряхтя и поохивая, поднимается дед Архип. Шумно выковыривает из трубки нагар, проволочкой прочищает мундштук. Потом неспеша набивает табаком трубку, чиркает спичкой — слышится посапывание. Старик умолкает. На подвернутых ногах сидит он на лежанке, свесив седую голову с редкой бородкой, и курит свою трубку. Курит он долго — минут пятнадцать. Девушка сейчас не видит его, но знает, что морщинистое лицо отвердело в глубокой задумчивости. Подслеповатые глаза прикрыты бледными веками. В этот миг он никого не видит и не слышит. О чем он думает? Кто знает...

Лучик осеннего солнца через маленькое оконце проникает в избушку. Лебединый крик становится глуше. Потом совсем растворяется в наступающем дне и глохнет.

Девушка открыла глаза.

Выкурив трубку, дед Архип будит внука Диму. Голос у него резкий, не стариковский:

— Вставай, охотник!

— Тут тебе не город, вставай! — тонко вторит ему бабушка Дарья.

— Привык в городе-то...

— Звери-птицы далеко уйдут.

Дима мгновенно проснулся и тотчас же встал, зная, что дед не любит, когда нежатся в постели. Он поглядел в окно, чтобы узнать, какая погода. Его румяное ото сна лицо с тонкими правильными чертами и чуть-чуть раскосыми глазами ожило. Потянулся до хруста в суставах и, направляясь к умывальнику, поддел деда:

— Такое солнце! Хочешь на охоту, дедок, а?!

Старик только махнул сухой кистью: не болтай, мол, вздор, я уже отходил свое. Потом сказал потише:

— Чо кричишь, как ворон?

— А что?

— Марину разбудишь.

— Проворная жена раньше мужа встает! — вставила бабушка Дарья.

— Да не жена еще, — понизив голос, поправил внук.

— Кто же тогда?

— Невеста. Разве не ясно?

— Что жена, что невеста — все одно... — Не сдавалась бабушка.

— Хватит! — отрезал дед.

Внук с бабушкой примолкли.

— Хватит, — повторил дед. — Дайте человеку выспаться...

Помолчал дед, потом добавил:

— Выйдет замуж — успеет еще намаяться.

Бабушка Дарья с удивлением взглянула на своего старика и тут же, хитро усмехнувшись, залопотала:

— А я чо говорю?! Неужто я одна с хозяйством не управлюсь? Всю жизнь управлялась, а тут...

Разговор на этом прервался. Дима вышел на улицу. Бабушка хлопотала у чувала. Дед сердито сопел. А Марине стало неловко и она притворилась спящей.

В доме стало тихо.

Прошло сколько-то времени. Стукнула дверь — это вернулся в избушку Дима. От него едва уловимо пахло росой, сосновой хвоей и свежестью осеннего утра. Глухариным пером он пощекотал девушку по носу и шепотом пропел:

— Проснись, Маринушка!..

Она улыбнулась и, не открывая глаз, чмокнула его куда-то в небритый подбородок. И спросила тихо:

— Слышал лебедей? Не приснились?

— Лебеди? Какие лебеди?

— На озере... Утром рано...

— А-а. Я ведь сплю как бурундучок!..

— Знаешь, Дима, я, кажется, понимаю их...

— Ну, ты фантазерка, оказывается! — перебил он. — Скоро разговаривать начнешь с ними.

Девушка промолчала.

— Ладно, поднимайся, — улыбнулся Дима. — Зам-мечательная сегодня погодка! Погляди!

После завтрака Дима ушел на охоту. Приехали на две недели, поэтому он целыми днями бродил по тайге со своей мелкокалиберкой. Приносил рябчиков, изредка косача или копалуху. Как-то и Марина ходила с ним на охоту. Наткнулись на выводок рябчиков. Охотник так увлекся, что позабыл про свою спутницу. Когда спохватился, едва разыскал ее. Больше с ним она не ходила. Теперь она держалась за бабушку Дарью — собирала бруснику, грибы, делала снимки. Искала растения для гербария, ловила разных жучков и насекомых. Скучать было некогда.

Дед Архип ловил рыбу. На охоту он уже не годился, а в снастях еще разбирался. После рыбалки он садился на чурбачок возле займки и, дымя трубкой, смотрел на реку. По ней изредка проходили рыбацьи моторки.

Из-за реки доносился далекий гул вертолетов и самолетов — там стояла какая-то экспедиция. Дед вырывал изо рта трубку, зажимал ее в костлявом кулаке как волшебную палочку, тыкал ею в сторону реки и глухо ворчал:

— Рру-бят!..

Он всегда с разной интонацией произносил это слово: с нестариковской злостью, с обреченностью усталого человека, с детским удивлением, с надеждой на определенный ответ.

Но никогда — равнодушно!

Марина считала его добрым. Он любил поговорить с ней: знал много всяких небылиц про тайгу, про зверей и птиц. Девушка подумала однажды, что он видит лучше всех зрячих. Может быть, и вправду видит лучше?! Ведь человеку помогают жить не только глаза...

Сентябрьский день все короче и короче. Солнце стало серым и неподвижным, как обленившийся медведь, который собирается залечь в берлогу. Ничто уже не тревожило его: ни умирающая осень, ни шумные стаи перелетных птиц, ни грустная лебединая песня.

Вечером на озере снова затрубили лебеди. Звук теперь был далеким и неясным. Его приглушал поднимающийся сырой туман.

Марина слушала молча. Задумчивые серые глаза ее остановились на мутном окошечке заимка. Потом, будто очнувшись от глубокого сна, сказала жестко и решительно:

— Видеть хочу... лебедей!

Дима подавился дымом сигареты и закашлялся.

«Про фантазию начнет или зоопарк, — подумала девушка. — Или просто пожалеет, что взял с собой».

Но дед Архип опередил внука.

— Верно, доченька — была в тайге и не видела самое необыкновенное! — веско заметил он. — Утром ранехонько я вас подниму, посмотрите. Озеро недалеко тут. Кормятся они там, отдыхают перед дальней дорогой.

— А через топь на болоте как она перейдет? — поинтересовался Дима.

— Так же, как и ты! — отрезал дед.

Сердито попыттел трубкой и добавил:

— Совсем тебя, видно, город попортил, ох-хот-ник!

Поутру, когда птицы еще не осмеливались разбудить тайгу, дед поднял внука и Марину.

— Лебеди кормятся на Северном заливе, где водоросли у самого берега, — наставлял он. — Обойдете озеро, выйдете прямо на них. По утрам они бывают у самого бережка. Через озеро-то ничего не увидит наша деточка, кроме белых шариков. И то не разберешь — то ли лебедь, то ли пена.

Утро прозрачное, росистое и холодное.

Шли сначала по сосновому бору, потом вышли на болото. Через топь перебрались по кочкам и скользким настилам со слегами на руках.

Между деревьями в лучах восходящего солнца засеребрилась гладь озера.

— Теперь поползем! — сказал Дима.

— Зачем?

— Чтобы не увидели.

— А-а...

— Чтоб поближе подобраться...

Но Марину сейчас волновало другое. Она одними губами прошептала:

— Тиш-ше...

— Да они плохо слышат.

— Совсем не услышат?

— Зато они хорошо видят.

— Да?

— Да, главное, чтоб не увидели.

— А я ползать не умею... по болоту.

— Упрись на локти.

— Попробую...

— Ну, пошли.

Между серых болотных кочек доползли до последних кустиков. Дальше метров тридцать до воды — чистый берег с реденькими пучками осоки.

Марина, затаив дыхание, выглянула из-за куста: стая висела над водой со сложенными крыльями. Не плавала, а висела. До того они изящны, легки и чисты. Ничего белее в жизни она не видела. Озеро вдруг стало светлым-светлым, а берега раздвинулись до бескрайности.

Лебеди заслонили собой весь мир.

И пред этой светлой бескрайностью защемило сердце. Защемило сладко и тревожно, словно оно оторвалось и парило где-то в груди — вот-вот выскочит. И тогда ты станешь таким же светлым и чистым и поднимешься в бескрайнюю высь — в царство света и солнца. И там постигнешь что-то такое, такое... непостижимое. Может быть, остановишь мгновение. Остановишь время, остановишь плавное течение времени...

Так щемит сердце только раз в жизни.

А лебеди, лебеди...

Одни плавали в сторонке с настороженно поднятой шеей, сторожили стаю. Видно, часовой.

Ближе всех к берегу кормилась птица с красным ободочком на основании черного клюва и бесстрашными блестящими глазами. Она с головой уходила в воду, будто делала стойку. Торчало лишь хвостовое оперение. И так стояла до тех пор, пока не находила лакомство. Потом, на всю длину вытянув шею, тонкую и беспомощную, глотала добычу. Затем дугой выгибала шею и водила клювом по-над водой, словно высматривала что-то. Тут к ней подплывала другая птица. Наверное, друг. Он потянулся к ней клювом — видно, хотел поцеловать. Но лебедица мотнула гордой головой: не мешай, мол, нужно силы набирать перед дальней дорогой. Тот обиженно опустил голову, но далеко не отплывал. А лебедица осмотрелась, на миг замерла с выгнутой шеей! — будто замер весь мир. Потом, успокоившись, смахнула с крыла пылинку и вновь нырнула за пищей.

Марина спохватилась: легонько вытащила фотоаппарат и нацелилась на лебедицу.

Грохнул выстрел.

Из рук девушки выпал аппарат.

Шум воды. Хлопанье крыльев. Утробный стон.

Лебедица дважды хлопнула выгнутым крылом и, беспомощно волоча левое, печально трубя, рванулась на середину озера.

На взлете, в лучах восходящего солнца, стая превратилась в золотисто-серебряную арфу, заигравшую тревожно-печальную мелодию озер и болот. Это четко врезалось в сознание девушки. А потом лебеди стали терять очертания в каких-то туманных наплывах, словно начали растворяться. Только трубные звуки доносились отчетливо и ясно. Затем в эту минорную музыку ворвалось что-то постороннее:

— Я же охотник... пойми...

— Ты... ря... рряб... ряб-чишник!..

Гребеночка соснового бора за озером проколола шар встающего солнца. И оно запуталось в ветвях-колючках.

И когда на обратном пути переходили через топь, у девушки сердце уже не замирало, не билось трепетно перед бездонной черной пастью болота.

Весь день прошел у нее в каком-то полусне, все к чему-то прислушивалась. Но был сильный ветер. Бор ворчал глухо и басовито: поглощал все шумы тайги. Марина утешала себя тем, что лебедица залечит свою рану и улетит в тепло. Но эту прозрачную надежду теснили сомнения. Она знала, что вот-вот ударят холода...

Утром она проснулась от гнетущей тишины, словно природа надела траур. Вдруг услышала едва уловимую игру воздуха на иглах старой сосны, стоявшей близ избушки. И неожиданно тишину рванула лебединая песня. Вовсю затрубила стая. Но ее мелодию коверкал другой звук. Крик, полный отчаяния и безысходной тоски. Он был на тон выше всех остальных звуков. Будто птица забиралась высоко-высоко, в заоблачные выси, где должно быть седьмое небо.

Это плакала раненая лебедица.

Сколько грусти, сколько тоски и надежды! От этой песни бросало в дрожь. Девушка закрыла ладонями уши. Но и с закрытыми ушами она слышала лебединую песню. Последнюю, прощальную. Она слышала каждой живой клеточкой своего тела, начиная с маленьких ступней с облупившимся лаком на ноготочках и кончая длинными, хорошо развитыми пальцами рук в нежной, матово-темной от загара кожей. Но особенно боль этой песни усиливалась на девственных, никем не целованных грудях...

Песня безжалостно пробивалась к ней, звала далеко-далеко, в неведомую страну, где все не так, как на этой земле.

Избушка вдруг поплыла, накренилась, будто корабль в сильный шторм. Девушка обхватила голову руками и зажмурилась до боли в глазах.

Вечером дед Архип мрачно сообщил опешившему внуку, который только вернулся с охоты:

— На попутной моторке. Уехала на попутной Марина-то, да!

Вздыхнул, зажал в костлявом кулаке трубку так, что побелели пальцы, ткнул ею в сторону реки и добавил:

— Улетела наша лебедушка...

1976

СТАРШОЙ

По ночам Никиту Ларломкина будил шум дизелей.

Он прислушивался к их ровному бесперебойному голосу и узнавал о подъеме и спуске инструмента, о бурении или смене долота. Говорили дизели и о многом другом, чего не уловит слух неискушенного в технике человека. Голос у них густой, мощный. Стены утепленного балка слегка приглушали его и от этого он становился более мягким, выразительным. Широкой волной он окутывал промерзшую насквозь тайгу — с кедровой лапы серебристой искрой сыпался куржак, в чаще хмурые елки вздрагивали лишайчатymi бородами, а сугробы мягко поглощали все звуки. Буровая не давала тайге вздремнуть. И от говора дизелей в ней становилось как-то теплее.

Шум двигателей усыплял Никиту Ларломкина, словно колыбельная песня. Такую песню, кроме буровой, он нигде не слышал. И тотчас же просыпался, как только в этот голос вплетались посторонние звуки, не слышные другим, но режущие его слух.

В эту ночь Никита проснулся от натужного рева дизелей — они работали на пределе. По звуку — подъем инструмента. «Обороты, обороты добавь!» — взмолился он, обращаясь к дизелисту, там, на буровой. Но тот — то ли задремал, то ли отлучился куда. И дизели, еще раз всхрапнув, заглохли.

Никита накинул телогрейку и выскочил в стужу декабрьской ночи, пожалев, что встал не сразу. Бросился под навес и запустил дизели. «Подниму инструмент, все равно теперь

не уснуть», — подумал он и кивком головы указал помазку на электростанцию, освещавшую жилые балки и вышку. Тот молча взялся за ветошь. А дизелист — «вот беда-беда!» — видно решил пока не попадаться на глаза Никите.

Дизелисты немного побаивались и недолюбливали Ларломкина за угрюмый характер и излишнюю требовательность. Называли его просто Старшой, хотя этому смуглому, скуластому пареньку было всего лет двадцать шесть.

Когда подняли инструмент, на небе бледно занялась декабрьская заря. Никита так и не ушел спать — какой тут сон, если сегодня добуриваются последние метры. Бригада улетит на новую скважину, а он, старший дизелист Никита Ларломкин, останется здесь. Останется, чтобы не расставаться с дизелями. Можно, конечно, слетать на базу и вернуться с испытателями скважины. Но он не любит болтаться без дела. Такая уж судьба у старшего дизелиста — временный член любой буровой бригады, куда дизели — туда и он. Прилетят монтажники, разберут вышку, чтобы перекинуть на новый участок. А Старшой всюду сопровождает свои дизели, отвечает за них головой, ведь буровая без них — просто мертвая вышка. И на эту работу ставят всегда людей надежных, с большой практикой.

На обед Никита пришел последним — задержался в дизельной.

Повариха вновь, в который уже раз, пожурела его:

— Дались они тебе, Никитушка, машины эти — опять все остывает!

Никита виновато улыбнулся: мол, в желудке согреется.

— Расстаемся, значит, завтра, — сожалела повариха, грея мисками. — А женить тебя так и не успели — вон у нас какие коллекторши, чем не невесты! Ведь ты, со своими машинами, так бобылем горьким и останешься. Попомни мои слова!.. На другой буровой кто тебя так кормить будет, как я кормила?! Горе ты мое!

Вздыхнула повариха, подавая Старшому миску, которая была прикрыта и стояла отдельно, на углу горячей плиты.

Вполуха слушая повариху, Никита молча ел, думая с уважением: «Хорошо готовит — значит знает свое дело!».

К нему с бездонной кружкой чая подсел мастер и возобновил свою давнюю речь:

— Ну, что, Старшой, останешься в бригаде?!

Никита ничего не ответил.

— У меня глаз — вижу, кто на что способен...

Старшой будто не слышит.

— Редко ошибаюсь...

Старшой молча продолжал есть.

— Я из тебя, брат, такого бурильщика сделаю — все рекорды твои будут!

— «Нужны мне ваши рекорды!..» — усмехнулся в душе Старшой.

— А со временем, глядишь, первым бурмастером своего народа станешь...

«Какой из меня мастер?!» — подумал Старшой.

— Ну как?!

«Хитрит, старик, хитрит. Собака не тут зарыта...»

А старый мастер, прихлебывая чай, все поддразнивал:

— Бурильщик главный — на первом месте!

«Ну и что...»

— А что твои дизеля?!

«Будто сам не знает!»

— Ты вон насквозь промаслился от них, просолярился...

«Будто без масла и солянки можно обойтись», — подумал Старшой.

— Того и гляди — вспыхнешь!

Наконец Никита медленно, как бы с трудом, в первый раз раскрыл рот и выдал о дизелях свой главный довод:

— То — сердце буровой!..

Мастер-бригадир тут же встрепенулся:

— Так ведь сердцу нужна разумная голова, Старшой!

Никита, как бы извиняясь, покряхтел и молча вышел на улицу. И подался в дизельную: пообедал, делать в столовой нечего, а убивать время на пустые разговоры не привык.

Озадаченный мастер посидел над пустой кружкой, потом, обращаясь к поварихе, проговорил:

— Чудак наш Старшой-то...

— Да-а...

—хлопотно с дизелями, особенно зимой.

— Известное дело...

— Мается парень, а выгоды своей не понимает.

— Или не хочет понять...

— Работающий мужик.

— Только вот на баб не глядит...

— Откуда ты знаешь — не глядит?

— Да уж знаю...

— Сама, поди, глаз положила?

— Это уж мое дело.

— Ну, гляди: в тихом омуте сама знаешь, кто водится... — ехидно заметил мастер.

— Знаю, не пугай.

Мастер отодвинул кружку, поднялся из-за стола и, обведя взглядом тугие тела поварихи, спросил шутливо:

— Не могла, что ль, очаровать за-ради бригады?!

Та лишь плечом повела.

— Жаль... — сказал мастер.

— Что жаль?

— Мне не помешал бы в бригаде толковый механик... Мастер пожалел об одном, женщина — о другом. На этом и разошлись.

На другой день буровиков сменили испытатели, затем прилетела бригада монтажников — начался демонтаж буровой.

Никита все эти дни занимался мелким ремонтом в своем хозяйстве — «подтягивал гайки и винтики». Был он доволен — все дизели у него в порядке, хотя и немало поработали; сделал заначку — собрал кой-какие запчасти, которых у него не было и теперь разные мелкие поломки сможет устранять сам; удачно пробурили скважину — почти на два месяца раньше срока выполнили план проходки... Что еще надо?

По вечерам он долго не засыпал от непривычной тишины.

Во сне дизели жалобно, с отрывистым запоздалым стоном звали на помощь и он среди ночи вскакивал с постели. Но, кроме завывания ветра за окном и глухого шума тайги, ничего не слышно. Он лежал с открытыми глазами до тех пор, пока его не начинала убаюкивать тихая и нежная мелодия стальной упряжки. И утром он просыпался бодрым и веселым, с необыкновенной легкостью во всем теле.

Стояла странная зима: середина декабря, а настоящих сибирских морозов еще не было. Оттепели сменялись обильными снегопадами. Земля долго не промерзала под снегом, не твердела. Поутру на болотах из-под сугробов вырывался белесый пар. Округа еще дышала, не омертвела вконец.

Утром, выйдя из балка, Никита чутьем коренного сибиряка уловил, что зима повернула другим боком: вот-вот ударит мороз. Снег стал серебристый, светлей. Суровый ельник замер в ожидании чего-то, не шелохнулся ни единой иглой. Только беззаботный дятел звонко гремел на всю тайгу. На закате Никита убедился, что не ошибся. Как говорили охотники-ханты, солнце «надело шапку и варежки» — появились протуберанцы. «Пора уж, пора, — подумал Никита. — Какая зима без морозов?!»

Ночью его разбудили не дизели, а простуженный женский голос, до боли знакомый. Он поначалу никак не мог понять, во сне ли это, наяву ли. Только будто кто-то шепнул ему: «Она». И этот шепот на мгновение парализовал его. И потом, когда отпустило и он облегченно вздохнул, все равно не решился взглянуть на нее. Придя в себя и окончательно проснувшись, он взял с протянутой руки лист бумаги. Не прикоснулся к ее руке, но почувствовал, что она холодная.

Буквы долго прыгали перед глазами, и смысл написанного дошел до него не сразу. Это была радиограмма, подписанная начальником экспедиции. В ней приказывалось срочно доставить дизели на скважину Р-19. Подумал: «Почему она приехала?.. Кто она теперь?.. И кто дизели запорол — Семенов? Коваленко?..»

Он знал, что эту скважину во что бы то ни стало должны сдать до Новогоднего праздника — конец года, план, премии. «На орден жмет, — подумал Никита о начальнике. — Замучили со своими рекордами, только технику гробят!»

— Когда? — задал он ненужный вопрос, чтобы услышать ее голос и по интонации определить, как ему быть.

— Грузят монтажники, — сухо ответила она, выходя из балка.

В двери ворвался сизый клуб морозного пара.

Одеваясь, Никита все думал о ней. Прошло более трех лет с той весны, как она ушла от него. Ушла и бесследно исчезла, как в воду канула. А жили вместе почти два года, вроде, и ссорились-то редко. Правда, иногда скажет: «Ты все о машинах думаешь» или «Почему ты меня все зовешь «Татьяна да Татьяна?» На такие, как ему казалось, мелочи он не обращал внимания...

Везли дизели на двух тракторах с саночными прицепами. Грунтовая, недавно проложенная дорога была в заносах и ухабинах. Тракторы вгрызались в сугробы, буксовали, но... тихонько ползли вперед. Никита сидел в кабине второго трактора рядом с Венькой, мужичком неопределенного возраста с пухло-бледным лицом. Все его движения неуверенные, какие-то корявые, а фигура помятая, будто без костей. Чем-то напоминал он изношенный коленвал — мало толку, но и выбрасывать жалко.

Мысли снова вернулись к Татьяне. С каких это пор стала она трактористкой? Была техником-геологом, училище кончила, а технику, помнится, не любила. Где была она эти три года? И с кем? Чем занималась? Может быть, Венька — ее муж?.. Нет, не похоже. Она почти не изменилась. Только черты лица стали по-женски жесткими и решительными да блеск глаз острее, колючее — верные признаки одинокой женщины. Вообще-то никогда не угадаешь, что пережила женщина и что у нее на уме...

Мороз все набирал силу: тракторы плыли в облаках серого тумана. Бока железной печурки в кабине малиново накалились. Венька торопливо швырял в огонь короткие сосновые чурки и поминутно одергивал полы затасканной шубейки. Но холод со всех щелей неутепленной кабины протягивал свои руки.

— Трактор бы не накрылся, елки-палки, — бормотал Венька. — Накроется — капут нам, елки-палки!

«Видно, осердился не на шутку, хочет наверстать упущенное, — подумал Никита о морозе. — Пусть жарит, пусть!»

Поглубже нахлобучив шапку-ушанку, уселся поудобнее. Ему зябко не от холода, а от мысли, что рядом с ним человек — то ли свой, то ли чужой — который знает всю его подно-

готную. И хотя в его короткой биографии нет ничего предосудительного, он никогда не рассказывал о себе.

Ничего необыкновенного в его жизни не было. Вырос в глухой охотничьей деревушке, воспитывался у тетушки. Все началось с маленького подвесного моторчика. Его привез из райцентра тетушкин муж. Детвора ни на шаг не отходила от хозяина, когда тот копался в моторе или запускал его. Однажды мотор забарахлил — не заводится да и только. Бензин идет, искра есть, а работать не хочет. Полдня бились, собрали всех мало-мальски разбирающихся и совсем не разбирающихся в технике. Дело не сдвинулось с места. Наконец Никита глухо сообщил, что нет на свечке медного колечка, оттого-то и не заводится мотор. Не поверили охотники, но все же надели на свечу прокладку, навернули как следует. Дернули раз, другой — и запыхтел мотор. Тут порешили охотники-старики, что быть Никите не следопытом таежным, а «машинным человеком».

В четырнадцать лет он уже хорошо знал устройство всей «техники», бывшей в деревне, начиная с электростанции и кончая киноаппаратурой в клубе. Через год он собрал свой первый двигатель из металлолома. Поработал бы всего минуты две-три — разлетелся на куски. Но память оставил — рванный шрам на левой щеке.

Потом плавал капитаном-мотористом на местном катеришке, поскольку желающих работать на нем не находилось. Двигатель держался на честном слове: всевозможных пробок и деревянных затычек было больше, нежели металлических. Но Никита не унывал и ладил с этим мотором до той поры, пока не развалился деревянный корпус старого катеришки. Затем сейсмпартия, а позже пришел на буровую помощником дизелиста.

Декабрьский день короток, как первый шаг младенца. В третьем часу пополудни на тайгу надвинулись сумерки. Фары бледными лучами выхватывали стылые сугробы, продрогшие стволы и оледеневшие лапы таежных елей.

Лес мертвел от холода. Не слышно ни зверей, ни птиц.

В потемках переезжали реку по бревенчатому накату, замороженному в лед еще в ноябре. Когда головной трактор выбрался на другой берег, Венька тронул свою машину. Он чаще обычного переключал скорости, чтобы быстрее миновать опасный участок пути: бело-ледяная река угнетающе действует на человека особенно в жестокий холод, напоминая теплое лето...

Почти у самого берега прицепные сани съехали с обледеневшего наката.

— Стой! — закричал Никита, схватив Веньку за плечо.

Звонко хрустнуло железо — опоздал. Лед затрещал и сани медленно, как бы нехотя, погрузились в реку. Когда Никита

выскочил из кабины, все было кончено: из воды торчали цилиндры трех дизелей.

Течение играло свежесколотыми льдинками. Они звучно бились о серебристое железо дизелей.

Полынья выдохнула серое колющее облако.

В чаще гулко, как выстрелы в ночи, лопались от мороза сосновые сушня.

Вдруг стало жарко — Никита распахнул полушубок.

— Гони трактор на берег! — услышал Никита властный голос женщины.

Венька вздрогнул, чертыхнулся и бросился к машине.

Женщина возле трактора осматривала обломки прицепа, лопнувшего по отверстию. Зачем-то вытащила штырь, постучала по серье, будто проверяла на прочность.

— Усталостный излом, — неуверенно выдохнул из кабины Венька.

— А морозный не хочешь?! — насмешливо спросила женщина.

Венька захлопнул дверцу. У полыньи они остались вдвоем.

— Застегни шубу, — сказала она таким голосом, словно только вчера расстались. — Пошли на берег!

Никита молча повиновался.

Теперь втроем сидели у костра и пили крутой кипяток. Тепло разморило Никиту — слипались глаза. А Венька пригнулся возле женщины, и они пикировались меж собой. Никита молча слушал сквозь нахлынувшую дремоту.

— Ну, что, Вениамин, не хочешь искупаться?

— Ей-ей, у меня ангина!..

— С утра был здоров?!

— Хворь в любой миг пристанет.

— Когда особенно ждешь ее.

— Может, на буровую сгонять? Так я мигом!..

— По такой-то дороге?

— А что — дорога как дорога!

— Да и там мало охотников найдется.

— Эх, если бы не ангина да не сердце... — вздохнул Венька.

— Между прочим, у всех сердце имеется.

— Так-то оно так...

— И про печенку можно вспомнить, которая не любит ледяную воду. Как быть?

— Как быть? Эх, кран бы сюда! — мечтательно протянул Венька.

— А водолазный костюм не хочешь?!

— А что — не отказался бы. А еще лучше — спиртику бы!

— Тогда бы, небось, про ангину и сердце не вспомнил бы.

— Эдак, с литровочку — эх, тряхнул бы стариной!

— Тогда бы любой дурак полез...

— Дураки тоже в тайге на снегу не валяются — ценить их надо...

— Пусть уж где-нибудь на другом месте валяются.

Венька поводит шеей влево-вправо, втянул голову в плечи, вздохнул:

— Ух, глянешь на эти Севера — душа к косточкам пристывает, ей-богу!

— К пяткам, поди, пристывают, а еще муж-жик!..

— А что — я еще мужик что надо!

На этом они смолкли.

Никита приоткрыл глаза.

Люди, снега, ночь.

Теперь, при свете костра, тьма стала густой и черной, как смоль. Никита покосился в сторону полыньи и сердце тоскливо защемило, словно окунулся уже в ледяную воду. Дизели ни разу не подводили его, и он никогда не подводил их. Неужели теперь придется их бросить?!

Железо при жестоких морозах становится хрупким и легко ломается. Человек выдерживает немного больше. Поэтому-то Никита любил сильные морозы: все наносное погибает или убирается восвояси, легче дышать. Теперь он впервые чертыхнулся и на мороз, и на железо прицепа. С чем приедет на Р-19 он, старший дизелист? С неполным комплектом дизелей? Бурить-то ведь невозможно в полную силу. Черт с ними, с их рекордами и премиями — это его никогда не волновало. Главное — буровая без сердца, мертва она. По ее стальным жилам нечем гонять живительный раствор, крутой кипяток, сжатый воздух, электрический ток. Нечем поднимать многотонный буровой инструмент. Никому это не под силу, кроме старшего дизелиста со своей стальной упряжкой.

Проклятая река, просто так она не выпустит плененные дизели.

Между тем услышал слова «Сама полезу...» и подумал, что как мало она изменилась и, пожалуй, если считает нужным — и вправду полезет. Он хорошо знал ее характер.

Все эти годы Никита тешил себя тем, что встретится когда-нибудь с ней. Как и при каких обстоятельствах — этого он не представлял. Оттого-то сегодня ночью долго не мог проснуться — думал, что это сон. Только вот почему они разговаривают между собой так, будто его здесь нет? Может быть, уже обращались к нему, а он, занятый своими мыслями, просто не слышал? А разговаривают как люди близкие, давно знающие друг друга. Неужели все-таки муж?!

«Сама полезу...». Полезет... А стоит ли рисковать? Но вскоре его сомнениям пришел конец: он услышал голос своих дизелей. Они звали его на помощь, звали жалобно, настойчиво. Так звали они обычно по ночам, когда он моментально

просыпался. Только теперь их голос был хриплый, приглушенный толщей воды, будто они захлебывались. Никита снял рукавицы, заткнул уши: они все звали, звали, уверенные, что он услышит их зов, не оставит в беде. Никита облегченно вздохнул — теперь не будешь хитрить с самим собой, не будешь искать уловок.

А они все зовут, зовут. Их зов слышится все явственней, все отчетливей. Деваться некуда...

Стоя у черной ямы полыньи и обвязывая себя веревкой, Никита взглянул на женщину, жену, которая ушла от него три года назад. От холода она будто накалилась вся, но мороз не исказил черты ее лица, а сделал их резкими, суровыми и... милыми, словно вдруг она слилась с холодными снегами, декабрьским небом, с белой рекой, с чутким простуженным лесом, где отзывается малейший шорох. И, топчась у черной воды, Никите захотелось не ей, а чуткому лесу шепнуть: «Люблю». Лес повторит его слова. Для нее... Никита ни разу не говорил ей «люблю», все не было времени... Да и нежность считал он пустым занятием, стеснялся ее. Он покосился на Веньку — не украдет, не перехватит ли это слово. Но тот с бормотанием носился вокруг полыньи, подтягивал стальной трос и, видимо, был рад, что сыскался «дурак», который добровольно лезет в эту пучину. Ему было не до шепота ночного леса.

Завязывая последний узел, Никита сообразил, что в воде-то ведь плюсовая температура, а наверху под пятьдесят. И он осторожно шагнул в тихо журчащую бездну реки, внушая себе, что там теплее.

...Когда он выбрался из воды — сразу окутался сизым паром, будто загорелся вдруг. Непослушным, одеревеневшим языком выдавливал:

— Са... ни примм... ерзнут вытт...

Венька бросился к трактору.

Женщина схватила Никиту за руку — повела к костру. Она не чувствовала холода. Ее рукав с каждым шагом все сильнее примерзал к оледеневшей телогрейке Никиты.

Мороз все крепчал.

Но звезды на небе сияли приветливо и тепло.

ВО ТЬМЕ

Поздней весной, в конце Луны Нереста*, впервые за всю жизнь Ефрема обокрали. Из лабаза пропали две пары кисов** — его и женины. Подивился Ефрем: кому летом понадобились зимние кисы? Кому же, кому?! С тех пор, сколько помнит себя, ничего не терялось. А ведь немало воды утекло за эти годы — по охотничьей книжке ему пятый десяток идет. Ничего не пропадало. А на лабазе даже пробоев для замка нет — кожаным ремешком дверцу привязывал, чтобы ветер не распахнул. И вот поди ж ты — обокрали!

Одно хорошо знал Ефрем: свои, местные рыбаки и охотники не могли такой грех на душу взять. Не могли. Это ясно как то, что сейчас полдень, а потом будет вечер, позднее — ночь и утро. И на кой черт своим летом нужна зимняя обувь?! Бывало, если кому-то и приспичит и что-то возьмет у соседа, так свой знак оставит. Мол, был у тебя человек такого-то рода и такую-то вещь взял. Свой родовой знак оставит. А потом сам объявится и взятое вернет. Здесь же был посторонний, не знающий древних обычаев народа.

И в доме наследили. Три пустые банки из-под еды, коробки с замысловатыми картинками — курево, видимо, было. Чувал топили — летом кому это в голову взбредет?! Пищу на улице, на таганке готовят. По лежанке шкуры раскиданы — разве охотник в чужом доме такое допустит?! Ночевали, значит, и не убрали за собой. А перед уходом, видно, заглянули в лабаз и кисы прихватили.

На другой день все прояснилось. Недалеко от становья Ефрем обнаружил просеку — прямую и, казалось, бесконечную. Появляя хвоя лесин и пни с серым налетом подсохшей смолы сказали ему, что со дня их гибели Луна успела один раз народиться и умереть. За это время новые владельцы искусно разукрашенных орнаментами кисов бог знает сколько отмахали. Ефрем прикинул: острым, хорошо зака-

* Луна Нереста в хантыйском календаре, основой которого являются небесные луны, соответствует концу мая — началу июня.

** Кисы — меховая обувь до паха.

ленным топором он бы за одну Луну проложил такую просеку до Озера Светлой Воды, откуда они с женой только вчера вернулись. А настоящие рубщики, наверное, уже до устья Агана добрались.

Он и не думал преследовать их. Все это прикидывал из охотничьей привычки определять всякое расстояние определенным временем.

Жена, как водится, сердито ворчала:

— Замок, замок надо купить! Сколько я тебе говорила?! Вон, у низовых, когда уже вещи стали пропадать!.. Тебе говори — не говори — все мимо ушей идет!.. Горе мне, горе! В чем зимой будешь ходить?! В чем зимой буду ходить я?! Тебе-то все равно!..

С Ефрема не так-то просто вытянуть слово. Все молчит. Видно, дорого ценит слово. Зато этот его недостаток с лихвой возмещала жена. Когда она говорила, казалось, кроме своих слов, ничего не слышала. Ефрем всегда удивлялся, откуда у нее столько слов берется. На этот раз жена чихнула два раза подряд — получилась пауза. И он низким басом сумел слово вставить:

— Пешие, може, их обувь износилась...

В глубине души он надеялся найти какое-то оправдание рубщикам просеки. Вот, скажем, приспичило и взяли кисы, а свой родовой знак не могли оставить. Ведь они все без роду-племени, ибо давно утратили то, что связывает род с родом, человека с человеком. Но по тому, как взвилась жена, он понял, что сказал не то.

Жена градом обрушила на него поток слов:

— Пешие, говоришь?! Пешие! А твое-то какое дело? Обувь из-но-си-лась! Ох, скажешь тоже! В доме сколько сапог было?! Твои сапоги, мои сапоги, детей сапоги!.. Резиновые сапоги, кирзовые сапоги!..

«Женщина права», — подумал Ефрем.

— Новые сапоги, старые сапоги, дырявые сапоги!.. По-че-му не взяли?!

«В самом деле — почему не взяли?..»

— Ты мне скажи: почему не взяли, а?! — спрашивала жена.

И она такими глазами взглянула на мужа, что тому стало не по себе: будто он обокрал собственный лабаз, уволок свои и женины кисы.

— Эй-я, пропадем, — между тем причитала жена. — Пропадем мы с тобой, ни за что пропадем. И где я тебя такого выкопала? У всех мужья как мужья, а у меня?! Голову твою украдут — не заметишь, нет. Разве есть такие люди, а?..

Но она воочию убеждалась, что есть на свете и такие.

Он был со странностями. Так по крайней мере считала жена. Весь он, начиная с лохматой макушки, черных доверчивых глаз, вечно обветренного лица с плавными линиями

и кончая короткопалыми руками и ногами — весь излучал божью доброту, божье всепонимание. И фигура какая-то округлая, и движения мягкие, неспешные. Злые языки говорили, что он даже не прищепнет комара, насосавшегося его крови — жалко изводить живность. А на охоте будто бы сначала прощение испросит у зверя, только после этого стреляет, если тот не покажет ему хвост.

Но несмотря на это, Ефрем считался в колхозе не последним охотником.

— В суд надо подать, — бубнила жена. — Может, найдут воров, стоимость кисов вернут...

«Куда только ум женщины не ходит, — молча удивлялся Ефрем. — Суд ей подавай, придумала же. А кого судить-то?! И где в тайге-то этих судей возьмешь? Всю жизнь без них жили — и теперь как-нибудь проживем...»

— В поселок бы съездил, к председателю Совета сходил бы, — продолжала жена. — Может, помог бы чем. Какие кисы, какие лапы* были! Осенние лапы. Белые, как первый снег. Где ты теперь такие возьмешь?

Ефрем помалкивал.

«Кого вспомнила — председателя! — удивился он. — Не помню, когда видел его трезвого... Надейся на него!..»

— Хоть умел бы что-нибудь доставать! — ворчала жена. — А коль сам не можешь, так на помощь надо звать, в поселок надо ехать!..

Ефрем только побряхтел осторожно. Сколько живет на своих угодиях, все время обходился без посторонней помощи. На охоте ли, на рыбном ли промысле, с топором на срубе дома или лабаза — все делал своим умом, своими руками. Никому еще не кланялся, а тут из-за каких-то кисов. Как-нибудь обойдемся без них, решил он. Не пропадем, поди.

Лето пролетело спокойно.

Осенью, перед ледоставом, семья перекаслала в Осеннее Селение на Старице, а оттуда потом перебралась в Зимнее Селение на сосновом бору.

Зиму, слава богу, перезимовали. Ноги не обморозили.

Дожили до весны.

А вскоре комары принесли на крылышках знойное лето.

Это лето оказалось не похожим на все другие лета. Вода в Агане совсем помутилась: ползут и ползут вверх по реке самоходки и катера с баржами на буксире. Везут большие и малые машины, деревянные и железные домики, ошкуренные бревна и тес, какие-то мешки и черные трубы.

Все это наблюдал Ефрем, когда вечерами усаживался на широкий пенек перед домом и курил трубку. Бывало, катер гуднет и приткнется на берег возле лодки Ефрема. Выходят

* Лапы, или камус — шкура с ног крупных домашних и диких животных.

катерники, разминают ноги, прищелкивают языком, оглядывают селение.

Голосистые все как птенцы, вылетевшие из гнезда.

Разговор держит хозяйка. Катерники ее Секлетинией Ивановной кличут. На русском языке у нее столько же слов, сколько и на родном. А может быть, даже больше. Потому как многие ее слова не доходят до Ефрема, хотя он понимает почти все, когда спокойно говорят. Но у женщины, известное дело, язык без костей — сразу за двоих или троих работает.

Между тем хозяйка угощает гостей чем бог послал. Насчет этого у Ефрема строго: пришел гость — кто бы ни был — угощай чем богат, не роняй достоинство дома. Твое гостеприимство учтут Распределяющий Зверя, покровитель таежных зверей-птиц, и Ас-ики*, покровитель рыбьего царства. Эти боги потом с лихвой возместят то, что было поставлено гостям. Может быть, поэтому удача всегда сопутствует Ефрему на промысле. Ведь он ничего не жалеет для гостей.

Он вглядывался в гостей, прислушивался к интонациям их голосов. Его цепкая память навсегда укладывала в голове их внешность. После, если будет нужно, он вспомнит, где видел человека.

Лица-то вроде бы доброжелательные, отмечал он про себя. И глаза будто бы чистые. Только у одного катерника не разберешь, спрятался за железными глазами — очками. Не сразу поймешь, что за человек...

Когда гости собрались в путь, хозяйка, как это было принято испокон веков, приносила им копченую рыбу или мясо, ягоды или орехи. Смотри, что есть под рукой.

Ефрем провожал гостей до причала. Если не сделаешь это — удачу дома увезут. Поэтому обязательно нужно проводить, чтобы удачу вернуть. Молча смотрел он на бурлящие под винтом воды Агана. Раньше такого оживления на реке не было. Только по веснам, в половодье, шлепали вверх рыбкоповские катера с баржами на буксирах — завозили в поселок продукты и другие товары на год. Те караваны никогда здесь не останавливались. Видно, спешили. Ходил в те времена и маленький черный катерок — почту возил. Двое там плавали. Ефрем с ними дружбу завел, иногда ездил на их суденышке за покупками. Теперь, по слухам, заменил их почтовый вертолет.

Все меняется. Как-то незаметно идут дни и годы, месяцы и десятилетия...

— Слышал, в верховье новый город начинают строить, — сказала жена после отъезда гостей.

«Зачем этот город?! — молча удивился Ефрем.

* Ас-ики — буквальный перевод: «Обь-старик».

— Перво... перво... проходимцы, что ли — так они себя называют — там станут жить, — пояснила жена. — Словом, кто первым ходит по нашим тропам...

Это немного озадачило Ефрема. Дело в том, как он считал, что первые очень давно, еще в задревнюю древность, протоптали тропы на землях Севера. Кто они? Ханты ли, ненцы ли, возможно, селькупы и чукчи... А эти, вновь пришедшие, стало быть, тоже хотят быть первыми. Будто не было первых. Впрочем, какое это имеет значение. Пусть зовут себя, как им нравится.

— Какой-то горючий жир земли ищут, — рассказывала жена. — Что-то вроде керосина.

Она помолчала. Потом вдруг ее осенило:

— Может, этот горючий жир в лампу можно заливать, а? Ефрем, как водится, слушал молча.

— Вместо керосина — вот хорошо было бы!

«Если и дальше так пойдет, хорошего будет мало», подумал Ефрем.

— Только одна беда — спокою теперь не будет!..

Жена помолчала, потом сделала неожиданный вывод:

— Спокою не будет — замок покупай, замок!

Но Ефрем и не подумал о замке. Он по-своему рассуждал. Человек всегда лезет туда, куда его не пускают, размышлял он. Увидит замок — заинтересуется, что там такое от него прячут. И захочется ему полезть туда из любопытства, будь он даже и не вор. А нет замка — значит, ничего там необыкновенного нет. Все зло, значит, от замков, от недоверия к человеку. Жили всю жизнь без замков — так и теперь проживем, решил он.

Так в нем и не появилось уважения к замку.

Наступила пора спелой морошки.

На болото за ягодами надо съездить, настайвала жена. Пока морошка в мох не капнула. И дети, две девочки и мальчик, приехавшие из школы-интерната на летние каникулы, ходили за отцом. Просились в дорогу, просились на морошку. Ефрем и сам не прочь был поездить. Давно не видел свои болотные земли, поэтому махнул в сторону лодки — мол, собирайтесь. Собрались, уехали.

Вернулись через неделю. И обнаружилась новая пропажа: исчезли две капроновые сети, висевшие на деревянном крюке в доме. Как водится, жена завелась на ходу:

— Что я тебе говорила, убедился?! Что скажешь?! Может, скажешь, у них карманы из-но-си-лись?! — вспомнила она слова мужа про кисты. — Деньги износились, купить не на что?!

Молчал Ефрем. Что тут возразишь?!

— А сети капроновые, колхозные, советские! Слышишь, колхозные, советские. Раньше за такое дело под суд отдавали. За потерю, за вредительство. Раз сам никого не хочешь судить,

так тебя самого возьмут, самого засудят в темном доме...*

Жена тяжело вздохнула.

— Тебе-то, может, все равно, а я куда с детьми денусь?!

Как-то нехорошо стало на душе у Ефрема. Сети все-таки не кисы, из оленьих жил не сплетишь. Да тут еще жена со своим судом... И он тяжело разомкнул челюсти:

— Ими-эй!..** — отпечатал он и замолк — не знал, что дальше сказать.

Жена запнулась на полуслове — так весомо и внушительно прозвучал голос мужа. Чертовски трудно разозлить его, но если выведешь из себя — добра не жди. Это ей было ведомо, и теперь она поняла по интонации, что незачем раздувать огонь — лед тронулся, он что-то предпримет. Она помолчала, а потом, значительно поубавив тон, для приличия еще поворчала немного себе под нос.

Посадить-то, конечно, не посадят в темный дом, думал Ефрем. Не те времена. А вот стоимость сетей запросто вычтут, заплатить придется. Что поделаешь — украли так украли, теперь не вернешь. Ну, зверь есть, рыба ловится — как-нибудь проживем...

На этом он вроде бы успокоился. Но полного покоя все равно не было. Будто сам виноват в том, что у него украли сначала кисы, а потом сети. Хотя, в чем его вина?.. Не в том ли, что не может остановить воровство? Но как его остановить, каким образом?! К судье не пойдешь, прокурора не отыщешь, сторожа не поставишь, а делать что-то надо. Сам себя от воров должен оградить, сам...

И в конце августа, когда отвозил детей в школу-интернат, привез из поселка два амбарных замка. Выбрал самые большие, какие только нашлись на складе.

Жена облегченно вздохнула — наконец-то муж образумился. Но, однако, замки спокойно пылились на полке навеса-коптильни до следующей осени. Ефрем, будто позабыв о их назначении, явно не спешил водрузить их на свои двери. Но и жена знала свое дело — нудила потихоньку, донимала его. А когда поспела брусника и настало время выездов на ягодники, она наотрез отказалась оставлять селение «без присмотра замка». Тут уж Ефрем не стал перечить, наконец-то уступил: без жены план по бруснике никак не одолеешь.

Но совсем не долго продержались замки.

Однажды, в конце сентября, вернувшись с ягодников, женщина поспешила в дом готовить ужин, а Ефрем принялся выносить на берег берестяные кузова с брусникой. Вдруг остановил его крик жены. Из неразборчивого потока проклятий на двух языках он разобрал только три слова:

* Темный дом — тюрьма.

** Ими — жена, имиэй — обращение к жене (хант.)

— Взломали, украли, убили... — и так далее.

Ефрем осмотрел лабаз.

Неотомкнутый замок висел на одном пробое. Второй вырван ломом — на бревне остались вмятины. Весь пол покрыт шерстью и перьями. Воры не убрали лесенку, по которой проникли в лабаз. По ней поднялись туда мыши и попортили меховую одежду — хоть выбрасывай.

Отпороли выдровый капюшон малицы — видно, на шапку. Исчезли одна оленья шкура и две гусиные шкуры. Это, конечно, уже не мышиная работа.

А самая большая потеря — украли малокалиберную винтовку. Единственную, бесценную.

Ефрем сначала не поверил — весь лабаз перевернул, все перетряхнул, но винтовку не нашел.

Охотник без ружья — не охотник.

У ружья, как и у человека, своя судьба. Историю этой винтовки Ефрем помнит до мельчайших подробностей. Он, как только увидел такую «малопульку» — так их еще называли, — сразу опытным глазом таежника оценил ее. Далеко бьет, легка при ходьбе пешком, не нужно заряжать патроны, почти не портит шкуру зверя. Словом, никакого сравнения с дробовиком. В не столь давние годы ружья свободно продавались охотникам в поселковом магазине. Но потом, особенно на покупку нарезного оружия, стали требовать кучу разных справок и разрешение милиции. А где она, эта милиция? В городе, районном центре, на Оби. В ту пору самолеты не летали. Зимой ездили туда на оленях, а летом — на попутных катерах. После долгих колебаний Ефрем все же пустился в дальнюю дорогу. В городе он многие дни потратил: за начальствующими чинами ходил, нужные им бумаги делал. Но малопульку все же добыл.

А как добывал — тайной осталось.

Никому он не рассказывал про свою поездку. И в районный центр больше не ездил. С тех пор встречу с милиционером считал плохой приметой.

Сейчас он угрюмо смотрел на замок, не оправдавший великие надежды его жены. Бормотал то ли вслух, то ли про себя:

— Проучу... Сам проучу...

Но проучить пока некого.

Теперь плохо дело, думал он. Малопулька на учете — потребуют, что скажешь?

Если раньше из него трудно было вытянуть слово, то теперь и вовсе замолчал. Даже с рыбаками-соседями, заезжавшими к ним, разговаривал неохотно, односложно отвечал на вопросы. По вечерам уже не садился с трубкой во рту на пень перед домом и не наблюдал за караванами судов и моторными лодками, что сновали вверх-вниз по Главной Реке,

Агану. Что ни год — их все больше и больше. Что ни год — все дольше и дольше мутят они воды, с начала ледохода до самого ледостава. Что ни осень — тут и там вмерзающие в лед буксиры, не добравшиеся до порта назначения.

Суда по-прежнему причаливали к их дому. Но теперь, если прижимистая хозяйка не одаривала катерников при отъезде положенными им древним обычаем гостинцами, он ничем не выражал своего недовольства. Много у него в голове перепуталось-переплелось: возможно, сегодня это гости, а завтра — вору. Как это объяснить?! Как это понять?! Разве такое можно уразуметь?!

— Эти называют себя первопокорителями земли, — сказала жена после очередных гостей. — А те, что утром были, больше говорили о первооткрывателях... Очень уж по нраву им это слово — перво... И кому ведомо, что они там напояляли, наоткрывали, напроходили?..

— Первограбители, первовзломщики... — как водится, не то подумал, не то вслух сказал Ефрем. — Вот кто они!..

Взлом лабаза совсем сбил его с толку, будто по темечку ударили. Ведь никогда такого не случалось. Может быть, он раньше чего-то не понимал? Жил не так, как надо было жить?! А теперь времена изменились, по-иному все надобно делать. То мнилось ему, что взломали специально, чтобы посмеяться над ним, над его доверчивостью и добротой. То вспоминались слова жены, которая, видимо, более чувствительна к переменам в таежной жизни:

«Добреньким теперь не проживешь — быстро заключут, времена не те!»

Вот и выходит, что она права. Надо бы бежать с большой реки, перебраться в какую-нибудь глухую курью или старицу. Но как покинешь родовое селение, куда врос всеми своими корнями! Вростал многими поколениями, вростал столетиями. Кто знает, как вырвать эти корни?! Вот и жена после взлома заговорила об этом же.

Но и без ее поучений оскорбленная душа Ефрема требовала отмщения...

И вот, когда собрались в поселок сдавать бруснику, он решил проучить взломщиков. Замаскировал и насторожил старый образ-самострел. Выстрелит, как только заденут нитку-насторожку, привязанную к замку на двери лабаза. Заряд соли должен навсегда отбить охоту к чужому добру. Все рассчитал до мелочей, чтобы задело только руки. Хорошо бы, конечно, у взломщика мягкое место как следует послать — тогда ни сесть, ни лечь, чтобы надолго запомнил. Но пожалел проходимца: ненароком повредит жизненно важный «струмент» — «маленькое ружье».

Несколько дней были в пути.

Съездили, сдали бруснику.

Сходили в магазин, закупили продукты и другие нужные вещи.

Вернулись домой под вечер. В сумерках лодка бесшумно ткнулась в белый песок причала. Осенние дожди подзадержались, и вода все убывала — поэтому берег стал высоким. А склон до самого верха зарос долгой осокой, за которой не видно строений селения. Чтобы не спускаться лишний раз, Ефрем сложил покупки в пустой бочонок для брусники и вслед за женой по узкой тропке двинулся к дому, в гору.

Неожиданно из рук шедшей впереди жены посыпались вещи. Ее худая спина словно дернулась от удара, подкосились ноги — и она свалилась. Всю ее беззвучно закорезило. Ефрем машинально сунул бочку в траву и бросился к жене. Но когда выскочил наверх — остоленел.

Дома — нет!

Вместо дома — пепелище...

Глаза метнулись к лабазу.

Лабаз — нет!

Вместо лабаза — пепелище...

Глаза рванулись к навесу.

Вместо навеса — пепелище...

Тут — пепелище...

Там — пепелище...

Всюду — пепелища...

Только хлебная печь, вылепленная из глины, как бы стыдась, что избежала участи соседей-товарищей, сиротливо горбилась, пытаясь вжаться в землю, на своем обычном месте.

Бочка, наспех сунутая в траву, словно от ужаса сорвалась со склона и, рассыпая покупки, понеслась вниз. Река пенным фонтанчиком приняла ее, распаковала бумажные кульки и коробки, лизнула пряники и горький сахар.

Сколько времени Ефрем остоленело вращал глазами — не помнит. Потом ноги понесли его от одного пепелища к другому. Словно надеясь разыскать что-то очень нужное, разрывал руками остатки головешек, обуглившиеся бревна, ощупывал обгорелые столбы. Перемазался в сажу, забил ноздри пеплом, чихал, бормотал что-то — видно, ругался. Не найдя ничего, остановился перед пепелищем дома и неожиданно расхохотался: кого хотел проучить, глупый человек?! Самого проучили!.. Вот так!..

Жена очнулась от его смеха. Он чертом предстал перед ней — грязный, лохматый, черный от саж и угля, светятся лишь белки глаз и зубы. Она все еще не могла вымолвить ни слова, лишилась дара речи, вся дрожала в ознобе. Наконец от испуга разлепила губы и прошептала:

— Спя-тил...

Но Ефрем вдруг выхватил попавшее под ноги ведро,

будто нашел то, что искал так упорно, сунул в него нос и, повернувшись к жене, выкрикнул разумные слова:

— Вот тебе горячий жир земли!..

Он отшвырнул ведро в сторону реки и, повернувшись спиной к пепелищам, тяжело опустился на подгнивший пенёк. Кое-как набил табаком трубку, раскурил ее и, лишь задохнувшись горьким дымом, вроде бы затих.

Было пусто.

Было пусто в голове.

Было пусто в душе.

Тоскливая пустота больно сдавила сердце. Затих, впал в забытие. Вывел его из этого состояния далекий голос жены:

— Вставай, ночь уже на наши головы легла...

И он, как бывало, не то подумал, не то сказал вслух:

— Вот и конец нашему Дому...

Наступила ночь. Он не знал, куда ткнуться в этой тьме.

А тьма все сгущалась. А тьма все поглощала пепелища, берег, лес и, наконец, поглотила все вокруг, будто никогда не стояло здесь древнее селение, будто никогда не жили тут люди охотничьего рода Ефрема...

1977

ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

Дождь родился так давно, что коллектор буровой Вера Тарлина уже забыла тот день, когда продырявилось небо и наступило время кислой воды. Тучи облезлыми оленьими шкурами лежали на вершинах кедров, прижав к земле таежных птиц, продрогших и насквозь мокрых. Дождь сеял бисеристо мелкий и нудный — проникал во все, что стыло под небом. Буровики стали неуклюжими и сырыми, как тяжело больные водянкой. На небо уже не смотрели, а угрюмо, без всякой надежды взирали на чвакающую под ногами грязь. В деревьях и травах путались туманы, пригнулись кусты, унылые и безрадостные.

Возле буровой глухо ворчал ручей, разбуженный дождем.

По утрам небо прояснялось, тучи нехотя наползали друг на друга, на мгновение прорывался изможденный лучик

солнца. Вместе с ним прорывался на буровую и вертолет с глиной и бурильными колоннами, с людьми и продовольствием. Но потом все начиналось сначала.

И сегодня, когда Вера бегала на вышку замерить раствор, промокла до нитки — не любила кутаться в грубые казенные плащи. В темноте тесного балочка она скинула одежду и переоделась в сухое.

На дощатой крыше монотонно плясали дождинки. По стеклам ползли темные струйки воды. Ночь уставилась черным окном в маленькое оконце.

Девушка долго сидела на постели, прислушиваясь к шуму дождя. А он бесконечно вел свою грустную беседу. Вел торопливо и тревожно, будто спешил, чтоб кто-нибудь не прервал. Но за окном непробиваемая стена августовской ночи. Девушке стало зябко, она закрыла глаза и натянула одеяло до самого подбородка. Дождь напоминал, как она попала на буровую. Он пересказывал ее жизнь.

У противоположной стены одиноко белела постель тети Устиньи, уборщицы и кастелянши. Она вместе со вторым коллектором Зинкой улетела на выходные. За год работы на буровой, несмотря на разницу в возрасте, Вера подружилась только с тетей Устиньей — дородной женщиной с громовым басом. По утрам, опершись на перила крыльца, словно командующий, она отдавала приказы, которые тотчас же исполнялись. Даже мастер, мужик крутой и своенравный, побаивался ее. Она знала только русский язык, хотя предки ее по отцовской линии были охотники-ханты. Она устроила Веру в нефтеразведочную экспедицию после того, как ее отец, возвращаясь из удачного промысла, по дороге на подбазу попал в «автомобильную катастрофу». Остались изуродованный труп, испуганная упряжка оленей и деревянный промысловый инструмент. Около Тарлина не обнаружили ни ружья, ни добытой пушнины. И осталась еще в таежном поселке семья — шестеро детей у матери на руках. Все мал-мала меньше, лишь старшая Вера училась в десятом классе. До весны кое-как тянули, сводили концы с концами. Потом Вера бросила школу и пошла работать в колхоз. Но от этого мало что изменилось. Тут-то тетка Устинья и пришла на помощь — помогла определить Веру на курсы коллекторов. Затем она забрала девушку к себе в бригаду, где работала. На парней рычала свирепой росомхой, не стесняясь в выражениях: «Эй, кобелье, кто обидит — шкуру спущу, собакам скормлю!». Поначалу всеобщее внимание смущало Веру. Смущало и в то же время просветляло жизнь: она не могла не улыбнуться человеку доброму. Но как только буровики начинали заигрывать, она становилась холодной и строгой, как безмолвная языческая богиня. Наконец оставили ее в покое. Лишь новички глазели

на недоступную, заманчивую в своей восемнадцатилетней свежести девушку и пытались завоевать ее расположение, но натыкались на ледяную отчужденность и отходили. Еще она постоянно ловила на себе откровенно вожделенный взгляд лохматого плюгавенького помбура Митрохи, вечно угрюмого и озлобленного. Кроме отвращения, он ничего не внушал, не было даже страха.

В эту ночь, возвращаясь с вышки, она видела свет только в одном балке. Если бы замедлила шаг, то сквозь шум дождя уловила бы свое имя. Но она спешила.

Дождь проникает во все закоулки. Он плохо видит в ночи, но хорошо слышит. И водяным языком пересказывает все, что услышит. Девушка уснула, не услышала, что говорил дождь. А он, не зная, что она спит, продолжал рассказывать о том, что делается на буровой в эту темную ночь.

В соседнем балке не спала вахта, что вот уже третьи сутки из-за дождя не может выбраться в поселок на отдых. Заросший угрюмый помбур Митроха, злобно сверкая кровавыми белками, тихонько рычал:

— Все прошел — но такой пакости не видел: помочиться не выйдешь.

— Льет класно! — поддакнул молодой буррабочий.

— Разве это жизнь?!

— Не жизнь...

— Проклятый дождь! — ворчал Митроха.

— А на базе водка да бабы ждут, — поддразнил верховой.

— Канать надо отсюдова, пока не скисли совсем!

— Кто же тебя загонял сюда, Митроха? — усмехнулся дизелист.

— Кто загонял?

— Сам себя и загнал за жирным куском — на кого ж рычать!

— Не твоего умишка дело — кто загонял! — огрызнулся Митроха.

— Не расстраивайся, Митроха, — водка от тебя не уйдет, — сказал верховой.

— И Маруська твоя не уйдет! — добавил буррабочий.

— Не расстраивайся, Митроха, — поддел въедливый дизелист. — Твоя Маруська сейчас с каким-нибудь помбуром спит! Ты там пока не нужен!

— Не тр-рожь!.. — зарычал Митроха.

— Что ты, Митроха, пошутил твой кореш! — миролюбиво сказал помощник дизелиста.

— Растравите мужика — так, пожалуй, пешком на базу рванет, — заметил верховой.

Тут все замолкли. Возможно, задумались о предстоящем отдыхе. После паузы бурильщик перевел разговор на другое. Ни к кому не обращаясь, сказал:

— Уголок дикий, что и говорить. Эдак лет через двадцать таких мест не будет — всем завладеет человек.

— Завладеешь! — скривился Митроха. — Тогда не останется ни одного грамма нефти, ни одного дерева, медведю не хрен будет делать. Я видывал уже такое.

— За двадцать лет всю тайгу не вырубить, шалишь!

— Ты будешь рубить, не я. Не все же тебе к Зиночке бегать.

— Хе, а кто сегодня к Зиночке идет?

— Куда ее в такую погоду?

— Да она же улетела последним рейсом. Видал, как садилась в вертолет. Сейчас она с пилотами али с технарями в худшем случае. Осталась одна Верочка.

— Ну, эта мигом глаза выцарапает.

— Да...

— Приручить бы надо. Ничто перед топором не устоит, на что уж тайга стояла веками, и то под корень бульдозера срезает.

— Попробуй, эта дитя природы никому спуску не дает...

— Где Устина? — поинтересовался Митроха.

— На выходные, поди, улетела.

— Тэк, тэк...

— Да, в поселке счас лафа — эх, скорей бы этот чертов дождь кончился. Вкалываешь ради выходных, теперь жди.

— Будет погода, все наверстаем, ребята, а пока — терпи.

— Митроха-то вон уже расклеивается от сырости, аж слышно, как косточки скрипят.

— Иди, Митроха, пошарь у Михеича — у него спирт для втирания был. Найдешь — королем станешь!

— Может завтра распогодится, не вечный же дождь!..

Помолчали, потом верховой начал:

— Вот у меня шмара была...

— Кончай базар, спать пора, — прервал бурильщик. — Вырубай свет.

— Так ведь рано еще...

— Утром не поднимешь вас.

— Ладно, давай уж...

В балке понемногу уgomонились.

Дождь отяжелил мрачные елки, незванным гостем забрался в укромные дупла, в некогда уютные и теплые гнезда, врывался в норы и логова лесных обитателей. Будто перед всемирным потопом, он давно переполнил реки и озера. А ручей, что петлял недалеко от балков, срывал листву с прибрежных кустов и в мутном потоке мчал в темноту ночи.

Теперь дождь городил неведомо что. И девушка, проснувшись, перевернулась на другой бок, потеплее укуталась в одеяло. Из шума дождя приглушенно урчала буровая. Подумала де-

вушка — идет спуск-подъем инструмента, не нужно замерять раствор — нет пока надобности по раскисшей тропинке бежать к вышке. Но тут же устыдилась этой мысли: она вот здесь, в тепле, на минуту боится выйти на улицу, а каково сейчас односельчанам, рыбакам, охотникам, да и тем же ягоdnикам, которых дождь застал в лесу?! Над головой у них неказистые шалаши, а то сидят просто под разлапистым кедром у костра. А при обложном дожде огонь едва тлеет. Она почувствовала, что холодная капля поползла за ворот и, как в детстве по телу прошел озноб. Хотя, помнится, тогда все-таки в жизни ее было больше солнечных ясных дней. Может, теперь так кажется. И этот дождь...: беспросветный, постылый, неожиданно вторгшийся в эти дни, пришел задолго до времени ненастья. Отец, бывало, говаривал, что август — лучший месяц лета — щедрый месяц созревания плодов и семян, ягод и трав, месяц окрепшей птицы и тучного зверя, а тут?! И в природе, кажется, все смешалось. Зима в этом году была на редкость сырой и тягостной, в январе шел дождь. Циклоны-антициклоны?.. С чего это?!

На буровой делаешь замеры раствора и заносишь их в вахтенный журнал и все. Какая же это работа?! Вот у матери в колхозе — раз поднимешься по шаткой лестнице вверх на крышу холодильника, да с носилками измельченного льда, так сразу поймешь, почему фунт деревенского хлеба...

И Вера с тяжелым вздохом задремала.

А дождь уже пересказывал сон, который ей снился. Будто приехала она домой, а бывший одноклассник Вася Карамкин уговаривает ее, чтобы она не возвращалась на буровую. Я удачливый охотник, говорит Вася, поженимся, возьмем к себе твоих сестер и станем жить в деревне. Я стану приносить тебе самых лучших зверей и птиц тайги, буду кормить самой вкусной рыбой ее рек и озер, самой спелой и сочной ягодой ее болот и боров. Снаряжу в соболя и лисьи меха, как нашу древнюю богиню. Что тебе еще нужно?! Зачем тебе буровая, которая плачет днем и ночью, пугает зверя и рыбу. Захочешь — и я стану самым смелым и отважным охотником, один буду ходить на медведя и на сохатого в осеннюю пору. Она в ответ засмеялась и поцеловала его. Сказала, что буровая вовсе не плачет, бывает только веселой. Или грустной бывает и никого уже давно не пугает и Васе никуда не надо ходить — и так хорошо, и не нужно спешить — ведь впереди еще столько светлых и радостных дней. И нет большего наслаждения, чем жизнь в ожидании счастья. Что же на это ответил Вася? Ах, как жаль, что сон на этом оборвался.

Дождь залепетал что-то несуразное, о чем-то неведомом и темном. Почему сладкие сны обрываются на середине? Почему они так коротки? И почему они быстро не сбываются?!

Лицо Васи, размытое дождем, уплыло в ночь, его милый голос потонул в шуме воды.

Буровая спала, опутанная сеткой дождя. На вышке дремали фонари под привычный стук дизелей и визг лебедек. Тайга, вплотную подступившая к буровой, настороженно молчала.

Девушка лежала с открытыми глазами. Дождь теперь донимал ее зловещим шепотом, что время повело ее куда-то вперекос, не туда, куда ей надо было. И это началось полтора года назад, до этого не было никаких зигзагов. Была у нее мечта, невидимая никому тропа, которую указала бабушка. Бабушка умирала тихо, без стонов и причитаний, будто не больная она вовсе, может быть оттого ее кончина так четко врезалась в память Веры. На лице старухи не было страха, а только грусть, до того земная человеческая грусть, что девочка не поверила в ее смерть. Но бабушке закрыли лицо и сказали, что она теперь не человек. Что было после — Вера не помнит. Потом выяснилось, что бабушка умерла из-за какой-то пустяковины, и будь в поселке врач, он бы спас ее. А врача в те времена не видали, жил здесь только фельдшер. Почему не было врачей — никто толком не знал. Может быть, их просто не хватало, а может никто не хотел ехать в глухое таежное селение. Вот с тех пор и решила Вера выучиться на врача. Выучиться и обязательно вернуться в родное селение, и лечить рыбаков и охотников, их жен и детей. Разве найдешь лучше профессии, чем врач? Разве не в этом смысл жизни, чтоб искать и находить свое место на земле?! Разве дочь охотника теперь не хозяйка своей судьбы?!

В школьной библиотеке Вера перечитала всю литературу, где хоть чуть-чуть упоминалась медицина. Она с нетерпением дожидалась летних каникул, чтобы устроиться санитаркой в поселковый медпункт. Приходили и радости, большие и маленькие. Главным событием стал тот день, когда фельдшер с мясистым красным носом, по прозвищу Скипидар, подарил ей старый фонендоскоп, и она замерла, услышав биение своего сердца. А сердце, оказывается, умеет разговаривать: оно прыгало, скакало, трепетало — столько в нем было жизни и радости, что хватило бы на все село. Да что на село, на всех живущих на земле хватило бы! И легкие тоже... поют, но поют тихо, чуть слышно, словно воздушные лесные феи. Чудо, а не прибор. Слышишь, как едет, именно едет, а не бежит кровь по своим таким важным делам. Едет неторопливо, степенно. Приложи палец к чуткому стеклянному уху этого чуда и услышишь, о чем бормочет он. Можно, наверное, услышать разговор подснежников ранней весной, любовную песнь цветущей черемухи, дыхание листьев и трав в пору белых ночей. Это ли не чудо? Если ты однажды

уловил все это, то потом невозможно свернуть с намеченной тропы...

Проснулась Вера от тягучего скрипа оконной рамы — в балок дохнула сырость и ворвался шум дождя. И тут же мокрая склизкая ладонь ожгла ее губы — кто-то черный и лохматый, дохнув перегаром, навалился на нее. Рванулась из последних сил — затрещала разрываемая ночная рубашка. Захлебнулась криком — не вырвался крик, умер, погас крик, не родившись...

Дождь неистово молотил по балкам. Небо рыдало не переставая. Тайга угрюмо насторожилась, тревожно зашелестела, вздрогнула от корней до хвоинки, забормотала что-то, обреченная. В ложбинке за буровой стонал осинник, роняя пурпурно-красную листву — как только они отрывались, их пожирала бездонная ночь, что тонула в переполненных реках и озерах. На гриве морщились и стонали древние кедры — у них шелушилась кора, будто дождь раздевал их донага...

Ручей яростно клокотал и давился желто-мутной пеной и ветками.

Смуглая девичья рука безжизненно откинута на скомканную подушку. Пальцы холодны и неподвижны. И вся она словно помертвела заживо. Не слышала тяжелого стога тайги, взволнованного торопливого голоса дождя, равнодушного говора дизелей. Все слилось в черный комок ночи, которой не будет конца. Бесконечность ночи. Не существовало буровой, тайги и людей. Солнце уже никогда не поднимется на небо. И не осталось ни одного человека на земле. Нет и милых образов близких когда-то людей. И оттого, что все кончается так просто и мгновенно, ее охватил черный негасимый огонь. Этот огонь сушил слезы — она не могла выплакать свое горе... Утро все не приходило, темнота сгущалась, стала вязкой, как раствор на буровой. Дышать становилось все труднее, все тяжелее.

И вдруг она поняла, что утро больше не придет, солнца для нее не будет, а ночь эта бесконечна...

Скорбно, без слез смотрела тетя Устинья в неподвижное строгое лицо Веры, словно дожидалась, когда она встанет и улыбнется. Но тому не суждено быть. И старая женщина не выдержала. Опустилась на колени, простонала:

— Загубили душеньку мою... ироды!..

И заплакала навзрыд.

Дождь лил не переставая.

КЛЯТВОПРЕСТУПНИК

1

Ослепительная вспышка полоснула по сухому темному лику Михаила Копылова, и над крышей так гроыхнуло, что задрожала избушка и с потолка и верхних венцов посыпалась труха. Вздрогнул и Копылов. Он вскочил и заметался по избушке, словно загнанный волк. Стон просохших половиц еще больше подстегивал его — шалые глаза буравили старые стены и рвали черные сумерки. Ему померещилось, что сам Всевышний устами Ильи-пророка напоминает ему о неисполненной клятве и отцовском проклятии.

Его престарая матушка в темном закутке вцепилась в икону и шептала молитвы бесстрастной Казанской богоматери.

Грозы в июльский зной каждую ночь штурмовали село. Штурмовали всухую — оттого гром грохотал особенно яростно и часто. И в избах становилось невыносимо тяжело и душно.

Загрохотало пуще прежнего. Загрохотало возле самой печной трубы, словно молния метила в избушку и вот-вот разнесет ее в клочья. Этот грохот вытолкнул Копылова в дверь — и он в два прыжка пересек двор и влетел в сарай. Тут он перевел дух и на ощупь пробрался в дальний угол, отодвинул ящик с каким-то хламом, по локоть запустил руки в рыхлую землю и вытащил завернутую в мешковину металлическую коробку. Откинул крышку, развернул тряпицу и клацнул хорошо смазанным затвором.

Глухо рыкнул.

И, сунув обрез под мышку, в темноте, между двумя молниями, пересек двор и открыл добротные ворота. Прижимаясь к пряслам, выжидая послевспышковые затмения, небольшими перебежками, не подобающими его возрасту, заторопился к чернеющему за околицей лесу.

Он спешил на расправу с комиссаром.

Выжидая очередную вспышку молнии, Копылов присел возле ветхого прясла. Хотя был уже поздний час и дело шло к полуночи, в окне светилась плошка и сквозь раскаты грома доносились голоса. Стукнула дверь — кто-то нетвердыми шагами вышел во двор и остановился у калитки. За-

струилось где-то совсем рядом, чуть ли не над головой, и Копылов вжался в зловонную землю. Он сообразил, что это изба сельмаговской продавщицы Маньки и, стало быть, стоит над ним командировочный, который не знает местных. И Копылову захотелось расколотить ему башку, но здравая осторожность и предстоящая расправа с комиссаром еще сильнее вдавили его в подгнивший навоз улицы.

Тут погасла молния, и он поспешил убраться подальше от злополучного жилища любвеобильной Маньки.

Хотя по-прежнему грохотал гром и на улице не видно было ни души, все равно Копылов хоронился у плетней и прясел, будто кто-то невидимый следил за ним. Рука наткнулась на толстые венцы, затем, словно из тумана, выплыл белый резной наличник. Он прижался к старым стенам и ощутил их древесное пыльное тепло, и сердце забилося чаще. Мой дом, подумал он. Бог когда-то надоумил — не пустил красного петуха. Про пепелище не скажешь «мой дом» и не ощутишь его тепло. Этот единственный двухэтажный дом в селе поставил дед Корней Копылов, здесь родился Михаил и теперь бы сидел и хозяйствовал в селе, кабы не «комсарик Никишка и Советская власть». И на него нахлынул прилив бессильной ярости: ироды, до чего довели его дом! Поочередно сюда вселялись Совет, потом правление колхоза, после — рыбооп с конторой. А сейчас второй этаж отдали каким-то мелким конторкам, на первом же ютились спившиеся колхознички, называемые бичами. Одному богу ведомо, как еще не спалили! Но, главное, как он обветшал: резьба с наличников ободрана, крыльцо, словно хромая нищенка, покосилось на один бок. Прохудилась крыша, и угол, по которому стекала дождевая вода, осел, вжался в землю. И Копылов молил бога, чтобы он непременно наказал красных за кровь и разорение России. И крепко надеялся, что его молитвы дойдут-таки до Всевышнего. Хотя нутром понимал, что при его жизни вряд ли будет возврат к тем временам, когда Копыловы были полновластными хозяевами, но мириться с этой мыслью не хотел.

Еще прапрадед Копыловых, ямской охотник*, за пятерку купил у живших здесь остяков** этот лесистый остров и, постепенно завладев богатыми окрестными угодиями — пастбищами, покосами, рыбными протоками и промысловыми урманами, заложил новое село. Русские переселенцы стали называть его «Копыловым», а обские же остяки сохранили прежнее название Поснакурт, что означает «селение на острове».

Было время, крепко стояли Копыловы на этом острове. Он никак не мог оторваться от теплой безопасной стены

* Ямской охотник — так в XVII веке назывались переселенцы из России, жители ямских слобод, обеспечивавшие зимние и летние перевозки.

** Остяки — прежнее название народа ханты, или обских угров.

«собственного дома». Вот за этими венцами, в угловой горнице на первом этаже умирал отец, Лаврентий Копылов. Зимой девятнадцатого года, в междувластье в селе, его привез на оленьей упряжке охотник-остяк в темную холодную ночь. Он лежал на широкой деревянной кровати и его жесткое лицо, обрамленное черной бородой, было обращено в потолок, словно он беседовал с самим господом богом. Наконец он оторвался от потолка и глазами подозвал жену. Она подошла и с почтительным трепетом остановилась у изголовья его кровати.

«Позови сына и оставь нас!»

Она мигом исполнила его приказание.

Мишка, со страхом поглядел на отца, осторожно приблизился к кровати. Отец приподнял воспаленные веки, поймал сына ясным и жгучим взором и тихо спросил:

«Ты знаешь, где твой дед?»

И хотя спросил он очень тихо, но Мишке показалось, что громыхнул на всю горницу — в здравии-то голос у него был дай боже. И поэтому Мишка поспешно прошептал:

«Знаю, на войне».

«А дядья твои где?»

«Там же, на войне...»

«На войне, на войне... — передразнил отец. — Нету их уже на войне...»

«Где же оне?» — робко спросил Мишка.

У отца что-то клокотнуло в горле, и он тяжело, с натугой, почти выкрикнул:

«На том свете!..»

Мишку передернуло словно от удара.

А отец все клокотал утробно:

«Их всех комсарик Никишка кончил!.. Кого забил!.. Кого утопил!.. Кого заморозил!..»

Отец яростно сверкнул очами, в глухом бессилии выдохнул:

«Ублюдок говенный!..»

Тут отец закашлялся, и у него горлом пошла кровь. Мишка бросился за матерью. Прибежала мать с тряпками. Она приподняла отцу голову и, поглаживая его заросшую щетиной щеку и шею, что-то ласково стала нашептывать ему. Возможно, молитву. Отец немного успокоился, перестал кашлять — и приостановилось кровотечение. Мать начала поить его отваром каких-то трав, а потом он будто задремал. Но вдруг открыл глаза, знаком велел матери выйти из горницы и, собравшись с силами, спросил сына:

«За что комсарик их кончил?»

И сам же ответил:

«Потому как помыкать собою не позволили!»

Пауза — и снова ответ:

«Потому как разора не потерпели!»

Пауза — ответ:

«Потому как за батюшку-царя стояли крепко!»

Пауза — ответ:

«Потому как живота своего не пожалели!»

Отец снова помолчал, потом сказал наставительно:

«Заруби себе: всех твоих родичей комсарик Никишка кончил!.. Мне бы тоже каюк, кабы не ранило в бою!.. Ты — последний...»

Отец опять замолк надолго, наконец тихо и грустно сказал:

«Помру я, Михайло...»

Помолчал, потом снова заговорил:

«За матушкой пригляди, Михайло — больше некому...»

Мишка припал к постели отца и всхлипнул:

«Не надо, батенька-а-а!..»

«Ну-к, не хнычь, не хнычь! — сурово-ласково проговорил отец и положил руку на голову сына. — Дело есть!..»

Он помолчал и, поманив сына поближе, зашептал что-то ему на ухо. Затем отстранил сына и застыл на кровати. Мертвенно-синий свет луны резко отбросил черты его костлявого и властного лица. Он лежал с закрытыми глазами, и Мишке невольно почудилось, что отец не дышит. Он попятился от постели, но отец, не открывая глаз, разомкнул губы:

«Смазывай хорошо, слышь?»

«Слышу!»

«А матери — ни-ни!»

«Понял, батенька!..»

«Неси икону!»

Мишка принес икону и отец глухо, будто уже с того света, прошептал:

«Клянись!»

И Копылов-младший поклялся.

«Не отомстишь — прокляну! Слышь?»

«Слышу!»

«Михайло, ты — последний, больше некому...»

«Понял, батяня...»

«А на том свете я встречу комсарику как подобает!..»

«Слышу, бать...»

«Ну, так-то вернее», — отец будто свалил какую-то тяжесть и, облегченно вздохнув, протянул тяжелую жилистую руку. И сказал сыну последние слова:

«Ну-к, упаси тебя, бог!..»

Сказав, он вытянулся на кровати — высокий и жесткий — и затих, будто преставился уже. Но мать, скорбная и тихая в последние дни, только на второе утро, с трудом сдерживая крик, глухо зарыдала. И Мишка понял, что отца не стало.

Нахлынувшие воспоминания еще сильнее прижали Михаила Копылова к стене «своего дома». Да тут еще настораживал сельский клуб, что стоял наискосок через улицу. Это была когда-то небольшая, но на совесть срубленная церквушка,

которую тоже поставил в начале века дед Корней Копылов. Дед занимал в ней почетное место во время праздничной службы, а в будни ходил сюда отмаливать свои земные грехи. Без бога нельзя, гудел он в бороду. Теперь же здесь по вечерам крутят кино и устраивают пляски. Это у них «танцами» называется. Сейчас, вроде бы, там никого не должно быть. Но его смущал садик возле церквушки, густо заросший лебедой и бурьяном. Парни обычно девчат сюда водили. Между раскатами грома «туговатый на ухс» Копылов уловил шорохи в садике. Можно было обойти его стороной, но ему не хотелось тащиться по задворкам — отчего-то собаки недолюбливали его и всегда рады побрехать на него.

Все сверкали молнии, но гром погромыхивал теперь где-то на окраине села, возле самого леса. И Копылов вдруг испугался, что упустит гром и тогда ему не расквитаться с комиссаром в эту ночь. Он все не мог оторваться от «своей» стены — садик нагонял-таки страхи. Тут он стал внушать, что тем, кто в садике, сейчас не до него — они ж ходят туда, чтобы укрыться от людских глаз. Стало быть, им нет никакого резона попадаться ему.

Илья-пророк снова подстегнул, и он, укоротив свою долговязую фигуру, засеменил к чернеющему недалеке пряслу.

Копылов торопился к комиссару Никишину.

2

Революционер-большевик Арнольд Никишин в этом селе отбывал ссылку. Жил он в пятистенке бабки Лукерьи подле леса. Корнею Копылову он сразу пришелся не по нутру — молодой ссыльный мутит народ. Со всеми он выискивал общие интересы: и среди степенных мужиков терся, и к седобородым дедам подкатывался, и молодым сладкие речи пел. Полсела словесным поносом обмарал, ворчал Корней Копылов. Всем райство сулит, а сам за-ради райской жизни хребет не гнет, на казенных харчах сидит. Клянёт батюшку-царя, а его куском не гнушается. Ишь, трутень-мутень свалился на наши головы!.. Копылов-старший особенно всерьез его не принимал. Но в смутные времена такие завсегда на первом месте, сообщал старик. Завсегда наверх выскакивают. И чем они людей привораживают? Хитросплетенными словесами?! Бесстыдными посулами аль чем-то еще?! Но так и не разобрался, не успел. На село накатила Октябрьская революция, и Арнольд Никишин объявил себя представителем народа и новой власти, которую нарекли Советской. Копылов-дед мог тешить себя лишь тем, что в своих предчувствиях не ошибся. Но это не доставляло ему радости или удовлетворения.

Свои счёты с комиссаром Никишиным были и у Копылов-внука. К тому времени Мишка отдал свое сердце глазастой Евдокии Сухоруковой. Крепко-накрепко она завладела его сердцем и умом, будто каким приворотным зельем опоила. На всех вечеринках была Дуняша заводилой среди сельских девчат. Особенно Мишка любил слушать по вечерам ее чистый и нежный голос, что уводил песню высоко-высоко, в самое поднебесье. Слушал Мишка ее напевы, а вот дотронуться до ее льняно-белых кудрей не отваживался. Так ему и не суждено было прикоснуться к ее чудным легким волосам. В село приехал Никишин, и Дуняша Сухорукова вместе с частью сельской молодежи подпала под его влияние. Дед же Корней Копылов заказал Мишке появляться в избе бабки Лукерьи, где жил, как он выражался, «нехристь, смутьян и каторжник». И ссыльный Никишин стал для Мишки смертным врагом. Он отнимал любимую женщину, первую любовь. Этого-то Мишка не мог простить ему. Такое не прощается... Эх-х, Дуняшечка, да ты хоть поглядела бы на его рожу-то, вздыхал Копылов влюбленный. Не рожа, а морда лошадиная. И вправду, у ссыльного было странное лицо: продолговатое — вытянутое сверху вниз. Продолговатый нос, продолговатые, как у лошади, зубы, подбородок. Только глазки были нелошадинами: глубокосидящие, колкие и кровожадные. Да еще не было у него лба...

Мишка Копылов, как всякий деревенский, любил коней. Но это несоответствие даже по прошествии многих лет все озадачивало его: почему на таком чудовище появились черты благородного животного?! Впрочем, многие односельчане считали политссыльного вполне симпатичным малым и ничего лошадиного в его облике не находили.

Тут начался, по выражению комиссаров, «кулацко-эсеровский мятеж», охвативший весь Обской Север. И Евдокия Сухорукова ушла к красным сестрой милосердия. А вскоре в село пришла весть, что она погибла.

Эх-х, Евдокея-душенька, Евдокея-любушка, что же ты наделала с собой?! Что ты наделала?! Что сделали с тобой, ироды?! Копылову по сей день она является во снах. Он посреди ночи просыпался от черной жгучей тоски — не будь комсарика Никишки, ведь Дуняшка наверняка не ушла бы к красным. Женское ли дело — война!.. Во всем, выходит, виноват комсарик. Копылов лежал до утра не смыкая глаз. Лежал неподвижно и слушал, как в бессильной злобе плакала избушка. Это плакала его душа... Евдокея-то детей могла породить мне, думал он, кабы не комсарик. И жизнь, может быть, потекла бы совсем по другому руслу...

Погасла молния, громынуло, и Михаил Копылов затрусил к черному лесу, куда упиралась улица. Перевел дух лишь в ельнике, когда наткнулся на кресты кладбища. Взялся за оружие и ужаснулся — впопыхах не сунул даже под пиджак. А если бы

попался кто?! Слава богу, пронесло! — и он быстро перекрестился.

На него дохнуло сладко-влажным духом прели и сырости.

На Копылова в упор смотрел комиссар. Молния выхватила из тьмы его продолговатое лицо, продолговатые зубы и кровожадные глазки. Столько в нем полыхнуло ненависти и непощады, что, казалось, даже смерть пред ним бессильна. Погасла молния, а Копылов все еще не мог прийти в себя, ошарашенный его пронзающим взглядом. И только когда в нутро стал заползать острый холод, Копылов очнулся и поспешно поднял обрез, передернул затвор и при вспышке молнии навел дуло на кровавые глазки комиссара. И, хотя на лбу выступила холодная испарина, он выжидал. Руки обрели твердость и теперь слушались его. Острый холод на это мгновение оттеснило чувство исполняемого долга за гибель рода Копыловых. Сейчас он снова стал полновластным хозяином двухэтажного дома, церкви, судов и барж, береговых песков, пастбищ и покосов и всего прочего, чем владел его дед Корней Копылов. И, возможно, дороже этих секунд ожидания в его жизни ничего не было. Вот так, замерев, он готов выстоять сколько угодно, лишь бы чего-то выждать. В его голове до мельчайших подробностей промелькнуло прошлое, докомиссарское прошлое.

Что же ты натворил, комсарик?! Зачем толкнул человека с человеком, родича с родичами, народы с народами и пустил большую кровь?! Зачем?! За-ради чего?! За-ради добра и богатств?! За-ради высокой власти?! Но ведь в этой круговерти, пустив кровь и разорение, ты сам сгинешь и ничего не получишь! За-ради чего всю эту пакость сотворил?! Ужель бог отнял твой разум, чтобы твоими руками наказать землян?! Ох-х, господи!...

Но грохнул гром, и гром вернул его к комиссару. Он не спешно нажал на спусковой крючок, и от неожиданности его отбросило назад. Выстрел слился с ревом грома, увидел только рыжее пламя из ствола. Все, конец, точка. Вдохнул облегченно, расправил плечи и выпрямился во весь свой огромный рост и, сунув теплый обрез под мышку, не спеша, ни от кого не таясь, напрямую направился домой. По привычке ворота и двери закрыл на запор и тут, почувствовав размаривающую усталость, опустился на кровать. Обрез перезарядил и сунул под подушку. Хотел отнести его в сарай и закопать, но тут по окну забарабанили крупные дождины. Дождь, едва начавшись, тут же перестал, а гром заревел еще неистовее. Теперь у Копылова не было сил и желания вставать с кровати.

С чувством исполненного долга Копылов закрыл глаза: свою клятву исполнил — комиссар Никишин убит.

Над головой отцовское проклятье не висит.

Духовную свободу обрел.
А над селом вовсю бесновался гром.

3

Утром он опять не спрятал обрез в сарае. Вдруг-то уже началось следствие по делу Никишина и всех подозрительных взяли на заметку, подумал он. А тут спозаранку Копылов со свертком в сарай, чего ни разу по утрам не делал. Нет, не след спешить. Пусть уж дома будет, соображал он. Если захотят меня взять, так патроны есть, живым в руки не дамся.

Он отворил калитку и выглянул на улицу — в селе было тихо и мирно, будто ничего не случилось. Поправил кепку и направился на колхозную конюховку, где присматривал за лошадьми и шорничал. Шел прямо, высоко подняв голову, не оглядываясь, но все подмечал из-под нависших бровей зорким оком. Если бы односельчане присмотрелись к нему, то заметили, что шаг его стал тверже и решительнее, словно он уже стал хозяином своего двухэтажного дома и завладел всем своим хозяйством. Но однако сельчане не баловали его вниманием, считали обыкновенным бобылем-чудаком — избушка разваливается, но он строит вокруг нее добротный крепкий забор. На кой ляд забор, если крыши нет?! Поди, разберись, что у него в башке! Только сельмаговская Манька, когда подолгу у нее никто не останавливался, пристально смотрела на долговязую фигуру Копылова — чувствовала его нерастрченную мужскую силу — и скалила белые зубы. Копылов же отворачивался, словно повстречался с самим дьяволом-искусителем в образе Маньки. Его года и впрямь трудно определить — на голове ни одного седого волоса и на лбу морщин не более, чем у всякого мужика средних лет. А бобылем, видно, остался оттого, что не захотел впустить в свою жизнь никого, кроме Евдокии Сухоруковой.

Весь день, вздрагивая от скрипа плохо смазанных ворот, он чего-то ждал. Может быть, известия о расстреле комиссара. Но в селе было пока спокойно. Только на следующий день, повстречав на улице Копылова, председатель Совета спросил: — Слыхал, Лаврентьич, что пацанье-то наделало?!

И председатель сообщил то, что хорошо было известно Копылову, в конце добавив, что с пацанья взятки гладки — що, мол, возьмешь...

Копылов согласно кивнул. Он прислушивался к разговорам и посмеивался в душе — на этот раз председатель Совета сыграл ему на руку. Пусть все думают так, как нужно власти. Раньше он ни во что не ставил председателя, считал его ко-

лодой неповоротливой, хозяином без штанов. Все дела сельсоветовские вела секретарь, востроносая рыжая бабенка, которой он не опасался. Теперь надо же, председатель оказался нужным человеком. Несмотря на это, сейчас его интересовал и глава колхоза, который, по его мнению, мог бы быть настоящим хозяином села. Но тот, занятый своими делами, видно, вообще ничего не сказал или равнодушно принял известие о гибели комиссара.

Но Копылов постоянно был начеку. Он внимательно наблюдал за участковым, который приехал в село на третий день после той ночи. Уже вообразил, как ловко стал бы водить за нос следователя, случись, заподозрили бы его. Ведь улики-то никаких, кроме обреза, о существовании которого даже родная мать не знает. И в нужный момент можно легко избавиться от него — Обь-матушка рядом. Да и кому бы пришло в голову заподозрить его, лучшего колхозника, безупречного работника и тихого незаметного селянина?! Теперича не те времена, думал он, когда не смел шелохнуться и пискнуть, не говоря уже о мести. Тогда за один только обрез мог загреметь в места, откуда нет возврата. Но такая участь не прельщала его, поэтому и выжидал. Но к выжиданию его принудила и осторожность, которой при рождении господь Бог его наградил почему-то больше, нежели всех остальных Копыловых, отбивших уже в иной мир. Он все присматривался к участковому, но тот, переночевав у сельмаговской Маньки, укатил куда-то по своим делам. И жизнь в селе неторопливо потекла по старому руслу.

Чутким и осторожным стал Копылов. Советская власть за многие десятилетия впитала в его кровь эту излишнюю осмотрительность и осторожность: всем, кто высовывался и поднимался над толпой, красные тотчас отсекали головы.

Расстреляв комиссара, Копылов был готов ко всему. Он ходил по селу с высоко поднятой головой и всем своим видом говорил: вот он, я, последний из рода Копыловых, исполнивший свою клятву! Возьмите меня, попробуйте! Терзайте меня, убейте меня! Я готов умереть!..

Наверняка приедет милиция, думал он. Начнется следствие. На худой конец делом займутся председатель Совета, «партийный секретарь» или глава колхоза. Но пока тихо, и эта тишь беспокоила его. Если бы милиционер или кто-то другой попытался найти преступника среди детворы, хотя бы для острастки, то Копылов успокоился бы. Все-таки это удовлетворило бы его самолюбие, и расстрел комиссара еще больше возвысил бы его в собственных глазах. Может быть, комсарик теперь ничего не значит, размышлял он. Нужен был только в гражданскую, когда истреблял противников переворота?! Но в его сознании комиссар всегда оставался комиссаром. Ведь не кто иной, а именно Никишин уничтожил весь кремень-род Копыло-

вых и вытряхнул в преисподнюю все их нажитое за века добро. Тут ох какая сила нужна! Видно, и дед Корней Копылов недооценил его. Корней, который никому спуску не давал и мог взять за рога самого дьявола. Не такие дела сотворил комсарик, чтобы так быстро позабыть его. Бродит комсарик невидимой тенью по селу. И Копылов всем нутром почувствовал, что борьба с ним только началась. Вся борьба еще впереди. Почудилось ему, что председатель Совета намеренно пустил ложный слух, что из города по телефону получил указание, чтобы усыпить бдительность мстителя и захватить его врасплох. При встрече, помнится, он дольше обычного задержал взгляд на нем, Копылове. Неспроста, выходит, неспроста. И глава колхоза, председатель то бишь, как-то слишком суетливо и быстро поздоровался с ним и заспешил невесть куда. И участковый, видно, не зря останавливался у любвеобильной Маньки. Ведь ее дом за три двора от избышки Копылова. Возможно, тот не с Манькой развлекался, а за его домом наблюдал. А тут еще соседка, что через улицу живет, нынче целыми днями сидит на лавочке возле ворот, исподтишка глазеет на него, будто влюбленная какая. А вчера сын ее долго на крыше околачивался, будто бы антенну усатую для телевизора устанавливал.

Только «комсарикова наследыша», партийного секретаря, не было в селе, в это дело не встречал. Им был мужичишка выморочный и тщедушный — вечно скитался, как выражались односельчане, «по партийным салаториям и больницам». И сейчас он, горемычный, где-то не то отдыхал, не то лечился.

Неспроста все притихли, решил Копылов. Комиссарова власть коварна, хитра. Веры ей нет. Выжидает она, выжидает. И он почувствовал щемящую пустоту там, где у нормальных людей должно быть сердце.

Да, как и в двадцатых, в этой борьбе пощады не будет.

4

Не долго терпели на Обском Севере комиссарскую власть. Мужики поднялись против комиссаров. Красные назвали это «контрреволюционным мятежом».

«Грабь награбленное!» — призывал комиссар Никишин.

«Все ведь горбом нажитое! — стучал себя по загривку Корней Копылов и разводил руками, как бы показывая на свое добро. — Видит бог!..»

«Грабь и бей буржуев!» — кричал на это комиссар Никишин.

Красные первым забили Елизара, младшего сына Корнея Копылова, его любимца. Елизара подвесили будто бы шутя за

ноги и потребовали «отцово золотишко», якобы запрятанное с его участием. Озорной и своенравный Елизар, словно бы желая шепнуть на ушко, подманил комиссара к себе и кровью харкнул ему в лошадиную морду. Тут за парня взялись не на шутку: начали медленно колоть штыками. Но он только матюгался и бешено ревел. И вскоре его забили прикладами. Пулю пожалели...

Корней Копылов, узнав об этом, просто озверел.

«Ироды!.. — плакал старик. — Скотину так не кончают!..»

И — пошло, и поехало.

Столкнулись лоб в лоб. Русские — с русскими. Остяки — с остяками. Красные — с белыми.

Красные называли белых «бандитами», а их отряды — «бандами». Белые тоже метили красных «бандитами» и «карателями». Когда же входили в деревни и города, те и другие «охочи были до баб, самогонки и жратвы». Те и другие требовали постои, лошадей и фураж. Те и другие грабили и насиловали. Возможно, в чем-то для жителей были менее опасны хорошо организованные и дисциплинированные отряды белых, нежели разношерстная и озлобленная толпа красных.

Красные били белых. Белые били красных. И Корней Копылов не щадил комиссаров, попадавших в его руки. Мстил за сына Елизара, за батюшку-царя, за свой разор. И месть его была такая же беспощадная, как и комиссарская... Только об одном он пожалел — не попался ему в руки комиссар Никишин.

Но и власть белых продержалась не долго — в начале следующего года красные разбили отряд Корнея Копылова. Взятых в плен расстреляли. Красные, истребляя «контрреволюционных мятежников», продвигались в низовья Оби. И вскоре под займой Лорбой в бою был убит комиссар Никишин. Там его и похоронили. Когда Советская власть окончательно укрепилась на Обском Севере, то из Петрограда приехала комиссарова жена, тоже профессиональная революционерка, только в семнадцатом вышедшая из Петропавловской крепости. Она перевезла останки мужа-комиссара в село, где он провел годы ссылки и похоронила на сельском кладбище под строгой хмурой елкой. Принесла на могилу свой первый и последний венок, омытый скупой слезой, и укатила комиссарить в Москву на центральный телеграф, где в те бурные дни ее ждали неотложные дела.

Время шло. Истлел ее венок, могила заросла травой.

Вначале Копылов в душе вроде бы обрадовался: погиб комиссар Никишин, стало быть, его клятва потеряла силу — кому мстить?! Тут и времена жесткие настали, пикнуть не могли, за дедовские дела могут привлечь к ответу. Притаился Копылов, замер. Не пил, не буянил. Одним из первых

записался в колхоз. Часто по праздникам ему вручали почетные грамоты. Его усердие и жадность до работы оценивал всякий новый председатель колхоза. Копылов же не стеснялся ломать шапку перед ними, хотя они менялись чуть ли не каждый год. Для него, кажется, все они были на одно лицо. Может быть, оттого, что и председатели видели в нем только одно — безотказного и добросовестного работника, «рабочую лошадку», остальное их не интересовало. Копылов никому в глаза не лез, ни с кем не враждовал и дружбу не водил, скромненько держался в стороне. Говорил, что туговат на ухо и знал цену своим словам. Тихо жил себе в избушке-развалюшке с матерью, на жизнь никогда не жаловался и ни у кого помощи не просил — тем и был хорош в селе.

При людях не поднимал руку для крестного знамения, хотя бога в душе сохранил.

Тут нагрянул сорок первый год. И, по прошествии лет, возле бывшей церквушки в березовом садике появился высокий серый обелиск со звездой, а рядом большой фанерный щит с именами более ста односельчан, павших на фронте. Исключением стали десяток фронтовиков, из коего в селе осталось ныне всего три-четыре человека. Остальные кто помер, кто уехал. Сам Копылов тоже хлебнул военного лиха — получил тяжелую рану в паху, долго валялся по госпиталям. Но, однако, вырвался из когтей смерти, выжил, вернулся домой. А из женской половины военного поколения тоже немногие выжили — отдали бабы свое здоровье лесозаготовкам, рыбалке на студеной Оби и тяжелой каторжной работе на полях. Стало быть, кроме Копылова и его престарелой матушки, мало осталось свидетелей событий двадцатых годов.

Но комиссар неожиданно напомнил о себе. Вдруг в селе пошли разговоры, что останки комиссара надо бы перезахоронить под обелиском в садике, ведь там никто не погребен. Копылов тогда не на шутку встревожился — комиссар переберется в село, придется жить с ним почти по соседству. И он каждый день станет напоминать, кто есть Копылов и кем бы мог быть, не ворвись в жизнь комиссар Никишин. Тут, пожалуй, спятить можно рядом с ним. Запросто спятишь. Но к невысказанному удовлетворению Копылова, дело дальше слов не пошло. Но комиссар все же напомнил об отцовском проклятии, которое еще не опустилось на его косматую голову, но тяжким мечом висело над ним. Меч то притуплялся и он начинал забывать о своей клятве, то заострялся и тогда его охватывало беспокойство и ожидание беды. Все это зависело от комиссара, от того, как часто он напоминал о себе. А Копылову уже виделся конец комиссара: время незаметно разрушало подгнившую оградку на комиссаровой могиле, выравнивало ее с землей. Был комиссар — не стало комиссара, нет даже останков. Он понадеялся вырвать комиссара из людской

памяти с помощью безжалостного времени и тем самым как бы исполнить свою клятву и зажить спокойно.

Бывало, с внутренней усмешкой он заводил беседу:

«Ты для них, комсарик, живота не пожалел, а от них даже трухлявого креста не получил!»

Тут перед ним всплывало бледно-зеленое лицо комиссара и он слышал насмешливый ответ Никишина.

«А жизнь-то ведь, Копылов, по-моему идет, а?!»

На это Копылову нечем было крыть, и он поспешно отворачивался и осенял себя крестными знаменами, чтобы побыстрее избавиться от комиссарова духа. Что верно — то верно, жизнь шла по комиссаровому руслу. Как вещал партийный секретарь, социализм в масштабе села и страны уже построили, все обобществили. Все вокруг ваше — колхозное, социалистическое, общественное. А сейчас ударно строим коммунизм. И до коммунизма осталось совсем чуть-чуть — возможно, полшага. Ну, самое большее — шаг, полтора. Всех там ждет всеобщее благоденствие, коммунизм, строящийся по мудрым заветам классиков марксизма-ленинизма. Главной заботой партийного секретаря было, чтобы лозунги и призывы на красной материи постоянно висели на стенах сельского клуба, на стенах контор колхоза и рыбоопа. Но, однако, его мало волнует то, что колхоз на ладан дышит. Давно перестали сеять хлеб. Дедовы поля начали зарастать травой-кустами. Охотничьи промысловые урманы вырубili, а рыболовные угодья каждый год травят то нефтью, то еще какой-то гадостью. На пастбищах почему-то плохо приживаются колхозные коровы и кони. Избы, перешедшие в собственность колхоза, быстро обветшали и почти уже сгнили. Чудные дела творятся, размышлял Копылов. Комиссаровы последыши, «награбив награбленное», словно по-божьему наказанию, не сумели по-хозяйски распорядиться всем этим добром. Бог не дал ума. Вернее, отнял разум у тех, кто преступил заповеди божьи и заповеди человеческие.

Но время работало на него, а не на комиссара. Все так шло, как он и предполагал. Но тут вдруг объявилась где-то под Москвой родная сестра комиссара. Она прислала сельским пионерам письмо и один за другим два денежных перевода — на могиле комиссара появились цветы и новая оградка. Партийный секретарь выдал призыв: даешь революционное прошлое! Разыскать, сохранить, увековечить!..

Слышит Копылов, как пионеры пристают к соседке-старожилке, к бабушке Сухининой. Расскажи да расскажи, как пришла в село Советская власть, как пришла революция. Бабушка, сидя возле дома на лавке, долго отнекивается. Наконец не очень охотно начинает вспоминать:

— Значица, было так: пришел пароход «Святая Мария», с городу Тобольска. Все в селе заговорили: каратели пришли,

каратели... И там, среди них был наш селянин Васька Шаламов...

Пионеры недоуменно переглядываются, потом переспрашивают:

— Дед Вася Шаламов?!

— Ну-у, да...

— Он приплыл с карателями?!

— Ну, да...

— Он не мог быть с ними! — засомневались пионеры.

— Как это не мог быть?!

— Может, вы, бабушка, что напутали, а?

Бабушка начинает сердиться:

— В ту пору я совсем молоденькая была. Глаза-очи мои тоже на месте были. И память, слава богу, еще не отшибло!.. Был с ними Васька Шаламов, был!..

— Неужели так было?!

— А почему бы ему там не быть?!

Пионеры объясняют бабушке:

— Дед Вася Шаламов — красный партизан! Он революцию защищал, мы записали его воспоминания. И в сельсовете нам сказали: он — герой Гражданской войны, красный партизан!

— Ну и чо из этого?

Пионеры отвечают:

— Красный партизан не может быть карателем!

Бабушка Сухинина призадумалась, помолчала, потом поняла:

— Все верно: тогда их называли карателями, а теперь — красными партизанами...

Тут приумолкли пионеры: видно, начали соображать, что бы это значило... А бабушка, победно оглядев своих слушателей, продолжила рассказ:

— Значица, на «Святой Марии» пришли каратели и начали делать эту самую революсию и советску влась. Перво-наперво забили парнишку Елизарца, сына старшого Копылова... Царство ему небесное.

Бабушка вздыхает и незаметно, не поднимая руки, одними пальцами кладет крест. Помолчав, после тяжелого вздоха, она добавила:

— Видно, золотишко шибко почитали. Все золотишка требовали...

Все помнит старая, удивился Копылов. Будто вчера все это происходило. И его мысль ушла к Ваське Шаламову. Одряхлевший старик одиноко доживал свой век в избе с провалившимся полом недалеко от центра села. В первый раз Копылов наведился к красному партизану не из любви, конечно, к его революционному прошлому, а хотел выяснить кое-какие вещи о своем отце и дедушке Корнее Копылове. Разговорились. Оказалось, дед Шаламов волею случая попал

к красным. Возвращаясь с войны с германцем, надолго застрял на ближней к дому железнодорожной станции в Тюмени. Не было попутного транспорта. Тут объявились красные, начали набирать людей в поход против мятежников-северян. Война давно насточертела ему. Не хотелось воевать ни с кем. Тем более, с земляками, пусть и «контрреволюционными мятежниками». Красные посулили транспорт, хорошие харчи, дом и потом полную свободу. Соблазн попасть домой взял верх. Решил, доплыву до дому, а там видно будет, авось отстанут от измотанного войной фронтовика. Но не тут-то было — цепкими оказались комиссаровы руки. До самого конца Гражданской пришлось оттрубить... То ли за откровенность, то ли за сострадания к старости, Копылов заменил в избе две сгнившие половицы, чтобы старик не провалился в подпол. Хотя нужен, конечно, основательный ремонт. Но мольбы красного партизана к Советской власти действия не возымели. Копылов знал, почему. Во-первых, у Совета давно все село сгнило, а не только изба Шаламова. Во-вторых, об этом же просят ветераны ближней войны, вдовы и семьи погибших на фронте. Ждут помощи многодетные и сироты. Словом, очередь длинная. В-третьих, видно, всякой власти в тягость человек, в свое время сделавший дело и теперь ни на что не пригодный. Такова жизнь.

Прилаживая половицы, тюкая топориком и прислушиваясь к неумолчному говору старика, Копылов тешил себя мыслью, что Всевышний видит все и каждому отмеривает по заслуженной мере. Воистину, на чужом горе не построишь себе счастье. Вот и красный большевик Василий Шаламов, некогда поднявший руку на своих же сородичей, теперь без семьи и детей, без родных и близких, никому не нужный, одиноко умирает в полусгнившей избе. А о комиссаре и вовсе сказать нечего. Останься он в живых, возможно, его конец был бы еще более мучительным.

Между тем сестра комиссара в последнем письме прислала карточку брата. Физрук школы врезал ее в красноезвездную пирамидку на могиле.

Комиссар беспощадным прищуром притянул к себе всю округу.

5

И глаза комиссара сказали Копылову:

«Вижу твою черную душу, контра! Вот погоди, доберусь до тебя!..»

Копылов на это лишь усмехнулся и сказал резко:

— Баста, шабаш — кончается твое время, комсарик!..

Повернулся и степенно, не спеша пошел с кладбища.

Еще одним открытием тешил себя Копылов: в селе первым пророчески подметил, что «комиссарьево время» пошло на убыль. Пошло на убыль одновременно с двух концов — сверху и снизу. Сверху таким макаром пошло: стали в селе рассказывать разные побаски про Генерального Комиссара, про самого наивысшего, который вместо батюшки-царя сел и начал народом править. Попервости передавали их потихоньку, с опаской, ухо в ухо. А потом заговорили в открытую, со смешком, с издевочками, с неприличными жестами. Разве такое было возможно хотя бы еще десяток лет назад?! Нет, конечно. Понял Копылов: плохи дела у Генерального. Стало быть, дни его сочтены... Снизу же «комиссарьево время» подтачивалось несколько по-иному, а именно: просто «комсариновы наследыши» шибко помельчали и утратили силу в народе. Вот, к примеру, партийный секретарь. Ладно, не вышел статью и ликом — не его вина, это от бога. Но, главное, по делу мало на что пригоден. В колхозе председательствовал — что-то не клеилось, перевели в Совет. В Совете тоже не заладились дела, поэтому двинули его в рыбооп. Там он какие-то товары не то растранижил, не то украл. Словом, и тут оказался не у дела. Вот тогда-то и попал в «комсариновы наследыши» и, по всему виду, пришелся ко двору. Лозунги, призывы, доклады, партийные путевки. Тут он как утка в воде: где захочет — там и нырнет, где захочет — там и вынырнет. Словом он владел не хуже большевика Арнольда Никишина. Правда, односельчане на его, как выражался Корней Копылов, «словесный понос» не обращали особого внимания. Михаил же Копылов чутьем фронтовика безошибочно угадал, что этот, как Никишин, за красную идею на белые пулеметы не пойдет. Нет, не пойдет. Скорее, перекрасится в другой цвет. Коль сам не готов идти, так зачем других к этому подталкиваешь?! Зачем словесную чушь несешь?! Вот и выходит, что и внизу плохи дела у комиссаров.

Только по этой причине Копылов так резко отбрил комиссара: кончается твое время!..

Но он все еще чувствовал в себе пронзительный взгляд комиссара. И не мог избавиться от ощущения, что Никишин постоянно подсматривает за ним. А это было мучительно для него. Нужно искать, как избавиться от этого надсмотра, иначе жизни не будет.

Дома престарелая матушка, которая уже жила не столько настоящим, сколько прошлым, спросила:

- Миш, нынче в селе-то кто?
- Красные, мам, — отвечал сын.
- Разе боже не покарал их?
- Нет, еще, мам.
- Коды покарат?

- Скор, мам.
- Комсарик Никишка верховодит?
- Нет, мам, другие.
- Где он, ирод?
- Нету его, скончался.
- А-а, божья кара...
- Да, мам.
- Мотри, Миш, не шастай по улке-то!
- Хорошо, хорошо.
- Кокнут ведь, ироды, ни за што!..
- Да я дома буду, мам.
- Батяня-то где?
- На небеси, мам.
- Будто я токо с им баила...
- Ну, так ушел.
- Белые-то коды придут?
- Не знаю, мам.
- Далеко ушли?
- Да, далеко-далеко...
- Бог даст!..
- Даст бог, мам!..

И мать слабой рукой кладет крестное знамение.

Михаил же только вздохнул тяжело. Вздохнув, подумал: на нашем с тобой веку, матушка, белые-то, видно, уже не доберутся до села. Больно медленно убывает «комиссарьево время».

Ночью к нему явился комиссар Никишин и, сверля кровавым глазом, с хитро-наглым прищуром, прошипел:

«Вот погоды, доберусь до тебя, Копылов!..»

У Копылова похолодело нутро, и сначала он весь съежился, а потом стал наполняться яростной злостью и эта злость распрямила его, и он закричал:

— Да нет же, нет — не доберешься!..

И проснулся. И сгинул комиссар. Копылов долго лежал неподвижно, прислушиваясь к тишине и ощущая, как наполнявшая его ярость медленно, как бы нехотя, уползает из его нутра.

— Ой ли, и на том свете не доберешься, — пробормотал он комиссару. — Кому рай, а кому ад...

Но, однако, Никишин пока на этом свете не давал ему покоя: даже в глухую полночь, просыпаясь, он чувствовал, как из темного угла бьет по сердцу кровавый глаз комиссара. Тот кровавый глаз, что испепелил его любушку Евдокию Сухорукову, отца, дядю Елизара, деда Корнея Копылова и многих других. Тот глаз, что многих безвинных преждевременно отправил в мир иной. Он втягивал голову в плечи и еще сильнее укутывался в толстое одеяло, но и это мало помогало. И тогда он взялся за обреза — другого выхода нет.

Нужно уничтожить испепеляющий душу глаз и заодно этим исполнить свою клятву...

Он свершил то, что должен был сделать еще в двадцатых годах после гибели отца и всех близких родственников. Сгинул глаз, избавился от него Копылов. Теперь он свободен и независим.

На четвертый день как бы мимоходом он завернул на кладбище, чтобы взглянуть, что осталось после его ночной вылазки. У комиссара не только кровавый глаз, а лица нет вообще. И Копылов не выдержал: не то подумал, не то сказал вслух, имея в виду красных:

— Я расстрелял тебя, а им-то, вишь, до тебя, что до матери, комсарик!.. Хе, розыск учинить не могут!..

И подумал, что наконец-то дважды убитого комиссара припер к стенке. Потоптался, прислушался к тишине — молчит комиссар. Знать, навечно замолчал на сей раз. Однако ночью тот сам явился в избушку Копылова и ответил:

— А жизнь-то ведь, Копылов, по-моему идет, а!..

На сей раз Копылов не осерчал. С великодушной снисходительностью победителя, усмехнувшись, сказал:

— Погоди, вот начнет колхоз хрен сосать — тогда помянут тебя, комсарик!..

А дело как раз к этому шло. Колхоз не только других, а себя прокормить не мог. Что ни год — все пятились и пятились назад. Копылов это давно подметил хозяйской сметкой, унаследованной от дела. А ведь при Корнее Копылове на этой земле кормилась вся округа, а излишки вывозили в низовье в Обдорск-город и в верховье в Тобольск-город.

И он пообещал комиссару:

— Погоди, еще намылят тебе ж...!..

Повернулся на другой бок и захрапел как ни в чем не бывало.

На следующее утро, проходя мимо Совета, он услышал, как физрук школы жаловался председателю:

— Какой снимок испортили, а?!

— Другой патрет сделай, — сказал председатель.

— А другого нет, — развел руками физрук.

— Как так нет?

— Снимок был в одном экземпляре.

— А сестра его что?

— Перестала писать.

— Почему?

— Кто знает. Может померла...

— Надо было копию снять.

— Кто знал, что такое случится.

Копылову показалось, что председатель недоверчиво, исподлобья покосился в его сторону. И, когда он приблизился, вовсе замолчал. Неспроста это, подумал он. Неспроста.

У него никогда не было доверия к комиссаровой власти. Власть эта завсегда не по-человечески подкатывала к человеку. Наобещает одно — сделает другое. Посулит рай, а на деле рай оборачивается адом. Вся она какая-то с загибами, с вывертами, с выкрутасами. Не знаешь, с какой стороны и куда кольнет, за что уцепится мертвой хваткой. Она еще никого с миром, с богом не отпускала. Надо ухо держать востро.

Но власть все медлила, все тянула, все не брала Копылова. Вконец, что ли, она ослабла? Вконец, что ли, она обесси-лела?..

Бывало, просыпался он по ночам от малейшего шороха и скрипа. Лежал, охолодев, под толстым одеялом и при-слушивался к напряженной тишине, а рука сама тянулась к обреза под подушкой. Живым не дамся, думал он. Крес-тился нетвердой рукой и немного успокаивался.

Гнетущее чувство безысходности то накатывало, то снова откатывало. Но он осознанно готовил себя к мысли о близком конце. Правда, в этой жизни его еще удерживал наказ отца, чтобы он позаботился о матери. Однако, она уже давно жила в потустороннем мире: больше разговаривала со своим ненаглядным Лавриком, нежели с сыном Михаилом. Думая о будущем, его более всего волновал сейчас другой вопрос: куда определит его господь бог — в рай или в ад?! Раз Всевышний отвернулся от Копыловых на грешной земле, значит, должен позаботиться о них в загробном мире, раз-мышлял он. Тем более, что последнего Копылова теперь ведь не назовешь клятвопреступником.

6

В душную грозовую ночь он вздрогнул от комиссарского голоса:

— Копылов, сс-бирайсь!..

В дверях стоял комиссар Никишин с ехидной усмешкой на губах и с пустыми глазницами. А, погасил я кровавый огонь твоих глаз — теперь ты не страшен, подумал Копылов. И спокойно, без всякого внутреннего трепета, сказал: «Щас, погодь...» Хотел осенить себя крестным знамением, но рука уже сама потянулась к обреза.

Комиссар, поигрывая неразлучным маузером, стоял в дверях и терпеливо ждал. Время нисколько не тронуло его: все такой же молодой и бессмысленно беспощадный, каким запом-нился сельчанам в двадцатые. За своей третьей, последней погибелью притащился, между тем соображал Копылов. Ах ты, бес, не хочет без меня оставить землю в покое...

— Шас!.. — повторил Копылов и, прикрывшись одеялом, передернул затвор, и почувствовал, как рванулась рука, но выстрела уже не услышал, — гроыхнул гром.

Тяжелый обрез выскользнул из рук и грохнулся на пол — гулко отозвались старые половицы...

1978

БЕЗДОМНАЯ СОБАКА

На первой остановке, на озере Магилор, путники поправили на оленях упряжные ремни и соскребли с полозьев наледь. Троюродный брат Малый Михаил, пряча нож в деревянные ножны на правом боку, долгим взглядом посмотрел на исчезающую в сумерках дорогу, сказал младшему Микуле:

— У Демьяна, наверно, будем ночевать. Еще со Звездой вечерней зари туда успеем.

Микуль отыскал над бледной полоской заката Звезду вечерней зари. Она стояла высоко в небе — не скоро «утонет» за линией горизонта.

— У Демьяна так у Демьяна, — согласился он. — До ночи еще далеко, успеем.

Микуль сразу же вспомнил бревенчатый домик в кругу поседевших сосен, просторный кораль для оленей, глиняную печь на курьих ножках — хлеб там пекут. Амбар и небольшой лабаз — словом, все, что необходимо охотнику в Зимнем Селении. Но то было старое становье Демьяна, которое Микуль видел два-три года назад, когда отец возил его домой на зимние каникулы. Теперь, по слухам, вынудили его покинуть насиженное место — мимо того дома проложили большую машинную дорогу, зимником называется.

— Теперь, он, говорят, перебрался на новое место, — сказал брат Михаил, как бы оправдывая свое решение. — Посмотрим. Раз новое место — там ягель, должно быть, хороший.

Микуль, почистив полозья своей нарт, спрятал нож, согласно кивнул.

— На новом месте хорошо, — поддержал он старшего брата. — Наверно, он уже новый дом умудрился выстроить, Демьян-то...

— Да, он ловкий, расторопный хозяин, — согласился старший. — За одну осень многое может успеть.

Когда олени отдышались и начали глотать снег, а путники взялись за поводья, чтобы тронуться дальше — упряжки догнала пегая собака на трех лапах. Заднюю правую держала на весу. Видно, где-то поранила.

— Бродячая, верно, — предположил Михаил, разглядывая собаку.

— Я еще в поселке заметил ее, — сказал Микуль. — Все время вертелась возле наших упряжек.

— Оленей разгонит, надо обратную дорогу ей показать, — решил Михаил и прикрикнул на нее: — Пэртэшь!..*

Собака нехотя, на трех лапах, запрыгала в сторону поселка.

— На трех лапах теперь не догонит, — заметил Микуль.

— Да, на озерах дорога хорошая, быстро будем ехать.

— Отстанет... И куда ей за незнакомыми людьми?

— Пэртэшь! — еще раз крикнул Михаил и погрозил ей хореом. — Я ей хорей показал — теперь не захочет за нами.

Помолчали.

— Надоели эти бродячие псы, — проговорил старший. — Не дают покоя ни оленям, ни людям. Развелось их, бездомных. Раньше такого не было.

Путники тронули упряжки.

Нартовая дорога на две равные половины разрежала белую чашу озера Магилор. Слева, на бору между озером и большой рекой Аган, сиял огнями вполнеба недавно основанный поселок нефтеразведчиков. Шумный, бесшабашный, грохочущий железом и машинами, не знающий покоя ни днем, ни ночью. Отсюда машинная дорога по борам-беломошникам уходит вверх и вниз вдоль реки. В Верховье, мимо тихой деревушки охотников, идет к новой, только появившейся базе геологов. В низовье, мимо зимних охотничьих селений, тянется до самого города на обском берегу. Бурный и неумолкающий зимник оживает сразу же вскоре после ледостава и замирает весной перед самым ледоходом. Тихая нартовая колея сторонится зимника, петляет по болотам и озерам, бежит вдоль ключей и ручьев. Но сколько бы они ни разбегались и ни отворачивались друг от друга, все равно пересекаются, все равно встречаются. Такова жизнь, без этого невозможно.

Микуль перевел взгляд с огней поселка на Звезду вечерней зари. Они ехали в сторону заката, и Звезда висела над рогами правого пристяжного оленя.

Звезда напомнила о наступающей ночи, о ночлеге у Демьяна, о его брошенном селении на машинной дороге, о бродячей

* Пэртэшь! — оклик собаке, означающий «прочь» (хант.)

собаке, что на трех лапах неохотно поплелась назад. Поплелась, хотя ей вовсе не хотелось возвращаться, но люди заставили.

И пошли мысли по цепочке. Закат, Звезда вечерней зари, Демьян, машины-геологи, бродячая собака. И снова упряжка, бегущая на закат. «Тонущая» звезда на рогах правого пристяжного. Снег слева и снег справа. Скрипящий снег под полозьями нарты. И вечерние думы о том, что ни в чем нет начала и нет конца. Хотя закат и Звезда вечерней зари напоминают об уходе еще одного прожитого дня...

Проехали озеро Магилор, затем болото с узкими сосновыми гривками. И другое большое озеро Пилтэнглор. Микуль так и сяк вертел это название, но все же перевел на русский язык — «Озеро С Попутчиком», так вроде бы получается.

На середине озера встретились с вертолетом. Тот, мигая в темноте кровавым глазком, шел на посадку к нефтеразведчикам. Охотников он, конечно, вряд ли заметил. С высоты они казались просто букашками, а не людьми.

Возле берега вторая от деревни остановка. Соскочили с нарт, потоптались, разминая затекшие ноги. Назад оглянулись — не скачет ли трехлапая бродячая собака.

— Отстала, — сказал старший. — Вернулась в деревню.

Олени отдышались, и упряжки тронулись в путь. Миновали неширокое болото, после него в приречном горельнике пересекли машинную дорогу, потом реку Ягурьях и въехали в сосновый бор. В глубине бора стояло зимовье, где жили дальние родственники братьев: две вдовы с детьми и древний дед Никита со старухой. Решили у них чай попить и погреться. А там останется один перегон до Демьяна — все ближе к дому, завтра со светом доедут до своего селения.

Под скрип полозьев Микулью припомнилось детство. Отца назначили пастухом в одну бригаду с Демьяном, пасли колхозных оленей в верховье реки Ампуты. Демьяна, помнится, считали тогда человеком нрава крутого, резкого. Но, однако, бригадные мальчишки любили его. Он был единственный, кто охотно мастерил им луки и стрелы. Это такая радость! Микуль до сих пор не забыл, как бегал с луком его работы.

Вот и зимовье — слышался лай собак.

Братья поставили упряжки внутри кораля, возле входа в дом. Отряхнули снег с кисов и вошли в зимовье. Со всеми, включая и детей, поздоровались за руку. А старшая хозяйка Матрена поцеловала их в щеку, улыбаясь, приветствовала нараспев:

— А-а, мои бобровые братья, здравствуйте! Давно не виделись!..

Она вышла замуж за охотника Лосиного рода, а родилась в роду Бобра — братьям приходилась сестрой. Она сразу же повесила чайник над огнем чувала, потом поставила гостям

столик с едой и стала расспрашивать о новостях в верховье и низовье реки. На правах старшего говорил в основном брат Михаил. Но после Матрена обратилась и к Микулю. Ему многое интересовало. Почему он, окончив школу, не поехал учиться? Нравится ли ему на охоте? Удачны ли начальные дни первозимья? Как поживает отец, здоров ли? И Микуль, как и подобает охотнику, немногословно и степенно отвечал на ее вопросы.

На улице залаяли собаки.

Михаил, подняв капюшон малицы, сказал:

— Ну, нам пора. До свидания, хозяева!

Когда вышли из зимовья, возле упряжек увидели собаку, ту, что погнали в сторону деревни на озере Магилор.

— Опять пришла! — удивился Микуль.

— Ваша? — озабоченно спросила Матрена.

— Бездомная, — коротко пояснил Михаил. — В деревне к нам привязалась.

— Ох уж эти бродячие псы! — вздохнула Матрена. — Как проложили тут машинную дорогу, так житья от них не стало!

— Взрослых оленей они реже берут, а вот оленят запросто, — подала голос младшая хозяйка.

— Как огня их боимся...

— Беда от них!..

— У нас оленята есть, — сказала сестра Матрена. — Коль собака останется здесь, что мы с ней будем делать, мужчин в доме нет. И кормить нечем. Вы уж не оставляйте ее, сделайте такое доброе дело...

Она, призвав на помощь детей, поймала бродячую собаку и, привязав ее к нарте Микуля, сказала:

— Вы ведь у Демьяна ночуете. У него рука тяжелая — быстро порешит ее.

И рассказала, что в эту осень и лето собаки особенно рьяно гоняли Демьяновых оленей. А в день, когда выпал первый снег, возле грунтовой дороги машина подстрелила его важенку-вожака. В этот год все напасти посыпались на его голову. Вслед за зимним вынудили бросить Летнее Селение на берегу Агана, не стало жизни от катеров и моторных лодок. Он больше всех пострадал, он шибко зол на всяких бродячих, уверяла женщина. Что ему стоит пристукнуть одну собаку...

Делать нечего — гости попрощались и тронулись в путь. Бродячая собака исправно бежала за нартой. Пришитая Голова — дал ей кличку Микуль, поскольку голова ее была черной, ни единого белого пятнышка, словно пришили ей. А все остальное — спина, шея, лапы, хвост — белое.

Поскрипывает снег под полозьями нарты. Из темноты наплывают силуэты боровых сосен. Олени похрустывают копытами.

А над головой холодные глаза ночного неба...

Звезды...

Дорога...

Олени, бегущие к закату...

Бродячая собака...

Демьян...

Наверное, и вправду злой он стал, подумал Микуль, вспомнив слова сестры Матрены. Делает ли он теперь детские луки и стрелы? Раньше, когда был пастухом, мастерил их для чужих детей. Свои, было их четверо или пятеро, умерли в младенчестве. Удачи на детей у него нет, говорили люди. Потом, спустя годы, жена Галя еще родила ему девочку и мальчика. Они выжили, но сама она умерла вскоре после родов. Сейчас, по слухам, он жил один, если не считать старуху-мать, которая чинила ему одежду и с горем пополам вела хозяйство — как-никак ей было под сотню лет. Все бы ничего, да подвело зрение — глаза плоховато стали помогать.

Задумавшись, Микуль и не заметил, как подъехали к станочью Демьяна. Возле самого коралля он очнулся от лая собак. И разочарованно хмыкнул — не увидел свежесрубленного дома со сладковатым запахом хвои и сосновой смолы. Вместо него у низкорослой сосенки притулилась выдавшая виды палатка — заиндевшая, с рыжими и серыми пятнами подпалин и заплат, с грязными разводами от осенних дождей и снегов.

— Вот тебе и новый дом, — проговорил старший, завязывая поводок. — Не успел, что ли?!

Микуль не ответил. Распрягая оленей, он скосил глаза на запад. Но узкая полоска вечерней зари уже скрылась за деревьями. Виден был лишь ее бледный гаснущий отсвет. Доехали со Звездой вечерней зари, отметил он. Еще не поздно.

Отпустили оленей, наломали бродячей собаке лапнику, чтобы не замерзла на снегу, отряхнули снег с кисов и вошли в палатку, поздоровались:

— Пэча волытэх!

— Пэча, пэча! — отвечали хозяева.

Гостям уступили лучшие места и накормили. Когда они уже отодвигались от стола, хозяйские псы на улице, словно почувяв это, глухо взвыли. Демьян поднялся, шагнул к порогу, высунулся в дверь и резко прикрикнул на собак. Те сразу смолкли. Он вернулся на свое место, провел рукой по усам на темном строгом лице и, словно извиняясь перед гостями, пояснил, что псы у него на голодном пайке — вот и воют. А так редко шумят, особенно при хозяине зря голос не дают.

Гости закурили, хозяева занялись своими делами. Столетняя мать хозяина гремела посудой. Дочка и сын, приехавшие из интерната на каникулы, о чем-то шушукались в углу. Демьян из черемуховых прутьев мастерил сачок для черпания льда и лунок.

— Как зиму начал? — спросил Малый Михаил. — Какого зверя промышляешь?

— Какой там зверь? — откликнулся Демьян, переплетая прутья куском телефонного провода вместо кедрового корня. Ничего нет.

— Совсем плохо?

— Если есть — только белка. И то, кажется, по урманам, по кедровникам немного попадается. А на борах совсем нет, ничего еще не добыл.

— А рыбу какую ловишь?

— И рыбы по снегу не видим. Вчера неводить ездил со слепым соседом, дедом Никитой — одного окуня поймали, — Демьян усмехнулся в короткие усы — словно во всем была виновата одна река.

— Собак нечем кормить, сегодня болтушку из муки варила, — сказала старая мать Демьяна.

Помолчали. Потом Демьян спросил у гостей:

— А как у вас с рыбой?

— Тоже плохо, совсем не ловится, — ответил Михаил. — Вода большая была перед ледоставом в этом году. Наверное, поэтому рыба не ловится.

Значит, большая вода влияет на улов в пору перевозимья, отметил Микуль, молча слушавший беседу охотников.

— Ну, а зверь какой встречается на ваших землях?

— Белка кое-где есть, тоже больше по кедровникам. Другого зверя мало, следов не видно.

— Урманы свои не видели — что там есть?

— Еще не ездили. Вот продукты купили, вернемся и в урман поедем. Теперь одна надежда на урманы...

— А мне в этом году своих урманов не видать, — вздохнул Демьян.

— Это почему же?

— Олени мои почти кончились — на чем я доберусь в такие дали?

— Да, без оленей, конечно, куда там...

— Вот держу надежду на песцов — придут или не придут?

— Из верховьев Ягурьяка не было вестей о песцах?

— По словам верховых охотников, кое-где уже попадались следы. Рано пришел песец из тундры — это хорошо.

— По-моему, и сюда придет песец, — сказал Михаил. — По осени, по первому снегу куропаток много было, стаями летали...

Выходит, ход песца связан с куропатками, подумал начинающий охотник Микуль. Куропатка улетает с тундры в поисках пищи, а песец, значит, за ней.

— Решил вдоль Ягурьяха приманку разложить и насторожить капканы на песцов, — сказал Демьян. — Это близко, легче добираться.

— И то дело. Ведь песец обычно вдоль болотных рек спускается...

— Только вот рыба не ловится — приманки не хватает.

— Приманки? — оживился Михаил. — Мы тебе приманку привезли!

— Какую приманку?

— Бродячую собаку — в деревне к нам привязались.

— А песцы и вправду любят такую приманку. Видел такое, когда пастухом работал. Где оставишь дохлую собаку — там песец появляется. Чует, видно, даже под снегом.

— Твои соседки сказали, что ты бродячую порешишь.

— Завтра же свезу на Приягурияхское болото и порешу, — уверил Демьян. — Это я быстро. Что тут смотреть?

— А вообще-то собачка, кажется, ничего, — сказал Микуль. — Может, и на зверя-птицу пойдет. И кличка ей подходящая есть — Пришитая Голова.

— Ох, я в большом накладе от бродячих псов, — жестко отрезал Демьян. — Зол на них, сколько пакостили — не попадались на глаза. Дал бы я им!.. Всякие они, эти псы!..

— Слыхал, что и твоих оленей гоняли...

— Ладно бы — просто гоняли. Тут не знаешь, скольких они сожрали... Осенью пришли олени, смотрю — одному разорвали кожу на ляжках. Так я эти клочья пришил, нитками их стянул. И ведь выжил мой олень!

— Ловко придумал! — удивился Микуль. — Ни разу такого не слыхал.

— Приспичит — так не то придумаешь, — ответил хозяин. — Оленей совсем мало осталось у меня. Да тут еще машина застрелила мою важенку. Пулей. По первому снегу. По следам я все узнал, как было дело. Выстрелили, а олениха ускакала. Прошли немного по ее следу и вернулись, укатали. А олениха свалилась в густом сосняке. Там я нашел ее, с пулей. Такие вот дела творят, бродячие-то...

Все враз замолчали, призадумались. Может быть, каждый о своем, а возможно все об одном и том же.

На улице взлаяла собака, но тут же смолкла. Видно, вспомнила, что хозяин сегодня дома.

Затянувшуюся паузу прервал Микуль вопросом:

— Осенью не успел, что ли, поставить новый дом?

— Какое там, — хозяин махнул рукой. — Можно было. Дело привычное, жизненное. Но где строить — места нет!

— А здесь, на этом месте? В сторонке от зимника, и ягель хороший.

— Кто знает, что нас завтра ждет на этом месте? — спросил Демьян. — В прошлом году выбрал место для нового дома, не успел за топор взяться — там буровую поставили. Разве с таким соседом проживешь?.. И тут, может, какую дорогу вздумают проложить. Или, еще хуже, лесорубов

каких-нибудь пустят. Кто сегодня знает, что у них в голове?..

— Да, ягельных мест немного осталось.

— Все боры-беломошники перевернули...

— Хоть на болоте машины не лезут.

— Вот и стал я бездомным, обрубил мои корни, — вздохнул хозяин. — На старости лет пустился в бега...

— В морозы-то ведь холодно будет в палатке. Какая тут жизнь?

— Зато легче бегать: снял — поставил, опять переехал. Не вырастаешь в землю, не надо каждый раз с кровью выдирать из сердца, — и Демьян обвел взглядом свое жилье, словно уже настала пора сниматься с этого места. — Вот и Летнее Селение покинул...

Столетняя будто старый кованный гвоздь всадила в говор:

— Помереть землю не дадут...

На этом беседа оборвалась.

Демьян стряхнул стружки с подола рубахи и молча поставил в угол готовый сачок. Молча выпили вечерний чай и легли спать. Утром, когда уже запрягли оленей, вспомнили о бродячей собаке.

— Вот она какая, без-домная, — медленно, растягивая слова, проговорил Демьян и остановился возле собаки.

Она мелко дрожала от холода, виляла хвостом и тихонько повизгивала, словно чувствовала, что решается ее судьба. Черная ее морда от инея стала седой. Живые блестящие глаза перебегали с одного охотника на другого. Иногда она робко подпрыгивала, будто пыталась заглянуть в лицо человека, в его душу. И тут Демьян опустил на корточки, взял ее больную лапу, внимательно осмотрел и сказал, что заживет, просто чем-то уколола. А потом долго в задумчивости глядел на нее и молчал. А собака все повизгивала и дрожала от холода.

Наконец Демьян сказал:

— Пусть живет.

И, взглянув на охотников, пояснил:

— Греха на ней нет, оленей она не гоняла — как безвинную порешишь?.. Пусть живет, бездомная...

— Да, может быть, и на зверя-птицу хороша будет, — добавил Микуль.

— Жить тебе, Пришитая Голова, — улыбнулся и Михаил. — Обрела ты теперь дом.

Демьян отвязал собаку и повел за кораль, где возле шалашиков-конур из хвои и ветвей сидели три его пса и внимательно наблюдали, как хозяин ведет им четвертого друга. Потом он сходил в палатку, вернулся с небольшим пучком порыжевшей травы, и аккуратно, по-хозяйски, подстелил собаке, чтобы ей было теплее...

Гости выпили предъютъездный чай и тронули упряжки.

Микуль глянул назад. Демьян возился у своей нарты — собирался на Пригурьяхское болото настораживать песцовые капканы. Звезда утренней зари, словно холодная капля, висела прямо над его головой...

1979

БОЖЬЕ ПОСЛАНИЕ

На рассвете я вышел во двор. И на чистом снегу увидел бумагу. Ночью выпала пороша — на нем ни следочка, ни царапинки. Кругом тишина. Деревня еще не встала... Постоял над бумагой. Думаю: откуда взялась? Кто принес? Не с неба же, подумал, свалилась?... Ну, постоял с такими думами, потом поднял бумагу, развернул ее. Там что-то написано. А что — читать не умею. Думаю, пойду, жене и дочке покажу. Не случайно же бумага попала в мой двор.

С бумагой в руках вернулся в дом.

— Вот, — говорю, — жена, бумагу во дворе нашел. Прочти, что там написано. Что это за бумага?

Жена прочитала бумагу и заплакала.

Дочь прочитала бумагу — и тоже заплакала.

Обе плачут.

Я стою, молчу.

Потом говорю им:

— Скажите, какую весть эта бумага принесла. Скажите, как бы тяжела ни была эта весть...

Жена сквозь слезы говорит:

— Верховный Бог тебе Послание послал, чтобы ты на войну пошел...

И дочка сквозь слезы подтверждает:

— Да, это Божье Послание, чтобы ты на войну пошел...

И все плачут.

Я говорю им:

— Женушка моя, не плачь!.. Доченька моя, не плачь!.. Что Бог задумал — того не миновать...

Все плачут, никак не уймутся.

Говорю им:

— Не плачьте. Может, все обойдется. Пока живется — надо жить...

Жена с дочкой вроде бы немного успокоились, выплакали свои слезы.

Я забрал у них Божье Послание.

Весть о войне уже давно прошла по всей Оби. Но до нашей деревни война еще не добралась. Я жил как все люди. Была зима. И я занимался зимними делами. В тайгу ходил на охоту. На озера и реки ездил на рыбалку.

Неторопливо шло время. Нарождались и умирали небесные Луны. Разные слухи о войне приходили и уходили. Война по Иртышу спустилась до Оби, двинулась по ней вниз, а потом повернула вверх по реке. Война незваной гостьей заходила во многие селения, заглядывала во многие большие и малые притоки. В нашу сторону шла война. И я однажды почувствовал, что хочу идти на войну. Желание такое родилось. Во мне какой-то зуд появился — на войну, на войну.

Ну, живу. Что тут делать? Не бежать же мне из дому, искать войну...

Так вот живу.

По слухам, война все ближе и ближе подбиралась к нам.

И вот однажды в нашу деревню красные пришли. Говорят мне красные:

— С нами на войну иди, Липецкий.

Я говорю:

— Винтовку мне дайте. У меня винтовки нет.

Красные отвечают:

— Винтовок у нас нет для тебя.

Я руками развел, говорю:

— Не пойду же я воевать с одними кулаками.

— Верно, — говорят красные. — С одними кулаками много не навоюешь.

— Значит, не судьба мне с вами, — говорю я.

Не стали красные настаивать, ушли.

Прошли дни. Может, недели. Деревню заняли белые. Говорят мне белые:

— С ними на войну иди, Липецкий.

Я им то же говорю, что и красным говорил.

— Винтовку мне дайте, — говорю. — У меня винтовки нет.

Белые отвечают:

— Винтовку тебе дадим. И коня боевого дадим.

И точно. Винтовку дали. Коня дали. Саблю дали.

Так я военным человеком стал. Так я пошел воевать за белых. Так я встал на сторону Белого Царя, а не Красного.

Подумал: значит, так моему Богу угодно.

Белый командир мне говорит:

— Нам известно, ты, Леня Липецкий, охотник. Верно ли это?

— Да, — говорю, — охотник.

— Здешние места — дороги-реки — хорошо знаешь?

— Как охотнику не знать, — отвечаю я. — Конечно, знаю.

— За нами красные идут, — говорит командир. — На некоторое время задержать их нужно, дорогу им закрыть надо...

Я молчу, слушаю.

— Сможешь это сделать? — спрашивает командир.

Я подумал, потом говорю:

— Если надо — дорогу им закрою.

— Хорошо, — сказал командир. — Это будет твое первое дело. Вот тебе четыре солдата — ты над ними главный. Посмотрим, на что ты способен...

Я говорю:

— Нет, так дело не пойдет.

— Что тебе не нравится? — спрашивает командир.

Я говорю:

— Дело непростое — закрыть дорогу целому войску.

— Знаю, — говорит командир, — Скажи, что тебе еще нужно? Мало четырех солдат? Но больше дать не могу...

Я отвечаю:

— Достаточно четырех, если я их сам выберу.

— Хорошо, — согласился командир. — Быть по-твоему.

И я сам отобрал четырех солдат.

На войне важно, кто рядом с тобой, кто слева и справа.

Красных со стороны Сургута-города ждали. Зимник вдоль Оби по луговине идет. Недалеко от Ваты, нашей деревни, дорога в лес входит. Там грива есть. На этой гриве хороший лес растет. Вот там я и решил закрыть дорогу.

Дело было к весне, в пору наста. Так вот, на гриве, на расстоянии верной пули от дороги цепочкой посадил своих солдат. Каждому сам выбрал место. Каждому за сырым толстым деревом пробили наст и выкопали в снегу яму — окопчик по-военному. Потом каждому солдату срубили сухую жердину. Солдат держит комель возле себя, а на вершинку, что в стороне, каждый надел свою шапку. Устроили так, чтобы шапки просматривались с дороги. Самих солдат не видно, а шапки на виду.

Говорю солдатам:

— Выстрелите — за жердинку шапку шевельните. Выстрелите — шевельните. Пусть противник по пустым шапкам стреляет.

Такую вот хитрость придумали.

— Напрасно, — говорю солдатам, — не высовывайтесь из-за дерева, будьте осторожны.

Сам я расположился с краю, в стороне Ваты, где должна быть голова войска. Условились так: я закрываю дорогу спереди, а крайний солдат в цепи, что в стороне Сургута, отрезает путь назад. Он стреляет только после моего выстрела.

Так вот устроились, ждем.

Наконец показались красные.

И, когда они все выехали в лес и головные сани поравнялись со мной, я выстрелил в коня. Конь упал. Отряд

встал. Дорога вперед закрыта. Зимник на гриве узкий, никак сани с убитым конем не объедешь.

Почти одновременно со мной выстрелил и крайний в цепи солдат. Он убил коня на последних санях. Значит, закрыл путь назад. Теперь противнику нет хода ни туда, ни сюда.

Тут послышались выстрелы по всей цепи моих солдат. А дорога пока молчала, не стреляла.

Смотрю, на головных санях с убитым конем вскочил командир, повернулся назад, что-то кричит. Потом взмахнул наганом — и начал палить в мою сторону. Пуля просвистела мимо меня. И я услышал, как она ударилась о дерево позади меня. Другая пуля срикошетила с лесины, под которой я лежал. И тогда я сделал второй выстрел — командир упал на сани.

На дороге поднялась суматоха. Шум, крики, беготня. Раздавались одиночные выстрелы. Видно, еще не могли опомниться от неожиданности.

Я еще раз выстрелил и шевельнул шапку на жердинке. Слышу, мои солдаты стреляют.

Наконец дорога открыла стрельбу по лесу. Свистели пули. Тут и там они шмякались о деревья. Тут и там сыпались на снег срезанные пулями ветки.

Красные затаились на дороге: укрылись за санями, за трупами убитых лошадей и постреливали оттуда. В лес они не пошли. Не пошли потому, что не знали, сколько нас сидит в снежных окопах. Много или мало? Одолеть нас или не одолеть?

И когда перестрелка стала стихать и становилась уже бесполезной, я подал своим сигнал. И мы по насту побежали в глубину леса.

Красные увидели, что мы убегаем и нас мало, пустились за нами в погоню. А нам этого и нужно было.

Мы впятером быстро добежали до большого оврага, у которого лесная грива круто обрывалась. Спрыгнули в овраг и затаились под обрывом на заранее приготовленных местах. Овраг я тоже высмотрел загодя. Весной по нему текли талые воды. Но сейчас дно было сухим. И из-под обрыва он хорошо просматривался и простреливался.

Так, значит, добежали мы до оврага и каждый занял свое место под обрывом. Красные, бежавшие за нами, стали сваливаться на наши головы. Выскочили они из леса — смотрят, никого нет. И кинулись дальше через овраг. А тут наши пули... Удобная была у нас позиция. Сверху, над головой, пласт земли, поддерживаемый корневищами деревьев. С боков — берег оврага, подходов нет. Спереди — простреливаемое пространство. Никак не подберешься. Кроме того, наши места так были расположены, что каждый солдат охранял соседа справа и слева, чтобы ни на одного не могли напасть.

Поняли красные — нас не взять. Отступили. В хвосте санного поезда они скинули на обочину убитую лошадь вместе с саними, развернулись и, кто остался жив, ускакали обратно в сторону Сургута.

Оставили они пятьдесят убитых.

Вначале я вроде бы обрадовался победе. Радовался тому, что я остался жив. Что остались живы мои солдаты. Что я закрыл дорогу. Но чем больше я видел убитых, тем тоскливее мне становилось тогда. Сегодня здесь мы побили их. Возможно, в другом месте они побили нас. И я понял: победы нет. И поэтому, стало быть, нет и победителей. Белые — русские. И красные — русские. Белые — остяки. И красные — остяки. И все они — люди!..

И за что мы друг друга убиваем?! За что?!

+ +

— Вот так же, как мы сейчас с тобой, мы с Леней Липецким сидели коленка к коленке, и он все это рассказал мне слово в слово своими устами, — сказал мой старый зять Иван Степанович Сопочин-Первый и замолк.

Дело было в его зимнем доме в сосновом бору, на одном из левых притоков Священной реки Тромаган.

В доме стало тихо. Лишь в чувале потрескивали дрова да за стеной, на улице, похрустывал снег под копытами оленей. Да изредка в бору гулко хлопало — это от мороза лопались «пузыри деревьев».

Мой восьмидесятивосьмилетний зять Иван Степанович, сухонький старец с белой головой, сидел в кругу семьи и гостей и тоже молчал. Наконец тишину нарушил его старший сын. Спросил:

— Отец, ты говоришь про того Липецкого, который в каждом рукаве по пистолету и одновременно стрелял двумя руками?

— Да, про того самого, — подтвердил старец. — Про того...

— И по нашей реке, по Агану, про него много слухов ходило, — сказал я.

— Про того говорю, которого никак не могли поймать, — добавил мой старый зять.

— Много рассказов я слышал о нем, — проговорил старший сын старца.

— А дальше что с ним было? — спросил я зятя-старика.

— Да-да, что же потом было? — заговорили в доме.

— Куда Липецкий подался?

— Как же его ловили?

— За что его ловили?

— Отец, расскажи, — подал голос и старший сын старца. Старец молча выслушал всех, потом сказал неторопливо:

— А дальше вот что с ним было...

И снова дом затих. Лишь таежным родником журчал голос старца Ивана Степановича.

+ + +

Война немало ходила по нашей Земле. Ходила вверх и вниз по рекам. Потом ушла в сторону Восхода Солнца. Вместе с войной ушел и Леня Липецкий. К тому времени за военную смекалку белые дали ему командирский чин, стал заглавным их отряда.

Мало ли, мало ли воды утекло в Оби — закончилась война.

Красные побили белых.

Леню Липецкого ни одна пуля не тронула. Ни одна сабля не царапнула. Ни один осколок не задел. Он остался цел и невредим. Его, видимо, оберегало Божье Послание. Перед уходом на войну он сшил кожаный мешочек, сложил туда Божье Послание и повесил на шею под рубашку. И с той поры никогда не расставался с Божьим Посланием.

Так вот — борьба между красными и белыми закончилась. Война в слыхом не слыханные дали занесла Липецкого. Сколько-то времени он скитался по чужим землям, потом вернулся домой. Нет жизни, говорит, без своей земли, где родился и вырос. Не знаю, не помню точно — то ли сразу, то ли сколько-то пожил, — до города дошел слух, что вернулся Леня Липецкий, который сражался за Белого Царя. Впрочем, он и сам не скрывал, что воевал на стороне белых.

Красные допрос ему учинили. Перво-наперво, говорят, скажи Липецкий:

— На войну ходил?

— Ходил, — отвечает Липецкий.

— За белых воевал?

— За белых.

— Ходил освобождать Белого Царя?

— Спасать ходил.

— Чего же не спас?!

— Жаль, не успел.

— Красных бил?

— Бил в бою.

— Будешь за все это отвечать?

— Буду, — смиренно говорит Липецкий.

— Деваться-то тебе некуда, — смеются красные. — Так и так тебе придется отвечать! Вот следствие учиним, соберем все твои грехи в одну кучу, взвесим их и предстанешь ты перед революционно-пролетарским законом нашего рабоче-крестьянского государства! И ответишь по всей строгости нашего правого суда и закона!

Липецкий молчит. Долго молчит.

Потом говорит:

— Хорошо, но сначала мне объясните то, что я не понимаю.

— Спрашивай, — говорят красные. — Все тебе растолкуем, враз твою темную голову светлой сделаем!

Липецкий и спрашивает:

— Сначала скажите: кто будет держать ответ за убитых белых?

— Белые против народа шли — нечего за них отвечать! — говорят красные.

— Кто будет держать ответ за убиенного без суда и закона Белого Царя? — спрашивает Липецкий.

— Он был тираном народа — туда ему и дорога! — отвечают красные.

— Кто будет держать ответ за убиенную без суда и закона Белую Царицу?

— Она тоже была тираном народа — туда ей и дорога!

— Кто будет держать ответ за убиенных детей Белого Царя?!

— Молчать! — закричали красные.

— Кто будет держать ответ за убиенных дочерей Белого Царя?!

— Молчать!! — взревели красные.

— Кто будет держать ответ за убиенного сына Белого Царя?!

— Молчать!!! — громыхнули красные.

— Вы меня сюда молчать или говорить позвали?! — спрашивает Липецкий.

Когда красные немного успокоились, напомнили ему:

— Ты, Липецкий, не забывайся — ты в наших руках!

— Никогда в ваших кровавых руках не буду, — говорит Липецкий. — Моя жизнь в руках моего Небесного Отца. Как Он решит — так тому и быть.

Посмеиваются красные, не верят ему.

А про семью Белого Царя он не напрасно спрашивал красных. Дело было так. Когда власть взял Красный Царь, то Белого Царя с женой и детьми на нашу землю привезли. Тут им житие определили. Так вот, Липецкий сам рассказывал, как со своими солдатами ходил спасать царскую семью сначала в Тобольск-город, потом в Катерины-Царицы-город*. Да все не успевал вовремя, все опаздывал. И поэтому в их ужасной смерти он до конца жизни винил и себя.

— В любом случае тебе, Липецкий, придется держать ответ, — говорят красные.

— Придется, но не перед вами, — отвечал Липецкий.

— Перед законом рабоче-крестьянского государства!

* Катерины-Царицы-город — так ханты называли Екатеринбург.

— Нет у вас никаких законов: ни революционно-пролетарских, ни рабоче-крестьянских, ни человеческих.

— Ошибаешься, Липецкий: есть у нас справедливые законы!

— ...по которым можно лишать жизни безвинных детей?! И это вы называете справедливыми законами?!

— Молчать!!! — опять рассвирепели красные. — А сам-то в гражданскую чем занимался?!

— Грешен, — сказал Липецкий. — Но видит Бог: с женщинами и детьми не воевал, безоружных не бил и в спину не стрелял.

— А мы победители, — говорят красные. — И ты нам, Липецкий, не судья, не указ! У нас свои вожди! И мы сами знаем, кого нужно засудить, а кого нет.

— Не знаете.

— Почему же не знаем?

— Ваш главный враг — не я...

— А кто же?

— Вы сами.

— Это почему же? Ты скажи нам!

Липецкий немного помолчал. Прикидывал: сказать или не сказать? Поймут или не поймут? Но все же в конце концов пояснил:

— В вас нет нутра. Вы все — как пустые орешки. Сверху орешек как орешек, а как раскусишь — там пусто, ничего нет. Одна пустота...

— Ты, значит, раскусил?

— С божьей помощью.

— Смотри, как бы зубы не обломал!

— Одни сразу раскусили вас. Другие — в гражданскую. А вот когда последние люди раскусят вас и увидят, что в вас нет нутра и вы пусты — тогда вам конец придет.

— А чего в нас нет? Что там должно быть?

— В вас нет веры, нет Бога. А без Бога, озверев, рано или поздно, вы перегрызете друг другу глотки и тем кончите себя.

— Но сначала мы перегрызем глотки вам.

— Верно: сначала нам, а потом возьметесь за себя.

— И по-твоему, Липецкий, жизнь кончится на этом?

— Нет, люди останутся. Но не красные, а останутся просто люди с верою, люди с Богом...

— А нас, значит, не будет?

— Нет на вас креста — значит, вас не станет.

— Много на себя берешь, Липецкий — не выдюжишь!

— Вы кровавые — вас просто земля не выдержит, земля не станет носить...

— Ты, Липецкий, от нас теперь не уйдешь, — говорят красные. — Ладно, напоследок хоть языком почешешь...

— Уйду, — уверил их Липецкий.

— Уйдешь — поймает! — говорят красные. — Ноги обломаем, язык укоротим! Не таких еще ломали...

— Это вы можете. Недаром вас кровью ненасытными кровавыми красными прозвали. Свой цвет оправдали...

— Ты, Липецкий, наш революционный цвет не трожь! Худо тебе будет!..

— Хуже некуда...

— Все равно от нас не уйдешь! Возьмем след!

— Кого пошлете по следу — бить стану.

— Еще посмотрим, кто кого побьет?

— Лучше пожалейте своих людей, оставьте меня в покое.

— Мы тебе такой покой устроим — всем чертям тошно станет!

Липецкий замолчал. Долго молчал. Потом сказал красным:

— Я вам объявляю войну.

— Ты, Липецкий, совсем свихнулся.

— Нет, я при своем уме.

— Ты же один, а нас много. Какая может быть тут война?

— Мое дело: сказать вам.

— За что же будешь воевать? За Белого Царя?

— И за Белого Царя.

— Его же нет — зачем он тебе нужен?

— Вы у народа спросите, какой царь ему нужен: Белый или Красный? Тогда все поймете.

— Ты нам, Липецкий, зубы не заговаривай: не за кого тебе воевать. Все ушли, их уже не вернешь!

— Есть за кого. За жену свою. За дочку свою. За детей Белого Царя. За все ваши безвинные жертвы. Вы считали, сколько людских душ погубили?

— Молчать! — закричали красные. — Это не твоего ума дело. Это дело революции!

— Бог вам никогда не простит того, что вы наделали.

Тут красные в ярости закричали:

— Мы сейчас из тебя, Липецкий, вытряхнем твоего Бога и ты станешь таким же красным и кровавым, как и мы...

— А это как решит мой Небесный Отец, так и будет! — сказал Липецкий.

И ушел он от красных. И тут за ним началась настоящая охота. «Охотниками» стали энкевэдэ. Сколько на него ловушек ставили — не попадался. Сколько его в разные хитроумные западни заманивали — не заманили. Сколько коней в погоне за ним запалили — не счесть. Сколько оленьих упряжек замучили — никто не считал.

Был Липецкий неуловим.

Однажды его выследили в доме. И энкевэдэ плотной цепью обложили двор. Стояли на почтительном расстоянии и кричали:

— Липецкий, бросай оружие! Выходи!

— Липецкий, сдавайся!

— Дом окружен — все равно не уйдешь!

Дом молчит.

Энкевэдэ стоят, ждут.

Потом опять стали кричать:

— Липецкий — сдавайся!

— Липецкий — выходи!

Тут из дома послышался голос Липецкого. Кричит:

— Одеваюсь, сейчас выйду! Ждите!

Энкевэдэ приготовились, подтянулись. Во все глаза смотрят — как бы не упустить. Дело было летом. И на женщину с ведром никто не обратил внимания. Мало ли женщин ходит по воду. Главное — Липецкого поймать.

Стоят, ждут.

Сколько же времени он там одевается. Стали кричать, потарапливать:

— Давай скорей!

— Выходи, давай!

Дом молчит.

Снова кричат.

А дом все молчит. Подойти же не решаются. Видно, крепко побаивались Липецкого. Да и наслышаны были о нем: знали, каков он из себя, как владеет оружием. А оружием владел отменно. Казалось, любая железка стреляла в его руках. Да как стреляла. Ни одна его пуля мимо цели не проходила. Мог ночью, в темноте стрелять. Мог не глядя, с завязанными глазами стрелять. Мог двумя руками одновременно из двух пистолетов стрелять. Как он умудрялся все это проделывать? Говорят, все очень просто: где глаза не видят, там ухо слышит. Значит, на звук стрелял. Говорит, жить захочешь — всему научишься. Говорит, война многим нужным и ненужным делам научила. Когда попадал в особенно тяжкую переделку, вытаскивал два ствола: одним управлял глаз, другим — ухо. Попробуй, возьми такого стрелка. Кому охота свой лоб под пулю подставлять? Особенно в мирное время.

Ловкий был.

Сообразительный был.

Стремительный был.

В первый раз как он от красных ушел? Дело рассказывают, так было. После «задушевной» беседы красные передали его красным энкевэде. Он и не думал сопротивляться. Дал себя обыскать. Смиренно. Пояс отняли, карманы перетряхнули, бока ощупали. И в тюрьму повели. Спереди энкевэдэ, сзади энкевэдэ. Ведут. Все тихо, мирно. Вдруг, улучив момент, он резко встряхнул руками — из рукавов два пистолета. И двумя стволами одновременно — ба-ах, ба-ах, бах! Перевернулся через голову, колесом юркнул в кусты, оттуда в траву — и нет его.

Скатился в низинку, в небольшую выемку — перезарядил там пистолеты и снова готов к бою.

Так в первый раз ушел от красных.

И эти энкевэдэ, наверное, слышали об этой истории. Поэтому и топтались сейчас в нерешительности. Еще сколько-то времени прошло. Нужно было что-то делать. И, наконец, когда их терпение совсем иссякло, двинулись к дому.

Тихо. Ни стука, ни выстрела.

Ворвались в дом.

— В доме — полог. Сорвали полог. А в пологу — голая женщина.

А след Липецкого давно простыл. Переоделся во все женское, на глаза надвинул платок — и был таков.

Бывало, энкевэдэ возьмет след Липецкого, мчатся за ним — пока коней не запалят. Но ведь и у Липецкого не крылатый конь. Однако, он всегда находил свежего коня и отрывался от погони. А то, бывало, неожиданно исчезал его след. Как сквозь землю проваливался. Преследователи всю округу переворачивали и, в конце концов, так ни с чем и уходили.

Это лишний раз всех убеждало в том, что ловить Липецкого — дело пустое.

+ + + +

Воды становились снегами и льдинами, снега и льды — водами.

Так прошли годы.

И тут накатили лихие лета. Остяки вышли из повиновения и поднялись на красных. И красные поднялись на остяков*.

Из Катерины-Царицы-города** войска пришли, аэропланы прилетели. И по земле, и по небу вдоль больших и малых рек двинулись.

Так война на нашу землю пришла.

И кто был пулей убит.

Кто был огненным камнем разорван***.

Кто был холодом заморожен.

Кто был листовенничной дубиной-колотушкой забит.

Кто был в камере-темнице истерзан.

Ни один до тюрьмы-лагеря не дожил...

Прошло, прокатилось лихое время. Но еще долго войска прочесывали многие реки. От устья до верховья, от верховья до устья тянули свои «невода». Все проневодили. Вылавливали

* Речь идет о Казымском восстании 1934—1935 гг.

** В те годы Остяко-Вогульский национальный округ входил в состав Уральской области с центром в Свердловске, бывш. Екатеринбург.

*** «Огненный камень» — так ханты называли гранату.

всех, кто был причастен и не причастен... Особо не разбирались: попался — отвечай по всей строгости военного времени. После энкевэдэ свои сети-ловушки начали расставлять. Каждую реку, каждое болото и озеро, где восставшие проходили и где бои случались, рьяно просматривали и прослушивали.

Воды-земли многих наших рек были вверх дном перевернуты.

Но даже в эти бесконечные невода и плотно наставленные сети-ловушки Липецкий не попадался.

Но его все искали, все ловили.

Как-то зимой в наш дом наехали путники-гости. Кто в верховье реки едет, кто в низовье. Кто по промысловым делам, кто по родственным. Кто в поселок, кто из поселка. За одним большим столом сидим, чай пьем, новостями обмениваемся. Тут собаки на улице залаяли — новые упряжки подъехали, новые путники в дом вошли. Как это принято, гостям чай налили, за стол их посадили. Дальше разговоры ведем. Выяснилось, приезжие — два или три энкевэдэ с переводчиком — едут на поиски «врагов народа». Один из них, поговорив о том, о сем, спросил через переводчика:

— Про Липецкого что-нибудь слыхали?

Рядом с ним сидящий охотник, прихлебывая чай из блюда, по-хантыйски, через переводчика спрашивает:

— Про какого Липецкого?

— Про того, кто за белых воевал.

— Нас там не было: откуда мы знаем, который Липецкий за белых воевал, а который за красных. Поди, немало на свете Липецких...

— Про Леню Липецкого спрашиваю, которого ищем...

— А-а, так скажи...

— Так что про Леню слышно?

— Да ничего вроде бы не слышно.

— На вашей реке не появлялся?

— Такого слуха будто бы не было.

— Ну, смотрите!.. — строго говорит энкевэдэ. — Нам нужна его голова.

— Значит, у него какая-то особо ценная голова, да?

— Да, за его голову мы дорого заплатили.

— Кто бы так оценил наши головы, — шутит охотник. — Может, отдал бы свою...

Но энкевэдэ не до шуток. Снова напоминает с нотками угрозы:

— Смотрите, как только появится Липецкий на вашей реке — так немедленно в город нам сообщите!

— Ах-а, как же, немедленно сообщим! — поддакивает охотник-собеседник. — Пусть только покажется здесь! Сообщим, ждите!..

Сидят так энкевэде и охотник, коленка к коленке, чай пьют и через переводчика разговор ведут о том, как Липецкого

поймать. И невдомек энкевэдэ, что этот жилистый охотник в малице и кисах* и есть сам Ленья Липецкий.

Не однажды такое случалось. Сидит Липецкий рядом с энкевэдэ, рассуждает, как его самого в энкевэдэвские «сети» заманить. Между делом, конечно, вопросы вставляет, выпрашивает, что в последнее время слышно о Липецком, то есть о нем самом. Где его видели? Какие слухи о нем ходят? И, конечно, выведывает у энкевэдэ другие, нужные для себя сведения.

Пожалуй, ни одному энкевэдэ и в голову не приходило, что он с Леней Липецким за одним столом сидел, чай пил, разные сведения выдавал. Если, разумеется, тот не раскрывался. Бывало, рассказывают, он иногда разные шутки выкидывал над своим преследователем. Поговорит с энкевэдэ, чай с ним попьет, потом скажет: на чистейшем русском языке:

«Липецкий тебе нужен?! Я — Липецкий, бери меня!..»

Энкевэдэ обычно вскакивал и кричал:

«Арестован! Руки вверх!»

Липецкий приподнимал руки, потом делал неприличный жест и насмешливо спрашивал:

«А вот этого не хочешь?!»

«Стой! Стрелять буду!» — кричал энкевэдэ, и тянул руку к кобуре на боку.

«Х...м, чтоль, будешь стрелять?!» — в лицо ему хохотал Липецкий.

Кобура оказывалась пуста. Либо револьвер без патронов. Чак-чак — не стреляют.

Тут Липецкий вскакивал на коня или на нарту — и был таков.

Незадачливый энкевэдэ бросался в ярости на народ, на людей:

«Почему не выдали?!»

«На лбу не написано, кто он такой...» — люди разводили руками.

«Почему в дом пустили?!»

«По обычаю каждый путник входит в дом не спрашивая...»

«Почему чаем напоили?!» — кипятятся энкевэдэ.

«Всем гостям чай принято наливать...»

Энкевэдэ, остывая, многозначительно обещает:

«Смотрите!..»

Обычно же Ленья Липецкий сидит себе спокойно, чай пошвыркивает, посмеивается, энкевэдэ про самого же себя через переводчика расспрашивает. Мол, для того интересуется, чтобы при случае подсобить в поимке Липецкого, сообщить в энкевэдэ о его появлении.

* Малица — хантыйская шуба мехом внутрь. Кисты — унты с меховыми чулками.

Таким вот Леня Липецкий был. Ничего не боялся. Никого не боялся.

+ + + + +

Замолкает мой древний зять-старик.

Молчит и дом.

Молчу и я.

Потом, как бы уловив немой вопрос слушателей, мой зять-старик спросил:

— Почему его не могли поймать?

И сам же, выдержав нужную паузу, ответил:

— Простых людей он никогда не трогал, не обижал. Ни ханты, ни русских.

Старик снова помолчал, потом спросил:

— Энкевэдэ кого искали: русского человека, белого офицера. Так?

— Так, наверное, — сказал я.

— Вот-вот, — улыбнулся мой зять-старик. — А Липецкий был совсем как ханты. Ходил в нашей одежде. На оленях ездил. Ножом и топором хорошо владел. На подволоках* крепко стоял. Словом, ничем от ханты не отличишь...

Старик задумался, опустил голову. Потом тронул меня за колено, сказал:

— А язык ханты он знал лучше нас с тобой...

— Ну, так скажи...

Пришло время вечернего чая. После, когда все в доме понемногу уgomонились, я спросил зятя-старика;

— История Липецкого имеет ли конец, зять-старик?

— Имеет, — откликнулся старец.

— Так его и не взяли?

— Нет.

— Чем же все закончилось?

— Вот чем все закончилось... — вздохнул старец. — Сейчас расскажу...

Он тяжело помолчал. Помолчав, начал:

— Жил Липецкий у моего троюродного брата Кирилла на соседнем притоке нашей Большой реки. Много про войну рассказывал. В бою как было, если ты не убьешь, то тебя убьют. Война, говорит, дело худое. В ней мы, люди, повинны. И за эту свою вину жизни свои кончали. Это можно понять как-то. Больше всего, говорит, коней было жалко. Ведь кони-то ни в чем не повинны...

+ + + + +

Так вот, Липецкий жил у моего троюродного брата Кирилла. Но там только зимой жил. Как только наступала

* Подволоки — широкие охотничьи лыжи, подбитые мехом.

весна и открывались воды, он на все лето уходил на Обь. Осенью, перед самым ледоставом, с первыми снегами-льдами он возвращался в дом брата Кирилла на зимовку.

Так он и жил: летом на Оби, зимой — здесь.

Так прошло сколько-то лет и зим. Немало воды за эти годы утекло.

Вот посчитай.

Закончилась война между белыми и красными.

Закончилась другая война между остяками и красными.

Пролетело еще несколько лет и зим и началась еще одна война вдалеке от нашей земли. Эту войну мы все хорошо помним. Много наших людей на эту войну взяли. И моих двух братьев на эту войну увезли. Так они и не вернулись, сгинули бесследно, в Нижний Мир ушли. Как русские говорят, погибли.

В первый год этой войны, в начале зимы, Леня Липецкий в доме брата Кирилла заболел. У него руки-ноги стали опухать. И тогда он сказал хозяевам дома: все, больше не выздоровлю. Конец мне пришел.

Потом такие слова добавил:

— Теперь, — говорит, — если хотите, меня в энкевэдэ сдайте. В город сообщите. Ни на кого, — говорит, — в обиде не буду. Вы мне дали, — говорит, — много дней и лет жизни...

Однако, как и полагается за всяким больным и немощным, за ним ухаживали, его лечили. Но сбылись его слова: болел, болел, сколько-то времени прошло — и он умер.

Как и полагается всякому закончившему жизненный путь по Среднему Миру, его со всеми обрядами похоронили на родовом кладбище.

Еще сколько-то времени прошло, но в ту же зиму весть о его кончине дошла до энкевэдэ, до города. И вот из города приехали три энкевэдэ и потребовали, чтобы им показали могилу Лени Липецкого. Привезли их на родовое кладбище, на могилу. Тут они приказали, чтобы выкопали покойника. Все ханты, бывшие там, наотрез отказались. У ханты считается самым большим грехом — это потревожить прах ушедшего в Нижний Мир. Поэтому все ханты — хоть убей — не прикоснулись к могиле. Тогда эти энкевэдэ сами начали выкапывать покойника. Видно, немало времени прошло со дня похорон. Земля так промерзла, что ее не брали ни лопаты, ни топоры. Тогда привезли пешни. И пешнями стали долбить землю на могиле. Долбили-то, в основном, двое. А третий, старший энкевэдэ, прохаживался вокруг, распоряжался, командовал.

Наконец с большим трудом откопали могилу.

Энкевэдэ вытащили покойника, всего обыскали его. Только немного денег при нем нашли. И больше — ничего.

Что они искали — не знаю. Может быть, слышали про

Божье Послание и его искали? Но и Божьего Послания на шее покойного не оказалось. Куда он подевал его перед смертью — тоже не знаю. Никому это не ведомо. Осталось это его тайной.

Так Леня Липецкий, даже мертвый, еще раз надул энкевэдэ, оставил их ни с чем.

Тут старший энкевэдэ взял пешню и всадил острие в голову покойника. И яростно заработал пешней. И разбил всю голову мертвому Лене Липецкому.

Люди, бывшие там, отвернулись в сторону, опустили глаза.

И молчали.

Молчали...

Перед уходом из жизни, будто уже в бреду, Липецкий все вздыхал: «Россия-Россия, сколько людей загубили...» А потом, уже более отчетливо, спрашивал:

— И за что?! И за что?!

Так и не получив ответа на свой мучительный вопрос, Леня Липецкий ушел в Нижний Мир.

+ + + + +

После, когда энкевэдэ уехали, люди и эту окаянную пешню похоронили на родовом кладбище.

Замолк старец.

Молчал и дом.

И это молчание было похоже на то, как чтут память всякого преждевременно и насильственно отправленного в Нижний Мир.

РУССКИЙ ЛЕКАРЬ

Рассказ Сардакова Иосифа*

1. Гость дальней земли.

И среди русских есть достойные...**

Дело было после войны. В ту пору я был пастухом в верховье Агана, на землях рода Казамкиных. Как-то во второй половине лета к нам приехал русский молодой человек, зоотехник, или, как мы его называем, олений лекарь. Сначала осмотрел стоянку и оленей, что возле дымокура спасались от комаров и паутов. Потом в одном чуме чай попил, поговорил с людьми, затем перешел в другой. Любопытным оказался, всем интересуется. Об оленях, о житье-бытье, об обычаях расспрашивает. Чай пьем — разговариваем. У дымокура на оленей стоим — разговариваем.

Между собой мы называли его Русским Молодым Человеком, Оленьим Лекарем и просто Лекарем.

Настал вечер. Я потеснил свою семью в половинке чума: моя мама передвинула постель ближе к двери, за ней переместились наши старшие дочери Лидия и Валентина, младший в люльке Егорка с матерью, еще здравствовавшей в те годы. В каждом чуме жили по две семьи: летом легче каслать — меньше поклажи. Гостю дальней земли постелил и натянул полог рядом с собой, ближе к спине дома, на почетном месте. Сначала он все называл меня «бригадиром» или «Иосифом Александровичем». На это я ему сказал, что отец мой давно ушел в Нижний Мир. А у нас, у хантов, не принято называть по имени и попусту беспокоить тех, кто уже перебрался в тот мир. Поэтому зови меня просто Осипом.

На другое утро он говорит мне:

— Осип, хочу пастбище осмотреть.

— Смотри, — говорю. — Все вокруг — это пастбище!

— Нет, — говорит. — Мне все своими глазами надо увидеть!

* Эту историю я услышал в шестидесятые годы от бывшего оленевода Иосифа Александровича в доме моего отца на среднем течении Агана.

** Иосиф Александрович употребил слово «тарэм», означающий выносливый, стойкий, мужественный с оттенками прилагательных «благородный», «справедливый», «достойный».

- Что смотреть: бор видел, болото видел?
- Видел.
- Везде одинаково: боры, болота, реки да озера.
- Мне надо пройти по ним своими ногами!
- Зачем это тебе?
- Понимаешь, Осип: я хочу узнать вашу землю...

Разговор происходил возле дымокура. Как водится, мы смотрели на пришедших с пастбища оленей. Я повернулся к моим пастухам, спрашиваю, по-своему, что с ним делать? Можно ли взять на обход? Выдержит ли? Но люди мои засомневались. Мол, где-нибудь «ляжет» — и потом плетись домой, тащи его на себе. А если далеко от дома ослабнет? Мол, комары да мошкара его заедят. Разве городской выдержит такое?! Мол, с ним только намучаешься — и дело не сделаешь, пастбища не обойдешь. Зачем попусту на него время терять? Словом, все высказались против, не связывайся с ним. Поживет здесь день-другой и сам начнет в город проситься. Никто из приезжих тут долго не выдерживает. Особенно в комариную пору и в жару.

Выслушал я своих пастухов и говорю ему:

- Комаров много, Молодой Человек!
- Не съедят, поди, — отвечает он.
- Болота топкие!
- Не утону, поди.
- Тропы длинные и тяжкие!
- Но вы же ходите по ним.
- И все пешком и пешком!
- Я солдат! — говорит.
- Ну и что?
- Я солдатом был, — говорит. — Сколько оттопал — не счесть!..
- Терпишь, значит?
- Терплю!
- Много дней терпишь?
- Сколько нужно будет.

Я помолчал немного. Думаю, если ему так хочется — пусть попробует. Коль ляжет — так уж как-нибудь дотащу до дома. Сказал ему:

- Ладно, ноги твои: хочешь — пойдем.
- Конечно, пойдем! — бодро согласился он.

Перед уходом я отдал ему летние нырики* и попросил снять сапоги. Переобулся. В сапогах по нашим болотам далеко не уйдешь.

Собрались, последний чай попили. Надел он на себя свой рюкзак — и мы пустились в путь. Объяснил ему, как и куда будем идти. Сначала по сосновым борам пойдем вдоль

* Нырики — мягкая кожаная обувь из ровдуги, мокасины.

Агана вниз, потом по боку одного из его притоков повернем на север, поднимемся до самого верха реки. Оттуда, по верховьям больших и малых притоков Агана, двинемся на восток. Там будем брать все правее и правее, в сторону полуденного солнца. И, возможно, выйдем к Агану недалеко от его истока и совсем с противоположной стороны вернемся домой. Сделаем большой круг, в центре которого пасется наше стадо.

Спутник мой кивнул: мол, все понял.

Я двинулся скорым шагом далеко идущего человека. По твердой земле соснового бора мой напарник шел ходко, шел хорошо. Это немного успокоило меня. Подумал: «Похоже, парень, и вправду день-другой выдержит!» Пускаясь в дорогу, так прикинул: как только мой Лекарь начнет сдавать, назад повернем, домой поплетемся. Как-нибудь, с большими перекурами да привалами, авось, дотянет до дома. Такое у меня было на уме, когда вопреки словам моих пастухов я решил его взять с собой.

Идем по бору. Он чуть позади меня на шаг иль полшага отстает. Идем — то молчим, то двумя-тремя словами перекидываемся. При ходьбе быстрой обстоятельный разговор не вяжется.

Идем, изредка на перекуры останавливаемся. Мы бы вообще не останавливались, если бы я ему строго-настрого не запретил курить на ходу. Стояла непомерная сушь, все боры давно пересохли. И от одной маленькой искорки ягель мог порохом вспыхнуть. Он со мной согласился без лишних слов. Вначале я одним уголком глаза все следил, чтобы он окурки тушил по-летнему — закапывал в песок. Это самый надежный способ тушения. Поэтому место для перекура выбирал ему возле песчаных выбоин на тропе или на зимнике. Впрочем, он тоже прекрасно понимал, что если спалим пастбища — кончим оленей. Если кончим оленей — то лишимся жизни.

Для меня же нет проблем с огнем. На ходу достаю табакерку, на ходу курю — табак за губу кладу. С улыбкой предложил ему:

— Попробуй мой табачок, Молодой Человек!

— Не привык к такому способу курения! — тоже с улыбкой ответил он.

— Вот поживешь с нами, попасешь оленей — и научишься по-нашему курить!

— Научусь — так хоть на спичках сэкономлю! — смеется он.

— Главное, без огня начнешь обходиться.

— Да, ваши ягельники и боры от огня сберегу!

Покуривая папиросу, он расспрашивал, как мы пасем стадо в летнюю пору. Я коротко рассказал ему. Сразу после весеннего отела, в начале лета, когда появляются комары, мы переходим на круглосуточное дежурство. Пасем попарно.

Два пастуха дежурят день и ночь, потом заступают на смену следующие двое. Так и ходим за стадом всю ночь. Утром пригоняем оленей домой, где они у дымокура лежат до тех пор, пока не проголодаются. Встали олени, пошли на пастбище — пастухи за ними. Там живем почти до конца лета. Примерно в конце июля, когда ночи становятся совсем темными и оленей уже трудно различать от деревьев-трав, отпускаем их на вольный выпас. За лето они приучаются к дымокуру. И по утрам, избавляясь от паутов и назойливой мошкары, так называемой «комариной рысцей» прибегают домой к спасительному дыму. А если не являются к дымокуру, то приходится разыскивать их на пастбище.

Как раз это время выпаса сейчас наступило.

Что в эту пору делают пастухи? Да дел всегда невпроворот! Через каждую неделю-другую делаем дальние обходы пастбищ. Смотрим, не отбились ли за его пределы большие группы оленей. Если есть таковые, заворачиваем обратно, пригоняем домой. И второе важное дело — ремонтируем старые и мастерим новые нарты, готовимся к осени и зиме. Пастух без нарты — это как охотник без ружья. А за год столько ездовых и грузовых нарт изнашивается и ломается, что к концу лета не знаешь, с чего начать. Тут за полтора-два подснежных месяца каждый пастух должен поставить на ноги — точнее, на копылья — весь свой аргиш. Иначе по первоснежью вместе с семьей останешься на первом же брошенном становье. Поэтому все свободные дни либо латаешь упряжь, либо по берегам рек выискиваешь кремневые лесины на полозья. За два-три каслания по весеннему насту нартовые полозья начисто «сгорают». Вот и ходишь, в поисках дерева покрепче, если весной какие-нибудь нашлапки не успел приспособить на полозья.

Выкурил он папиросу, схоронил окурок в песок — и мы двинулись дальше.

— По чьей земле, Осип, идем? — спрашивает.

— По земле рода Казамкиных, — отвечаю.

— Они не против колхозного стада?

— Кто их станет спрашивать?

— Да, пожалуй...

— Все здесь принадлежит колхозу. Так считается.

Помолчал мой спутник, потом спросил:

— А твоя земля где, Осип?

— Моя земля тоже теперь стала колхозной.

— Далеко она отсюда?

— Река Ягурьях была землей рода Сардаковых*, — сказал я.

— Это вниз по Агану?

— Да, правый приток. Сразу за поселком, за Варьеганом, где контора нашего колхоза.

* Там к 80-м годам геологи построят крупный поселок Новоаганск.

Оба замолкаем. Идем дальше.

Сосновый бор.

Горячее солнце.

Жужжание паутов.

Писк комаров.

Оленьи тропы, оленьи следы.

Полуденный чай не стали варить. Из дома вышли поздно, почти к середине дня. Решил, что напарник мой выдержит без еды до вечера. Лишняя остановка — лишняя трата времени. Подумал, если он хорошо пойдет, может быть, удастся обойти большую часть пастбищ. Коль уж приспичит, очень захочет есть — так напомнит про обед, не маленький. Но все идет, молчит про еду — значит, еще терпит.

Миновали бор Узорчатого Яра, на котором расположены зимние и летние селения основной ветви рода Казамкиных. У главы рода много имен, рассказывал я своему спутнику. Ханты зовут его и Чач-ики, и Данива-ики, и Коски Отец — это по имени старшего сына. Русские кличут его дедом Василием, это его русское имя. Белая голова, белая борода. Сколько ему лет — он, пожалуй, и сам не знает. В Летнем Селении* он, бывало, с трубкой в зубах усядется на крутояре возле дома и подолгу смотрит на медленные воды Агана. Возможно, Старший Казамкин вспоминал рассказы о том времени, когда его предки пришли сюда, в верховье Агана с далекого Казыма, правого притока Нижней Оби. Пришли и обосновались тут в пустынном в ту пору верховье реки. Ведь на среднем и нижнем течении тогда уже жили другие роды. Если спускаться вниз, то после Казамкиных пойдут Сардаковы, Айпины, Лейковы, Тылчины, снова Айпины, Тырлины, Покачевы, Епаркины, вторые Тырлины, снова Покачевы, потом Лисмановы — а там и устье Агана.

Почему яр называется Узорчатым? Старший объяснял все очень просто. Он указывал рукой на нижнюю оконечность яра, на самый высокий угор, поросший соснами: посмотрите там и все поймете. И вправду, под соснами, на белоягельном бору лежат причудливые узоры из белейшего песка. Будто давным-давно, в незапамятные времена, их вырезала искусная мастерица из камуса белого оленя. Отсюда и пошли названия: Узорчатый Яр, Узорчатого Яра Селение и еще одно имя Старшего — Узорчатого Яра Старик.

Почему у Старшего столько имен? Он считался в свое время довольно сильным шаманом, а всякого шамана не принято часто называть прямым именем. Вот откуда у него много имен

* Селение будет жить до тех пор, пока на юге, за черным урманом не откроют знаменитый нефтяной Самотлор и не встанет город Нижневартовск, откуда вытянутся сюда его бетонные шупальца дорог и стальных нефтепроводов.

появилось. Впрочем, многие его побаивались, что ли. Ходили слухи, что он не совсем справедливо шаманил иногда. Говоря по-нашему, «обратно жил», «в обратную сторону дела делал», то есть не столько помогал, сколько вредил помаленьку людям, которые ему не нравились. Только красные русские не боялись его. Но, однако, когда забирали всех шаманов реки «как врагов народа», его не тронули. Видно, судьба...

Так вот идем. Напарник мой спрашивает — я отвечаю, такие рассказы-сказки ему рассказываю.

После бора вышли к неширокой заболоченной лощине, по которой весной талые снеговые воды скатывались в пойму Агана. Не останавливаясь, ступая по кочкам, я пустился через болотце. Уже выходя на противоположный бор, услышал крик:

— Осип, спасай!.. Осип, то-ну!..

Оглянулся: мой спутник посреди болотца провалился и по пояс завяз. Глаза — как два котла, волосы — вздыбились лесом. Руками, как лопатами, наклонившись вперед, загребает болотную жижу в обратную сторону. Дерг одной ногой — все ниже, дерг другой ногой — еще глубже. Всякая трясина одинаково держит: чем больше дрыгаешься, тем быстрее засасывает.

— Не шевелись! — кричу ему. — Сейчас вытащу!

Болотце вроде бы не топкое, подумал я. Как умудрился завязнуть?

— Не утонешь! — кричу ему. — Болото тут не глубокое!

Вернулся к нему, взял его за левую руку, на бор глянул. До твердой земли расстояние небольшое. Может, с хороший аркан. Может, чуть больше. Ну вот, стиснул крепко его руку, выдернул его из трясины и, добавив свою дурость, по болотной жиже волоком поволок его к сосновому бору. Можно было, вытянув из трясины, поставить его на ноги, и он выбрался бы на сухое место. Но я этого не сделал, а поволок его. Подумал: пусть как следует понюхает нашу землю, пусть попробует на вкус болотной жижи-водицы, пусть получше узнает, как живет-работается пастуху-олевоводу.

Допер я его до твердой земли, на ноги помог подняться, выпустил его руку. Он отряхнулся от налипших остатков торфа и мха, по взлохмаченным волосам пятернями провел, говорит:

— Спасибо, Осип!.. Без тебя не выбрался бы из этой ямы!..

— Вот если бы в сапогах был — и с моей помощью не выбрался! — засмеялся я.

— Вовремя от сапог избавился.

— Или остались бы сейчас на дне болота.

— Да, верно! Спасибо, тебе!..

— За это у нас не говорят «спасибо», — сказал я.

— Почему?

— Это такое малое дело, которое обязан делать каждый человек.

— Поэтому не стоит благодарности?

— Да, поэтому не тратят на это слово.

— Так-так, понял...

Я достал табакерку, а напарник закурил папиросу. Помолчали, потом, глядя на болотце, он спросил:

— Много ли оленей в топи попадает?

— Взрослый олень умный: топь обходит стороной.

— Но бывают случаи?

— Конечно, бывают. Кто обычно вязнет на топком месте? Глупые олени — это раз. Взрослые олени, скажем, загнанные в болото медведем — это два. И неосторожные в пору, когда на урезе воды малых зарастающих озер появляется трава, которую у нас называют коос-пом. Эту траву очень любят олени. И в погоне за ней, бывает, олени забывают об опасности и вязнут в мягких болотах — это три.

— Как трава называется — коос-пом?

— Как будет по-русски — не знаю. А по-хантыйски так переводится: «крохаль-трава». Утка такая есть.

— Знаю.

— Говорят, трава-то лечебная. Может, поэтому олени так любят ее.

— Мне посмотреть надо эту траву, Осип.

Помолчали, покуривая. Потом он снова стал спрашивать про оленей:

— Как вызволяете попавших в топь?

— Очень просто: тянешь за рога или хвостик.

— А если место топкое, опоры нет?

— Тогда ломаешь сухары*, настилаешь мостки, по ним подбираешься к попавшему в беду оленю, помогаешь ему вытащить передние ноги. Если под передними ногами будет хороший упор, он сам довольно легко может выбраться.

— А сам, Осип, если бы в топь попал, как бы выбрался?

— Я бы постарался не попасть туда! — засмеялся я.

— Но ведь всяко бывает.

— Глаза показывают, где можно ходить, а где нельзя, — сказал я. — Первое дело: никогда не ступай на буро-коричневые пятна болота, где не растут ни травинка, ни мшинка. Тут наверняка можно провалиться. Второе: болота наши довольно твердые, топких мест совсем немного... По зыбким местам обычно ходим со слегами или с арканом.

— Аркан чем поможет?

— Заарканишь дерево, пенек или просто кочку — и выбирайся по аркану из болота.

* Сухара — высушенное на корню дерево.

— Что же дома не дал мне аркан?

— Так вот — не догадался...

— Хоть сам бы выбрался из топи!

Когда он выкурил папиросу и сунул окурок в болотную жижу, двинулись дальше по сухому бору. К вечеру поднялась мошкара, которая назойливо лезла в глаза, ноздри и уши. Идти стало труднее. Но спутник мой молча шагает, будто всю жизнь проходил по таким оленьим тропам.

В первых сумерках мы вышли к Лахр-Ягуну, к правому, довольно немаленькому притоку Агана. По всем меркам останавливаться еще рано, но я решил устроить здесь ночлег. Мой Олений Лекарь целый день на ногах и без еды. Хоть и бодрится, но я знаю, что человеку непривычному трудно столько пройти пешком по жаре и комарам.

На песчаном ярике, на берегу речки я выбрал место для привала. Быстро развел костер, повесил над огнем котелок для чая. Пока закипала вода, нарубил сосновых веток на лежанку, развернул полог. Полог от комаров был один на двоих.

Вскипел чай — и мы сели ужинать.

Пили чай степенно, не спеша, с неторопливым разговором. Между тем не заметили, как опустошили один котелок. Не долго думая, над огнем повесили его во второй раз.

На бор и речку опустилась ночь. На западе, над верхушками сосен еще долго, как бы нехотя, догорала вечерняя заря.

Укладываясь спать, спросил напарника:

— Ну как, Молодой Человек, немного устал?

— Да, немного есть, — ответил он.

— Еще один день терпишь?

— Терплю, — бодро сказал он.

Это хорошо, подумал я. И собрался лечь, но мой неугомонный Лекарь вспомнил про мою матушку, стал спрашивать.

— А твоей маме, Осип, не тяжело кочевать с вами?

— Да она еще любую молодую может обскакать на упряжке! Старая закалка! — улыбнулся я.

— Но все же старости нужен покой.

— Да где возьмешь этот покой?

— В поселке жить не хочет?

— Нет, конечно... Понимаешь, я младший сын в семье, она последнего меня выкормила, — стал ему объяснять. — Поэтому, по нашим обычаям, родители на старости лет достаются мне, самому младшему сыну. Я должен заботиться о них... Я ж не могу оставить ее где попало, кому попало...

— Да, Осип...

— И нам без нее было бы нелегко.

— Помогает?

— Как же, почти полдома держится на маме. Помогает

Моей* одежду шить, стирать, еду готовить. И, конечно же, незаменимая нянька нашим детям. Не знаю, как бы без нее мы пастушили, как бы каслали с места на место. Представляешь, как с такой оравой кочевать?! По-хорошему-то вообще многодетных нельзя ставить пастухами.

Тогда я еще не знал, что меня ожидает впереди. Не знал, что вскоре после рождения нашей младшей дочки погаснет очаг моего дома. Все мы осиротеет. Моя, родившая мне пятерых детей, преждевременно оставит этот мир. И моей старой маме придется растить мой дом, моих детей.

Наконец замолк мой спутник.

Я сунул под голову аркан и пояс вместо подушки, улегся поудобнее и с думой о маме, под мягко журчащий говор воды, вскоре уснул.

2. Вверх по Кольчуге-Реке

Утром, как это обычно бывает на ночевке в лесу, проснулся очень рано. Встал, вскипятил чай, разбудил напарника. После первого дня ходьбы пешком ломит все тело, это известно каждому пешеходу. Но Лекарь мой поднялся быстро, поясницей покрутил, руками помахал, шеей повертел. Улыбнулся: говорит, жить можно. Зарядкой это у него называется.

Я ему на нырики показал. Мол, руками надо поработать для начала. Вечером объяснил ему, какой уход требуют нырики. Под моим присмотром смыл с них песок в речной воде, выжал и, старательно расправив, повесил на просушку. А травяные стельки разложил на валежине — они тоже должны до утра просохнуть. И вот теперь, высохнув, кожа ныриков совсем задубела. Чтобы не намозолить ноги, берешь нырики и мнешь их руками. Они любят уход. Если как следует не будешь просушивать — сгниют, развалятся на ходу. Пропадут нырики — останешься без ног. А без ног в лесу куда?!

Размяли нырики, обулись, чай попили, обвел я взглядом место привала — не забыл ли чего — и мы пустились в путь. Сказал спутнику:

— На север мы повернули, вверх по Лахр-Ягуну пойдем.

— Эту речку так зовут?

— Да, конечно.

— А как переводится название речки?

— «Ягун» — это речка, а «Лахр», «Лахр»...

— Не переводится?

— «Лахр» — это железная рубаха...

* Обычно не принято супругам называть друг друга по имени. Говорят «Мой» или «Моя», или, к примеру, «Лидии Мама», «Ивана Отец», «Наших детей Мама» и «Наших детей Отец».

— Что за «железная рубаха»?

— Железная рубаха воина, богатыря — как это по-русски называется?

— Кольчуга, наверное?

— Во-во — «Кольчуга-Река», значит.

Напарник мой хмыкнул, помолчал, покрутил головой, потом спросил:

— Откуда такое название сюда пришло?

— Из древности, — отвечаю. — От предков наших.

— А у них откуда кольчуги?

— Так они ж воевали?

— С кем?

Я начал ему считать на пальцах:

— С юга нападали татары — с ними воевали, это раз. Оттуда же приходили русские — опять воевали, это два. С севера набеги делали ненцы — с ними тоже воевали, это три. Так что, судя по войнам, кольчуга у наших предков чуть ли не повседневной одеждой была...

— Да, похоже.

— В те времена много воевали.

— И кто одерживал верх?

— Как это кто?! — удивился я. — Если бы нас победили, то у нас отняли бы нашу землю! А коли мы остались жить на своей земле, значит, наши предки защитили нашу землю, отстояли ее! Вот так, Молодой Человек!..

— Не сердись, Осип! — миролюбиво сказал он. — Я не хотел тебя обидеть...

Несколько шагов прошли молча, ведя глаз по земле. Потом я снова заговорил:

— Предки хорошо защищали нашу землю, а мы — плохо...

— Почему так?

— Мы теряем свою землю...*

— Каким образом — никто же не отнимает, ни с кем же не надо воевать!

— И отнимают, и воевать приходится!

— С кем?

— С русскими, — отвечаю.

— С какими русскими?

— С красными русскими.

— С красными?! — удивленно поднял он брови.

Коротко рассказал ему, как было дело. Когда появились первые русские, по словам наших древних, мы с ними воевали. Потом все уладили и при Белом Царе, при белых русских мирно зажили. Но тут место Белого Царя занял

* Тогда он еще не знал, что окончательно потеряет свои земли лет через тридцать, когда на месте его настоящей стоянки, возле устья Язевой Реки вырастет город нефтяников Радужный.

Красный Царь и нагрянули русские, красные русские. Нагрянули, нахлынули со своими приказами-указами — так не делай, сяк не делай, так не живи, сяк не живи. Мы немного потерпели — и поднялись войной на красных русских. На прародине Казамкиных водились в ту пору еще лихие ребята. Они и поднялись первыми. Надеялись стать хозяевами на своей земле. Надеялись на свободу, чтобы самим решать, как жить в своем доме. Но ничего не вышло, ничего не получили.

— Плохо, что ли, воевали? — серьезно спросил мой Лекарь.

— Вовсе нет, но дело плохо кончилось...

— Да, война — дело плохое...

— После своих предков с кольчугами мы, пожалуй, в первый раз проиграли войну... — сказал я.

— Почему так получилось по-твоему, Осип?! — спрашивает. Растолковываю ему:

— Красные воевали не справедливо.

— Как это не справедливо?

— Очень просто: мы на красных — с ружьем, они на нас — с пушкой или пулеметом. Мы — на оленьей упряжке, они — на самолете. Да еще сверху бросают огненные камни*. Разве это справедливо?!

— Но это война...

— Или вот еще: где наших десятки — там красных сотни. А где наших сотня — там красных тысячи.

— Война...

— Но совесть-то надо иметь или нет?!

— Да, без совести нельзя, — признался мой Лекарь.

— Вот-вот: без совести может только нелюдь обходиться!

Помолчал мой собеседник. Мы шли бором, потом спустились в пойму и довольно долго пробирались вдоль берега по кочкарнику среди частых валежин. Я следил за следами зверей-птиц и за ходом оленей: где паслись, сколько их было, в каком направлении ушли.

Когда мы выбрались на ровное место, мой спутник продолжил прерванный разговор, спросил:

— Осип, а война разве может быть справедливой?

— Наша была справедливой.

— Объясни, почему.

— Вот слушай: если я с винтовкой приду на чужую землю, в чужой дом и меня за это прибьют — это справедливо будет, скажи ты мне?!

— Да, пожалуй...

— Все верно. А теперь, если на мою землю, в мой дом приходит красный с винтовкой, с пулеметом, с пушкой, что я должен делать?

* Огненный камень — так называли и гранату, и бомбу.

Мой спутник молчит.

— Я должен делать то же, что сделали бы со мной на чужой земле, приди я туда с войной. Правильно говорю?

Молчит мой напарник.

— Знаю, скажешь: красные хорошие, нельзя их трогать...

Молчит.

— Когда в первый раз они нагрянули к нам, уверяли: мы, красные, для вас хорошие, помогайте нам, а вот белые — плохие, бейте их! Такие сказки нам напевали...

Олений Лекарь повел головой влево-вправо, выпрямился, медленно и увесисто опустил на меня три слова:

— Гадов... надо бить!..

Я ничего не сказал на это. Помолчав, он добавил:

— Как и хорошие люди, они попадают на всех землях...

— Тоже правильно, — согласился я.

После небольшой паузы он спросил:

— Ты сам, Осип, воевал с красными?

— Нет, я мал тогда еще был.

— Откуда все знаешь? От взрослых, вернее, стариков?

— Люди рассказывают, народ вспоминает... А тех, кто воевал против красных, всех потом кончили: кого в бою, кого в тюрьме, кого втихомолку, из-за угла.

— Осип, ты пошел бы против красных? — спрашивает.

— Если бы приспичило — куда деваться?! — вопросом на вопрос ответил я.

Немного подумав, добавил:

— Если воевать по-справедливому, так двух-трех воинов за свою землю одолел бы.

— А я ненавижу войну!..

— Я — тоже!

После этого мы надолго замолчали. Каждый задумался о своем. Слева уходила назад, говоря по-русски, Кольчуга-Река. Видно, ее «военное» название наталкивало наши мысли на эту тему и поэтому мы почти целый день говорили о войне. Мы шагали в основном по редким сосновым борам, что часто перерезались болотцами и ровными сорами. Справа же тянулись сплошные болота с большими и малыми озерами.

Чем ближе к вершине реки — тем сосны в бору реже и ростом заметно ниже. Чувствуется, что идем на север, в сторону «холодного угла».

На окраине бора, на угоре я приостановился, затем медленно, оглядывая ягель, прошел в глубину леса.

— Что там нашел, Осип? — спросил напарник.

— Медведь...

— Где?! — встрепенулся Молодой Человек.

— След, утром прошел.

— Нагрешил?

— Нет, вроде бы...

Я разгреб сучком «пирог», оставленный медведем. В нем хорошо видны остатки кустиков и листочков черники, веточки голубики. Значит, он жил в пойме Лахр-Ягуна и лакомился ягодами, лениво нежился на мягкой мураве под тенистыми кедрами. А теперь вышел на бор и направился напрямиком на центр пастбищ, в сторону большого стада. В этом для пастуха мало приятного. Коль не поймает оленя, так распугает их, разгонит. Впрочем, кто его пути-тропы ведает — может повернуть влево или вправо, может ни с того ни с сего умчаться за тридевять земель совсем в противоположном направлении. Предсказать все проделки чернолицего невозможно.

Пояснил напарнику:

— Если чернолицый нагрешит — в его пироге остается оленья шерсть.

— Тут шерсти нет?

— Нет, не видно.

— Стало быть, его совесть чиста?

— Чиста.

— Тогда пусть живет! — улыбнулся мой спутник.

На берегу Лахр-Ягуна вскипятили и выпили полуденный чай. И снова пустились в путь. Оленьих следов было немного. Они доходили до реки, вдоль нее поворачивали вверх или вниз и, описав полукруг, направлялись в сторону дома. Река как бы выполняла роль коралля. Летний олень в воду не лезет. Так во всяком случае считается. Хотя попадают олени, которых вода совсем «не держит». Такие олени могут переплывать довольно крупные реки. Правда, верховья не являются большим препятствием. Тут, если берега твердые, одним скачком можно перелететь исток любой самой многоводной реки.

Правда, наша Кольчуга-Река к полдню была еще широка — одним прыжком не преодолеть. Но к вечеру она заметно сузилась. Берега стали низкими, болотистыми. Тут и там, раздвигая стайки берез, к самой воде прорывались чистые соры*.

К исходу дня я взял правее, и река с полоской белых березок осталась в стороне. На ночлег я облюбовал сосновый бор-островок у небольшого болотного озера. Озеро было рыбным. В траве, возле устья речушки этого озера, оглушив выстрелом, добыл хорошую щуку с полтора-два локтя. На ужин поджарил подовушку, начал ею угощать своего спутника. Он отщипнул кусочек, попробовал. Говорит: ничего. Но я-то вижу, что не очень ему понравилась щука, поджаренная на открытом огне. Подумал: если приспичит —

* Сор — здесь: чистое ровное болото. А также так называют затопляемую в половодье чистую луговую пойму реки.

так привыкнет. Впрочем, русская пища мне тоже пришлось не по вкусу. Он в первый же день попотчевал меня своей едой. Мясо из банки припахивало железом и было несвежим. А трава, по-видимому, годная в пищу только городским русским, и вовсе оказалась без всякого запаха и вкуса.

После ужина мы сидели у костра и вели неторопливые разговоры. Я рассказал предание о том, как в старину в верховье Лахр-Ягуна, в этих самых местах, наши воины сражались с иноземными захватчиками. Будто бы при переезде через эту реку один из воинов-богатырей утопил свою железную рубаху, называемую по-русски кольчугой. Но воин-богатырь настолько оказался храбрым и находчивым, что даже без кольчуги вместе с товарищами одержал победу над иноземцами. И после этого сражения — в память об этом событии — река получила имя Лахр-Ягун, Кольчуга-Река. А местной Богине, как символ могущества и справедливой борьбы, достался меч в ножнах*...

Такие дела творились в старину на этой земле.

Впрочем, не только в старину.

Догорал наш костер.

Начали готовиться ко сну.

Уже в пологе, укладываясь, по привычке спросил:

— День еще терпишь?

— Терплю, — услышал ответ.

Хорошо Молодой Человек ходит, подумал, засыпая.

3. На Межземельную Гриву

Утром он спросил меня:

— Осип, скажи, плакать во сне, по-вашему, к хорошему или к плохому?

— Это смотря, как плакать...

— Ну, обычный плач во сне...

— У хантов так считается: если утром после такого сна глаза сухие — к хорошему, а если глаза мокрые — к плохому.

Мы оба немного помолчали. Потом я осторожно так спросил:

— Сон, что ль плохой приснился?

— Не знаю даже, как сказать...

— Глаза-то мокрые были иль нет?

— Так вот, утром не обратил внимания. Не знал же я про такую примету.

* В восьмидесятые годы, когда в этих местах открыли месторождения нефти и газа, ушлие «первопроходцы» и «первооткрыватели» выкрали у Богини меч в ножнах (прим. авт.)

Я опять немного помолчал, а после такие слова ему сказал:
— У нас, если плохой сон приснился, утром обязательно его нужно людям рассказать, дому рассказать...

— А зачем?

— Считается, что легче станет человеку. И, возможно, плохое не сбудется, стороной обойдет человека.

— Да?

— Такая примета есть.

Встали, чай сварили, позавтракали, в путь стали собираться. Перед уходом присели у костра выкурить последнюю папиросу. Выпустив облако дыма, мой Лекарь заговорил о своем ночном сне. Вернее, начал он издавека. Вот что помню из его истории.

В войну, говорит, я был командиром. Небольшим, но командиром. Были у меня солдаты, которыми я командовал. И была среди них одна женщина, одна девушка, которая за ранеными ухаживала, с поля боя их выносила. Галинкой ее звали. Такая беленькая, стройная, как будто совсем прозрачная. Как увидел ее — она мне сразу же понравилась. Подружились мы с ней. Ждем конца войны, чтобы вместе домой поехать, вместе жить. Насколько это возможно на войне, я старался уберечь ее от пули, от осколка, от снаряда и бомбы. Готов был собою прикрыть — лишь бы жива осталась. Но не уберег. Случилось это в самом конце войны. Сказали мне после боя: «Ранили. Унесли в медсанбат». Я мигом туда. А ее уже нет. Не стало ее. Сел, сижу над ней, смотрю на нее. Вспомнил, как она к нам в часть прибилась, как она потом рыдала в моих руках, а я ничего не мог разобрать из ее слов. Только немного позже узнал, от чего ей было так безутешно тяжело... Она подобралась к солдату. Он лежал на поле, на спине, а рядом с ним лежали его внутренности, и он был еще жив, он стонал. А она, в первый раз, не знала, что делать: бросить или взять? Бросить, но ведь живой! Взять, так ведь не выживет! Что делать?! Как быть?! И она плача, трясущимися руками, вместе с землей сырой кое-как заправила эти внутренности обратно в живот, кое-как перевязала и поволокла его по мокрому полю. И я тогда подумал: оказывается, убивать легче, чем спасать...

Сижу над ней, смотрю на нее. Обида брала, обида. В конце войны особенно обидно умирать. Да и не жила она совсем. Почти ребенком, школьницей отправили ее в тыл врага на диверсионную работу. Многих тогда неразумных девчонок и мальчишек послали туда именем родины и рябого. Кто посылал? За что посылал? Что они сделали, чего добились? Посылала тыловая сволочь, которая своих детей не пошлет туда. За родину? За рябого? А что такое

родина? Поля, леса, горы, города?! Песок и глина, дерево, камень?! Или родина — это рябой?! Да все это не стоит одной кровинки любой девчонки или любого мальчишки! Не говоря уже о жизни! О жизни моей Галинки! Я бы все это отдал бы за то, чтобы только она осталась жива! Все бы отдал! За ее жизнь!.. А она будто предчувствовала что-то, сказала незадолго до гибели. Грустно так сказала:

«Эрик, нам с тобой после войны нельзя вместе жить...»

«Почему?!» — удивился я.

«Нам не дадут покоя те, кого мы похоронили».

«Почему тебе так кажется?»

«Их слишком много...»

Что верно — то верно. Закопали мы многих, очень многих. Возможно, она была права: после войны нам пришлось бы тяжело. Но сейчас она ушла, оставила меня. Сажу над ней, смотрю на нее. Вижу, вижу тот день, когда мы пошли вперед, в наступление и в лесу, на опушке наткнулись на нее, «народного мстителя». Она была тогда совсем еще ребенком — исхудавшим, больным, беззащитным. Зачем ее отправили за линию фронта?! Ее и других малышей и девчонок?! Зачем?! Чтобы побольше людей угробить! Чтобы побольше народа уничтожить! Так я думал тогда. И так думаю и сейчас. Сидел над ней и думал, много думал. Так мне кажется. Кому нужно, чтобы она преждевременно ушла из жизни. Чтобы никогда больше не жила. Чтобы никого после себя не оставила. Не сумела оставить. Карать! Покарать всех, кто послал ее на войну! Покарать самую жестокою карою! Покарать немедленно! Покарать всех, кто посылает на войну женщин и детей! Кару! Самую жестокую кару! Самую суровую кару! Сам готов покарать! Сидел над ней, смотрел на нее. И душа моя опустошалась черным огнем. И сгорела, запеклась, обуглилась. Хочу заплакать — не могу, нет слез. Иссохли, сгорели внутри. Знаю, заплачу — легче станет, облегчение придет. Но не могу. Сажу — омертвевший, обугленный. Ни живой, ни мертвый. Ни солдат, ни человек. Никто, ничто...

Так без единой слезинки и оставил ее на чужой земле...

Закончил войну, приехал домой. Вроде бы живу — смотрю, дышу. Дни идут, годы идут. Только мать все украдкой вздыхает: «Эрка, Эрка-а...» Знаю, что она хочет, что ждет. А я гляну на женщину и вижу — не та. У моей Галинки волос светлее, голос звонче и чище, взгляд нежнее, а рука ласковее. Разве может кто сравниться с нею?! Нету на этом свете второй такой женщины! Нету!..

Так вот, сегодня ночью она ожила и явилась ко мне, говорит своим чистым и нежным голосом: «Эрик, иди ко мне! Я соскучилась по тебе!..» Я обрадовался, что она ожила, что заговорила, что помнит и зовет меня. Но будто невидимое стекло разделяет нас, и я не могу преодолеть эту невидимую

стенку. Но надеюсь, чувствую, что вот-вот преодолею преграду и мы будем вместе. То ли от радости, то ли от грусти, что держит меня стена, я заплакал. Она увидела это и улыбаясь говорит: «Иди же, иди!.. Нам вместе будет хорошо!..» Я это знаю. Улыбаюсь ей и плачу. Потом проснулся и подумал: «Может, и вправду настала пора перебираться к ней?..»

Он замолк, опустил голову, несколько мгновений сидел неподвижно. Потом так взглянул на меня своими щучьими глазами, будто собирался услышать ответ на свой вопрос. Я смешался от неожиданности, поерзал на своем месте, затем неопределенно проговорил:

— Погоди-и...

Он отвел глаза в сторону и ничего не сказал. Я молча поднялся, и мы пустились в путь. Шли по низким борovým гривам и болотам. Я брал все правее и правее, и наконец река осталась за нашими спинами. Я шел и думал о ночном сне моего Лекаря, о его женщине, о войне. Если зовут в Нижний Мир во сне — это плохая примета. Так у ханты считается. А у русских что это значит? Вероятно, тоже ничего хорошего. Впрочем, он же не давал согласия на уход...

К полдню мы вышли к верховью Пухэл Оллэнг Ягун, порусски будет «Селения Конца Реки». Так я перевел ее название своему спутнику. Вдоль ее берегов тоже тянулись на север неширокие сосновые боры. На правом берегу была хорошо видна колея зимней дороги. Видно, ее еще в незапамятные времена проложили предки рода Казамкиных. По ней ездили на охоту на Межземельную Гриву. По ней навевывались на бездеревную ненецкую землю, называемую тундрой. Словом, она соединяла две земли — нашу и ненецкого народа. По ней можно каслать даже летом — она тянулась по твердым гривам. Поэтому еще называли ее «земляной дорогой».

Сейчас по ней ушли наши олени.

Ушли прямо на север, на Межземельную Гриву.

Вглядываясь в олени следы, я озабоченно ходил взад-вперед по колее. Мой напарник сразу почувствовал неладное, спросил с тревогой:

— Что случилось, Осип?

— Олени от нас сбежали.

— Много?

— По следам сто тридцать — сто сорок.

— Когда?

— Здесь прошли позавчера. Утром или в первой половине дня.

— Куда сбежали?

— На Межземельную Гриву.

— Далеко это?

— Да не близко.

— А где эта Межземельная Грива?

Я только показал в ту сторону рукой. Что мне оставалось делать? Потом немного рассказал о Межземельной Гриве. Это высокие и чистые боры, что сплошной гривой тянутся с запада на восток, а затем сворачивают вправо, к междуречью Оби и Енисея. На Севере как раз по Гриве проходит граница наших и ненецких земель. С увалов Гривы наши реки стекают к югу, в пойму Оби, и ненецкие реки начинаются здесь же и бегут до самого Ледяного Океана, на север. Грива была богатым и сытным местом, была богатой и сытной землей. Здесь, вдали от человеческого жилья, в заповедных лесах и водах водился и множился пушной зверь, вольготно чувствовала себя крылатая птица, метала икру белая и черная рыба, паслись стада диких оленей. Осенью, по мелкому снегу, изредка наезжали сюда охотники и с нашей и с той стороны. Поэтому и называли эту Гриву — этот большой и длинный бор — Межземельной Гривой. Она расположена между двумя землями — Землей Хантов и Землей Ненцев. Но наведывались туда изредка, не каждый год: дорога считалась дальней и трудной. Чтобы доехать, нужно иметь хотя бы несколько упряжек хороших ездовых оленей. У людей своих оленей почти не осталось после войны, а колхозных не хватало. Вот и доберись до Межземельной Гривы! Впрочем, со среднего и нижнего течения Агана и вовсе не ездили туда. Только с верховья — тут ближе, быстрее и легче добраться.

Вот такова Межземельная Грива. Межземельная — значит, между двух Земель.

— Что будем делать? — спросил напарник.

— Догонять будем, — говорю ему.

— А догоним ли?

— Догоним.

— Ты уверен, Осип?

— Конечно.

— Но ведь олень быстрее ходит!

— Это еще как посмотреть! — улыбнулся я. — Сейчас мы пойдем быстрее, чем олень...

— Не на крыльях же полетим? — он тоже улыбнулся.

— Не на крыльях, но быстрее оленя.

Я ему пояснил, что оленю надо поесть — надо, попить надо — надо, отдохнуть тоже нужно — нужно. А мы, люди, все это должны делать быстрее, почти на ходу. К тому же, стадо чем больше — тем медленнее движется.

— Почему они бегут на эту Межземельную Гриву? — спросил он.

— Тут есть разные причины.

— Какие именно?

— Вернее, всего, медведь, который направился к центру пастбищ, отбил эту группу от стада, отогнал в эту сторону.

Олень что думает? До дома далеко. Да еще между мной и домом ходит чернолицый. Если пойду домой — могу попасть в его лапы. А пауты и мошкара не дают покоя, нужно все время двигаться, бегать «комариной рысцой». Куда идти? Куда бежать? А-а, есть тут недалеко хорошая земля — Межземельная Грива. Чем севернее, тем меньше деревьев, тем больше легкого ветра, тем прохладнее. Много наполненных ветром озер, много чистых болот и соров. Довольно часто там встречаются Коорс Мив, небольшие голые сопки с округлой вершиной посреди болот, покрытые ягелем и мхами. Летом, в комариную пору они неплохо обдуваются ветром и хороши для лежки, для отдыха. Вот один из старых вожakov и повел эту группу на Межземельную Гриву, на север. Вернее всего, это Пуровский Бык, есть у нас олень с таким именем. Два года назад, в первой половине зимы, по еще неглубокому снегу, мы ездили на Межземельную Гриву на поиски потерянных оленей. Там мы повстречались с людьми с той стороны, и один охотник-пастух, приняв за дикого, подстрелил нашего колхозного оленя. И взамен отдал нам трех-четырёхлетнего быка. Видно, он и повел оленей на свою родную землю. Взрослый олень, особенно старый, как бы далеко его ни отдали на сторону, обязательно старается вернуться на то пастбище, где родился и вырос. Обычно такой беглец уходит весной в пору наста или осенью, когда идут на убыль комары и пауты, и стадо распадается на небольшие группы. Сейчас Буровский Бык, знающий пути-дороги и земли, не только сам бежал, но и своих товарищей сманил.

— Они сами не могут повернуть обратно? — спросил мой Лекарь-напарник.

— Да вряд ли, раз двинулись в путь.

— На Гриве они сами по себе будут пастись?

— Да. Либо прибьются к диким оленям — тогда к людям уже не вернутся. Либо за Гривой войдут в ненецкие стада.

— Но ведь ненцы могут их вернуть?

— Это мало вероятно.

— Почему?

— Они у нас доверием не пользуются.

— Есть на это причины?

— Да. В старину некоторые их племена войной нападали на нас и угоняли наши стада. Не было случая, чтобы кто-то из них добровольно вернул оленей, пришедших к ним с нашей земли. В старину, говорят, это был разбойный народ...

— Что тебе будет, если не догоним беглых?

— Меня в тюрьму посадят.

— Так сразу и в тюрьму?

— Конечно, куда ж еще?! По колхозным законам так

делается: потерял немного оленей — плати. Говорят: «Съел, сожрал!» Потерял много оленей — бригадира в тюрьму, про него говорят: «Наверное, шаман, кулак!» Словом, враг народа. Остальные пастухи платят, но переводят их в разные стада. Вместе уже они не имеют право работать: «Сговорились, со своим бригадиром слишком много оленей съели! Нельзя их вместе оставлять!» В прошлые годы по таким вот законам мы жили.

— Скажи, Осип: тебя такая участь пугает?

— Детей жалко. Много мук увидят...

— Младшему-то сколько исполнилось?

— Егорке-то? Еще и полгода нет — весной только на глаза попался...

— А старшая в школу не ходит?

— Старшей, Лидии, вроде бы через год время в школу придет. Ну, а средней Вале четвертый год пошел...

— Родственники есть?

— А как же! Братья-сестры есть, дядья есть, племянники есть. Правда, род наш небольшой — всего четыре ветви имеет.

— Родственники-то помогают?

— Кому — я помогаю, кто — мне помогает. Как без этого-то жить?

— Да, верно говоришь, Осип.

— Мне самому-то что?! Боись — не боись, а как порешит мой Верховный Торум — так тому и быть! — я взглянул на небо. — Там мой Главный восседает...

Молодой Человек проследил за моим взглядом и сказал такие слова:

— Да, от судьбы никуда не уйдешь...

Между тем мы быстро пообедали и снова пустились по следам беглецов. Помаленьку стал прибавлять шаг. Слышу, мой Лекарь чуть позади идет. Идет хорошо, но тяжеловато. В душе надеюсь, что оленей догоним до Межземельной Гривы. И, стало быть, пораньше повернем домой — напарнику легче придется, все поменьше топать по нашим болотам.

Идем по следам. Олени по твердым боровым гривкам шли быстро, шли комариной рысцей. Время от времени они спускались попасть на чистые, хорошо обдуваемые ветром, соры. Пощипав траву и утолив жажду, они снова поднимались на земляную дорогу и трусили к Межземельной Гриве. Знать, прекрасно помнит этот путь и эти земли Пуровский Бык, вожак беглецов.

Шли мы до самого упора, до самой темноты. Когда уже оленьих следов совсем не стало видно, чтобы не сбиться с пути, мы остановились на ночлег. Попили чай и начали делать лежанку. Между тем вспомнили о сне моего Лекаря в прошлую ночь. Он спросил меня:

— Осип, у вас женщины воевали?

— Не-е, в старину женщины на место сражения совсем не допускались.

— Дети тоже?

— Да, и дети не допускались. Сражались только воины-мужчины, воины-богатыри.

— Они и с красными не воевали?

— А вот с красными русскими совсем другое дело вышло...

— Какое же дело?

— Красные боялись наших женщин.

— Вот как?!

— Когда все мужчины погибали, женщины брали их ружья и начинали стрелять в красных.

— Сами за ружья брались?

— Конечно, сами. Кто ж их заставлял?! Сами, добровольно, по своему уму так делали.

— И красные воевали с ними?

— Воевали. Потом они так стали делать: возьмут селение — и тут же забирают все ружья. Отбирали все, что могло стрелять.

— Чтобы женщины не напали?

— Да. Бывало, даже ножи и топоры забирали.

— А ножи и топоры-то зачем?

— Чтобы совсем безоружными оставить. Потом многие семьи, особенно у кого своих оленей не было, с голоду умирали. Охотиться-то нечем — ружья нет. Может, нарочно так делали — чтобы побольше людей уничтожить из народа, который воюет с ними...

Мой Лекарь на это ничего не сказал. Мы оба некоторое время сидели молча. Потом я проговорил:

— Конечно, война — это не женское дело...

Он тихо добавил:

— И не детское дело!..

Мы опять замолчали. После он перевел разговор на другое, напомнил:

— Осип, ты обещал рассказать про берестяную сумку...

— Да, помню.

— Что в ней?

— Там... пуп ребенка.

— Что за пуп? — не понял он.

— То, что отрезают у новорожденного ребенка.

— А, по-русски это называется последыш, — догадался он. — Пуповина...

— Во-во, это...

— Чей?

— Моей второй дочки Валентины.

Днем, в верховье Селения Конца Реки, я показал ему небольшой берестяной кузовок на ветке березы. И сейчас

объяснил ему, что на этом месте, в бору, была наша стоянка, где появилась на глаза дочка Валентина. Сшили из бересты кузовок, очень похожий на женскую сумочку, положили туда пуповину, зашили верх кедровым корнем, из того же корня сделали крепкую ручку и повесили на прочный сук березы. Так велит обычай. Берестянка долго висит на дереве, со временем даже обрастает мхом и лишайником. И, проходя мимо, мать и отец обязательно глянут — на месте ли сумка, не упала ли на землю. И чем дольше она сохранится на стволе — тем лучше для ребенка. Так считается. Значит, дитяти предначертана долгая жизнь. Вернувшись домой, скажу Моей, что видел берестяную сумку нашей послушной и тихой Валентины — она цела и невредима. И этой вести обрадуется мама малышки. Стало быть, дочка вырастет здоровой и жизнерадостной. Но про то, что береза наклонилась и может упасть, смолчу, не скажу. Незачем тревожить материнское сердце*...

— Можно же перевесить на другое дерево, — сказал Лекарь.

— То, что сделал один раз, трогать уже нельзя, — ответил я.

Мы снова оба замолкли. Спустилась ночь. Стало совсем темно.

Молча улеглись в своем пологу.

Вспомнив сегодняшнее утро, как это принято у ханты, я пожелал своему напарнику:

— Пусть твой сон к тебе плохой стороной не обернется!..

— Спасибо, Осип! — сказал он.

На этом наш день закончился.

4. День четвертый

Утром, чтобы далеко не упустить день, поднялись раным-ранешенько, когда чуть стало светать. А светать в эту пору начинает сразу после полуночи. И, быстро позавтракав, поспешили за беглецами. Теперь на кормовых болотах и сорах следы уходили то влево, то вправо от земляной дороги. То ни с того, ни с сего олени поворачивали назад, и, отыскав и вытоптав «сладкий» кормежник, снова устремлялись к Межземельной Гриве. Мы, боясь потерять следы, как зайцы, петляли по их извилистым тропам. И к вечеру нас так вымотали зыбкие и мягкие мхи, что за ужином мой Лекарь в сердцах сказал:

* В начале семидесятых годов дыхание тихой Валентины преждевременно оборвется в городе Нижневартовске, который к тому времени станет районным центром на этих землях.

— Осип, ты почему этого Пуровского Быка на мясо не пустишь?!

— Хех-хе! — засмеялся я.

— Так ведь, поди, каждый год бегают он на Гриву...

— А зимой как быть: я сам, что ль, в нарты впрягусь?!

— Есть же другие олени?

— А этих других знаешь сколько требуется?

— Сколько?

— Не могу даже сосчитать...

— Много?

— Конечно, много. Как только выпадет первый снег, все идут к бригадиру. И слышишь только одно: оленей давай! Давай-давай-давай!..

— И всегда не хватает?

— Да, верно. Вот считай: грузовых быков давай, быков для сеновозчиков давай, для правления колхоза быков давай! Кроме этого, самое малое по два быка для каждого охотника и для каждого рыбака. Да еще каждый пастух оставляет по одной или по две упряжки быков. Да, чуть не забыл про почтовых быков...

Словом, объяснил ему, что зимой все держится на оленях. Рыба ловится хорошо, ее в мешки затаривают и на оленях вывозят либо в обской поселок Локосово, либо в город Сургут. Этих оленей называем грузовыми. Тут нужны только сильные быки. Сено с болотных озер тоже вывозят на оленях. И вывозят всю зиму, потому что коров — целое стадо. И лошадей — целое стадо. Сколько им кормов-то на зиму нужно?! Начальство колхозное на разные собрания вози в город от снега до снега. Почту вози от снега до снега. Само собой, рыбалка и охота на весь сезон. Рыбакам и охотникам хоть важенки выдаем.. На зиму в стаде остается один молодняк.

— На одном быке все равно далеко не уедешь, — сказал мой Лекарь.

— Не скажи! — возразил я.

— Да хлопот больше доставляет твой Пуровский, Осип!..

— Зато зимой все отрабатывает.

— Хороший?

— Не очень шустрый в нарте, но надежный. Вот считай: во-первых, он послушный вожак в упряжке. Во-вторых, как у нас говорят, он «крепок телом». Бывает, запрягаешь осенью хорошо упитанного оленя, делаешь одну-две дальние поездки, смотришь — твой олень «скинул тело», отошал. А Пуровский Бык до самой весны сохраняет свое тело. Значит, может тянуть свою половину нарты. Ну и, в-третьих, он на снег хороший. По целине идет себе потихоньку, не спеша, как по нормальной дороге. А на снег не всякий олень пойдет. Бывает, запряжешь здорового и высокого быка, а он

пройдет немного по целине и ложится. И хоть убей — не встанет и не пойдет дальше. А пастух в первой половине зимы, по еще не глубокому снегу, в поисках оленей ездит только по целине, по бездорожью. Так что Пуровскому Быку цены нет!..

— Так он твой вожак?

— Да, один из моих вожakov. У меня две упряжки быков, значит, два вожака.

— Тогда беру свои слова обратно, Осип!

— Пусть еще поживет! — улыбнулся я.

— Пусть живет!

Мы немного помолчали. Потом я сказал:

— Впрочем, это колхозный вожак. Здесь ничего моего нет.

— Почему?

— Все — колхозное! Олени колхозные, земля колхозная, я — колхозный!..

Он внимательно так взглянул на меня и, поразмыслив, спросил:

— Вот вы воевали с красными. А красные, как ты говоришь, сделали вам колхоз. Скажи, Осип: а разве колхоз не облегчил вашу жизнь?!

На это у меня было что сказать. Говорю ему:

— А вот сам посуди, Молодой Человек: что нам дал колхоз... Немало лет я работаю пастухом, начал рассказывать ему. В первый же год не досчитались оленей. Колхоз все поставил нам на счет. Часть денег он удерживает за потерянных оленей, часть выдает на еду. Во второй год ни прибыли, ни убыли. Но с меня все высчитывают за первый год. На третий год меня назначили бригадиром. Были болезни, был падеж оленей. Головы, что в акты не попали, опять на нас нагроулили. Потом прибавили к ним потери четвертого года. Я все время остаюсь в накладе. Мой долг колхозу все время растет. Колхоз мне платит ровно столько, чтобы я только не умер с голода. После, когда мой долг станет почти непосильным, меня снимут со стада. Если, конечно, до этого не посадят в тюрьму. И еще много лет с моей пушнины и рыбного улова будут высчитывать стоимость потерянных и погибших оленей. Поэтому в пастухи никто не идет. Кто ж добровольно на каторгу пойдет?!

Я не могу заработать даже на рубашку. А рубашки, особенно осенью, мгновенно сгорают от пота, когда бегаешь за оленями. Первой почему-то отваливается спинка. По этой же причине за зиму сгорают на мне несколько легких малиц. Впрочем, что рубашки и малицы! Когда нужно о детях думать — как их прокормить?! Хорошо, хоть рыбой накормит река, рыбой накормит озеро. Когда глухарем одарит бор, уткой одарит болото. Не то, при таком колхозе, мы все бы давно с голоду померли.

— Так ведь колхоз создавали для вас, Осип!

Я опять не выдержал, засмеялся. Он вопросительно глянул на меня. Я пояснил ему:

— Русские пекутся о своем животе, а не о хантах!

— Почему так считаешь, Осип?

— Вот смотри: летом и зимой сотни тысяч тонн рыбы ловим и вывозим. Ханты, что ли, эту рыбу съедают?! Нет, конечно!.. В каждую зиму на сотни тысяч рублей добываем и вывозим пушнины. Что, ханты надевают эти меха?! Ханты проедают эту пушнину?! Нет, конечно! Проедает тот, кто ее получает. А получает пушнину русский, красный русский...

— Разве при белых вам легче жилось, Осип?

— При Белом Царе с нас так не выдавливали рыбу и пушнину.

— Ты-то ведь при Белом Царе не жил, Осип...

— Зато мой отец и мои дядья при Белом Царе жили.

— И хорошо жили?

— Хорошо жили, вольно жили. Каждый что-то имел. Кто рыбную реку, кто звериный урман, кто много оленей, кто мало оленей. Но имел. В те времена, если у человека руки-ноги на месте, он не мог пропасть. Он прокармливал себя и свою семью.

— Но ведь купцы грабили народ?

— Э-э, не скажи!.. Так, как грабит красный колхоз — купцам далеко!

— Но ведь Белый Царь захватил ваши земли, Осип?!

— Люди Белого Царя захватили всего несколько городов по Иртышу и Оби и жили в них. Они хоть не лезли на наши дальние земли и селения. А красным русским все подавай — и все мало!..

— Хорошо, но красные вам медпункт построили, медика привезли. Разве это плохо?

— Покажи мне хоть одного человека, которого этот медик на ноги поставил. Знаешь такого?!

— Я ж людей не знаю...

— Нету, не ищи такого человека. Как жили — так и живем. Как мерли — так и мрем... И, думаю, когда наступит пора моего ухода в Нижний Мир, мне не поможет ни один красный медик, ни один лекар.

— Та-ак, ладно-о, — протянул Молодой Человек. — Но красные вам еще и клуб построили, культуру привезли!

Я опять только слабо улыбнулся. О чем он говорит? Пояснил ему:

— Клуб у нас называют «Дом пляски». Когда мне там плясать?! Когда в поселок раз в год приезжаю? Или у охотников и рыбаков есть время там плясать? Лучше бы что-нибудь более дельное придумали. Пусть сами там пляшут.

Помолчал мой Лекарь. Сидим у костра, крепкий чай пьем. После чая заметно легче стало, вроде бы усталость прошла. Вот и ведем неторопливо разговоры. Помолчав, мой Лекарь сказал:

— Красные дали вам школу. А против школы, надеюсь, ты, Осип, ничего не имеешь — нужно учиться.

— Да, учиться нужно, — согласился я. — Только как и чему?

— Всему, чему учат в школе.

— Школа красных, по-моему, ничему не учит.

— Почему так считаешь, Осип?

— Я не умею ни читать, ни писать. И по-русски плохо говорю, хотя родился при красных русских, при Советской власти. Ладно бы, если бы я один такой оказался. Можно было бы сказать: ума не хватает, не способен русской грамоте учиться. Но все мое поколение не умеет ни читать, ни писать...

— Как так получилось?

— Ну, это ты спроси у своих красных сородичей.

— Стало быть, школа ничего не дала?

— Выходит, так: хорошего мало.

— А плохое есть?

— Тут с умыслом иль без умысла, но красные кое-чего добились.

— Чего именно?

— Например, хотят оторвать нас от земли. Хотят отучить нас охотиться и рыбачить, пасти оленей.

— Зачем им это нужно?

— Наверное, чтобы побыстрее получить нашу землю. Ведь если я стану жить в русском поселке и стану делать русскую работу, мне не нужна будет земля для охоты, рыбалки и разведения оленей. Я перестану требовать свою землю, свои родовые угодия...

— А еще какой умысел видишь в делах красных?

— Возможно, то, что они делали во время войны с нами, то есть когда красные воевали с хантами. А теперь с помощью школы покалечить наших детей от сердечной тоски.

— Что, кого-то покалечили?

— А то — нет?! — сердито сказал я.

— Твоего?

— Моего...

Я вспомнил своего Старшенького сына. В первый год, в первый раз, когда его оставили в поселковом интернате, он ревмя ревел. Дело было осенью, в сентябре, мы уплывали на лодке, а он бежал за нами по берегу. Воспитательница и старшие школьники хватали его, удерживали, а он вырывался и бежал за нами ревмя ревя. Так и скрылся поселок с нашим ревушим сыном. Нам еще долго казалось, что слышим его крик. Я отец, еще как-то крепился, а

мама его всю дорогу ревела, дома многие дни с красными глазами ходила. На второй год та же история повторилась, с плачем в школе-интернате остался. На третий год хоть не ревел, но глаза на мокром месте были. Осенью, по мелкоснежью, свозил его на каникулы в стадо. Очень любил он на оленях ездить. Сделаю ему отдельную нарту, запрягу смиренного быка-вожака — едет за мной по пастбищу как настоящий пастух. Доволен. Вокруг чистый снег, сосны, солнце, олени. Что еще человеку нужно?! Кончились каникулы, отвез его в поселок. Теперь, расставаясь, не плакал. Подумал: подрастает, привыкает к школе. Но в глазенках его стояла колкая тоска. Успокаивал себя: не плачет — и то хорошо, потерпит до больших новогодних каникул. Так ему и говорю: приеду за тобой к середине зимы, к русскому Новому году. Распрощались, уехал. После выдачи оленей с одним напарником поехали на дальние земли, в сторону Межземельной Гривы. Нужно было разыскать отбившихся от стада оленей. Как и рассчитывали, на свои пастбища вернулись ближе к середине зимы. Тут меня ждала срочная весть: сын твой тяжело болен, приезжай. Мы с женой тут же помчались в поселок, кинулись там в больницу. Лежит наш Старшенький, ни меня, отца, ни мать уже не видит и не узнает. Кое-как его дыхание достали. Тут, при нас, и ушел в Нижний Мир... Что случилось, спрашиваю. Я вам оставлял здорового и резвого ребенка. А случилось вот что. Оказывается, на спор наш Старшенький раздетый и босиком сбежал до лисофермы и вернулся обратно в интернат. А лисоферма эта за окраиной поселка, в сосновом бору. От интерната до нее, может, километр. А может, и больше — кто мерял? Бегал морозным вечером, в темноте. И страху, может, натерпелся. Простыл, слег — и нет человека. И русский медик оказался бессильным. Мы с женой умом чуть не тронулись с горя. Если бы знал, что он оживет, первого попавшего под руку учителя пристукнул бы. Пронесло, удержал меня Бог... Кому они нужны в интернате, чужие сыновья и чужие дочери?! Кто там за ними смотрит?! Кому они нужны, чужие дети?! Красным, что ли?! Русским, что ли?! Своих-то детей, при живых родителях, в интернат не сдают, от семьи не отрывают! А с хантом все, что хочешь, можно сделать, да?!

Я много дум передумал о моем Старшеньком. Со временем понял, что он сам, осознанно кончил свою жизнь. В первые годы у него была надежда, что вырвется из школы и вернется домой, вернется к отцу с матерью, вернется к сестрам. Но потом, когда подрос, вдруг осознал, что нет, не вырваться ему из цепких интернатских лап, из интернатских когтей. Он каждый год слышал, как детей, его сверстников, насильно забирали в интернат. Чуть не с милицией. Всяко

грозили родителям, не отдающим детей. Председатель Совета грозил судом, грозил прокурором. Председатель колхоза — штрафом, невыдачей зарплаты и аванса. И когда мой Старшенький потерял надежду на возвращение домой, в миг, когда сердечная тоска сжала все его нутро, он ступил на священный белый снег, который — это он знал с детства — ни в коем случае нельзя оскорблять голыми пятками...

Так мой Старшенький кончил жизнь в интернатской неволе.

Так мой Старшенький — возможно, казалось ему — обретал вольную вольницу в Нижнем Море.

А ведь такой быстрый был, такой смысленный был. Все с полуслова понимал. Наверное, хорошим человеком бы вырос, хорошим человеком бы стал. Как вспомнишь о нем — до сих пор сердце разрывается. До сих пор сердце ноет...

Мой Лекарь тихо сказал:

— Прости, Осип... Я не хотел сделать тебе больно...

— Что теперь поделаешь... — с тяжелым вздохом сказал я. — Жизнь ему уже не вернуть...

Мы оба надолго замолчали. И молча же начали готовиться к ночлегу. Укладываясь спать, мой Лекарь признал:

— Да, Осип, от красных ты, конечно, хлебнул лиха...

Наступила ночь.

На нас опустилась тьма.

5. На Межземельной Гриве

Утром я сказал своему спутнику:

— Голодать будем...

И добавил, чтобы он потуже затянул ремень и берег продукты. Все еще идем от дома, беглецов еще не догнали. И поэтому никто не знает, когда мы возвратимся в стадо. Еды, особенно хлеба, явно не хватит до конца пути. На это он улыбнулся и ответил бодро:

— Не впервой, Осип...

Впрочем, его рюкзак заметно «похудел». И сам он осунулся, некогда мягкие черты округлого лица заострились и резче обозначились. Глаза красные, как у тетерева. И сегодня мы встали рано. Видно, не высыпается, больше времени ему требуется для сна. Но с временем у нас было туго — не до сна. Но его спокойствие и бодрость мне понравились. Главное, чтобы не упал духом. На всякий случай сказал ему:

— Пока чай у нас есть — не пропадем...

Я брал с собой несколько хантыйских хлебов, круглых лепешек на сковороде. По-хорошему одной лепешки хватало на день. Можно переходить на половинку в день. В край-

нем случае, на четвертинку. Но тогда нужен «подножный корм» — где рыбу добавишь, где утку или глухаренка подстрелишь. Опять же на добычу необходимо время, а его нет. Кроме хлеба, в моем походном заплечном мешке были соль и чай. Без всего мог обойтись, а вот без крепкого чая — тяжело. И, поскольку он почти не имеет тяжести, всегда с запасом брал в дорогу. И сейчас по моим прикидкам все кончится, а чай останется. Это хорошо.

Я заметил, что рюкзак моего спутника тоже отошал. Значит, и его русская еда на исходе. Поэтому и предупредил его о возможном голоде. На всякий случай. Знал, что имея руки-ноги и ружье, трудно погибнуть от бескормицы.

После завтрака, довольно скромного, снова пустились в погоню. И снова запетляли по следам-тропам беглецов. К полдню вышли на чистый сор. За сором, далеко-далеко в голубоватой дымке узким гребешком всплыла Межземельная Грива*. У ее подножия виднелись три Коорс Мив, три голые болотные сопки. Левая большая, средняя поменьше, а третья совсем почти крохотная издали. Напоминали они дружную семейку, идущую с востока на запад: отец, мать и дитя. Все как в человеческой жизни: отец торит дорогу, а уставший ребенок идет по готовому следу.

— Вон где наши беглецы!..

Я указал рукой на голубоватые, плавающие в мареве сопки.

Мой Лекарь молча вглядывался в сопки, но оленей, конечно, не увидел там.

И мы напрямую двинулись к сопкам. Приближаясь, на глазах вырастали и сопки, и Грива. Слева от Большой Сопки заголубело озеро со стайкой берез на берегу. Менялись и цвета. Грива из голубоватой превращалась в зеленую, а сопки становились светло-оранжевыми.

— А оленей-то не видно!.. — разочарованно сказал мой Лекарь.

Он был прав. Но сейчас я и не ожидал увидеть их сразу. Ветер был с запада, со стороны озера. Я взял левее. И наконец наши глаза наткнулись на беглецов. Олени табунились на западном, самом обдуваемом склоне Большой Сопки. Однако, мы направились не к ним, а к озеру. Надо было перевести дух, немного отдохнуть. На берегу озера мы помылись и попили полуденный чай. Потом тронули стадо в сторону дома. Но не тут-то было. В первый раз голова табуна взяла влево и, обойдя сопку по подножию, вернулась на старое место. Во второй раз тоже ничего не вышло. Голову нам удалось направить в сторону дома,

* Спустя годы за Гриву придет железная дорога и там встанет город нефтяников и газовиков Ноябрьск.

но тут мой Лекарь неосторожно «нажал» на середину, и часть оленей с хвоста откололась и понеслась к Гриве, к бору. За ними повернули, как это бывает в стаде, и остальные. Я в сердцах накричал на своего напарника и бросился наперерез оленям. Их нельзя было пустить на Гриву, на твердую землю соснового бора. По бору легко, комариной рысцей они умчались бы дальше. И там их трудно повернуть назад, в сторону дома. Я все же опередил оленей и, успокаивающе посвистывая и покрикивая, пригнал их на противоположный от Гривы берег озера. Там развели мы дымокур, и олени вокруг него разлеглись.

Между тем день кончился. Стало вечереть.

Я все прикидывал, что делать. То ли сейчас же пуститься со стадом в обратную дорогу, то ли заночевать здесь. В конце концов, глянув на усталого спутника, решил устроить ночлег. Пусть хоть немного отдохнет. Тем более, что мне было неудобно перед ним за то, что из-за расколотого стада накричал на него. За вечерним чаем, как бы извиняясь, сказал ему, что у меня, как говорят ханты, «нутро короткое» — быстро начинаю сердиться, быстро во мне гнев поднимается. Но, однако, зла в душе не держу. И сегодня, видно, зря направил на него свой крик. Он коротко взглянул на меня, улыбнулся и сказал:

— Я ж понимаю, Осип: это по делу...

Стал ему рассказывать и показывать голосом, как нужно гнать оленей, как их успокаивать и подзывать к человеку. Днем, рассердившись на него, я совсем упустил из виду, что он, конечно же, ни пасти, ни кричать на оленей не умеет. Теперь я учил его ровному протяжному оленегонному крику «хоук-хоук-хоук». Для первого раза у него неплохо получалось.

К первым сумеркам сменился ветер — с запада перешел на север. На нас из-за Гривы дохнул Ледяной Океан. Стало прохладно. Потом стал накрапывать мелкий дождь. Олени встали и потянулись пасться на сор.

Я надрал бересты и над пологом соорудил навес — все же спасение от дождя. Пока готовились к ночлегу, мы оба изрядно отсырели, а одежды лишней нет с собой. Легли спина к спине, чтобы хоть немного согреться, и укрылись тонким летним плащиком Лекаря, который он достал из рюкзака. Но все равно было зябко, поскольку к ночи стало еще прохладнее. Мне казалось, что я совсем не спал: сквозь сон слышал, как паслись на сору олени, в какую сторону они направлялись. Все это знал по хорканью оленят и шлепанью копыт по мокрому мху. Боялся, как бы стадо не выбралось на бор Гривы. И, как только стало рассветать, потихоньку выбрался из полога, развел дымокур и пригнал к нему оленей.

Дождь то накрапывал, то переставал.

Маленьким топориком «с беличий зубик», который всегда брал с собой на пешие обходы пастбищ, нарубил хороших сухостоин и разжег жаркий костер. Сходил на озеро за водой, вскипятил крепкий чай. Размышлял: будить иль нет Оленьего Лекаря? С одной стороны, ему нужно поднакопить силы на обратную дорогу, с другой — время не терпит, еды почти нет. Чем раньше направимся к дому, тем лучше и для нас, и для беглых оленей. Пока я топтался у костра в нерешительности, мой Лекарь тяжело заворочался, покряхтел и сам встал.

— Как спалось? — спрашиваю его.

— Какой тут сон, Осип! — усмехнулся он.

— Совсем не спал?

— Чувствую: снизу вечная мерзлота, сверху — вода, дождь, с севера — холодный ветер...

— Да-а, старик Ледяной Океан тут совсем рядом...

— Дремал, думал: как бы до утра дожить!..

— Зато сейчас нам жарко станет, — сказал я.

— От костра?

— Нет, как пойдем домой — олени живо согреют нас!

— Ну, дай бог...

Позавтракали почти «голым чаем»: кроме кружки круто заваренного кипятка каждому достался кусок хлеба с беличьей головку. Тут поневоле пришлось затянуть пояса.

Теперь погнать стадо в сторону дома я решил не как по-вчерашнему, а совсем по-другому. Сделал своего Лекаря поводырем-вожаком. В один конец аркана привязал Пуровского Быка и чуть позади него старую важенку Красивый Рог. Аркан вручил новоиспеченному поводырю и показал ему направление, куда он должен повести этих оленей и все стадо. Теперь все от тебя зависит, Молодой Человек, как быстро вернем беглецов домой. Когда он тронулся в путь, добавил:

— Свое дыхание береги, сдерживай оленей на твердой земле!..

И он через сор пустился в сторону полуденного солнца, в сторону дома. За важной Красивый Рог с хорканьем бросился ее сын, олененок этой весны. Потом за ней пошла ее Дочка, взрослая олениха со своим дитя. Как в упряжке, она всегда ходила за матерью. За ними я поднял и тронул все стадо. По вязкому мшистому сору олени шли шагом. Я тихонько посвистывал, подгонял отстающих. Но сразу же за сором на твердых сосновых гривках они перешли на комариновую рысцу. И поводырю, конечно пришлось пуститься рысцой. В эту пору удержать стадо на обычном шаге почти невозможно. Просто пауты и комары не дают стоять на месте или ходить медленно. Даже при самом неспешном беге создается ветерок, что сдувает крылатых кровососов. Поэтому как только под копытами появлялась земная твердь, олени пускались кома-

риной рысцей. Тут человеку нужно с мелкого бега переходить на быстрый шаг, с быстрого шага — на мелкий бег. Но мой Лекарь-поводырь, похоже, под напором стада вовсе позабыл о быстром шаге. Все трусил рысцей как и олени. Правда, в вязких болотцах между гривками, где табун вынужден идти шагом, мы переводили дух, успевали немного отдышаться.

Мой Лекарь-поводырь шел хорошо, шел правильно. Каким-то внутренним чутьем сразу улавливал, куда нужно идти. По наиболее сухим местам переходил с одной сосновой гривки на другую. Потом, когда вышли на земляную дорогу, легче стало двигаться. Если поводырь мой сбивался влево или вправо, я подавал ему знаки рукой, и он, сообразив, в чем дело, выбирался на тропу.

Дождь по-прежнему то капал, то переставал.

Ветер разломал облака, и теперь они клочьями неслись в сторону полудня. Изредка, меж этих клочьев, выглядывало солнце. Оно уже стояло высоко. Давно настало время большого привала. Но мой поводырь все нажимал и нажимал вперед, нажимал на полуденную линию горизонта, нажимал в сторону дома. Я понимал его: в дальней дороге чем реже делаешь остановки, тем лучше. Усталому путнику особенно тяжело подниматься после перекура. У меня уже горло совсем пересохло, а поводырь-вожак все идет и идет. Наконец я начал подавать ему знаки рукой. Мол, пора остановиться. Он все идет. Потом сильным пересохшим горлом стал кричать:

— Стой, чай пить пора!..

Наконец остановился. Подошел я, спрашиваю:

— Почему не останавливаешься?

Стоит мой Лекарь-поводырь, плечом на сосенку навалился. Распаренный, красный, весь мокрый не столько от дождя, сколько от обильного пота. Протер лицо двумя ладонями и, шумно вздохнув, сказал:

— Ух-х, Осип, упарился я!..

— Давно перекур надо было делать.

— Да, наверно.

— Чего же не остановился?..

— Олени упираются в спину, не давали остановиться.

— По-своему нужно делать, а не по-оленьему.

— Это почему же?

— Свои силы надо беречь. Если мы совсем выдохнемся, то олени оставят нас. Мы их просто упустим...

— Да, понял я, Осип...

Между тем я развел дымокур и уложил вокруг него стадо. А в сторонке на маленьком костерике вскипятил чай. После кружки крепкого напитка мой Лекарь заметно ожил, даже будто бы повеселел. Это обрадовало меня: хорошо

держится парень. Поди дотянет до дома, не «ляжет» на полпути.

После привала пустили стадо без поводыря. Мы оба пошли следом, посвистывая, подгоняя, отстающих оленей. Я направлял их в сторону дома, не давал отклониться влево или вправо. Впрочем, они сами хорошо знали, куда нужно идти.

Олени пошли теперь медленнее. Они, как и мы, изрядно притомились. Да к тому же к концу дня проголодались: на ходу срывали где пучок травки, где листочек с березки.

Дождь накрапывал неохотно, с большими перерывами, как бы через силу. Ах-а, кончается твоя небесная вода, с облегчением подумал я о дожде. Кое-как уже выдавливаешь капли...

Перед самым вечером мы вышли на широкий сор. Стадо, словно птица, расправившая крылья, медленно, с остановками двинулось через эту чистину к лесу на другой стороне — голодные олени набросились на сочную траву.

На спуске к сору мы приостановились на полянке, где была старая пастушеская стоянка. На месте чумов два устланных сосновыми ветками круга, сломанная нарта, колотые дрова, перекладыны для сушки одежды, старые травяные стельки, колышки для привязи собак и другие следы человеческой жизни.

— Ваша стоянка? — спросил мой Лекарь.

— Наша.

— Когда стояли?

— Зимней весной.

— Какая-токая зимняя весна? — спрашивает.

— Весна, когда снега больше, чем проталин.

— А-а, ранней весной...

Я еще раз окинул взглядом становище, сказал негромко:

— Вот здесь попался на глаза мой младший Егорка*.

— Этой весной?

— Да.

Он помолчал немного, потом сказал:

— Осип, если бы я родился в чуме — ни за что бы не выжил!.. Как только вы умудряетесь растить детей!..

— Жить-то как-то надо!.. — улыбнулся я. — Куда тут денешься без детей.

— Да, конечно, Осип.

Мы уже двинулись за оленями и теперь разговаривали на ходу. Показывал ему, по каким землям идем. Справа, в конце сора, начинается верховье Язевой Реки. По-хантыйски это Агерны Ягун. Возле ее устья стоит наш дом,

* Егор пойдет по стопам отца, станет охотником и оленеводом, но преждевременно расстанется с жизнью в начале восьмидесятых годов в поселке геологов Новоаганске, пустившем корни на родовые земли Сардаковых.

куда мы сейчас возвращаемся. А левее берет начало Лягушки Река, в переводе на хантыйский Лулнэ Ягун. Это река Казамкина Петра Наумовича, или еще его зовут Агана Верховья Старик, потому как выше по течению никто больше не живет. Селение Старика стоит возле устья Лягушкиной Реки. Там их трое — хозяин, его супруга и их младший сын-инвалид с детства. Мы сейчас пойдем по боровым гривам вдоль речки до Агана, там повернем на запад и по широким борам дотопаем до дома. Дом Старика остается в стороне, заходить туда не будем.

— Понятно, Осип, — кивнул мой спутник.

Места довольно пустынные, рассказывал я. Главная река начинается с большого озера на востоке. Зовут его Агана Верховья Озеро. Изредка род Казамкиных наведывается туда на промысел. В основном охотятся в черных урманах на левобережье Агана, на полуденной стороне, куда мы сейчас держим лица.

А лица мы держали прямо на полдень. В моей памяти как наяву, лежал лик нашей земли: сор, боры, болота речки, Аган, потом черные урманы, болота, снова речки и река Вах, соседний крупный приток Оби.

Я шел и видел пред собой живую, дышащую землю. Видел живые ягельные пастбища. И думал, что они будут вечными.*

6. Ночь и день седьмой

Мы с Лекарем моим неспешно плелись за стадом. И, возможно, оба думали об одном и том же: вот у оленей есть пища, а у нас нет. А есть хотелось. Ведь мы с утра почти ничего не ели, в полдень выпили только «голый» чай. Бредя за стадом, мы, правда, с кочек сочную морошку срывали. Но она не утоляла голод. Да и поест ее вдоволь не было времени — олени тянули нас с собой.

Посреди сора наткнулись мы на маленького олененка с белой мордочкой. Сначала я подумал, что он завяз на топком межкочье. Но, подойдя ближе, увидел, что малыш лежит на брюхе, подогнув под себя передние и задние ноги. Я остановился над ним.

— Что с ним? — спросил подошедший Лекарь.

* Иосиф Александрович тогда не предполагал, что через 20—30 лет по юго-западным окраинам этих земель сомкнется кольцо нефтяных городов: Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи на Агане. Пастбища и охотничьи угодья вверх дном перевернут нефтепромыслы, трубопроводы, линии электропередач, аэродромы, железные дороги, шоссе, зимники, лежневки. А по рекам потечет нефть и ночь побледнеет под заревом факелов.

— Силы кончились, — ответил я.

— А-а... — только вздохнул мой напарник.

Я приподнял олененка. Он встал и на дрожащих тонких ножках прошел несколько шагов и снова лег. Он широко раскрытыми глазами смотрел вслед уходящему стаду и, казалось, смирился со своей участью брошенного. Лишь ноздри его, жадно втягивавшие воздух, тревожно вздрагивали.

— А где же его мать? — спросил Лекарь.

— Увлеклась пищей, ушла со стадом.

— Вернется за ним?

— Коль скоро обнаружит пропажу — вернется.

— Если далеко уйдет?

— Тогда вряд ли возвратится.

— А что с ним будет?

— Либо пауты и комары его кончат, либо хищные птицы, либо дикие звери...

— Не выживет?

— Может и выжить. Немного отдохнет, потом поест и пойдет по следам оленей. Рано или поздно куда-нибудь придет. К оленям или к дому, если в когти не попадется...

Я показал рукой на лес за сором, куда шли олени, пояснил:

— Там бор начинается. Если доберется туда — выживет, по твердой земле ему легче топать, чем по этому вязкому сору.

— Значит, ему до бора нужно добраться?

— Да.

— Бросим, что ли?

— А что же делать?

Мой Лекарь еще немного постоял молча над олененком, потом решительно сказал:

— Я возьму его...

— Нам бы самим как-нибудь добраться до бора! — сказал я, переводя недоверчивый взгляд с олененка на своего спутника.

— Доберемся.

— Тяжело по вязкому сору...

— Ничего, выдюжим.

— Всех оленей на руках не перетаскаешь...

— Так пока хоть одного.

— Ладно, сам смотри... — махнул я в конце концов рукой.

— До бора близко, Осип, дойду как-нибудь...

Я связал олененку ноги и помог положить его на плечи Лекарю моему. Показал, как нужно придерживать и нести, чтобы малыш не сползал с человеческих плеч. И сам скорым шагом пустился за стадом, который уже подходил к бору. Меня сейчас больше беспокоило то, как бы мой спутник не обессилел раньше времени. Как бы потом мне самому не пришлось брать его на плечи. Но отговаривать его было

бесполезно. Это я сразу понял: если уж что-то он втемяшил в свою голову, то в другую сторону повернуть очень не просто. Я оглянулся: он далеко отстал, но, как мне показалось, шел уверенно, твердо, хотя и пошатывался на зыбких кочках. Забегая вперед, скажу, что из этого олененка потом выросла хорошая важенька. Мы ей дали имя «Лекарем Спасенная». Она народила много крепких оленят и, пока я был бригадиром, она до глубокой старости жила в стаде — как-то рука не поднималась отправить ее на выбраковку.

На окраине бора я завернул стадо, развел дымокур и устроил привал. Без отдыха моему Лекарю не обойтись, да и о пище надо было подумать. Сколько-то можно терпеть, но должен быть и предел. В этот вечер, пока олени дремали под дымком, на озере я подстрелил лебедя.

Лекарь мой пришел не скоро. Видно, несколько раз в пути останавливался на отдых. Мы распутали ноги олененку и выпустили его в стадо. Мать тотчас же нашла его и стала кормить молоком. А спутник мой завалился на спину и, не обращая внимания на комары и мошкару, долго лежал неподвижно, прикрыв усталые глаза.

На ночь мы завели стадо в болото и «заперли» на озерном полуострове с узким перешейком. Посреди этого перешейка, у дымного костра, мы и коротали ночь. Но сегодня нам было веселее. Я ободрал лебедя и сразу над огнем повесил котел. Пока варилось мясо, вывернул наизнанку шкуру птицы и обезжирил ее, а потом за глазные отверстия вдел в ветку сосенки. Пусть до утра хоть немного подсохнет. После мы приступили к трапезе. Когда насытились, лежа у костра, мой спутник поднял глаза на шкуру птицы, спросил:

— Не жалко лебедя?

— Так есть-то надо...

— Все-таки красивая птица!

— Да, птица красивая.

— Шкура тебе зачем?

— О, больше всего у лебедя ценится шкура!

— Что идет?

— На одежду, конечно. Возможно, Моя сошьет к зиме теплое одеяльце для сидящего в люльке Егорки. Он совсем еще маленький, ему будет холодно зимой. А коль есть большая нужда, то скроит себе зимнюю шубу.

— Из одной шкуры-то ведь шубу не сошьешь?

— Есть еще шкуры весенних птиц.

— Каких весенних?

— Турпанов, гагар, гусей.

— Оленьих шкур не хватает, что ль, на одежду?

— Да, хоть мы и пастухи, а не хватает. Каждая шкура

и лапа* на учете. Да к тому же птичья шкура теплее для детей. Пух теплый и легкий, особенно лебяжий.

— А много лебедей ты подстрелил, Осип?

— Обычно весной добудешь одну-другую. Осенью, если повезет, подстрелишь пару. Летом, когда нужда заставит... А бывает, что за год ни одного не увидишь. Значит, удача отвернулась. Лебедь — птица осторожная, умная, так просто не возьмешь...

— Так, ясно, понятно...

— Может, Моя или бабушка сошьют зимние шубки для Валентины или Лидии.

— Лидия — это старшая, да?

— Да, старшая. В отличие от младшей сестры она быстрая, подвижная и на язык остра. Словом, баловница!

— Она тоже здесь родилась?

— Да, на той стороне Межземельной Гривы, в середине зимы. В тот год мы ездили туда за отбившимися от стада оленями. Вот ей туго пришлось — зима стояла морозная, суровая. А в чуме что? Пока огонь горит — вроде бы тепло, чуть убавится — холод. Кто родился летом или весной — тому легче выжить. Но все обошлось, выжила.

— Красавица у вас растет.

— Лидия-то?

— Да.

— Что красота, — сказал я. — Лишь бы здоровой да удачливой выросла!**

— Тоже верно, Осип.

Мы помолчали немного, потом он спросил меня:

— Осип, неужели не забудешь оленя, коль нужда заставит?

— Олени не мои, а колхозные. Тут я не хозяин.

— К примеру, голод наступит.

— Так ведь каждый олень на моей шее сидит! А по осени их считают. И заранее никогда не знаешь, уцелеет твоя шея в эту осень или не уцелеет.

— Что, с голоду, что ли умирать станешь?

— Ну, в самом крайнем случае съем оленя, тут деваться некуда. А так терпеть можно, если у тебя есть ружье и рыболовные снасти. Где лебедя, где утку подстрелишь. Где щуку или окуня выловишь. Словом, жить можно.

* Лапами называют шкуры с ног оленей и лосей, из которых шьется зимняя меховая обувь.

** Возможно, красота станет причиной преждевременной и ужасной гибели Лидии. Она выйдет замуж за парня из рода Казамкиных и, когда по их землям, недалеко от их дома, проложат автотрассу Новоаганск — Радужный — Нижневартовск, летом 1988 года, вскоре после смерти брата Егора, однажды утром ее обнаженное тело найдут в мелком озерке возле вечно гудящей бетонки.

— Редки эти крайние случаи?

— Да, пожалуй... Опять же, если в пути съел оленя, так шкуру надо тащить и бросить часть мяса. Потом нужно будет написать кучу бумаг для колхоза. А по бумажному делу мы не сильны. Легче лишний раз пастбище обойти, чем бумагу составить.

— Да, не любим мы с бумагой дело иметь...

После сытного бульона и мяса тянуло на сон. Но спать никак нельзя. Стадо, вытоптав полуостровок, захочет на «большую землю». Если мы уснем, можем проспать оленей. А их нужно удержать здесь до утра. Поэтому я кипятил крепкий чай и отваривал костлявые куски мяса и между делом, чтобы меньше клонило ко сну, заводил один разговор за другим. Потом взялся за починку нашей обуви. У меня и у моего спутника подошвы ныриков начисто «сгорели». Давно стали вылазить травяные стельки. Сырая кожа шьется плохо. Кое-как с помощью шила и парусиновой иглы я наложил заплаты и жильными нитками стянул большие дыры. Все не босиком топать по разохшимся шишкам и иглам-колючкам соснового бора.

— С такими подошвами мы бы на фронте много не навоевали, — заметил мой Лекарь.

Так наш разговор перешел на войны. Сначала говорили о войне с немцами, потом о нашей войне с русскими. Точнее, с красными русскими.

Я рассказал ему о лиственничных дубинках, которыми русские наказывали восставших хантов. В верховьях рек красные солдаты взяли одного нашего охотника. У него была винтовка и он отстреливался до тех пор, пока не ранили в руки и ноги. Тут русские захватили его. Спрашивают своего командира, что делать с пленным. Командир говорит: кончайте его. Тут же прикладом винтовки размозжили ему голову. При детях. При полном доме детей. Их мать пристрелили чуть раньше, при перестрелке. А для отца пулю, ироды, пожалели! И приклад винтовки для таких дел, видно, оказался не очень удобным. Поэтому они изобрели лиственничную дубинку. Почему именно лиственничную? Да лиственница на севере тверже и тяжелее железа. Такая дубинка с плохо сбитыми сучками быстро обрастала человеческим мясом. Потом ее бросали голодным псам. Псы обтачивали сучки и обнажали иглообразные волокна лиственницы... После подавления восстания в нашей столице, тогда она называлась Остяко-Вогульском, устроили суд. Одиннадцать человек, руководителей, приговорили сначала к смертной казни, потом смертную казнь заменили на тюрьму. Но ни один из них до тюремной камеры не дожил. Официально власти объявили, что остяки, то есть ханты, совершенно не переносят неволю и все умерли в следственном изоляторе «от сердечной недостаточности».

Верно, мы привыкли к свободе за многие столетия. Верно, мы погибаем в неволе. Но все одиннадцать человек не могли одновременно умереть. Это каждому дураку понятно. Их просто, как скотину, забили лиственничными дубинками. Вернее, даже скот так не забивают.

Разве народ может забыть такое?!

Народ может забыть все, кроме лиственничных дубинок, которыми их убивали...

Разве я смогу забыть такое?!

Нет, пока не закрою навечно глаза, пока не уйду в Нижний Мир, не смогу выкинуть из памяти эти лиственничные дубинки, обросшие человеческим мясом!..

Мой Лекарь, прикрыв глаза, долго молчал. Мне показалось, что он уснул. Но тут он открыл глаза, остановил взгляд на моем лице, тяжело выдохнул такие слова:

— Осип, с такими варварами и я бы с тобой пошел воевать!..

И хотя от меня никакого ответа не требовалось, но я как-то машинально сказал:

— Верю.

На его лице я уловил удивление. Вернее, немой вопрос. Поэтому я пояснил свое слово:

— На той войне на нашей стороне воевало несколько русских. Правда, это были люди Белого Царя, то есть белые русские...

После паузы мой Лекарь сказал:

— Хотя все наши войны бессмысленны...

— Почему же: вас слишком много, а нас слишком мало?

— Да не только поэтому...

— Но мы же, потеряв землю и язык, либо все вымерем, либо вы сделаете нас себе подобными, русскими сделаете... Другой дороги нам нет... Или вой, или умирай. Конец-то все равно один!

— Наши войны бессмысленны... — повторил он.

— Это смотря для кого бессмысленны... — упрямо проговорил я.

На это он сказал мне такие слова: да, Осип, мы, русские, самые обычные колонизаторы!.. Захватили почти полпланеты. Нам нужны не люди, не народы, а их земли. Нужны земли, земли и земли! Но что же делать, как быть?! Весь мир прошел через это. Одни истребляют, другие истребляются. На одних континентах это делали открыто — с помощью пушек и ружей, на других это делается косвенно, прикрываясь лживым словом, обещая райскую жизнь. Правда, иногда исподтишка, из-под полы, вытаскиваем дубинки, чтобы проломить головы непокорным. Для острастки, в назидание другим, чтобы не бунтовали. Как это было на ваших землях, на вашей войне с русскими. Поэтому как бы много русских

вам не помогали, как бы добра вам не хотели, повернуть жизнь в другую сторону невозможно. Или, вернее, почти невозможно. У каждого народа своя судьба... Правда, мне не совсем ясно, если судить по-здоровому, зачем русским столько пространства, когда на своих исконных землях не можем наладить нормальную жизнь... Впрочем, колонизаторы тоже бывают разные. С вас русский Царь, как с индейцев, хоть скальпы не снимал...

— Зато Красный Царь с меня последние штаны снимает, — проворчал я.

Это был первый русский, сказавший мне правду.

Первый русский, имеющий честь.

Русский, имеющий совесть.

Я потом много думал о его словах. Так ли идет жизнь, как он сказал. Нужен ли я русским?! Нужны ли мне русские?!*

За такими разговорами прошла ночь.

Утром мы выпустили стадо и по приаганскому бору направили его в сторону дома. И сами неспешно пошли следом. Теперь я знал, что олени не свернут в сторону и раньше нас добегут до домашнего дымокура.

Мой Лекарь, пошатываясь, молча шел за мной. Иногда я оборачивался на звук, похожий на храп. Он разлеплял воспаленные веки и виновато улыбался. Это, говорит, армейская привычка. На марше, бывало, когда идешь плотным строем и тебя подпирают спереди и сзади, дремлешь на ходу. Ноги идут, а сам спишь. Еще потерпи немного, ободрял я. Скоро домой придем. Сейчас бор закончится, будет болотистая ложбинка. За ней новый бор и еще две такие же ложбинки — и дом. Пояснил ему: близко от дома не принято отдыхать и устраивать долгие привалы. На смех нас поднимут люди, если узнают. На это он глухо хрипел:

«Терплю еще, Осип!...»

Дома он уснул и проспал беспробудно сутки. Потом, когда встал, вытащил он лик земли, называемый картой. На ней я показал наш путь по пастбищу, по нашим борам, болотам, сорам. Он посчитал, прикинул в уме и сказал: «За неделю мы с тобой, Осип, почти тысячу километров оттопали!.. Столько я, пожалуй, за всю войну не прошел пешком...» Помолчал, потом добавил: «На войне-то как было: то пехом идешь, то подъедешь, то подвезут...»

И опять замолчал. Видно, невольное напоминание о войне затронуло его незаживающие раны. Немного позже, чуть ли не

* Спустя годы, нищенствуя на свою колхозную пенсию, он не однажды вспомнит Русского Лекаря. Он почувствует себя волком, обложенным со всех сторон. И поймет, что миллионам переселенцев, которых притянули сюда земля, леса, недра с нефтью и газом, он совершенно не нужен. И чем быстрее он покинет свое последнее логово, тем меньше проблем будет у новопоселенцев в захвате его родовых земель.

в день отъезда, когда мы вдвоем стояли у дымокура, он сказал мне:

— Осип, мой старший тоже погиб преждевременно...

— Где?! Когда?! — удивился я.

— На войне...

На мой немой вопрос он так ответил:

— Моя была в положении... Вот-вот в тыл должны были отправить... Да не успели...

Я все понял. Вместе с ней ушел из жизни его старший. Или ушла старшая. Да какая разница? Ведь ушел человек!.. Ушел, человек, которого уже никогда не вернуть... Я знал, каково сейчас ему, русскому Лекарю. И невольно подумал: и зачем я мучал его голодом и холодом, комарами и мошкаррой, паутами и грязью наших болот?! Я не в состоянии был ничего ему сказать. И поэтому молчал и молчал.

Настало время — и он попрощался со всеми и уехал, оставив след не только на наших пастбищах, но и в моем сердце...

7. Зима

Прошло два или три года. А может, и больше. Точно не помню. Однажды осенью провели учет и не досчитались многих оленей. Большая потеря случилась. В те годы все решалось просто: пропали олени — пастухи их съели, пастухи виноваты. В первую голову, конечно, бригадир должен отвечать. У него живот больше, чем у других. Жди, комиссия придет, сказали мне. Как решит комиссия — так и будет. Ничего хорошего от комиссии я не ждал, исход известен — бригадира под суд, а рядовые пастухи возмещают ущерб деньгами.

Наконец приехала комиссия: одна женщина, двое мужчин и четвертым был председатель колхоза Кузнецов. Когда приезжие сняли кумыши*, в одном незнакомце я узнал оленьего Лекаря, прошедшего по нашим пастбищам несколько лет назад. Подошел он ко мне, поздоровался за руку, спросил о потерянных оленях.

— Съел, — коротко сказал я и невольно провел руками по животу. — Правда, не могу понять, как они все уместились в моем животе!..

Приезжие переглянулись между собой. А Лекарь, мой бывший спутник, сдвинул брови: мол, давай, Осип, по-серьезному. А что объяснять-то, для чего? Что год выдался тяжелым — всем известно было. Весной затяжной наст обрек стадо на

* Кумыш — верхняя глухая одежда мехом наружу, надеваемая на малицу или шубу.

бескормицу, ослабили олени, случился падеж. Летом олени копыткой болели, это большая беда для стада. Осенью медведи изрядно похозяйничали на пастбище. Вот и результат. Женщина взглянула на председателя колхоза. Тот скороговоркой поддакивал: да, наст и падеж были, копытка имела место, медведи — тоже.

— Ладно, осмотрим пастбище, — сказал Лекарь.

И все направились к чумам.

Видно, комиссия была высокая. На сей раз наш председатель Кузнецов, мужик резкий и крутой, чуть изогнувшись, в поясе, как-то полубоком, засеменял перед приезжими, размахивая руками и на ходу что-то объясняя. Таким я ни разу его не видел. Как потом я узнал, один приехал из района, другой из области, а третий чуть ли не из Москвы. Так что глава колхоза не зря старался. Но Лекарь, замедлив шаг и оглянувшись, позвал меня:

— Осип Александрович, идите сюда, показывайте свое хозяйство!..

А показывать особенно было нечего. Нарты, упряжь, пасущиеся невдалеке олени и два зимних чума. Тут вышел первый конфуз. Ньюки* были старые, рваные, латанные-перелатанные. Местами взгляд проходил через обе стенки. Лекарь повел своих вокруг нашего жилища, невольно тыкая палочкой в дыры на крышке. Тут в чуме проснулась и заплакала моя младшая дочурка, которой не исполнилось и года. Мать качнула люльку — и остов дома слегка зашевелился, и заскрипел подвесной ремень на жердине. Лекарь, останавливаясь, сказал ни к кому не обращаясь:

— А ведь мерзнут дети!..

Тут все посмотрели на моих Егорку и Валентину, путавшихся у меня под ногами. Старшую Лидию уже забрали в интернат. Все замолчали, прислушиваясь к плачу малышки за дырявой крышкой. Наконец Лекарь поймал глазом председателя Кузнецова, сухо спросил:

— Что, нет шкур на крышки?!

Председатель весь съежился, стал меньше ростом, невнятно пробормотал:

— Да-ан... ннет...

— Так есть или нет?! — резко спросил Лекарь.

— Есть, но недостаточно...

— Хоть отремонтировать-то можно было?

— Можно, да не просили...

— Верно, не просили, — подтвердил я.

— Почему? — спросила женщина.

— Да... в колхозе все равно мало что выпросишь!..

— А сукна нет? — спросил Лекарь.

* Ньюки — крышка зимнего чума из остриженных оленьих шкур.

— Есть, сделам! — бодро откликнулся председатель.

В те годы уже стали применять двойные покрышки для зимнего чума. Обычно нижняя шьется из толстого шинельного сукна, а верхняя из брезента.

В чуме тоже вышла неувязка. Как водится, с холода все потянулись к печурке. А она также насквозь просвечивает, как и чумовые покрышки. Бока давно выгорели, а верх мы прикрывали кусками жести. Когда все немного отогрелись, Лекарь спокойным и ровным голосом спросил председателя:

— Кузнецов, у тебя и листика железа нет?

Председатель смешался, пригнул голову, закричал, стал кашлять, как бы прочищая горло. Не дождавшись ответа, Лекарь поставил ему второй вопрос:

— У тебя дома сколько печей?

— У меня... как у всех... — запнувшись, ответил председатель.

В те годы все зажиточные русские в поселке ставили по две печи: большую кирпичную и рядом с ней малую железную. В сильные холода топили и ту и другую печь. В ту пору зимы, не то, что сейчас, были особенно суровыми.

— Так отдай свою буржуйку Осипу Александровичу! — сказал Лекарь.

— Хорошо, сделам! — почти обрадованно согласился председатель колхоза Кузнецов.

На печке уже начал закипать чайник для гостей. Тут Лекарь обратил внимание на котел, стоявший позади печки на тонких жердинах-настилах. Он взял поварешку, прислоненную к котловой дужке, и зачерпнул со дна ухи. Попалось несколько окуньков и ершей.

— Это ваш обед? — поинтересовался он.

Я молча кивнул.

— Неудивительно, Кузнецов, если у вас через год разбегутся последние олени... — заметил Лекарь.

— Зато у них хлеб есть! — на этот раз быстро нашелся глава колхоза.

— Да, мука есть, хлеб есть, — подтвердил я. — Терпим пока...

— Сколько можно терпеть?..

Наступила пауза. Когда молчание стало тягостным, председатель Кузнецов, поерзав, сказал ни к кому не обращаясь:

— Это была наша лучшая бригада. Всегда сохраняли основное поголовье. Без больших потерь обходилось до этой осени...

— Однако, не лучшим образом заботились о них... — сказал Лекарь.

— Теперь позаботимся, сделам! — приободрился председатель. — Если вы нам поможете!..

К чести председателя Кузнецова, он сдержал свои слова.

Через неделю прислал нам новую печку, а немного позже обновили покрышки чумов не столько нам, но и другим бригадам. Выдали шкуры на одежду и лапы на обувь. Разрешили раз в год на семью брать одного оленя на мясо. По тогдашним временам это совсем неплохо для пастуха, который совсем ничего не имел. При стаде, а ходи голодный.

Опять все замолчали. Лекарь медленным взором обводил чум: я почувствовал на себе его внимательные глаза, потом они прошли по Егорке и Валентине, примостившихся у моих колен с двух сторон, по засыпающей младшей дочурке, укутанной в меховые одеяльца и платки, по моей супруге, качающей люльку малышки, и остановились на моей седой маме, сидевшей возле дверей с шитьем в руках. Гости невольно повели головами слева направо, проследив за его взглядом. Он еще немного постоял молча, нагнув голову. Потом выпрямился и глухо сказал:

— Поехали.

— А чай? — спросила Моя. — Чайник уже кипит!..

— Чай попьем в пути, у Казамкиных.

Комиссия дружно вышла из дома, и все поспешили к своим упряжкам, где каюры уже развязывали вожжи-поводки. Тронулись нарты. Но Лекарь придержал своего каюра и, перебирая вещи на сиденье, негромко и как-то неопределенно спросил меня:

— Ну, что, Осип?..

Я чуть заметно кивнул вверх:

— На своего Небесного Отца надеюсь...

Он почти невидимо усмехнулся и, между тем, достал небольшой рюкзачок и подал мне: вот, мол, гостинцы твоим детям. Мешок показался мне очень добротным, из плотной крепкой ткани, с мягкими широкими лямками, и поэтому я хотел выложить содержимое и вернуть его хозяину. Но он остановил меня: мол, мешок для тебя, оставь. Он оказался очень прочным. Мы ему потом имя дали: «Лекаря мешок», «Лекаря подарок». Я протаскал его за спиной все мои пастушеские годы. И сейчас, правда, уже подлатанный, годится для выезда на охоту и рыбалку.

На прощание он пожал мне руку, улыбнулся и крепким голосом сказал:

— Ну, живи, Осип, работай спокойно... Даст Бог, еще свидимся когда...

Уехала комиссия.

И уехал мой Лекарь.

Что дальше было? Под суд меня не отдали. Половину потерянных оленей списали, а за другую половину сделали нам денежный начет. Ну, это не тюрьма, жить можно. Все это было впервые. После уже никого за потерю оленей не судили, только вынуждали возмещать ущерб из собственных

средств. Словом, с тех пор, с легкой руки моего Лекаря, полегчала наша жизнь...

Да, и среди русских встречаются достойные...

Но второй такой мне больше не попадался.

С той зимы прошло много лет. Русский Лекарь после этого к нам не приезжал. Не знаю, жив ли он, здоров ли? Не знаю, на каких землях сейчас живет, чем занимается!.. Но во мне и в наших землях он оставил о себе добрую память!..

* * *

Сам Иосиф Александрович Сардаков ненадолго пережил своих детей и свои погубленные пастбища и земли. «Не дай Бог никому пережить своих детей», — вздыхал он с влагой в глазах. Вскоре после кончины старшей дочери Лидии он оставил этот мир. В поселке Варьеган по пьяному делу он выпал с рыбоприемного плашкоута и утонул. Земные дни прожиты, детей не стало. Зачем ему Солнце, Луна, Жизнь и Земля? Вспомнив слова Русского Лекаря, возможно, он осознанно и добровольно ушел в Нижний Мир — пусть его землей довольствуются пришлые «хозяева».

11 января 1993 года

Москва

ОСЕНЬ В ТВОЕМ ГОРОДЕ

Осенняя грусть

Ты помнишь ли ту Осень?

Я приехал к Тебе.

Падал снег. Снег падал огромными хлопьями, закрывавшими все небо.

Помнишь ли тот Снег?

И мы пошли на реку.

У реки, где с моря налетал резкий ветер, хлопья снега взрывались и бешено неслись неведо куда.

На реке стояли на якорях корабли с торчащими стволами

пушек. Над ними низкое тяжелое небо, а под ними свинцово-ледяная вода. И корабли тоже отливали свинцом.

Был праздник.

И на кораблях была праздничная суета. Люди в черном сновали туда-сюда. Мы тогда гордились этими кораблями. Во какие мы сильные! Во какие мы могучие! Во какие мы великие!.. В то время я еще не понимал, что любой такой корабль — это смерть. Смерть всем нам или нам же подобным на других континентах.

Мы шли в снегу. Шли под ударами ветра в спину. Я шел со стороны реки, как бы прикрывая Тебя от ледяного холода воды. Мы шли. Я молчал. Я молча слушал Тебя. Слушал твой удивительный голос. Ты говорила. Ты рассказывала мне о своем городе. Ты говорила с любовью. С любовью к своему городу, где на каждом шагу какая-нибудь достопримечательность. Я слушал ревниво. Я ревновал Тебя к твоему городу. Слушал твой изумительный голос. Изумителен был тембр, чистый и нежный. Я слушал как сказку, как песню, как симфонию. Я улавливал и вздохи ласкового моря, и шелест осиновых листьев в прибрежном лесу, и серебряный звон таежного родника. Твой голос завораживал меня, усыплял меня, волшебным переносил меня в совершенно другой мир, в другое измерение. Кажется, помню все, что Ты мне говорила. Но неожиданно и ненадолго куда-то исчезал. Вернее всего, попадал в неземное пространство.

Если в прозрачно ясный и тихий вечер в укромном лесном закоулке, пред разгорающейся вечерней зарей очень осторожно и нежно задеть отливающий живым оранжевым огнем Небесный Купол, возможно, он издал бы что-то подобное твоему голосу... Не знаю, говорил ли Тебе кто про твой необыкновенный голос. Не знаю, ведаешь ли, каким волшебством Ты обладаешь?! Не знаю, я же про это Тебе ничего не сказал...

По набережной сновала принудительно-добровольно выведенная на улицы не очень веселая прозрачная толпа.

С набережной, свернув вправо, мы вышли на знаменитую Главную площадь твоего города. Шли медленно, не спеша. Ты говорила и показывала, а я смотрел и слушал. Конечно же, больше смотрел на Тебя, нежели на достопримечательности города. Потом повернули под арку и прошли на Главную улицу твоего города, тоже знаменитую. Впрочем, все тут, к чему ни прикоснись, чем-нибудь да памятно. Хотя, каждый город по-своему примечателен. Но это твой город!.. Город, как и Ты, не был похож ни на один другой... Мы перешли Главную улицу против кинотеатра.

Помнишь ли, как назывался тот кинотеатр? Я помню, но мне не хочется, чтобы кто-то узнал твой город. Он

принадлежит только Тебе и никому больше. И кинотеатр тоже принадлежит мне и Тебе.

Город был наполнен твоим дыханием.

Город дышал Тобой.

На улице пронизывающий ветер с моря бил в наши спины, а падающий снег сразу же превращался в мокрую слякоть под ногами. Но мне рядом с Тобой было тепло. Я не чувствовал ни холода, ни ветра, ни слякоти на земле. Но тем не менее в фойе кино мы выпили кофе. Кофе было не очень горячим, но приятным.

В зале я сидел слева от Тебя и слушал твое сердце. Не помню, как назывался фильм. Не помню ни одного кадра. Наверное, ни разу не глянул на экран. Я чувствовал только Тебя. Ничего не скажу о твоих глазах, о твоих волосах, о твоих губах. Не хочу, чтобы кто-то узнал Тебя. Пусть никто и никогда не узнает Тебя. Но я помню твое тепло. Ты излучала тепло, и я улавливал это тепло, начиная с колена. И чем выше, тем теплее и жарче Ты становилась, постепенно превращаясь в испепеляющий огонь. И я горел в этом сладостном огне...

Помню твои слова.

Помню твои волосы.

Помню твои губы.

Я помню...

Словом, все я помню...

Тогда, в кино, справа от Тебя сидела твоя подруга, милая и красивая блондинка. Сначала я был огорчен тем, что Ты взяла с нами подругу. Но она оказалась девушкой деликатной, и я почти не чувствовал ее присутствия. При ней мы были вдвоем. Точнее, для меня была только Ты. Одна, единственная.

Я был счастлив.

Потом, уже в густых сумерках осеннего дня, мы вышли из кино. По-прежнему шел снег, дул ветер и праздничные прохожие, больше радующиеся нерабочему дню календаря, неистово месили уличную слякоть.

Загустели сумерки.

Загустели сумерки короткого осеннего дня твоего города.

Я был очень счастлив. И думал, что буду вечно счастливым рядом с Тобой. Хотя и предчувствовал, что слишком большое и неожиданное счастье не может быть вечным и неколебимым. Наоборот, оно очень хрупкое.

Наступил вечер.

Спустились сумерки.

И мы поехали к вам...

...А на другой день мы расстались.

Расстались навсегда.

Расстались.

Потом я приезжал в твой город. И уже один бросил по нашим следам. Вернее, по твоим следам. Набережная, Главная площадь, арка, короткий проезд, Главная улица, кинотеатр, твой дом, твоя улица. Я бродил как бы в сомнамбулическом сне. Никого и ничего не воспринимал. Видел только горящие тихим огнем твои следы. Слышал только твой голос. Вспоминал только твои слова. Улавливал запах твоих духов. Иногда навязывались искаженные пушкинские строки: «...ходила маленькая ножка, вился локон золотой...» Хотя у Пушкина все это, кажется, было в настоящем времени. Сожалел, что в кино не помню ряд и место, где Ты тогда сидела.

Город без Тебя стал пустым.

Город без Тебя стал мертвым...

Странно, почему в тот наивысший миг счастья я не сгорел?! Почему я не превратился в пепел?!

Проходили Осени.

Проходили Зимы.

Проходили Лета.

Прошли годы.

Но годы ничего не стерли во мне, ничего не притупили у меня. Как ни странно, время оказалось бессильным перед моим чувством к Тебе. Твое божественное имя живет во мне, и я это имя не доверю никому... Ты теперь от меня далеко-далеко, недосыгаемо далеко. И я часто думаю, что было бы, если бы сейчас мы с Тобой вдруг встретились?! Что было бы? Что?!

Недавно я узнал, что твоя подруга, та милая и красивая блондинка, ушла из жизни. Жаль ее, жаль... Теперь свидетелями того таинственного осеннего дня в твоём городе остались мы вдвоем. Нас двое, Ты и я — и больше никого.

Жизнь моя, как Солнце в полдень, уже поворачивается в сторону заката. И, наверное, мы с Тобой уже больше никогда не увидимся. Но я знаю, что никто и никогда не смог и не сможет полюбить Тебя так, как любил и люблю Тебя я.

Теперь я тешу себя одной мыслью, что в Нижнем Мире, как уверяла меня моя языческая бабушка, каждый человек, и я в том числе проживает еще раз одну жизнь, но только в обратном направлении. И сейчас живу надеждою, что в той жизни я проведу с Тобой еще один день в твоём осеннем городе и еще раз испытаю короткий миг наивысшего счастья.

Ради этого стоило пройти по этой жизни...

27 января 1993 года
Барвиха

НА ПОРОГЕ В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

Вместо эпилога

Он отдал темную зелень своих глаз ослепительно белым снегом, дремучим урманам, зыбким болотам, бескрайним озерам, бесконечным рекам и чутким ласковым родникам.

Он отдал тепло души своей холодному бездонному небу, продрогшим березам и соснам, вымерзающим травам и мхам, таежным зверям и птицам, живущим здесь испокон веков людям, этой благодатной родимой земле.

Он оставил на этой земле тьму троп и дорог, тьму следов и зарубок, тьму зимовий и кострищ. Он вдохнул жизнь в запovedные дальние озера и реки, в глухие таежные чащобы, в таинственные непролазные болота. Он отдал земле родившей все, что у него было. И даже больше того, что он имел. И он знал, он чувствовал всем своим существом, что земля эта стала и теплее, и ласковее, и добрее и человечнее.

И теперь, когда он отдал этой земле цвет и блеск своих глаз, жар костра своей души, тепло своего дыхания, когда время сделало его сухим и легким, как травинка, когда он стал блее ослепительных весенних снегов, пришел некто шумливый и горластый и громко крикнул:

— Я — первопроходец! Я — первооткрыватель! Я — покоритель! Я-я-я!..

Он молчал. Возможно, только потухшая трубка дрожала в его старой руке. Это «я» беспощадно било его по ушам. Это «я» беспощадно било по тем сопкам, урманам, болотам, рекам и озерам, которым он дал имена. Он дал имя каждому изгибу, каждому песку, каждому яру по большим и малым рекам. Он дал имя каждому ручью, каждому роднику, каждому камню, каждому дереву родимой земли. Он никого и ничего не обделил. Он твердо знал: на этой родившей его бескрайней земле нет ни одного безымянного бугра и закоулка. Нет никого и ничего безымянного.

Он молчал. И, возможно, только потухшая трубка дрожала в его холодной руке. И когда этот некто поперхнулся своим «я», и получилась пауза, он сказал устало:

— Дверную ручку с обратной стороны возьмите и дверь закройте.

Теперь он слушал тишину. Благостную тишину.

Он сидел и думал о том, что когда-то бородатый дюжий человек пришел на эту землю с остроголовыми воинами и крепко побил иноземного царя. С тех пор многие считают, что тот покорил эту землю. И никто не может понять, что он покорил не землю, а иноземного царя.

А он, отдав все этой земле, на пороге в другую жизнь, понял, открыл великую Истину Истин — землю нельзя покорить, ибо покоривший землю в первую голову покоряет не землю, а свою душу, самого себя покоряет и, покорив самого себя, убивает в себе человека. А величайшая Истина Истин в том, что землю можно только полюбить, но нельзя покорить. Может быть, и в душе того бородатого человека, что четыре сотни лет назад пришел сюда, тоже жила эта Истина, но о ней никто не знал, и человечество впало в заблуждение. И бородатый человек не успел высказать Истину и унес ее с собой в могилу, в величайшие воды Большой Реки.

Землю можно только полюбить...

Может быть, постигнув эту Истину Истин, он пожалел, что она пришла поздно, когда он уже все отдал и больше ничего у него нет. А может быть, он возрадовался, что Истина Истин все-таки не обошла его стороной, нашла его на пороге в другую жизнь...

Я этого не знаю...

ХАНТЫ, или ЗВЕЗДА УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Роман

Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

Эрнест Хемингуэй

*

Когда русские казаки впервые столкнулись с остяками, они имели национальную организацию, жили в острогах (укрепленных городах) и оказали упорное сопротивление завоевателям, уничтожившим, по словам летописи, до 40 остяцких городов. Теперь это явственно вымирающее племя, непредприимчивое, бедное, эксплуатируемое русскими и зырянами, захватывающими остяцкие земли, водворившими среди остяков сильное пьянство, сифилис и другие отрицательные продукты торговых отношений... Языком остяков, условиями их быта и антропологическим типом занимался целый ряд первоклассных ученых.

«Большая Энциклопедия», т. 14.
Санкт-Петербург, 1904, с. 541.

*

Ханты (устар. назв. — остяки), народ в Ханты-Мансийском (11,2 т. ч.) и Ямало-Ненецком (6,5 т. ч.) авт. окр., всего в СССР — 21 т. ч. (1979). Язык хантыйский относится к обско-угорской подгруппе финно-угорской группы языков. Письменность на основе русского алфавита.

«Советский энциклопедический словарь».
Москва, 1982, с. 1436.

И настало утро отъезда Вверх.

Человек, медленно повернувшись по солнцу и окинув долгим взглядом землю, на которой он родился и жил до сего дня, тронул поводок. И вожак сделал первый шаг, и шаг этот был в небо; и караван, ведомый им, неспешно, по наклонной, словно в гору, стал подниматься Вверх. И лайка направила за хозяином стадо оленей, и оно тоже двинулось Вверх по невидимому в лучах утреннего солнца следу.

Человек поехал Вверх, поехал в небо. Поехал вместе с двумя сыновьями и женой.

И жители земли ровно семь дней наблюдали, как они ехали Вверх по небу. Как вечером распрягали оленей, ставили чум и вскоре показывались струйки легкого дыма из макодана*. Как утром путники выходили на улицу и оленегонная лайка кружила возле хозяина стадо, и тот накидывал аркан на рога вожака. Как они вновь пускались в путь и останавливались через долготу одного оленя на короткий привал. Как вечером снова устраивались на ночлег, а утром ехали дальше, в неведомую небесную высь. Жители земли видели, как с каждым днем, удаляясь и уменьшаясь, люди поднимались все выше и выше. И на седьмой день наконец скрылись из виду. Быть может, они достигли тех мест, куда ехали. А вернее всего, они вышли из пределов досягаемости человеческого зрения.

Так состоялось Вознесение Человека.

А древние старцы рассказывают, что спустя несколько лет после Вознесения жители земли собрались на большой праздник на Священном Холме. И в самом начале праздника приехали повзрослевшие сыновья Вверх Ушедшего Человека. Они остановились над верхушками деревьев. И земляки позвали их:

«К нам на землю идите!»

«На землю нам нельзя спускаться, — ответили братья. — Если на землю мы спустимся, то больше не сможем Вверх подняться.»

И пояснили, что на земле и у самой земли — ниже верхушек деревьев — слишком много *нечистого*. Оно очень хорошо видно, сверху лучше, чем снизу. Оболочка земли напоминает туманное или пыльное облако — земля окутана облаком нечистым, о котором живущие внизу не подозревают. И если человек, ушедший Вверх, хоть однажды окунется в это облако, то во второй раз ему уже не суждено подняться в небо.

Жители земли поняли это — видно, все-таки подозревали о нечистой оболочке земли, — не стали уговаривать двух небесных пришельцев. А братья охотно разговаривали с сородичами, рассказывали о житье-бытье Наверху и исполняли все обряды на Священном Холме: кланялись всем добрым богам и богиням Неба и Земли, приглашенным на большой праздник. Они сообщили, что отец и мать здоровы и всем жителям и родной земле послали слово «Здравствуй!», что все хозяйство в исправности, что живут так, как и подобает жить человеку в Верхнем мире.

После праздника сыновья Вверх Ушедшего Человека попрощались с сородичами, сели на свои нарты и уплыли в заоблачный мир.

С тех пор от них вестей не было, и сами они не показывались. Но память осталась — заросшая травой-мхом листовен-

* Макодан — дымовое отверстие чума.

ничная нарта Вверх Ушедшего Человека, которая в день отъезда до середины врезалась в мерзлую землю. Накануне он сказал жене, чтобы все, без чего можно обойтись, она раздала близким и дальним родственникам и людям, остающимся на земле. Чтобы она не брала с собой ничего лишнего и *нечистого*. Но женщина не послушалась. Ничего она людям не оставила, а сложила все те вещи, о которых говорил ей муж, на последнюю нарту каравана. Когда пришло время отъезда, она тронула своего вожака. И упряжка понесла ее Вверх по готовому следу мужа, незаметному постороннему глазу в морозном воздухе раннего утра. Олени подняли первую нарту ее аргиша, подняли вторую, подняли третью... Они свободно катились по прозрачной равнине неба, словно по легкой пороше. Но вдруг все нарты резко дернулись — женщина оглянулась. Последняя нарта, в которую были впряжены два крепких быка, не могла оторваться от земли. Рванулись быки. Натянулись их поводки от передней нарты — и теперь их подтягивал весь караван. Они еще раз рванулись изо всех сил — и наконец оторвали нарту от снега. Изогнув мощные спины, быки делали отчаянные прыжки. Медленно, тяжело, но они все же поднимали нарту в небо. Скачок. Еще один скачок — и лопнули постромки-ремни. И нарта с небесной высоты врезалась в мерзлую землю. Врезалась и до середины ушла в окаменевший песок бора.

Небо не могло принять нарту с лишними и *нечистыми* вещами.

И люди ушли в небо без последней в аргише нарты.

С того дня немало дождей-ветров прошло по земле. Но до сего дня, говорят люди, сохранился замшелый остов той нарты. Она была сделана из самого прочного и долговечного дерева таежной земли — лиственницы. Поэтому и время оказалось бессильным — не так-то просто превратить в труху, в древесную пыль лиственничную нарту, что осталась в назидание потомкам: чтобы не брали в дальний путь ничего лишнего и *нечистого*, чтобы все дела и помыслы в дороге, называемой жизнью, были бескорыстными и чистыми, чтобы следующим поколениям проложили ничем не запятанный след...

Разве не в этом смысл земной жизни? Разве не в этом истина истин земли и человеческого рода?.. И чтобы постичь эту истину, разве непременно нужно увидеть лиственничную нарту Вверх Ушедшего Человека на землях великой — Божьей Реки? Разве для этого обязательно надо ехать туда, за тридевять земель, в глазом не виданные, слухом не слыханные края?..

А Божья Река, как и многие столетия назад, все несет свои воды Северному Океану. Несет степенно, неторопливо, как и подобает Великой Реке, Главной Реке, Божьей Реке. Но жители тактично решили, что не следует так часто произносить священное имя Верховного бога — Нум Торыма, — поэтому

Реку стали называть просто Большой Рекой. Только мудрые старцы, очевидно, постигшие Истину Истин, ведя речь об этих краях, иногда уверенно скажут: Божья Река.

Так и пошло — Большая Река. Но когда говорили «Большая Река», у каждого в глубине сознания возникал образ Божьей, Священной Реки — на то Река и получила свое высокое имя от самого Верховного Бога, чтобы люди помнили об этом.

С этой Реки и был родом Вверх Ушедший Человек.

* * *

С того времени, когда я впервые услышал от своих сородичей этот рассказ и отчетливо увидел отъезжающего Вверх Человека, у меня появилось неодолимое желание посмотреть ту лиственничную нарту. И я торопил время, чтобы побыстрее вырасти, чтобы съездить на Божью Реку и непременно разыскать то место, будь оно хоть на краю света. Правда, по словам отца, Река была совсем недалеко от наших мест. Но когда я повзрослел, какие-то неотложные житейские заботы заставляли откладывать на потом эту поездку. А после и старцы, точно знавшие место нахождения лиственничной нарти, оставили этот мир...

Прошли десятилетия.

Но до сего дня живо во мне желание детства — увидеть лиственничную нарту Вверх Ушедшего Человека. Ведь лиственница — это вечное дерево Севера — за такой срок не могла превратиться в труху.

Я уверен, если поблизости не заложили новый город, не поставили буровую, не построили железную дорогу или нефтепровод, эта лиственничная нарта, наполовину врезавшаяся в землю, с поднятыми в небо носами полозьев, до сего дня стоит где-то на берегах великой Божьей Реки как памятник о Вознесении Человека земли, как память о Вверх Ушедшем со-родиче моем...

Автор

1

В самое последнее мгновение, когда все будет кончено и останется лишь единственный шаг в этой жизни, и житель Земли Нимьян из рода Медведя поймет, как непросто быть человеком и как непросто быть звездой, он вспомнит, как три дня назад, на рассвете, старый пес Харко тягучим воем разбудил его. Он встал, запахнул полы оленьей ягушки и, скрипнув промерзшей дверью, вышел из бревенчатого дома-зимовья.

Харко, черный соболятник с белым пятном на шее, сидел возле конуры и, задрав к звездному небу седую от инея морду, снова взвыл.

— Эш-ш, кэча!* — приказал хозяин.

Харко завилял мохнатым хвостом, рванулся к хозяину и взвизгнул, словно прощения просил. Но в его темных и умных глазах была прежняя тоска. И Нимьян, или на русский лад Демьян, помягче повторил «кэча», хотя пес уже не выл.

На востоке взошла Звезда Утренней Зари. Скоро светать начнет, отметил Демьян. И с недоумением покосился на Харко — понятно, когда собака воет вечером, но чтобы выла на утренней заре?! Что-то не помнится. Харко никогда зазря не воет. А беспричинный вой — плохая примета. Что он хочет сказать хозяину?! Зачем поднял человека в такую рань?!

Демьян еще раз оглядел чистое звездное небо и вплотную подступивший к зимовью сумрачный бор, прислушался: что же встревожило Харко? На полуденной стороне, как и прежде, мечутся по небу отблески далекого огня и доносится едва слышный подземный гул. Там, по слухам, нашли горючий жир земли — нефть. Это ее огонь. Впрочем, шум настолько глухой и слабый, что слышен только в ночной тишине. Днем же, когда просыпается тайга, нельзя уловить шум огня и его отсвет. Что же беспокоит Харко?.. На нижнем севере — так ханты называют запад — пока тишина. И там есть люди, которые делают железную дорогу. Тихо и на востоке, где восходит Звезда Утренней Зари. Там живут люди, делающие черную трубу, по которой побежит горючий жир таежной земли — нефть.

Ничего такого не увидел и не услышал Демьян, что беспокоило бы старого Харко. И он, еще раз прикрикнув «кэча», поспешно вернулся в дом. Не хотел, чтобы перед дальней дорогой его сердцем овладела тревога.

Он вошел в зимовье, тихонько растопил чувал и повесил чайник над огнем — жена Анисья и обе дочери еще спали. Не хотелось их будить. Но как только стали потрескивать сосновые поленья, Анисья тотчас же спросила чистым ясным голосом, будто и вовсе не спала:

— Поедешь?

— Поеду. Погода хорошая.

— Может, не надо сегодня, а?

— Поеду... Сколько откладывать? Вдруг снега пойдут, дороги занесет...

— Да, дороги занесет — оленям тяжело будет! — согласилась жена. — Что же, езжай.

— После холодов потеплеет — и бураны начнутся, — прого-

* Кэча — окрик собаке, означающий «молчать».

ворил Демьян. — Их время подойдет, время буранов...

Жена встала и, умывшись ледяной водой, сама принялась готовить завтрак и собирать мужа в дорогу.

Демьян в последний раз начал перебирать свою добычу за первую половину зимы. Не спеша, любясь высоким чистым мехом, встряхивал песцовые шкурки. И невольно, перебирая пушнину, он вспомнил, какого зверя где и как взял. Первый песец попался в его капкан на Озере-в-Кедрах, в устье болотной речушки Кедровая Вода. Здесь древнее, еще далекими предками облюбованное место запора: в каждую осень, перед самым ледоставом, он перегораживал Кедровую Воду жильником и ставил морду на шук, что поднимались против течения в верховьях озера. А возле запора он настораживал капкан в маленьком шалашике с приманкой — рыбой или мясом. В каждую зиму попадалось не больше одного-двух песцов. Другие песцы, идущие с побережья Ледовитого океана, на этот шалашик уже почему-то не смотрели. Иногда они по свежему снегу ходили возле запора, но на приманку не шли. Не всем же в одну ловушку лезть, рассуждал Демьян, рассматривая следы. Но, однако, капкана до самого конца сезона не снимал. Когда приезжал проверять морду, он счищал от снега вход в шалашик, поправлял приманку и колышки. Хотя знал, что добычи здесь больше не будет, все равно возился с капканом — ему приятно было, он постоянно должен был что-то делать.

Второго песца взял ружьем в середине Месяца Больших Жертвоприношений, когда ездил прокладывать дорогу в урман, за Главную Реку.

Расчесывая костяным гребнем светлую шубку красной лисы, которую охотники называют «светлым воротом», Демьян вспомнил, как целых три дня ходил за ней. Более осторожного и чуткого зверя, пожалуй, нет в тайге.

Сначала ладонью левой, затем ладонью правой руки медленно погладил он серебристо-гладкую шерсть выдры. На левом боку, возле передней лапки выдрана шерсть, но густое подпушье закрывает кожу. Как раз этим местом выдра вмерзла в лед на Малой Прорубной реке, где у выходной лунки был насторожен лук-самострел. Как только выдра высунулась из отдушины, стрела сразила ее. И она скользнула под лед, натянув прочный шнур от наконечника стрелы до лука. Демьян приехал под вечер, в первых сумерках. Вот-вот ночь опустится на тайгу. И он поэтому спешил. Натянул шнур — выдра не поддавалась, вмерзла, видно, в лед. Тогда он намотал бечевку на руку и осторожно, пошевеливая хореом тушку зверя, начал натягивать ее — знал, что жало наконечника с крепкими открылками не выпустит добычу. Так, изрядно повозившись, он наконец вытащил из-под льда выдру.

Сложив ее в мешок, он долго вглядывался в угольную темень собольего меха. Соболь водится в урманах, за Главной

Рекой — на левом берегу. А на этой стороне редкость — не любит он сосновые боры и редкие кедрачи. И этот вроде бы случайно забрел сюда. Его след они взяли с малым тестем Антоном, братом Анисьи, на Старице возле Осеннего Селения. Был полдень. Гнали зверька по кедровым гривкам, по елово-березовым низинам, по мелким соснякам. Переходили с одного берега Старицы на другой. Лишь на закате, когда солнце опускалось за тихий осинник, впереди, в кедровом урочище слышали лай. Пока добирались туда, уже начало смеркаться. А Харко, словно вдруг помолодел, — весело пританцовывал вокруг огромного кедра, макушка которого уже поседела от старости, и, поглядывая на хозяина, звонко лаял. Но, однако, Демьян с Антоном вытоптали весь снег вокруг кедра, скребли по стволу, стучали, запрокинув голову, смотрели на вершину дерева, а зверька не увидели.

«По-моему, он был на этом дереве, да ушел, — сказал Антон. — А Харко чует его запах — вот и лает».

Демьян знал, что иногда собаки ошибаются, лают на запах. И в нем на секунду появилось сомнение: может быть, и вправду Харко ошибся — лает на пустое дерево. И тогда Демьян сделал вид, что уходит домой, и позвал Харко: «Кац, кац, кац!» Но Харко даже не взглянул на хозяина: обнюхал кедр, встал на задние лапы, опершись передними о ствол, и снова залаял — уверенно так, заливисто.

Тогда, да и теперь еще не знал Демьян, что это лебединая песня Харко. Поэтому он так яростно рвался по следу зверька, которого хозяин не хотел преследовать. А не хотел потому, что соболь был голодный. Это видно было по его почерку на снегу: бежал легко, значит, долго не устанет. И времени для нагона оставалось совсем немного. Долог ли осенний день? Пока он размышлял, Харко уже взял след. Вот и пустились за ним. Один Харко, видно знал что-то такое, что не могли предсказать люди. И древние говорили, что собака всегда предчувствует то, что недоступно человеку. Демьян же полагал, что Харко еще одну-две зимы прокормит себя. Да не только себя...

Даже беличьи шкурки охотник еще раз протер березовыми стружками и, пересчитав, сложил в мешок. Все это он делал неторопливо, будто не спешил в дальний путь.

Между тем жена, приготовив мешочки, говорила, куда сложить мыло глазное и мыло черное, сахар и сушки, пачки чая, платки и материю на платье дочерям. Припасов должно хватить до конца сезона, до Месяца Правдивого Орла*...

Она помолчала в раздумье, потом, усилив голос, сказала:

* Месяц Правдивого Орла в календаре ханты соответствует приблизительно марту.

— Может, шкуры да лапы* будут — так проси, слышишь?!

— Слышу, — откликнулся муж, продолжая перебирать шкурки.

Откуда эти лапы да шкурки возьмутся, подумал он. Оленей в хозяйстве извели. Но даже, помнится, в лучшие оленные времена, при колхозе, когда на этих землях паслись большие стада, и то не хватало всем на одежду шкур и лап.

— Проси, — повторила жена. — Тебе уже новую малицу** надо делать. И девочкам нашим надо саки*** хотя бы обновить. Растут, бегают на улицу — в доме не удержишь. И мне помогают — дрова колотые да снег для питьевой воды носят в дом...

Женщина помолчала, словно припоминала, что еще мужу заказать, какими словами убедить его, чтобы он там не смущался и просил нужные вещи. Она полагала: кто мало шумит — того всегда стороной обходят, тому ничего не достается. А ее муж как раз был из таких... Вздохнув, она взяла с полки куженьку — небольшую коробку из бересты — и начала собирать гостинцы сыновьям.

— Первым делом в школу-интернат зайди, — наказывала она. — Сыновей наших Юванко малого да Микуля старшенького поцелуй. Тут мясо черного глухаря да рыба жареная — им передай. Скажи, мать и сестры соскучились, привет послали. Харко-то, скажи, тоже соскучился по ним, часто смотрит в ту сторону, куда их повезли. Хоть и старый, а память хорошая. Помнит маленьких хозяев. А молодая собака Кутюви все такая же пустила, не набралась еще ума. Ты не забудь, все нашим мальчикам перескажи. Слышишь?

— Слышу, — кивнул Демьян.

— Передай, пусть все хорошо учат, — продолжала жена — Пусть хоть они учатся, раз отец грамоте не выучился. Пусть не скучают. В марте, когда время охоты кончится, может быть, все в поселок съездим. Лишь бы олени живы-здоровы были...

Демьян молча слушал.

— А когда уезжать станешь, сыновей наших Юванко малого да Микуля старшенького не целуй, — наставляла жена. — На уме у них плохо станет, после плакать будут...

Демьян согласно кивнул.

Девочки-погодки Вера и Таисия еще не проснулись, поэтому Анисья накрыла к завтраку низенький столик на двоих. Муж пил крепкий чай и прислушивался к голосу жены. Хотя он знал, что должен делать в поселке, но всегда внимательно слушал мягкий грудной голос жены, словно она пела ему песню перед дальней дорогой.

* Лапы, или камус — шкура с ног крупных диких и домашних животных.

** Малица — глухая мужская одежда мехом внутрь.

*** Сак — женская меховая шуба мехом внутрь.

Допив вторую кружку сладкого чая, он надел старенькие кисы* и малую малицу и вышел из дома. На востоке, над верхушками сосен, светилась Звезда Утренней Зари. Она медленно поднималась в сумрачное небо. Поднималась и тянула за собой грядущий день. Казалось, день упирался, не хотел идти на землю, но настойчивая Звезда и не думала оставлять его в покое где-то за темным горизонтом. И тому ничего не оставалось, как последовать за Звездой Утренней Зари.

А под Звездой — ломкая рябиново-красная полоска зари. Тихий морозный день будет, отметил Демьян.

Его тут же обступили олени — тянули к нему головы, обнюхивали со всех сторон: не принес ли чего съедобного? А маленький Пев короткими рожками уперся в его спину — обиделся, что ничем не угостили.

— Эшш-э! — отмахнулся Демьян и добродушно проворчал: — Ужо избаловали. Ишь, сердится!

Тут из дома вышла жена с мешочком. Не успела она крикнуть свое «тааа-та-та-та-та!», как олени, вытянув шеи и широко раздувая ноздри, бросились к ней. Поджаренные чебаки и сухие рыбы кости — это их первое лакомство. Хозяйка высыпала несколько горстей на снег, а своей любимице Пеструхе, ветвисторогой важенке с белыми пятнами по бокам, разрешила есть прямо из мешочка. Жевала Пеструха торопливо, с хрустом, благодарно кивая головой с крепкими рогами. Хозяйка смахнула куски лишайника с белой звездочки на лбу Пеструхи, медленно провела рукой по светлому загривку, погладила меж рогов. И тут на мгновение в доверчивом, широко распахнутом глазу мелькнул бледный лик с тоскливым взглядом — женщина невольно отпрянула. Придя в себя, она робко взглянула на мужа. Тот тихо ответил на ее молчаливый вопрос:

— Запрягу, — и, как бы оправдывая свое решение, пояснил: — Про муку говорили, сильный олень нужен.

Женщина ничего на это не сказала, молча наклонилась к оленях.

Демьян расправил потяги — упряжные лямки и постромки, соскреб ножом наледь с полозьев нарты, соскоблил иней с хорея, в раздумье встал посреди коралья. Дорога дальняя, тяжелая, на трех придется ехать. Дома останутся олененок Пев и полуторагодовалый бычок Воки Хор**, прозванный так за светло-рыжеватую окраску.

Он не стал вытаскивать аркан. Когда жена опустила пустой мешок, руками поймал подбиравшего остатки корма вожака — плотного низкорослого быка Вондыр, про каких обы-

* Кисы — меховая обувь до паха.

** Воки — лиса, Хор — самец оленя.

но говорят «шерсть вперед, шерсть назад»*. Рога у него без отростков, прямые, как у коровы. Таких невзрачных обычно запрягают средними, где они не очень заметны. Но Демьян делал по-своему. Вондыр хорошо ходил только ведущим, а так немного был ленив и плохо слушался хорея. Пеструха же одинаково добросовестно тянула лямки везде, куда ни запрягай. Сейчас она пойдет крайней справа. Средней будет молодая важенька Пирни — и упряжка готова в путь.

Харко сидел возле конуры на задних лапах, словно заиндевелый безмолвный пень, и молча наблюдал за дорожными сборами хозяина. Тот почувствовал внимательный взгляд соболятника и быстро отвернулся: не хотелось тревоги в предстоящей поездке. Он сложил вещи к задней стенке сиденья и, пропустив веревку за копылья, крепко притянул их к нарте. Еще раз окинув внимательным взглядом упряжку, он поспешил в дом. Пора уже выезжать.

Анисья давно приготовила ему второй предъотъездный завтрак. Сначала она подала холодное — строганину из добела замороженной щуки, затем поставила на столик деревянную миску с дымящимся мясом. Потом налила кружку крепкого чая. Демьян молча ел. А Анисья, занимаясь домашними делами, все время следила, чтобы все у мужа было под рукой — и солонка, и ложка, и сахар, и березовая стружка для рук. Это чтобы он не задерживался перед дальней дорогой. Между тем она напомнила, кому в поселке передать слово «здравствуй», в дом каких родственников непременно надо зайти, что у них спросить.

Выпив чай, Демьян надел расшитые узорами выходные кисы и большую малицу. Подпоясался кожаным ремнем с ножами на левом и меховым кисетом-подсумком на правом боку. Взглянул на спящих дочерей и, постояв немного, медленно повернулся по солнцу и вышел на улицу.

Пес Харко вдруг вскочил, дернулся на цепи и жалобно заскулил, словно что-то хотел сказать хозяину, о чем-то предупредить. Но Демьян глухо сказал ему:

— Кэча!

И Харко замолк.

Но тут тревожно хоркнул олененок Пев и светлой мордочкой прижался к теплому боку матери Пеструхи. Демьян отогнал его.

Анисья проводила мужа до ворот кораля.

— Ну... до свидания! — сказал Демьян потупившись. — Ждите. Если ничего не случится, на третий день вернусь.

— Оянги-таланки!** — пожелала Анисья и закрыла ворота ко-

* Так обычно говорят с оттенком сочувствия о невзрачных домашних оленях.

** С удачей-здоровьем!

раля, чтобы встревоженный олененок не убежал за матерью — Пеструха тоже оглядывается и хоркает. Наверное, что-то говорит сыну-олenenку. Может быть, прощается тоже, «до свидания» свое оставляет дому.

— Бежавший Озером был бы жив — так Пеструха бы дома оставалась, — проговорила Анисья, ни к кому не обращаясь.

Демьян сделал вид, что не расслышал ее слов.

— Я, йим улым! — повторил он и, взмахнув хореем, вскочил на нарту.

Упряжка тронулась.

Пеструха еще раз хоркнула и оглянулась — не идет ли Пев за ними. Когда ездили не очень далеко, обычно олененку разрешалось бегать за упряжкой. Но сейчас тот с хорканьем метался по коралю.

Избушка скрылась за поворотом дороги. И тут уши Демьяна резанул тоскливый вой Харко. Вслед хозяину воет, подумал он. Это плохо. Старый стал, слишком много понимает, слишком многое предчувствует. А это ни к чему собаке, ведь она не человек.

И он попытался избавиться побыстрее от неприятных мыслей о Харко.

2

Олени бежали ровно и неторопко. Полозья легкой нарти проворно съедали сажени пути, и Демьян не поднимал хорей, не погонял оленей — долго им бежать, пусть силы берегут.

Он покачивался в такт скользящей нарте и прислушивался к музыке полозьев по жесткому снегу, ровному дыханию оленей, серебряному перезвону упряжных цепочек и колец. И под эти звуки в его душе постепенно зарождалась песня — радовался он дороге и движению, ибо в этом была вся жизнь охотничьего рода. Пришла песня такая же долгая, как эта зимняя дорога. И неожиданно пришедшая песня вытеснила постепенно его досаду на беспричинный вой старого Харко. И он все покачивался в такт оленьему бегу, и на него наплывали заснеженные боры и чистые болота, продрогшие сосновые гривки и печальные озера.

Он почти не оглядывался, поскольку все знал по памяти...

Песня все ехала вместе с ним. Это была песня и снега, и деревьев, и неба, и земли. То она замедлялась, и он едва улавливал ее затихающую мелодию. То она набирала темп, набирала силу и звучала как бесконечная симфония Вселенной. И эта симфония пронизывала и связывала в одно целое все, что было на земле и за пределами земли. А он становился частью этой симфонии, не приметной скрипкой —

наркасьяхом*, что вела свою партию. Без него симфония может делать свое дело, но тогда она что-то непременно потеряет...

Симфония не мешала его мыслям. Дорога долгая — и дума долгая. А в голове у него много дум. Может быть столько же, сколько деревьев в этом бору, сколько рек и озер на этой земле, где испокон веков охотились и пасли оленей его предки, что давно перебрались в Нижний Мир и лежат на углу вот этого Малого Яра. Разные думы у Демьяна, приходят длинные и короткие, светлые и печальные. Теперь ему казалось, что было время, когда он ни о чем не думал, кроме охоты и рыбалки. И жили на земле и в душе мир и покой. Во всяком случае, так ему казалось, так думалось.

Уходило лето, приходила осень. Уходила зима, приходила весна. Все шло своим чередом — промышляй зверя и лови рыбу. Но вот появились на нижнем севере, на реке Ватъёган, новые люди, делающие железную дорогу, по которой станет бегать железная машина с вереницей железных нарт-домиков. Строители переворачивают песчаные боры, засыпают болота, делают мосты на больших и малых реках. А на востоке — стороне дождей-ветров — тоже обосновались люди. На Долгом Бору, на угодьях рода Казамкиных зарывают в землю толстую черную трубу. По ней будет ходить горячий черный жир этой тайги. Сколько лет тут жил, жил и был уверен, что, кроме зверя и птицы, ничего нет на этой земле. А теперь, как рассказывают знающие люди, большое и очень нужное богатство открыли — нефть и газ. И все это на его земле... И, что ни говори, приятно слышать такое о своей земле. Приятно, но одновременно и... тревожно. Сейчас надо думать не только о зверях и птицах, о соснах и ягельниках, о реках и озерах, но и о железных нартах и черной трубе. Нужно все это осмыслить и понять. И, осмыслив и поняв, найти всему свое место в жизни охотничьего рода-сира, в жизни тайги, в жизни земли. Все новое всегда ищет свое место в жизни. И если ты не осмыслишь и не поймешь это новое, то какой же ты хозяин своей земли?!

И шли думы — и светлые, и тревожные, и печальные. И симфония, что ехала с ним, — тоже менялась. То звучала широко и светло, то тревожно, то печально. И оборвалась она неожиданно. Оборвалась, когда выехал на Родниковое озеро.

«Хе, люди!» — удивился Демьян.

На середине этого небольшого озера стояли черные пузатые бочки. Возле них двое в черных одеждах грузили на тракторные сани какие-то ящики и мешки.

* Наркасьях — буквально: «поющее дерево», — смычковый музыкальный инструмент, род хантыйской скрипки.

Свежая, еще не остывшая борозда стрелой уходила в сторону зимовья. След самолета, понял Демьян. Он невольно повернул голову — куда же воткнулось острие стрелы?! Но самолета не было — уже взмыл в хмурое зимнее небо.

Олени навестили уши и, пока хозяин рассматривал озеро и людей, перешли на шаг, а потом и вовсе остановились в нерешительности, затоптались на месте.

— Эс-сс!..* Людей, что ли, не видели? — бодрым голосом сказал Демьян, дернув поводок и взмахнув хореем. — Чего испугались? Никак, люди пришли. Гости пришли...

Вожак Вондыр недоверчиво косился на людей, что мельтешили впереди, на обочине нартовой дороги. Пеструха же оглянулась на хозяина, словно спрашивала, стоит ли ехать дальше. Но Демьян еще раз свистнул, и упряжка неохотно взяла бег.

Он остановил оленей недалеко от трактора, который протуженно чихал на все озеро.

Подшли те двое чернобородых, что занимались погрузкой ящиков и мешков.

— Пэча-пэча! — поздоровался Демьян.

Сначала он пожал теплую ладонь румяного от мороза бородача средних лет. Про него Анисья бы сказала, что «лицо круглое, как сковородка». Затем взял костлявую холодную руку кучерявого темноликого парня, взгляд которого пока не мог поймать. Тот смотрел куда-то в сторону — на оленей, что ли.

Не побоялись мороза, сняли рукавицы, отметил Демьян. И ему от этого как-то теплее стало в душе. Улыбнулся он гостям. И бородачи улыбнулись.

— Здорово, дед! Куда путь держишь?

Демьян откинул капюшон кумыша**, чтобы лучше слышать.

— В поселок, в магазин, — ответил неторопливо. — Продукты надо. Муку, сахар... — Ответив, устремил вопросительный взгляд на старшего, с круглым лицом.

— А мы — вон туда! — и круглолицый махнул в сторону Демьянова зимовья. — Разведчики мы, сейсмики. Нефть и газ ищем!

— Искатели, значит, — кивнул Демьян. — Слышал, слышал.

— Искатели...

Бородачи-искатели с любопытством поглядывали на нарту и оленей охотника. А Демьян, всматриваясь в уменьшенные бородами светлые пятна лиц, подумал, что таких гостей на его земле еще не бывало. Но какие бы гости ни пришли, по древним обычаям народа, надо встречать их с добром и

* Эс-сс — междометие, которым погоняют оленей.

** Кумыш — глухая мужская одежда мехом наружу, с капюшоном, но без рукавиц. Надевается поверх малицы.

теплом, иначе все предки до десятого колена перевернутся в гробу и проклянут на веки вечные. Гостя-то лучше в доме встречать. Ну, да повременить можно, в зимовье все равно придут...

— Олень хорош? — спрашивали между тем искатели, посмеиваясь. — Быстро бегают?

— Хорошо бегают.

— Рога красивы, а?

— Смотреть можно...

— А рыба есть? Зверь есть?

— Ловим немного. Бьем немного.

Потом искатели поинтересовались семьей Демьяна, доволен ли он своим житьем-бытьем. Спрашивали, словно старого знакомого встретили. Демьяну это тоже понравилось, и он охотно отвечал. Затем в паузу, переведя взгляд с кучерявого на круглолицего блородача, он спросил:

— Родственники?

Искатели переглянулись меж собой. И старший неуверенно протянул:

— Не-е... Друзья, приятели мы...

— Друзья тоже хорошо, — сказал Демьян. — Тоже родственники.

На этот раз искатели согласно кивнули: пусть будет так, если это важно охотнику.

— Медвежьего рода кто есть? — поставил Демьян второй вопрос.

Искатели удивленно, почти в голос переспросили:

— Какого рода?! Медвежьего?!

— А-а, медвежьего, — пояснил Демьян. — У каждого человека род есть. Мой род идет от медведя. Есть люди рода Бобра, рода Лося. Это на нашей реке...

— Может, начальник нашего отряда из твоего рода? — предположил кучерявый. — Фамилия у него подходящая — Медведев! Григорий Медведев.

— Во-во, он подходит! — подхватил и старший искатель. — Ведь подходит, а?! Как, батя, думаешь?!

И он подошел поближе к охотнику, тронул поводок жожака.

— Подходит, наверно, — согласился Демьян. — Раз Медведев — значит, его род от медведя идет.

— Эх, жаль! — воскликнул круглолицый искатель. — Не я из рода Медведя, жаль!

И охотнику показалось, что в его серых глазах промелькнуло искреннее огорчение.

— Чего жалеть, — сказал Демьян. — Все равно у вас какой-нибудь сир есть. Только найти его надо. Поискать как следует нужно...

— Что за «сир»?

— Сир — это род так по-нашему называется, — пояснил охотник.

— Есть, должно быть, — согласился искатель. — Не безродный же я?..

Потом он, словно старательно укладывая в памяти новое слово, а возможно, и новое понятие, повторил:

— Сир — род! Сир — род!

Он обошел упряжку и, остановившись перед охотником, ткнул себя в грудь, сказал басом:

— Я — Семка, Семен... А его зовут Полей, — и он показал на кучерявого искателя, который топтался возле Пеструхи. — Имя полное ему — Аполлон!

— Нимьян, — ответил охотник на вопросительный взгляд Семки. — Русские Демьяном зовут. А отца Романом звали.

— Поедешь обратно — заезжай к нам, Нимьян-Демьян Романыч! — пригласил круглолицый Семка. — Погреешься, чайком попотчует!

— Заходи-заезжай, — поддакнул и кучерявый Поля, рассматривавший Пеструхины рога. — Сам с нашим Медведевым поговоришь. Вон наши балки. Два-три дня тут простоим, потопчемся...

— Не стесняйся, заходи запросто, — улыбнулся Семка.

Демьян осторожно почистил обросшие сосульками ноздри оленей, чтобы им легче дышалось. Потом поправил лямки и тяжи, надел капюшон кумыша, попрощался с бородачами-искателями и тронул упряжку.

Заскользила нарта. И Демьян подумал, прислушиваясь к тихой мелодии полозьев, что теперь, наверное, будет много забот и много шума. А места тут были тихие. Но это его не смутило: со всеми он умел поладить и жить в мире и понимании. Сколько тут охотников перебивало — и своих, и чужих, — и всегда они находили место на Демьяновых угодьях и в его душе. А угодьям его до прихода строителей трубы и железной дороги не было предела. В любую сторону направляй лыжи — хоть к Холодному Океану, хоть к Восходу солнца, хоть к Полуденному солнцу. А душа... она ведь может вместить все, она может быть и вовсе бескрайней. И для искателей место найдется, ведь они тоже родственники Демьяну. А у Демьяна много родственников. Быть может, больше всех. Помимо кровной родни из своего рода, ему, как и всякому ханты, приходились родственниками, братьями и сестрами, дядьями и тетушками все люди рода Медведя, будь то ханты, манси, ненцы или русские. Веками почиталось это родство. Оно было законом жизни всех родов и племен, населявших эти земли. Ни жениться ни выйти замуж не разрешалось за человека своего рода: это тебе братья и сестры — самая близкая родня. Нужна невеста — породнись с другим родом, ищи девушку в роду Бобра, или Лося, или еще в каком

другом роду, на другой большой реке. Но, однако, нельзя было сватать невесту из того рода, куда ушла сестра или тетя — роды уже породнились между собой. Также двум братьям запрещалось брать невест из одного рода. Если же этот запрет нарушался, как показала многовековая практика, вскоре одна из невест умирала. Это было делом жизни и смерти не только для одного человека, но для многих людей. И поэтому никогда не забывали и всегда следили за родственными связями. Так было у всех ханты. А кроме этого, Демьян считал, что родня его родни и ему тоже приходится родней. У его многочисленной поселковой родни и в городе есть родственники. Значит, те, городские, Демьяну тоже родственниками приходятся. А у тех городских есть родня и в других селах и в городах. Вот и получается, что Демьян связан родственными узами с людьми всех сел и городов, всех больших и малых стран, всей планеты. Ведь у людей всех народов были когда-то родоначальники — звери, птицы. Возможно, все пошло от одного человека, от одного зверя или одной птицы. Только многие позабыли об этом. Бывало, спросишь у приезжего, а он и слыхом не слыхивал про свой род. И про своих близких-то родственников ничего не может сказать. Может быть, он из рода Медведя — самый ближайший родственник Демьяна, а об этом не знает. Как вот начальник искателей Медведев, к которому он заедет на обратном пути.

Теперь ехал Демьян и размышлял об искателях нефти и газа. Значит, нефти-то еще не хватает, коли на поиски новых нефтяных мест людей отправили. Когда он ехал по Родниковому озеру, видел их домики на берегу, в сосновом поселке. А домики эти разные — одни деревянные, обшитые досками. Другие обшиты железом листовым. Под железом, наверное, тоже дерево. А железо сверху для прочности. Стоят домики на полозьях — на двух толстых бревнах, концы которых вместо загиба вверх просто затесаны полого снизу к верхней стороне. Все правильно сделано — это чтобы они в снег не зарывались. Несколько домиков на толстых железных трубах — тоже полозья, такие-то надежные, наверное, не поломаются на таежных колдобинах и кочкарниках. Над крышами торчат трубы — выются дымки.

Гудят тракторы, Стучит электростанция.

Взглянул Демьян на становье искателей, и все, что там было, четко отпечаталось в его памяти. Это по давней охотничьей привычке все мгновенно схватывать и запоминать. В тайге у охотника ни карт, ни записных книжек. Все должно быть в голове. Может быть, пройдет немало времени, и, если в этом будет надобность, он восстановит в памяти все, что видел там-то столько-то зим назад. И вновь услышит те отзвучавшие звуки и почувствует улетучившиеся запахи. Все это дано охотнику тайги.

Покачивался Демьян в такт оленьему бегу, и мысль его шла к начальнику искателей Медведеву. Какой он есть, тот, кто командует целым отрядом искателей-молодцов с крылатыми и некрылатыми машинами?! Кто же он такой?! О чем он думает?! Какой он увидел эту землю? И какой она видится ему в будущем? Думает ли он о чем-нибудь другом, кроме нефти и газа? А главное — думающий ли он человек?! С сердцем он или, может быть, совсем без сердца?! Люди разные бывают, как и птицы и звери...

И как он выглядит? Молодой ли, старый? Не зная его дела, не поговорив с ним, нельзя понять его душу. Вернее, трудно понять. А вот внешность... Тут уж воображение Демьяна заработало само собой. Ну, борода, наверное, погуще, посолиднее, чем у Семки и Поли... Аполлона. И брови широкие, густистые, что еловые лапы. И голос, само собой, звучный, чистый, что бегущий между таежными сопками родник. А лицо... Лицо, конечно, приятное, благородное. Такие благородные лица обычно нравятся женщинам. У него, конечно, есть жена — добрая, работающая. И дети, наверное, есть. Не четверо, конечно, как у Демьяна. Но двое-то уж это наверняка. Как без детей — скучно же жить на свете... А глаза... и добрые. И строгие. И печальные. Ну, добро это понятно — как с людьми без доброты? Никак нельзя без доброты с людьми. И без строгости нельзя. Особенно начальнику. А вот печаль откуда взялась? По Демьяну выходило, что у главного искателя Медведева все хорошо: и на работе, и в семье, и связи родственные с людьми не порвал. Тогда отчего же эта печаль? Какое сомнение в душе главного искателя Медведева? Может быть, чего-то постиг, а чего-то не сумел постигнуть? А может быть, это не печаль, а грусть, которая приходит на смену и радости и горести. Может быть, это та грусть, что приходит к человеку с набегающими годами в пору зрелости? Возможно, это признак зрелости, признак мысли, признак сердца. Если так — значит, он человек мыслящий. Значит, он человек, думающий о будущем...

Слушал Демьян тихую песню полозьев и думал, что, может быть, суть многих вещей он постигнет через несколько дней на обратном пути, когда заедет к главному искателю и своему родственнику Григорию Медведеву.

3

Жил Демьян и не просто промышлял зверя и птицу, ловил рыбу, собирал ягоду и кедровый орех, а все это для родственников делал, которые в малых селениях, в поселке, в городе и в других добрых странах живут. Поэтому все, за что ни

брался, он делал не спеша, основательно, с думой о будущем. Он чувствовал, что его жизнь очень нужна другим людям. Без него неполной будет жизнь всех людей, живущих на земле. Поэтому и жить надо по-родственному, понимать надо друг друга. И люди, которые бывали в его угодьях, никогда еще не отказывались от родства с ним, всегда понимали его и соглашались с его мыслями о единоначалии человеческого рода. Только жена Анисья не принимала всерьез его слова, все перечила ему.

«Ты от своих родственников что имеешь?» — спрашивала она.

«А что мне надо? Мне от них ничего, кроме понимания, не надо!» — отвечал Демьян.

«Не надо, потому что никто за так ничего не даст! Вот у нас оленей не хватает на жизнь. Оленей нам нужны!»

«Оленя я сам не возьму. Оленей у всех не хватает. Сама знаешь, есть охотники, у которых оленей меньше, чем у нас... Что еще нужно?! Машина мне не нужна...»

«Вон что вспомнил! — смеялась Анисья. — Да машину никто и не даст. Дай тебе — так потом самолет или вертолет захочешь!»

И тут Демьяна вдруг озарило.

«А самолет есть! — улыбнулся он жене. — Город дал самолет! В поселок из города летает, людей возит! Есть самолет!»

«А самолет-то не за так, самолет у людей деньги берет!» — остановила его Анисья.

Вот женщина, подумал Демьян, кого угодно на словах победит.

«Только ты... за-ради родства все готов положить! — говорила Анисья. — А люди-то не такие... Мало таких! Мало!»

«Про самолет вот что скажу, — возразил он жене. — Ведь пушнину мою не за так берут, деньги мне дают. Вот когда б я пушнину за так сдавал, то и самолет бы меня без денег возил! Так?! И в магазине так же было бы!»

«Да ты уже до коммунизма дожил, без денег хочешь! — опять зацепила его Анисья. — Всех перегнал, один до коммунизма добрался!»

«А если этот коммунизм по жизни идет так, как я думаю?! Пусть идет, пусть! Разве я виноват в чем?!»

«Ох, одному-то, наверно, тяжело? — притворно вздыхала Анисья. — Без людей-то, а? Без родственников?!»

«Нет, это тебе тяжело, не хочешь понимать! — упирался в свое Демьян. — А люди понимают, родственниками надо жить».

Замолкала Анисья. Не помнит Демьян, чтобы до ссор они доходили, когда говорили об этом. Не сдавалась она — поэтому и замолкала. Он чувствовал ее упорство и несогласие и немного жалел ее. Не мог он уступить ей еще и потому, что война взяла его отца и трех старших братьев. Он никак не мог допустить мысли, что, если рассуждать о выгоде-невы-

годе, тогда получается, что они погибли только за двух кровных родственников — за него и за мать. Четыре жизни — за две жизни. Это и слишком много, и слишком мало. Так не должно быть, да так и не было. Он понимал нутром, что они полегли на поле войны и за него, и мать, за всех родственников сел и городов, за все человечество земли. И словно добрая память о них, остались люди, по-родственному близкие ему, за которых они отдали свои жизни. И теперь они покоятся в братских могилах на далеких, но родственных землях, а не на родовом кладбище на Малом Яру, куда ушли все предки чуть ли не до десятого колена. Их, братьев и отца-воина, в последний раз видел живыми вернувшийся с фронта председатель Совета. И Демьян такими глазами смотрел на председателя-ветерана, словно тот сохранил в себе частицу их дыхания, частицу их любви к жизни, к родным, к своей земле. И когда ветеран умер, он снова попал в пугающую пустоту — прервалась связь с миром, с человечеством, словно второй раз погибли и отец и братья. А сам он остался один в этой пустоте — беспомощный и никому не нужный. Мать умерла вскоре после войны. Такое ощущение пустоты он впервые испытал в детстве, когда война взяла отца и братьев. Ведь они связывали его с миром, с прошлым и будущим, и эту связь неожиданно обрнула война — это было первое потрясение в его жизни. И после смерти ветерана он мучительно искал выход из пустоты — надо было как-то жить, как-то наладить утерянную связь с миром и жизнью. И восстановить эту связь помогла ему Анисья, младшая дочь председателя-ветерана. Раньше он почти не видел ее: она училась, а потом куда-то надолго уезжала. Когда встретил ее, он смутно почувствовал, что должны произойти большие перемены в его жизни. И хотя у нее были более удачливые и видные женихи, но она выбрала Демьяна, в ту пору нескладного и угрюмого. Почему именно его — этого он до сих пор не знает. Ведь тогда он метался словно слепой — безутешный и неприкаянный. И в нем еще не было того душевного равновесия, ощущения совершенства мира — единства мыслящего человека и живой природы, единства всего сущего, — что придет позднее. В то время он не смог бы определенно сказать, что именно испытывал к Анисье. Была только большая привязанность и уважение к ее отцу. Но когда узнал ее ближе, он порадовался тому, что ее выбор пал на него, а не на другого.

Потом появились дети, и у Демьяна прошло ощущение пустоты.

Так восстановилась утерянная было связь с прошлым и будущим, с Небом и Землей...

Спустя годы Анисья же своими словами, что в первую голову надо думать только о себе, натолкнула его на открытие — во всех селах и городах, на всей планете живут его

родственники. Это была новая связь с человечеством и Вселенной. Пришла уверенность, что эта связь никогда уже не прервется, эту его вечную связь никто уже не сможет поколебать.

У человека много кровных родственников в прошлом и будущем, размышлял Демьян. У каждого живущего было или есть бабушек и дедушек — четыре человека. Прабабушек и прадедушек уже восемь. Прапрабабушек и прапрадедушек — шестнадцать. А если взять это «прапра» десять раз, то получится больше четырех тысяч родственников. Чем дальше в глубину времен — тем больше родственников. И конечно же, у каждого малочисленного народа — к примеру, насчитывающего всего несколько сотен человек — корни родства уходят в другие народы. Значит, все народы — родственники между собой! Разве это плохо? Никто не скажет, что это плохо.

И мысли о родстве всех людей земли Демьян внушал и своим детям по мере того, как они подрастали. И старший из сыновей, Микуль, сказал однажды:

«Да, я знаю, у ханты есть родственники в других странах и краях».

«Хм-м... Кто тебе сказал?»

«Учительница в школе о языках рассказывала».

«А что о наших родственниках говорила?»

«Говорила: у ханты два самых близких народа — это манси и венгры. Родственны по языку».

«Манси рядом живут, это я знаю, — сказал отец. — А венгры где-то далеко...»

«Да, на реке Дунай они живут. Далеко, — принялся рассказывать сын. — Когда-то мы вместе жили, одним народом были. Это в давние-давние времена, в глубокую старину. Как ханты говорят, «в задревнюю древность». Потом была война. А может, и несколько войн было. С кем-то воевали. И народ раскололся на два куска: одни на Дунай ушли, а другие сюда пришли, на Север...»

Сын помолчал немного, потом продолжил:

«Ученые считают, я в книге про это читал, что мы когда-то на конях ездили, коров и овец пасли, в городах жили...»

«Это я знаю», — сказал отец.

«Откуда?! — изумился Микуль. — Откуда знаешь?!»

«Хм-мм... Да возьми наши большие сказки и большие песни, — проговорил отец. — В этих сказках и песнях люди в больших городах живут, на конях ездят, коров пасут, воюют. Есть богатыри, есть цари, есть уртэт*. Почти в каждой сказке море есть, за которое ходят люди сказки...».

«А ведь правда! — согласился сын. — Я как-то раньше не обращал на это внимание».

«До сих пор, по словам стариков, самой большой жертвой

* Урт, или орт — глава войска в старину, военачальник.

Богу считается лав*, — припомнил отец обряды старины. — Потом мас. Среди домашних животных у них самая высокая честь. Лав и мас**. А после уже идет олень. Все это, видно, издавека пришло. Из тех времен, когда у нас были города, кони и мы жили на других землях...»

«Нас в те времена уграми*** называли, — вставил сын. — И у нас с венграми был, наверное, один язык. Потому что до сих пор сохранилось много общих слов».

«Какие это слова?»

«Сэм», «кеш», «вер», «хул»...

Демьян повторял за сыном: «Сэм» — глаз. «Кеш» — нож. «Вер» — кровь. «Хул» — рыба...

«Есть слова, что очень похожи на наших языках. «Конь» у нас «лав», а у них «ло». «Сухой» у нас «сарм», у них — «сараз». «Журавль» у нас «торх», у них — «дару». «Дом» — «хот», у них — «хаз». «Рука» — «кэт», у них — «кез»...

«Ты так говоришь, будто язык наших кровных родственников реки Дунай знаешь! — удивился Демьян. — Откуда все узнал? Из книг?»

«Слова узнал от одной ученой. Ева Шмидт ее имя. Аспирантка она. Из Будапешта. Приезжала к нам в поселок, в школе выступала. Про свою страну, Венгрию, рассказывала. Про наше с ними, венграми, родство говорила...»

«Она говорила на нашем языке?»

«Да, она знает наш язык».

«Хе, где она выучила наш язык?» — удивился Демьян.

«Где выучила?.. Дома, конечно, выучила!..»

«Как?»

«По книгам, конечно. Она филолог».

«Фило-лог?» — повторил Демьян.

«Это человек, который изучает языки и литературу».

«Еве» — «Эве», — проговорил Демьян. — А имя-то у этой ученой женщины очень похоже на хантыйское имя «Эви» — «Девушка». Что она еще спрашивала в школе? Чем интересовалась?»

«Сказки и песни еще спрашивала. На магнитофон все записывала. Легенды и предания — тоже. Все ее интересовало. Как мы живем, какие песни поем...»

«Сколько у человека родственников! — сказал Демьян. — Чудно!»

* Лав — конь.

** Мас — корова (хан.).

*** Хантыйский язык относится к угро-финским (финно-угорским) языкам, которые делятся на две основные подгруппы: угорскую — венгерский, хантыйский и мансийский языки, и финскую — финский, эстонский, карельский, саамский, мордовский, марийский, удмуртский, коми, ижорский, вепсский, водский языки. Первые известные письменные памятники XII—XIII веков на основе латинского алфавита.

«И про других наших родственников рассказывала, — продолжал Микуль. — Про тех, которые в Прибалтике живут. На берегу моря. Это эстонцы, финны, саами, карелы, вепсы...»

«На берегу моря, говоришь? — переспросил Демьян. — Про них я слышал. Старики рассказывали, давным-давно, в задревнюю древность, во времена Воды Большого Бедствия, многих людей, которые спасались на плотках, разнесло по всему миру. Когда Вода ушла, люди остались на тех землях, куда их унесло. По словам стариков, это и есть Большой Водой унесенные люди. Такое я слышал про них. Когда-то мы вместе жили, рядом. Так предание говорит...»

Демьян помолчал, потом сказал сыну:

«Твои пути-тропы пойдут дальше, чем мои. Ты увидишь многих наших родственников...» — он сделал ударение на последнем слове.

«Будь достойным родственником», — понял сын. Он вспомнит слова отца много лет спустя, когда подружится с венгерским инженером Керести Ференцем. Ференц приедет на монтаж электронного оборудования для обработки полевых материалов сейсморазведки на нефть и газ. Он станет помогать «расколдовать» землю ханты и манси, чтобы постичь ее многие тайны с помощью электроники. Его интересует и жизнь и духовный мир коренных жителей. После, вернувшись домой, он расскажет о своих впечатлениях своему народу. И Микуль получит из Будапешта журнал «Уй тукор» с заметками Ференца «Наши родственники, живущие в Сибири...».

Это будет потом. А пока Демьян размышлял о своей связи с человечеством. Эта связь ему нужна как жизнь. А может быть, и больше жизни. Ведь он погиб вместе с двумя братьями под Москвой в сорок втором году. Его вместе с младшим братом разорвал шальной снаряд на берегу озера Балатон в Венгрии в сорок пятом году. Пуля, что вошла в грудь отца в Берлине в апреле сорок пятого, прошла и по его сердцу. Он четырежды убит вместе с отцом и братьями и многожды — вместе с другими родственниками. Поэтому, чтобы жить и чтобы не канул в небытие еще один человеческий род, ему нужна надежная родственная связь с человечеством. Не будь этой связи, сейчас он не жил бы на земле.

Теперь, прислушиваясь к голосу полозьев, он почувствовал, что его родственной связи с миром что-то грозит. Пока еще не ясно, что именно — все размыто, как в тумане. Но тревога рождалась, и он ничего с ней не мог поделать. Не мог прикрикнуть на нее, как можно было, прикрикнув на Харко, оборвать его вой.

Многолетняя жизнь в тайге обострила все его чувства, и он всегда безошибочно воспринимал и предугадывал явления природы, а через них и жизненные явления. Чутье ни разу не подводило его. Вот и сейчас обрадовался бы ошибке, да знает,

что не ошибается. Может быть, все-таки смутили родственники-искатели?! Нет, конечно, совсем правильных родственников. Люди все очень разные. И за искателями, слышал, кое-какие грехи водятся. Но кто совсем безгрешен?! Нет, наверное, таких. А коли есть, так немного их. Разве что боги небесные и земные? Так, судя по мифам, и они горазды на разные выдумки и проделки. Во всяком случае, иногда поступают как неразумные младенцы...

После болота он выехал на главную — испокон веков называемую Царской — дорогу, что по сосновым борам, вдоль Матери-Реки, тянулась с запада на восток и соединяла зимой два поселка — Нижний и Верхний. По ней ездили в Город на правом берегу Оби, вывозили пушнину и рыбу. От нее шли ветви-отростки к небольшим селениям охотников.

Вожак Вондыр сам повернул на восток, словно давно ему ведомо было, куда хозяин держит путь. А Демьян ехал, и мысль его быстрокрылой птицей то устремлялась вперед, то вновь возвращалась, то опускалась в глубь времен, то спешила обратно в сегодняшний день. А затем с мелодией полозьев, что показалась теперь скрипуче-жесткой, вернулась к Родниковому озеру. И где-то внутри сначала зашаял, а потом все сильнее и сильнее стал разгораться черный огонь, что шершавым языком лизнул сердце.

Он отчетливо увидел, что озеро перерезано темной бороздой, что острие этой борозды упирается в его недалекое зимовье — несколько малых болотных озер, сосновый бор — тут и дом, и пастбище. Он вспомнил рассказы охотников Нижнего поселка, где уже появились такие гости. Вперед пускают рубщиков с топорами и пилами, рубят прямую и широкую просеку. За ними идут машины со стальными бурами, которыми в таежную землю вгрызаются. Есть у них, по словам знающих людей, и диковинные приборы, что улавливают дыхание Земли, помогают слушать глубины, неподвластные глазу и слуху охотника. Едут они по бумаге, где нарисован лик Священной Земли — озера и реки, леса и болота, боры и ручьи, таежные сопки и низины. Рисунок этот у них картой называется. И наверняка попали туда и зимний дом Демьяна с коралем и конусообразным сараем из жердей — «домом рыбы», где хранится не только рыба, но и мясо и охотничий инструмент. Отмечена на этой бумаге и родовая речка Древесная, или Юхан-Ягун, что впадает в продолговатый, далеко вдающийся в сушу урий-залив. На правом возвышенном берегу этого Юхан-Ягун Урия стоит Весеннее Селение рода. Избушки из тесаного бруса, крытые берестой. За ними выстроились лабазы на курьих ножках для зимней одежды и съестных припасов. Чуть впереди навесы и коптильни — тоже под берестой. Напротив дверей — глинобитные печи, в которых выпекают хлеб. На пристани перевернутые лодки и обласа, вешала для неводов и сетей.

Видно, карта не обошла стороной и Летнее Селение на Левобережье Реки, где на песчаной косе, у леса, примостились легкие дощатые домики, летние лабазы и печи, те же навесы и коптильни.

И Осеннее Селение рода не упустила бумага-карта на большой Протоке Болотной Стороны, в вековых соснах на крутом песчаном яру. Там тоже целое становье с добротными домами и всеми необходимыми постройками. Видел Демьян такие рисунки с ликом Матери-Земли — все там есть. Не ошибаются те, кто их делает. Не раз в этом убеждался. И вот искатели, видно, тоже не ошиблись — прямо нацелились на Демьяна. Через неделю-другую выйдут к его зимовью — сосновый бор разрежут, кедровники разрежут, березовые рошцы возле Древесной разрежут, попадется селение — разрежут. Сказывают охотники, не могут они свернуть ни на шаг, не положено. Где по бумаге-рисунку им указано, там они сверлят землю на полтора-два десятка метров и закладывают что-то порохоподобное, что бухает, стреляет в глубь Сидящей. Но это только начало. За ними приходят вторые. Те уже дырявят землю на километры в глубину, они намного сильнее первых. И если они находят горючий жир, нефть, появляются третьи — добытчики. От тех, третьих, добытчиков, сказывают, уже совсем жизни нет. В буквальном смысле переворачивают боры-беломошники, урманы черные, болота бескрайние. Сказывают, будто сами же искатели и добытчики нефти бахвалятся, что на десятки километров от своих путей-дорог ничего живого не оставляют. Никак не хотелось верить в это. Но если здраво рассудить, то у тех же искателей сколько разных машин! А ежели все это двинуть против тайги, против зверя и птицы — какая земля не застонет?! Какой земле под силу выстоять и победить?! К примеру, зимой, в глубокий снег, сохатого можно голыми руками брать. А с небесными и наземными машинами тут и делать нечего. Не на десятки, а на сотни километров все можно подчистить. Сказывают, такая участь уже давно постигла охотников низовья Реки. Но Демьян жил пока спокойно — угождая его в глуши, на отшибе. Правда, пойму Реки задела труба на востоке, нефть на юге, железная дорога на западе. Сжимается кольцо вокруг него, но самого пока не тревожили. Кольцо сжимается. Лишь на Севере, между трубой и новой дорогой, совсем тихо. Но там ненецкая тундра начинается, недалеко водораздел. Реки уже текут прямо на полночь и впадают в студеное море, дыхание которого он иногда чувствует осенью и весной.

Он ехал и все размышлял о прошлом и будущем. И огонь постепенно охватывал все нутро, и не могли его остудить ни холод, ни снега и льды этой земли, что взрастила и вскормила весь его род и его самого. И потомков должна вскормить и поставить на ноги. А щемящая боль внутри

теперь ни на мгновение не отпускала его. Все другие заботы стали отходить в сторону, все оттеснило острые борозды, что упиралось в сердце. А забот житейских немало было в жизни его. Вот и олені сколько тягостных дней доставили ему. Еще года три назад хозяйство имело три стада. Как и все охотники, Демьян каждую осень получал три-четыре упряжки — столько ему нужно было для охоты. Весной, после закрытия сезона, возвращал оленей в стадо. Потом их не стало. Часть забили на мясо, часть продали охотникам, а остальных перегнали в другое отделение коопзверопромхоза, на соседнюю реку, где им через год тоже пришел конец. Говорили злые языки, что директор на орден метит — решил завалить оленьим мясом все нефтяные города и поселки. Но, однако, прогадал — вскоре его сняли то ли за это, то ли за какие-то другие неблагоприятные дела. Снять-то сняли, а оленей не вернули. Тут разговоры пошли, что и нефтяные люди во многом виноваты. Ведь они пути-дороги свои прокладывают по лучшим землям — бесценным борам-беломошникам и черным урманам. Ягельники где машинами перепахали, где огнем пожгли. Оленей же, растеряв остатки совести, где собаками травили, где из ружей били, где вертолетами загоняли-замучили. Но мысль Демьяна шла немного другими тропами: все-таки и свои виноваты — руководители хозяйства, оленеводы, охотники. У плохого хозяина всегда посторонний виноват, размышлял он. Верно, все было: и машины, и собаки, и ружья, и вертолеты. Он не оправдывает нефтяных людей. Но ведь те, кто вертолетом управляет, кто собак натравливает, ружье поднимает — все это разумные люди, язык имеющие люди, разговаривающие люди, а не безмозглые машины. Все надо было решить с ними полюбовно, по-родственному. Разве бы не поняли они, что на Севере все держится на олене. Олень нужен земле, нужен охотнику, нужен рыбаку, нужен, наконец, и нефтяному человеку. Поняли бы нефтяные люди, поняли. Только хорошенько растолковать надо было всем, кто приезжает сюда. Растолковать их начальникам, их женам, их детям. Наконец, их собакам. Ведь их главная добыча, как понимает Демьян, не олени, не звери и птицы, а горючий жир земли, который оленю и вовсе ни к чему. Пусть копаются нефтяные люди, только бы не мешали. А земли вон сколько, если по-родственному, так на всех хватит. Найдется место и охотнику, и оленю, и нефтяному человеку. Издревле ханты считали, что земля священная и она принадлежит всем живущим сразу и никому в отдельности. И нет большего зла, ежели кто из-за нее ссору затеет. Не ссориться нужно, но поклоняться ей, Сидящей Матери. Она сама знает, сколько брать на себя людей, зверей-птиц и рыб, разных таракашек-букашек. Она знает, что ей под силу.

Да, Священной Земли на всех бы хватило!.. Да вот теперь

дела-то пошли не по-родственному — и первым ни в чем не повинного оленя вытеснили. Если и дальше так пойдет — можно и зверей-птиц и рыб в водном царстве вытеснить. А там, глядишь, дойдет и черед до человека этой земли. Охотнику уже сейчас тяжело стало без оленя. А олень нынче дорого стоит. С этой осени, слышал Демьян, за важенку уже полтора ста рублей просят. Новый снег — новые цены. Все выше, все дороже. У охотника зимний план в шесть сотен, это весь доход среднего промысловика. Купишь одну упряжку, а домашним на что жить?! Одежду-обувь где возьмешь?! Олень не только транспорт, но и пища и одежда. Не одно столетие он возил, кормил и одевал род Медведя, Бобра, Лося и многих других. И вот пришло время — хоть «кулаки свои заправляй». И было бы где взять оленя! Будет и на что купить, да не купишь — вот в чем все дело!

4

Мысль об искателях ворохнула огонь в груди, а огонь пробудил жажду. Захотелось воды, а вода напомнила о правом притоке главной Реки, через который ему предстоит сегодня проехать. На страже этого болотного притока стоят древние кедры-старички, что мощными кронами подпирают небо по обоим берегам. За их спинами кочкастые болота сменяются ровными сорами с редким сосняком.

Он хорошо знал этот приток и любил его за степенность, за покладистый характер. Не раз ездил по нему летом и зимой, когда в колхозные времена в верховье пас стада оленей. К тому же это родные места его матери... Но сейчас его мысль по знакомым излучинам и прямым убежала к устью, где много лет назад, после войны, в пору белых ночей, он вез доктора МАРИНУ

в Нижний поселок, и она, увидев справа приток, спросила:

— Как эта река называется?

Он взглянул в устье и коротко ответил:

— Ягурьях.

— А-а, — протянула девушка. — А кто там живет?

— Люди рода Лося, — сказал он медленно, в такт движению своего весла. — Сардаковых сир.

— Они далеко, в верховье реки? — спрашивала она.

— В роду Лося четыре ветви, — пояснил Демьян. — Люди двух ветвей в верховье на озерах рыбу ловят, оленей пасут. Болотниками их называют. Две другие ветви на главной Реке живут. Скоро их селение будет. Еще до войны там приемный пункт рыбы поставили.

Девушка стала поправлять платок. Он увидел тонкие пальцы и прядь волос цвета коры осенней лиственницы. А лиственницы ему нравились, и сейчас, когда он глядел на волосы девушки, окончательно прошла утренняя досада, что попутчиком оказалась женщина. Ну и ладно, подумал он, хотя ехать с мужчиной намного проще — меньше хлопот.

По движению пряди волос он понял, что девушка оглядывает берега. Слева чистый сосновый бор с белым ягелем и зеленым брусничником. Справа устье Ягурьяха и песчаный мыс. У Демьяна сейчас возникало впечатление, что река приподнимается. А приподнимали ее белый ягель и ослепительно яркий песок на обоих берегах. Даже в самую хмурую погоду тут бывает светло. Сливались воедино воды, песчинки, человек, сосны и небеса... Видно, девушка тоже почувствовала подъем реки: оглянувшись, спросила тихо:

— Почему этот... пункт приема рыбы здесь не построили, а?! Красиво-то как!

— Мелко, — ответил Демьян.

— Мел-ко?! — удивилась она.

— Катера с баржами к берегу не подойдут. За рыбой солевой они приходят.

— Мел-ко... — она, будто взвесила это слово. — Ну и что!..

Демьян ничего не сказал. «Будто я обмелел тут реку», — подумал он. Впрочем, немного поразмыслив, он понял, что она имела в виду не только мелкоту реки возле этого берега. И он снова вспомнил утро сегодняшнего дня: разве мужчина-попутчик стал бы переспрашивать про мелкоту. Да никогда не догадался бы лезть в глубину, ему было бы все равно, главное — плыть вперед, плыть к дому.

Девушка взяла весло и начала грести с левого борта.

Демьян все прикидывал: в селении приставать или нет. Пристанешь — распросы начнутся, куда да кого везешь. Старик, как водится, найдут повод для шутки. Не пристать тоже нельзя: гость, проезжающий мимо дома, на хозяев зло держит на уме. Так принято считать. А у него ничего плохого не было в голове. Значит, мимо не проедешь.

Вот и селение — пять бревенчатых домиков, лабазы, навесы, амбары. И чуть в сторонке длинный кум* — помещение, где в чанах и бочках рыбу солили.

В доме деда Никиты за чаем спрашивали Демьяна:

— Куда едешь-то — в Нижний Поселок?

— В Нижний. Почту везу, — отвечал Демьян.

— А Седой где?

— Отпросился.

* Кум — буквально: склад. В отличие от лабаза стоит не на курьих ножках, а на земле или на небольших чурках.

— Случилось что?

— Да нет, ничего. Свататься, что ли, куда-то поехал. Так говорят.

— И то — дело нужное...

— Вот попросили меня один раз съездить. Чего ж, говорю, не съездить — коль человека нужно выручить.

— В молодости все легко дается, — сказал хозяин. — Мы тоже, помнится, в молодости по всей реке гоняли. Так, иногда без особой нужды, ради удовольствия дороги. А почта, конечно, дело серьезное...

Потом в разговор вступила хозяйка, жена деда Никиты. Наливая гостям чай, она спрашивала:

— А что за девушку иль женщину везешь?

— Доктора-девушку, — сказал Демьян, поскольку все в поселке называли ее просто «доктор-девушка» или «лекарь-девушка».

— Куда едет?

— В город, на свою землю.

— А кто людям здоровье будет делать?

— Другая девушка приехала.

— Ну, так скажи...

— Насовсем уезжает? — спросил дед.

— Кажется, да... Насовсем...

Помолчали немного. Затем хозяйка, чуть усмехнувшись, сказала:

— Вот Седой неведомо куда умчался за невестой. А бывает так — далеко не надо ездить. И всю жизнь хорошо душа в душу живут.

Демьян понял ее намек и, смутившись, уткнулся в чашку, ничего не ответил. Мол, семьей пора обзаводиться. А дед как ни в чем не бывало, посасывая трубку, поддакнул жене:

— Да, бывает такое. Главное — вовремя увидеть. Не упустить... — и он выразительно посмотрел на девушку, словно ждал ее поддержки.

Хотя говорили по-хантыйски, но она по смущению Демьяна и взгляду деда, видно, догадалась, о чем речь. Она отодвинула чашку, взглянула на хозяйку, потом улыбнулась своему попутчику — мол, не падай духом, и, повернувшись к деду, объявила весело:

— Он сам не возьмет меня!

— Это почему же?! — опешил дед.

— Да я даже весло держать не умею!

Все в доме засмеялись. Улыбнулся и Демьян.

— Научить этому можно, — уверенно сказал дед Никита.

— Можно... — уверила и хозяйка.

И хозяева смолкли, призадумались каждый о своем. Демьян воспользовался паузой, поднялся со словами:

— Нам пора ехать. Дорога дальняя...

— Да-да, дорога дальняя, — согласился дед и тоже под-
нялся.

Он проводил гостей до берега — и слова прощания были сказаны уже на ходу. А перед взором Демьяна долго еще стояла одинокая фигурка деда с печальными глазами. Печаль появлялась у воды. Вода всегда напоминала деду, как он провожал на фронт младшего сына по этой реке. И, глядя на молодых гостей, он снова осознавал, что ушедший сын не приведет ему в дом невесту, и несуществующая невестка не народит ему внуков.

Сын уплыл по реке вечности, не успев оставить никого...

Оттого дед долго и печально смотрел вслед уплывающим. Его сын и сейчас мог бы плавать по этим водам, если бы не война.

Демьян чувствовал на себе печаль дедовых глаз и молчал. Молчала и девушка. Так молча проплыли несколько песков и прямик. Потом девушка спросила — и Демьян рассказал все, что знал про деда и его семью. И они снова ехали молча. Затем девушка отсидела ногу, и они остановились на чистом длинном песке на короткий отдых. Пока он возился с костром и чаем, она искупалась и легла на горячий песок под солнцем. И он увидел, что линии ее тела стали линией берега, линией леса, линией горизонта. А линии Земли всегда так упоительны и прекрасны... И он ощутил всем существом своим, что мир... меняется. Он уловил мгновение изменения мира. Он уловил то мгновение, что неведомо человечеству. Это он понял позже. Теперь же он медленно отвел глаза и повернулся на спину. Высоко-высоко в голубом мареве неслись белые облачка, и между ними парил орлан. Он ходил кругами — и круги каждый раз были новой формы: чуть вытянутые, правильные, но пересекались все в одной точке. Потом орлан исчез — в небе остались лишь белые точки облаков. Но появился он так же неожиданно, как и исчез. В когтях он держал большую рыбу. Она золотисто сверкала на солнце чешуей. Орлан сделал два-три круга — и выпустил рыбу. Она, сверкнув чешуей, полетела вниз.

Демьян вспомнил примету: если орлан подарит человеку рыбу — тому будет удача. Но сейчас рыба не интересовала его. Он тихонько поднялся, прошел к обласу, постоял над водой. Потом вдруг — не раздеваясь, прямо в одежде — бухнулся в реку и поплыл против течения, наискосок, на другой берег. На стержне вода яростно ударила его в грудь: она пыталась опрокинуть его, затянуть в водоворот и, оглушив, подтолкнуть к острому клыку донной коряги. Но он сопротивлялся, и под его бешеным напором река нехотя уступала — он двигался вперед. И это доставляло ему какое-то удовлетворение.

Вернувшись на свой берег, он увидел, что девушка, уже одетая, сидела у кострища.

— Жара какая — сгореть можно! — сказала она.

— Жара ничего, вот под дождь бы не попали, — проговорил он, оглядывая небо.

— Небо чистое, откуда дождь возьмется?

— Сегодня нет близко дождя, а вот завтра...

— Ну, до завтра еще дожить надо, — улыбнулась она.

— Доживем, — уверил он. — Куда ж денемся?!

Когда они, собрав вещи, подошли к обласу, чтобы отплыть, Демьян, немного поколебавшись, сказал:

— Марина, вам птица подарила рыбу.

— Какая птица? — удивилась она. — Какую рыбу?

И он сказал про орлана и примету с удачей. Для убедительности хотел показать птицу на небе, но ее там уже не было — улетела, видно, домой.

— Почему именно мне? — спросила она.

— Он бросил рыбу на вашу сторону песка, а не на мою, — сказал он.

— Пойдемте поищем! — предложила она.

И они босиком, по горячему песку направились в нижний конец косы на поиски подарка птицы. Лишь на втором круге нашли рыбу — серебристого язя со следами когтей возле спинного плавника.

— Что с ней делают? — спросила Марина.

— Сушат и вешают где-нибудь в доме.

— Как талисман, значит, — кивнула она. — Ладно, высушим. И поедет она в город...

Они вернулись к обласу. Демьян смыл с рыбы песок, распотрошил и спрятал на корме.

— А вам, Демьян Романович, птицы дарили когда-нибудь... удачу? — спросила девушка.

— Нет, — сказал он, оттолкнув облас. — Мне — нет. А вот отцу — да. Помню, в детстве он раза два или три привозил рыбу со следами когтей. От орлана, говорил он.

— И что с удачей?

— Вообще-то отец удачливый был. На охоте, на рыбалке...

— Старый, видно. На охоту уж не ходит?

— Погиб. На войне...

После долгой паузы девушка тихо сказала:

— Мой... тоже. Там же.

И оба замолчали. И Демьяну показалось вдруг, что у них был один отец и осиротели одновременно — в апреле сорок пятого, за считанные дни до Победы. Он был мальчиком, мужчиной, охотником. А мужчина все же есть мужчина. Это ему внушали с люльки, чтобы он рос мужественным. А каково же девочке без отца?! Девушке, женщине?! Он этого не мог себе представить, но знал, что это, должно быть, очень больно, и он почувствовал эту боль. И еще ему стало стыдно за свое утреннее сомнение. Когда начальник почты Хмелев спросил, возьмет ли он попутчика — очень уж просится чело-

век, — Демьян согласно кивнул. Чего же не взять человека, если нужно ехать: с попутчиком всегда веселее, да и грести будет сам. Возьму, сказал он Хмелеву, если, конечно, облас поднимет. Бывает, приходят очень солидные попутчики. Облас поднимет, уверил тот, не сомневайся. Но когда на пристань пришла доктор Марина, он понял, что попал впросак. Ехать с женщиной, которая не представляет себе таежных рек и дорог, — мало приятного. Можно было, конечно, отказаться наотрез, но он из деликатности не сделал этого: человек уже настроился на необычное путешествие по реке. Скрыв досаду, он промолчал. Он вспомнил, что еще зимой слышал разговоры о ее отъезде: собиралась в город к матери и жениху. Вот, значит, и собралась. Он мог бы приехать за ней, с неприязнью подумал Демьян о женихе. Поди, мужчина ведь!.. Он почти не знал ее: в больнице не бывал, ибо не жаловался на здоровье. Видел ее только по большим праздникам да на комсомольских собраниях. Однажды, кажется, даже рядом сидели. Но больших праздников в году — раз-два и обчелся. А на комсомольских собраниях он бывал нечасто: большую часть года жил в родном селении на среднем течении реки, на местах промысла рыбы и зверя.

Она назвала его Демьяном Романовичем, хотя они были почти ровесниками. Ему это показалось чудным сначала, поскольку раньше его никто по имени-отчеству не величал. Когда слышал имя отца, его мысль уносилась в прошлое, в те времена, когда были живы родители. Он отчетливо видел их... В ее голосе он улавливал уважение к своему отцу, словно она ненавязчиво напоминала ему о том, что никак нельзя забывать потомкам ушедших и уходящих людей.

Он всем — старым и малым — говорил «ты», ибо так было принято в его роду: все говорили друг с другом на равных. Но было одно исключение. Люди, что породнились между собой и соблюдали обряд избегания, до скончания своих дней обращались друг к другу только на «вы»; при встрече и расставании целовали лишь руку; в их присутствии запрещалось употреблять плохие слова*.

Все эти обычаи и обряды пронеслись в его голове в то мгновение, когда девушка называла его Демьяном Романовичем и он должен был как-то ответить ей. И тут само собой выскочило это таинственное «вы». После он понял, что так и должно быть. Ведь девушка была такой же непостижимой и таинственной, как и древний обряд предков. К ее руке он, конечно, не приложился — постеснялся начальника почты Хмелева, который все топтался возле обласа, ждал отплытия.

Теперь он вспомнил утро отплытия, и ему захотелось хоть малость сгладить свою вину. Он смотрел на прядь ее волос

* Устойчивое словосочетание «плохие слова» на ханты языке включает в себя выражения неблагозвучные, грубые, нецензурные, резкие и так далее.

цвета коры осенней лиственницы. Он смотрел так внимательно, что находил сотни оттенков от светлого до темно-коричневого. Лиственница молодая, лиственница средняя, лиственница пожилая, лиственница древняя. Лиственница в хвойном лесу, лиственница в лиственном лесу, лиственница в смешанном лесу. Лиственница в распадке, лиственница на взгорье. Лиственница урманной стороны, лиственница болотной стороны. Лиственница утром, лиственница в полдень, лиственница вечером...

— Вечерняя лиственница...

Видно, он вслух подумал о вечерней лиственнице — девушка, полуобернувшись, спросила:

— О чем это вы, Демьян Романович?

— Я это... о людях, — быстро ответил он.

— О каких людях?

— Да... о разных.

Он взглянул на солнце. Оно уже пробиралось к тому месту, откуда уходило за горизонт. Как водится, приближение вечера первыми уловили комары, невесть откуда выпавшие на реку. Они с настырным писком носились над облаком и людьми, садились на голову и плечи девушки. Демьяну захотелось разом прихлопнуть их, покончить с ними в одно мгновение, чтобы они не подлетали к носу его судна. Хотя обычно на комаров и мошкар не обращал ни малейшего внимания. Но они напоминали ему, что он едет не один. И он, наклонив голову, обратился к девушке впервые:

— Вы не устали, Марина?

— Да нет, — ответила она. — Я еще могу сидеть...

Но он-то знал, каково это, даже человеку бывалому, высиживать на облаке целый день. А путнику непривычному! Иной раз покажется, что легче пройти пешком, чем проплыть это же расстояние на вертком суденышке, где лишний раз не шелохнешься, ибо все время нужно сохранять равновесие, чтобы не зачерпнуть бортом воду. А тут совсем упустил из виду нового человека. И, сообразив это, в начале следующего песка он объявил ночлег. Хотя останавливаться — по всем таежным правилам — было еще рано. Но он махнул рукой — мол, сами себе ховяева, никто не гонит.

5

В то лето с девушкой-доктором Демьян ехал на запад, а сейчас направлялся на восток, в сторону верховья реки. И наплывали ему навстречу воспоминания о том чудном путешествии в пору белых ночей. Вот переправился через родовую реку Древесную, Юхан-Ягун. И вспомнилось, как в ту поездку они с Мариной проезжали устье реки и о чем она тогда

говорила. С тех пор немало воды утекло, а он сохранил в памяти даже цвет ее голоса.

Остались позади Бор Выше реки, Малый Пев и Большой Пев*, въехал в Домашний бор Седого. Все притоки несли свои воды Матери-Реке, а многие боры обрывались там белыми ярами правобережья. Поэтому дорога зимняя и «дорога» летняя — вода — шли рядом. И мысль Демьяна легко переходила со снега на воду, с воды на снег. С одного десятилетия на другое, с другого на третье. Недаром, когда Загадка спросила, «что на этой земле всех быстрее?», ханты ответили: «Мысль». Мысль человека не знает ни преград, ни границ. В мгновение ока может домчаться до Луны и Солнца и вернуться обратно...

С этими думами Демьян подъехал к развилке и остановил упряжку. Почистил оленям ноздри — чтобы легче было им дышать, затем поправил упряжные потяги и тяжи. Вожак Вондыр фыркнул и лиловым глазом покосился на хозяина, словно о чем-то спрашивал.

— Что ты хочешь? — переспросил Демьян. — Есть, может быть, хочешь?

Вожак помотал головой.

— А-а, большую остановку ждешь! — догадался Демьян. — А не кормежку. В такой мороз дыхание плохое. Я на нарте сижу, и то мне тяжело дышать. А вам бежать и нарту тянуть надо. Понимаю, понимаю. Ну, я вам носы почистил — сейчас легче станет, воздуха больше будет. Как наши древние говорили, дыхание длиннее становится...

Затем, глянув на важенок в упряжке, заговорил с ними:

— А Пеструха и Пирни тоже большую остановку ждут?

И сам же ответил:

— Конечно, ждут. Потерпите немного. Еще один перегон проедем и большую остановку сделаем. Там ягель хороший. Тот бор никогда не горел... А я там чай попью. В такой мороз крепкий чай шибко помогает, шибко согревает.

С этими словами он достал трубку и кисет, сказал оленям:

— Сейчас вот трубку выкурю, и поедем. Еще подышите.

Раскурил он трубку, пыхнул дымом. И облако дыма долго висело в неподвижном морозном воздухе. Он вспомнил, что два дня тому назад ему приснился медведь. «Жди холода», — сказал он утром жене Анисье. Медведь во сне — верный признак похолодания в любое время года. Будь то лето или зима. И на этот раз все сбывается. Видно, охотник и всякий человек, много лет проживший в тайге, предчувствует малейшее колебание температуры, предчувствует приближение холодов...

Печальное зимнее солнце кое-как поднялось до верхушек сосен. В желто-золотистых ветвях и в светлой зелени игл блед-

* Пев — буквально: сосновая шишка. Здесь: название небольшой речки и ее притока, что текут с севера на юг и берут начало в приаганских болотах.

ными нитями запутались лучи-руки солнца. Вскоре они ослабнут, и небесное светило поспешно начнет свое движение вниз.

Демьян обошел нарту и, остановившись у правого полоза, взглянул на плохо утоптанную дорогу, что уходила в сторону полуденного солнца, к Реке. По ней выехала на Царскую одна упряжка. На левой колее след средний — значит, вожакom старая важенька, а не бык. А справа отпечатки маленькие — эту половину нарты олененок тянул. На развилке человек останавливался ненадолго, потоптался вот тут, главную дорогу осматривал. Потом тронул оленей — те с места рванулись рысью. Копыта раздвоенные — это при быстрой езде. Когда олень спокойно идет, то его копыта почти не расходятся.

Ошметья снега на колее пушисто закуржавели, серебрятся на солнце. За одну ночь мороз так бы не расстарался. Ясное дело, что след позавчерашний.

— Седой брат Ефим в поселок поехал, — не то подумал, не то вслух сказал Демьян. — Наверно, пушнину повез. Нарта его легкая.

Пеструха, шевельнув левым ухом, покосилась на хозяина. Словно подтверждала: да, поняла твои слова, говори дальше, слушаю.

Если свернуть по этой дороге, до зимнего дома Ефима Андреича, которого все зовут Седым, не будет и долготы одного оленя*.

Демьян подошел к Пеструхе, еще раз потрогал, поправляя подгрудный ремешок ее лямки, передвинул чуть съехавший назад пояс, смахнул снежинки со спины.

— Ну, коль доберется до магазина — так не скоро обратную дорогу вспомнит, — сказал он Пеструхе. — Такой он, мой Седой брат... Где-нибудь встретим его — одна Царская дороженька...

С этими словами он отвязал вожжу и тронул упряжку.

Теперь ехал он и, размышляя о житье-бытье Седого, который приходится ему близким родственником, братом по Медвежьему сиру, почувствовал тепло его дома, будто побывал там и хозяйка напоила крепким горячим чаем. Хорошо встречали людей в доме Седого. Встречали приветливо, искренне. И хотя частенько гостей потчевали только чаем и хлебом — значит, кроме этого, ничего в доме нет, — путники всегда с потеплевшими лицами прощались с хозяевами. Да разве дело в чае или хлебе?! Это есть в каждом доме, у каждого хозяина. А в зимовье Седого люди получали нечто такое, что нельзя сравнить ни с каким чаем: они, возможно, начинали чаще улыбаться друг

* Долгота одного оленя — расстояние между двумя остановками. Причем эта долгота разная: у оленя утреннего — короткая, у дневного — средняя, у вечернего — более продолжительная. В среднем она равна от трех-четырех до пяти-семи километров.

другу и всему окружающему, будь то птицы, звери или деревья-травы. Может быть, после, отъехав от гостеприимного дома Седого, они задумывались об истинном назначении человека на земле, о далеком и недалеком прошлом, о дне сегодняшнем, о будущем. Без прошлого, пусть даже и печального и неприглядного, и без будущего, быть может, и туманного, но привлекательного, человек не может постичь себя, не может постичь свое время, свою эпоху.

Человек должен находить себя...

И Седой, быть может, отрезвлял людей, что останавливались в его доме. Заставлял их задуматься о многом, с чем сталкивались в прошлом и столкнутся в будущем.

Седой.

На его голове курчавилась копна седых, совершенно белых волос, которую он не закрывал капюшоном малицы ни в зимнюю стужу, ни в летний зной. Ни от комаров, ни от мошкеры.

Седой.

Голова снежной белизны...

6

А когда побелела его голова — никто не помнит. Может быть, она побелела в тот день... в тот черный день, когда умерла мать. Избушка вздрогнула от рева и слез. Пронзительно тонко выла побелевшая бабушка. Истошно громко ревела все понявшая старшая сестрица Карпьянэ. В люльке захлебывался слезами и криком братик-несмышлениш Колька... А по отцовскому лицу прошел огонь... и потекли слезы. Текли слезы медленно, скупое. Он всхлипнул и руками закрыл лицо. Это были первые и последние слезы отца. И мальчик испугался и, взревев, заметался по избежке — от бабушки к отцу, от отца к сестре, от сестры к безмолвной матери. Мать лежала в углу на своей постели. Мгновение назад, всхлипнув, отец закрыл ее лицо платком. И мальчик почувствовал — случилось что-то ужасное, а что именно — не мог понять. И он все метался по избежке, и никому до него не было дела. И никому он не нужен был.

Может быть, побелела его голова под тяжестью «военных бумаг», что пришлось ему возить в войну. В то время он был почтовым человеком и доставлял почту из Верхнего поселка до Нижнего, а из Нижнего до Верхнего, до своего поселка. Летом на обласе-долбленке, зимой — на оленях. Бывало, в Нижнем ему вручали почту и говорили, что там «срочные военные бумаги» из районного центра — через полтора-двое суток должны быть на месте. А еще лучше — через сутки-полтора. Мало, конечно, времени вверх по реке, против течения. Мыслимо ли за такой

срок?! Но... война. И он брался за кремневое* весло, от которого горела кожа на ладонях. Когда рукам становилось совсем невмогуту, он срезал особенно большие повороты Реки по перетаскам-волокам — продевал весло в носовую петлю и, подняв на плечо, таким способом впрягался в свой облас. Тяжелы же «военные бумаги» — повестки в райвоенкомат, повестки на войну. И хотя Ефим знал, что не он начал эту войну, не его страна, но он все равно чувствовал себя виновным перед людьми. Будто не война, а он разлучал девушек с женихами и братьями, женщин — с мужьями и сыновьями, детей — с отцами-дедами и старшими братьями. Это он, почтовый человек, привозил в село слезы разлуки и тяжкую горечь расставания. Это он отрывал людей от родного дома, родной земли, близких родственников — кого на долгие военные годы, а кого и навсегда. И от этого так тяжела была почтовая поклажа на перетасках-волоках. А потом стало еще тяжелее — пошли похоронки. И он, гребя против течения и волоча облас по перетаскам, думал о фронте и о тех, кто уходил туда. Охотники, особенно молодые, все видели в романтической дымке и охотно ехали на фронт. Они говорили, что хорошо владеют оружием, быстро ходят на лыжах-подволоках, умеют предсказывать погоду и ориентироваться на местности. Словом, привычны к тяготам кочевой — походной — жизни. Раз белке попадаем в голову, наивно рассуждали они, так неужели в фашиста не попадем?! Ведь фашист-то намного больше белки!.. Такого же мнения был и Ефим. О себе не думали. Вернее, как все ханты, они свято верили в свою судьбу: чему быть, того не миновать. Кому суждено в огне сгореть — тот не утонет. Кому суждено утонуть — тот и в огне не сгорит. Так и на войне. Кому суждено жить — тот вернется с победой, того никакая пуля не возьмет. А если кого и возьмет пуля — так уж судьба, а против судьбы куда попрешь. Значит, кончились дни, что тебе отпущены на земле. А кончиться этим дням суждено там, на фронте — в первую ли атаку, в жестокую ли бомбежку, от шального ли снаряда. А пока жизнь хороша была тем, что никто не знал, что его ожидает впереди. И у Ефима было смутное представление о недалеком будущем. И с фронтом у него пока ничего не получалось. Пришла ему повестка в сорок первом. Но из Сургута его вернули домой: фронту нужны были не только хорошие стрелки, но и рыба, мясо и теплые меха. Сначала он рыбачил и охотился, как все сородичи. Но потом понадобился человек, легкий на подъем, скорый на руку, выносливый — и определили его «почтовым человеком». Второй раз призвали его летом сорок третьего года. Тогда семь охотников получили повестки. И отправились в Сургут

* Кремневое весло — из твердой «пропеченной солнцем» древесины.

на большом неводнике*. Но пока они на гребях добирались до районного центра, пароход с мобилизованными уже отплыл в Омск. И он снова вернулся домой: возил почту, а в перерывах между поездками для фронта добывал рыбу и зверя.

В третий раз приехал в военкомат зимой сорок четвертого. Провожал его отец, который должен вернуться домой с упряжками оленей — другого транспорта в то время не было.

Пришло время расставания.

Они долго и молча смотрели друг на друга. Смотрели друг на друга и молчали. Им тяжело было расставаться. Им хотелось быть вместе.

В глазах отца-старика горькое сожаление: «Если бы я был не настолько стар...» — которое он так и не высказал вслух.

«До свидания, — сказал наконец отец-старик и пожал руку сына. — С удачей-здоровьем!»

«До свидания, — сказал и сын. — И тебе — удачи и здоровья!»

«Свидимся ли?..»

«Свидимся... ли...»

Упряжка старика отца скрылась в переулке. И тут только сын сообразил, спохватился вдруг, как многое не успел он сказать отцу. Многое, очень нужное...

Наверное, и отец не все успел сказать. Не все... Разве успеешь все!..

До весны вместе с другими охотниками Ефим проходил военную подготовку. А затем, после открытия навигации на Оби, с первым же пароходом мобилизованные отбыли в Омск, а отсюда — на фронт.

А война медленно, но верно откатывалась на запад, в сторону захода солнца. И Ефим, тяжело ступая, шел на запад. Словно он только для того и пришел в этот мир, чтобы вот так, падая и вновь поднимаясь, идти на запад. Шаг за шагом на запад...

Может быть, побелела его голова в тот миг, когда чудовище-танк со свастикой встал перед ним на дыбы. А у него в руках ничего не оказалось: последнюю связку гранат бросил несколько мгновений назад. Но танк был еще живой — скрежетал и судорожно дергался, пытался оправиться от удара, чтобы снова жечь и пережевывать все, что попадется ему на пути. Танк навис его сестрицей Карпьянэ, над братиком Колькой, над стариком отцом, над родовыми братьями и сестрами. Танк навис над его родным селением, над жителями его Реки, над многими и многими людьми земли. И Ефим почувствовал всем нутром — сейчас танк упадет на землю и раздавит его. Он осатанел от

* Неводник — большая четырехвесельная лодка, с которой забрасывают невод, неводят.

ярости — сами собой сжались кулаки, отяжелели свинцово и ноги понесли его к танку.

И время остановилось.

Он шел на танк. И пространство все уменьшалось и уменьшалось, и наконец в мире остались только
черный танк

и

человек.

Он ничего не чувствовал. Не слышал даже грохота боя, словно и его самого не существовало — остались лишь глаза, видевшие танк, да кулаки, что наливались свинцовой тяжестью. Он шел чуть ссутулившись, прижав локти к рваной гимнастерке. Он уже выкинул вперед руки — и тут из брюха танка выскочил черный фашист. Ефим машинально обхватил его выше пояса и так сдавил, чтобы навсегда выдавить из его черного нутра дух. Фашист повалился в сторону. И когда Ефим поднимался, его вдруг подхватил вихрь и последнее, что он увидел — это падающее навзничь чудовище-танк. Мелькнула мысль: успел-таки свалить.

Он видел все окружающее в двух цветах. Затем началась борьба — и черный одержал верх и проглотил человека. Ушли все другие цвета и звуки...

Ушли.

Ушли, а возвращались медленно, как бы нехотя, с трудом. И после госпиталя в сорок пятом он вернулся домой. Война не оставила на нем ни одной царапины, а от тяжелой контузии со временем оправился. И его вновь определили «почтовым человеком». Теперь, когда ему вручали запечатанные сургучом мешки, не требовали той поспешности в доставке, что в военные годы. Но все равно главным двигателем оставались мозолистые руки. И весло оставалось веслом. И перетаски — перетасками. И бечева — бечевой.

Если с ним отправляли людей командированных, пассажиров, то против течения применял бечевую тягу. Сначала учил попутчика или попутчицу, как нужно править кормовым веслом, а сам впрягался в лямку бечевы — дело привычное, пока руки отдыхают, пусть поработают ноги.

Ночевать приходилось там, где заставляла темнота, — либо на берегу у костра, либо в летних избушках рыбаков и охотников.

Возможно, побелела его голова не сразу, не в одно мгновение, а постепенно пробивалась седина. День за днем, год за годом, когда он терял близких. После смерти матери пришла новая беда. Настало время Кровавого Глаза.

Кровавый Глаз приехал рано утром, когда еще все спали. С ним переводчик и каюр. Он шумно ввалился в дом и поднял

всех. И остановил свой ледяной взгляд на старике Петре. Все поняли — на этот раз «врагом народа» стал дед Петр. Но это был не простой «враг народа». Дело усугублялось тем, что в давние годы указом чуть ли не самого царя Петр-старик был назначен старшиной этой Реки и якобы притеснял народ.

Кровавый Глаз кивнул переводчику и начал допрос:

— Старшиной был?

— Был.

— Царю проклятому служил?

— Выходит, так: служил...

— Грамоты царя проклятого получал?

— Были какие-то бумаги.

— Где они?

— Так истлели давно.

— Народ притеснял?

— На-род... — медленно повторил старик, словно взвешивая это слово, и, помолчав, глухо сказал: — Это... у народа спросите.

— Сам знаю — у кого спрашивать! — рявкнул Кровавый Глаз.

Про старика говорили, что он был хороший старшина: сам жил и другим жить давал. Охотники уважали его за житейскую мудрость и справедливость. Иначе, не обладая он всем этим, его не назначили бы старшиной. Но грозный районный Начальник «С Маленьким Ружьем»* все повернул по-своему: а для кого он был хорошим?! Для старого режима?! Если так, значит, он совершенно не годится для нового. Нет ему места...

— Поедешь со мной! — выдал переводчик приговор.

— За что? — спокойно спросил старик.

— Служил старому режиму, а еще спрашивает — «за что?», — хихикнул Кровавоглазый. — Радуйся, что не было в роду шаманов и князей! Не то бы... — и он не договорил, только выразительно дернул острым подбородком.

— В старое время все царю служили. Весь народ, — сказал старик Петр. — Теперь всех надо убивать, да?! Весь народ?!

— А хоть бы и весь... — осклабился Кровавоглазый и, вытащив портсигар, закурил.

Выдохнув дым, он лениво добавил:

— Сам знаю, кого первым...

Избушка затаила дыхание. Даже собаки на улице притихли. Дед Петр молча начал натягивать старые кисты. Было слышно, как тяжело сопел безногий Галактион, который вез сейчас этого большого Начальника.

— Ну, ты... шевелись! — вдруг закричал Кровавоглазый.

* «С Маленьким Ружьем» — с пистолетом.

Старик будто не слышал его — натянул кисы и неспешно стал подвязывать их. Выпрямившись, он тихо попросил сына Андрея:

— На пастбище сходи. Оленей домой пригони.

— Стой! — крикнул Кровавоглазый. — Стой!

Все головы повернулись к нему. А он смерил взглядом Андрея с ног до лица, помолчал, что-то прикидывая. Наконец кивнул на своего переводчика, обского ханты, четко, как приказ отчеканил:

— Пойдешь с ним!

Переводчик тотчас же вскочил и направился к двери. За ним вышел сын старика Андрей. Безногий Галактион — правая нога не разгибалась в коленном суставе, — немного помедлив, тяжело поднялся и, громяхая набалдашником костыля, поспешил на улицу.

Один Кровавый Глаз продолжал сидеть неподвижно.

Курил.

Дед Петр очень медленно собирался в дорогу. Искал что-то на широких полках передней стены. Мимоходом задвинул подальше в угол соскобленную для подволока лошадиную шкуру. Старые подволоки* износились, мех на них обтерся — нужны новые. Не успел вот только доделать...

Кожаный аркан сколько плел — тоже вот не успел. Сажени три-четыре осталось до конца. Это для сына Андрея. У него, у Андрея-то, грешным делом, арканы «слабые» получают. Не арканы, а простые веревки. На оленя не идут. А этот аркан в меру упругий, в меру легкий, не путается зря. В любую погоду — в осеннюю ли слякоть, в зимний ли холод — одинаково хорошо идет на оленя. Дед Петр еще в молодости начал плести такие арканы, а вот сына не научил этому делу. Доплетет, конечно, аркан — нужда заставит. Но доплетет «веревкой»... А вот наконечник стрелы на выдру. Давно уж взялся вытачивать, да напильник старый, плохо берет металл. Это один из самых сложных наконечников стрел — с открылками и ушком для прочной веревочки. Неопытные охотники затачивают открылки с обратной стороны, что ни в коем случае нельзя делать. Зверь рванется — бечевка натянется, и стрела может выскочить. И ушко нужно оставлять примерно на расстоянии указательного пальца от острия. Больше оставишь — плохо. И меньше оставишь — тоже плохо. Об этом, кажется, говорил сыну Андрею. Доточить тут осталось самую малость. А на древко уж знает, как насадить. Ничего тут сложного нет. А насторожит лук-самострел на болотных верховьях Большого или Малого Пева. Места выдровые — сын знает их.

Старик Петр будто взвесил на ладони наконечник и по-

* Подволоки — охотничьи лыжи, которые снизу подклеиваются, «подволакиваются» шкурой лошади, выдры или лосиным камусом.

ложил на видное место на краю полки. Это не дерево, подумал он. Не сгниет. Сын поохотится, а после стрела перейдет внукам Ефиму да Кольке — будущие охотники подрастают. А потом, может быть, и их дети по охотничьей тропе своих предков пойдут.

Затем он поправил ружье, что лежало на перекладинах-шестах. Прикоснулся к потертому подсумку для патронов, тронул крышку корневатика*, в котором хранились порох, дробь и мелкие инструменты охотника. Открывать не стал — и так времени в обрез. Да разве успеешь в последний миг прикоснуться ко всему тому, что создано твоими руками за долгие годы жизни на этой земле?! Разве возможно объять необъятное?! Все эти черные урманы, сосновые боры, мшистые болота, перевитые твоими тропами-дорогами, на которых остались светлые и горькие дни и годы твоей жизни. Долгие и недолгие реки, большие и малые озера, таежные ручьи и родники, что поили тебя своими водами. Все это будет жить в памяти до последнего мгновения, до последнего вздоха. И, сидя в темной зловонной камере в ожидании своей участи, он будет вспоминать свою таежную землю, и это станет единственной его отрадой. Единственная отрада — человеческая память, уводящая пусть и в прошлое. Мысль его начнет свободно бродить по сердцу милым урманам, борам, болотам. По рекам и озерам, по ручьям и родникам. Мысль поведет его по пройденным когда-то по этой земле тропам и дорогам к началу жизни. И, пройдя через судьбы многих людей — родственников и знакомых, — он вдруг ужаснется. Ужаснется тому, как далеки и как близки они — начало жизни и конец жизни.

Будто жил и не жил на этой земле. Будто многое сделал, а будто бы ничего не успел сделать. Многое, может быть, в жизни следовало повернуть не так, а по-иному. Но теперь уже сошлись вместе начало и конец, и ничего нельзя изменить. Да и нужно ли что-то менять? О чем-то сожалеть? Ведь главное в том, что он после себя не оставил людям и земле никакого зла. Зло рождает зло.

Но после него не родится зло.

Ничего плохого на земле он не посеял.

Это он знал твердо. В этом был уверен до конца. Но этого никак не объяснишь Кровавому Глазу с маленьким ружьем, ибо тот ничего не поймет, просто не захочет ничего понять. Если бы даже случилось чудо и что-то до него дошло бы вдруг, пусть не все, а частично, то он все равно остался бы прежним и продолжал бы делать свое дело не спеша и хладнокровно, упиваясь своей безграничной властью. Безграничной властью и своей непогрешимостью — в те годы, кроме него, редко кто

* Корневатик — плетеная коробка из кедрового корня и лент молодой черемухи, цилиндрическая или продолговатая по форме.

заглядывал в эти отдаленные края. Настало время Кровавого Глаза — самеринское время. По всей округе трудно отыскать семью, которой не коснулось бы это время — бессмысленное и черное.

Он был многолик. Прозывали его по-разному: «Самерин», «Тот», «Нечистый Дух», «Йимпесиот»*, ибо он вездесущ, мог в самом неожиданном облике всплыть и тут, и там. Мог нагрянуть днем и ночью, поздно вечером и рано утром. Мог свалиться на голову и летом и зимой, и осенью и весной. Он мог все. Он незримо присутствовал всюду. Он все видел и слышал. Он знал, о чем думал каждый человек. Но этого мало. Он знал, о чем думает народ. Он никогда не ошибался, его не мучила совесть — вершил свое дело легко и бездумно. В каждый приезд он увозил с собой «врагов народа» — от трех-четырех до десятка человек. Он говорил человеку: «Поедешь со мной». И человек садился в облас или нарту и ехал за Начальником, полагая, что в районе разберутся и отпустят домой. Поскольку никто и ни в чем не чувствовал за собой вины. Никто не думал и не пытался бежать или сопротивляться. В каждом жила надежда на спасение. Но из всех, кого он увез, вернулись только двое: Ефрем-старик с среднего течения реки и Александр-старик с Ягурьяха. Многие и многие сгинули бесследно. Не было даже обычных извещений о том, что умерли «от сердечной недостаточности», ибо «совершенно не переносят неволю» и мрут как мухи. Сгинули бесследно, словно и не жили никогда на этом свете...

Старый Петр-старик понимал умом, что главное не в Кровавом Глазе. Тот просто является слепым придатком времени. Все дело во времени. Кто-то упустил из рук время. И это время встряхнуло темные силы человеческих душ — и пошло! И поехало!.. Но время преходяще. На смену одному году приходит другой год. И на землю ступает новое поколение, которое всегда чуть-чуть человечнее, чем предыдущее, — и все начинает и продолжает по-своему. И может быть, все делает чуть-чуть лучше, разумнее, чем ушедшее поколение. И возможно, на этом и держится жизнь земли и жизнь Вселенной. Во всяком случае, как показалось старому охотнику, на этом держалась жизнь его рода и всех окружающих людей.

В сырой промозглой камере, размышляя о прошлом и преходящем времени, об улетающих надеждах на будущее и настоящее, он обнаружит: человека можно лишить всего, но нельзя отнять у него память. Человека можно унижить, уничтожить, превратить в ничто, но с его памятью ничего нельзя сделать. Память не заключишь в камеру, ничего ей не при-

* Йимпесиот — приблизительно переводится так: «Чудовище, неподвластное богу и человеку, неподвластное никаким добрым силам Неба и Земли».

кажешь и никуда ее не повернешь. Вот тут бессилен и Кровавый Глаз.

Между тем Кровавоглазый докурил папиросу, выплюнул окурок на пол и теперь сидел неподвижно, уставившись куда-то в пространство. То ли задумался о чем-то, если у него еще была способность мыслить, то ли разморило его в тепле после бессонной ночи. Казалось, он ничего не видел. Но когда старик Петр подпоясался кожаным ремнем и по привычке поправил ножны на правом боку, Тот, не меняя позы, вяло сказал:

— Снять.

Старик молча отстегнул ремень и молча же отвязал ножны из светло-желтой кости. Подержал ножны на левой руке, затем переложил на правую. Притронулся к рукоятке ножа из темного березового капа и, помедлив, положил ножны возле внука Кольки. Теперь на ремне с левого бока остался лишь украшенный орнаментами меховой кисет-подсумок.

— Что там? — по-прежнему равнодушно спросил Тот.

И старик открыл подсумок и выложил на стол кремь и огниво, завернутые в кусок трута и перевязанные ниткой. Затем вынул костяную застежку для упряжных ремней, моточек прочной бечевки для насторожки лука-самострела, три небольших гвоздика, брусочек и пучок белой стружки — цихеп*, куда обычно вкладывают затлевший трут и размахивают им до тех пор, пока не вспыхнет пламя. После вытащил кусок кожи с двумя иглами — одна для шитья меховой одежды, другая для ткани — и нитки из оленьих сухожилий.

Тот сделал едва заметный знак «убирай». И старик все сложил аккуратно в подсумок, все, кроме огнива и кремня. Долго смотрел на них, словно припоминал, сколько костров разжигали его предки этим серым камешком и куском стали, сколько они дали людям тепла и жизни. И вот настало время — и они переходят к другому поколению. И он молча положил кремь и огниво возле внука Ефима. И все. И погас огонь его очага. Погас преждевременно. Погас неожиданно-негаданно. Погас в тот миг, когда он не ждал этого, он не был готов к такому концу. Убит огонь его древнего очага. Убит огонь. Убит очаг. И Кровавоглазый, словно уловив это неуловимое мгновение, вдруг встрепенулся, и голос его приобрел былую металлическую твердость — выстрелил словом:

— Прощайсь!

Старик уже выиграл нужное ему время и внешне спо-

* Цихеп — мягкие тонкие стружки-ленты, соскабливаемые острием ножа с мерзлого ствола березы или тала в морозный день.

койно принял слово-выстрел. Подпоясавшись, он расправил складки на малице, выпрямился и лишь после шагнул к старой сватье, бабушке Ефима, которая сидела на малых нарах.

— Я, йим улэм*... — сказал старик глухо. — Хорошо живите...

Бабушка встала и протянула руку. Он не видел ее лица под платком и никогда уже теперь не увидит — они соблюдали обряд избегания**. Взяв ее руку, он наклонился и поцеловал тыльную сторону кисти.

— Йим... улэм... — с трудом проговорила бабушка и поцеловала и его руку, которую надолго задержала в своей.

Теперь он подошел к внучке Карпьянэ. Она после смерти матери постоянно сидела в «нижнем» — ближнем к очагу — углу дома, где было место хозяйки. Дед осторожно взял ее обеими руками за голову и, чмокнув в правую щеку, тяжело вздохнул:

— Йим улэм, ицек мокилэм***...

Карпьянэ замерла, не дышала. Она ничего не могла сказать — глаза набухли не по-детски тяжелыми слезами. Слезы не скатывались по щекам, они стояли в глазах. И вместо глаз остались одни слезы — все увеличивающиеся мутные шары. Мутные, беззащитные, ничего в этом мире не понимающие... Дед поспешно отвернулся от нее, поспешил к внуку Ефиму, поцеловал его в щеку и медленно провел рукой по головке, сказал приглушенным, почти перешедшим на шепот голосом:

— Йим улэм... Йим улэм...

И заерзал Ефим, забеспокоился под тяжестью нависшей над домом беды. Он сидел босиком, а теперь нужно было обуться и непременно выйти вслед за дедом на улицу. Ему показалось, что если он успеет проводить деда на улицу и успеет сказать что-то значительное и важное этим пришедшим людям, чего они не знали и не понимали раньше, до его слов, до его голоса, до его крика, и если он успеет, то все-все станет хорошо, он отведет беду. И люди, они же не звери, они же разумные существа, — поймут друг друга. Они должны понять друг друга, на то они и люди. И тогда эта напряженно-жуткая тишина, прерываемая скупой прощальными словами деда, треснет, и уйдет, и скроется за старыми мудрыми соснами, окружившими дом. Но кисов не было, запропастились неизвестно куда. А голыми пятками ни в коем случае нельзя оскорблять белый снег, говорила покойная мама. Может новое несчастье прийти в дом...

* Я, йим улэм... — Ну, до свидания...

** Обряд избегания соблюдался между определенными родственниками, и мужчинами и женщинами: обращались друг к другу только на «вы», запрещалось употребление грубых и нецензурных слов, возбранялись ссоры. Вместо имен — термины родства и т. д.

*** Йим улэм, ицек мокилэм... — До свидания, дитенок мой...

А дед уже держал в руках люльку, где, наклонив голову на правый бочок, спал внук Колька. Дед поцеловал его сначала в левую, потом в правую щеку. И мгновение молча держал его перед собой — замерев, смотрел на спящего малыша. И в последний раз прижался потрескавшимися губами к ребенку и выпустил люльку.

С малышом он прощался молча.

Малыш не просыпался и поэтому тоже молчал. Лишь во сне тихонько посапывал носиком.

Дед медленно, охватывая все и в то же время ни на чем не останавливая взор, повернулся по солнцу и тихим ясным голосом оставил пожелание:

— Хорошо живите...

И, не оглядываясь, шагнул за порог.

И в последний миг, уже за порогом, его догнал крик проснувшегося малыша...

Вслед за ним вышел Кровавоглазый.

Упряжки уже были готовы в путь.

Старик поцеловал сына Андрея в щетинистую щеку и, глядя ему в глаза, нахмурившись, сказал:

— Не ждите, — и легонько оттолкнул сына. — Он не тронет вас после меня...

Он не договорил до конца.

— Как не ждите?! — обалдело перебил сын.

— Не ждите! — жестко повторил отец. — Стар я. Свое отжил.

— Как отжил?! — переспрашивал сын. — Как?!

— Вам нужно жить... — сказал отец и обвел взглядом подступившие к коралю сосны, рыбы сарай, собачьи конуры, оленей и дом. Оглядев все это, он выпустил руку сына и тронул упряжку.

Рванулись олени. Впереди ехал безногий Галактион со своим пассажиром С Маленьким Ружьем, за ними дед Петр, замыкающим был переводчик.

Сын застыл посреди кораля.

Протяжно взвыла лайка старика. Ее вой тут же подхватили все собаки.

Из зимовья выскочил Ефим.

— Деда-а-а, ты ку-да-а-а?! — полетел вслед упряжкам его запоздалый крик. — Погоди-и-и!..

Упряжки мчались прочь. Спины седоков мелькали вдали за деревьями.

И вслед деду еще раз рванулось отчаянное:

— Погод-ди-и-и!..

Крик, путаясь в соснах, покатился по снегам на запад и, ударившись о черту заката, умер там. Умер, поскольку за этой чертой нет ни звуков, ни людей, ни жизни. И за эту черту заката солнца увезли деда. За этой чертой умирают звезды, умирает луна, умирает солнце. Все они бессильны против этой

черной пустоты. Но, может быть, человек сильнее звезд, сильнее луны, сильнее солнца?.. Может быть, человек все-таки сумеет преодолеть когда-нибудь эту ужасную пустоту за чертой заката?.. Преодолеет ли дед Петр эту черную бессердечную пустоту?..

Об этом много размышлял Ефим, уже став Седым. Может быть, все же преодолел. Преодолел, умерев. Преодолел, обрубив все нити, ведущие в будущее. Преодолел, чтобы ни у кого и ни в какие времена не нашлось повода для разрыва родственных связей близких ему людей всей земли. Он умер не в камере. И умер не от «сердечной недостаточности», что было причиной ухода из жизни многих людей в те годы. Он умер на свободе. После многочисленных допросов с пристрастием, очных ставок и изнурительных ночей в глухой камере его отпустили. Возможно, против него нашлось мало улик. Возможно, всех поколебала его непреклонность: того, что было, не отрицал, а чего не было — не признавал, потому что не хотел уходить из жизни с тяжким коробом лжи, хотелось до самого последнего мгновения остаться человеком. А возможно... те, кто решал его судьбу, просто увидели, что от старика будет мало проку, и поэтому открыли двери камеры на вечерней заре и сказали ему: «Иди». И он вышел из камеры и увидел небо. Увидел бледное вечернее небо своей земли в кровоподтеках зари и в синяках сгущающихся туч. Увидел рваное потрескавшееся небо. Но это было небо его земли. Это была свобода. Это была правда. Восторжествовавшая правда. Это был последний шаг по жизни. И он медленно побрел под этим небом по грязным улочкам райцентра. Шел так медленно и долго, что успел заново прожить всю свою долгую жизнь с ее горестями и радостями, успел встретиться и проститься со всеми, кого когда-либо видел на своем пути, с кем был знаком и с кем не был знаком. Ведь все это были люди... Живые в его памяти люди, без которых немыслима жизнь на земле. И он все шел, встречаясь и прощаясь с людьми. И шел до тех пор, пока не посыпались на него удары. Он закрыл лицо руками и, остановившись, выпрямился. Удары падали со всех сторон. Он принимал их молча. Не издал ни звука. Кровь перебитого пальца заливала правый глаз. А он все молчал. И стоял. И удары сверху давили его вниз. И он становился все ниже, словно его вколачивали заживо в землю, но он не падал. И удары от этого стали еще ожесточеннее. Он все молчал. И даже когда померк белый свет и все кончилось, он еще несколько мгновений стоял, не хотел падать...

Жулье забило старика поленьями... как «врага народа»...

На грязных кривых улочках райцентра.

На другое утро его опознали без труда: лицо он сохранил человеческим...

И эта весть медленно, ночуя у дымных костров, пробираясь по заросшим травой волокам-перетаскам, налегая на кремневое весло на яростном стержне, по нескольку дней задерживаясь в селениях рыбаков и охотников, поднималась вверх по Реке. И наконец добралась до тех пор, для кого главным образом предназначалась. И Ефим отчетливо увидел этот последний душераздирающий миг в жизни деда. Может быть, в это мгновение его волосы тронула седина.

Видно, перегоревший пепел седины оставила и сестричка Карпьянэ. Она, вырастив братьев, вышла замуж за охотника отдаленной Реки и уехала. И ушла...

Может быть, седина пришла к нему позже, в тот год, когда брат Николай, выехавший погостить к родственникам своей жены в соседнюю Реку, скоропостижно скончался там от какой-то неведомой болезни, осиротив девочку и мальчика.

Отец, не пережив смерти близких, перебрался на родовое кладбище.

Каждый уходивший родственник оставлял на голове Ефима горькую отметину. И эта отметина напоминала, что судьбой предопределена ему, быть может, самая тяжкая участь человека на земле — жить за всех, кто не дожил до положенного срока, кто оставил на этом свете много непрожитых дней. И оттого, возможно, не сумела раздавить его черная гробовина танка на фронте в сорок четвертом году. Ему нужно было жить за всех преждевременно ушедших людей.

Уходили родственники, уходили люди...

Седела голова Ефима, и стали звать его Седой...

Ни у кого по всей реке не было такой огромной белой головы...

«Одна голова Седого осталась, — говорили люди, подразумевая эту ветвь медвежьего рода. — Все ушли в потусторонний мир».

«Один череп моей головы остался», — соглашался Седой и вздыхал.

Дома бывал он редко, все почту возил — все время в пути. Легче было среди людей. И постоянное движение, словно порыв ветра в летний зной, приносило необъяснимое облегчение. Дорога всегда влекла куда-то вперед, в неведомое. Да и к чему дом, если там никого нет. Некому поддерживать огонь в очаге.

«Когда же ты жениться надумаешь? — спрашивали люди. — По всей реке столько невест! Сватов можно засылать, куда душа пожелает». — «К чему жена, коль меня дома не бывает», — отшучивался Седой.

Но молва поведала, что он любит возить на своем обласке хорошеньких попутчиц-пассажирок. В таких поездках ночь за-

стает их почему-то не возле рыбацких становий и селений, а далеко от них, утверждала молва. По этой причине вроде бы и обзаводиться семьей не спешил.

«Седой знает дело!» — говорили злые языки, намекая на его попутчиц.

«А кто не любит их, хорошеньких попутчиц?! — оправдывали его другие. — Найдите таких!..»

Но таких, однако, не находилось.

Ходили слухи, что увезла его сердце в большой и дальний город какая-то отчаянная красавица, с которой он плыл на одном обласе с Верхнего до Нижнего села. Не то учительница, не то метеоролог с метеостанции, не то ревизорша какая-то. Уехала она и увезла сердце своего попутчика. Ищи — не ищи, а где ее отыщешь. Много на земле городов и сел, до которых не доберешься на легком обласке с кремневым веслом. Может быть, все это и к лучшему. После этой красавицы, отметила молва, Седой, кажется, остепенился малость.

Но пришло время — и он женился. Правда, жену привез издалека, чуть ли не с самого районного центра, с реки с загадочным названием Мауг. Она родила ему трех дочерей и двух сыновей. Мал мала меньше.

Жил с женой дружно, душа в душу. «Между ними вода не пройдет, жир не просочится», — говорили люди.

К этому времени его заменил летом замасленный почтовый катерок, который ходил из районного центра на Оби до Верхнего села раз в неделю или в декаду. Теперь он возил почту только зимой на оленях, на пару с безногим Курпелак Галактионом. А вскоре, к концу шестидесятих годов, по почтовой линии Седой получил полную отставку — почту начали доставлять рейсовые самолеты и почтовые вертолеты. Седой вернулся на тропу охотника, на промысел зверя и рыбы. Но в колхозе как-то не прижился. Вначале все шло хорошо: добычи хватало и на прокорм семьи, и на план. Но потом все изменилось: на котел добывал, а на план уже ничего не оставалось. И на промысловую тропу стал выходить не так часто, как раньше. Теперь с каждым годом все реже и реже вставал по утрам до зари.

Война чем дальше уходила в глубь времени — тем ближе подбиралась к нему.

Если ему ночью снилась вздыбленная громадина фашистского танка, то утром он просыпался от нестерпимой головной боли. И весь день уже ничего не мог делать, все валилось из рук. Специальным широким шнуром он накрепко обвязывал голову — и боль немного притуплялась. И он просил у жены круто заваренный чай. А если это случалось в поселке, он отправлял своих домашних в магазин за напитком более крепким, нежели чай. Напившись, он забывал о боли — становилось немного лучше. Сидел и пел песни или пускался в пляс,

прихлопывая в ладоши. В зависимости от того, сколько он принимал. Никого не трогал, ни к кому не лез. Только пел и плясал.

Когда все старики перемерли, он остался единственным певцом народных песен. В свои лучшие годы, когда не досаждала головная боль, мог один «медведя плясать» — исполнить несколько сотен обрядовых песен в четыре или пять условных дней Медвежьего праздника*. Сколько песен, сколько мелодий он знал — никто не считал. Сколько знал мифов, сказаний, легенд. Удивлялись люди, ибо талант всегда вызывает удивление.

Но в День Победы он пел только одну песню. К полудню, покачиваясь, Седой выходил на улицу. И, будто в нем был сверхчувствительный компас, становился лицом строго на запад. Сжатый кулак правой руки прикладывал к груди и, сжав несуществующий ремень боевой винтовки, с песней «По военной дороге...», которую пел на фронте будучи ротным запевалой, размахивая левой рукой и стараясь по-военному чеканить шаг, пускался в марш. Четко и правильно выводил слова и мелодию песни. Между куплетами подавал себе отрывистые, резкие команды. Кончалась песня — он начинал ее сначала.

В любую погоду — в дождь, в слякоть, в стужу. Маршировал строго на запад. Маршировал до тех пор, пока его не останавливали.

— Он того... шуруп какой-то потерял на войне, — посмеивались одни, покручивая пальцем у виска.

— Молиться надо на него, люди... — говорили другие, провожая его печальным взором.

Но невзирая ни на что, он шел на запад и пел. Шел и пел. А на голове его возвышалась копна белых волос — Седой.

На почтительном расстоянии его сопровождала жена с детьми. Она изредка подходила к нему и коротко говорила:

— Война давно кончилась. Домой возвращайся...

Он не видел и не слышал жену. Но чем дальше, тем настойчивее жена напоминала ему о конце войны. Наконец жена попадала в поле его зрения, а в сознание смутно пробивались ее слова.

— Разве? — бормотал он недоверчиво. — Разве война имеет конец?!

Седой...

Как вечный укор всем прошлым, настоящим и будущим войнам земли, как незаживающая, постоянно кровоточащая рана последней, Отечественной, пулей ввинчивалась в горизонт его песня...

И в глазах его стояли до сего дня невыплаканные слезы...

* Праздник в честь медведя с песнями, танцами, сценками из жизни ханты, играми и спортивными состязаниями.

Демьян, хорошо знавший историю этой ветви Медвежьего сира, часто размышлял о Седом брате. Размышлял и всегда поражался силе человеческого духа, силе человеческой любви к жизни. Казалось, вот согнули человека в рог, вогнали поленьями в землю, сломали, — ан нет! Смотришь, выпрямился, разогнулся и снова живет, снова обрел способность мыслить, видеть людей и природу, вдыхать запахи родной земли. По-прежнему он остается бесшабашным большим ребенком. И вновь охватывает мир глазами седого младенца. И под этим взором люди либо светлеют лицом и улыбаются, либо отворачиваются и спешат прочь.

Живут на земле люди, непохожие друг на друга. Живут по-разному, мыслят по-разному. И на Седого брата смотрят тоже по-разному...

Демьяну показалось, что от его мыслей все тяжелеет нарта и олени уже тянут ее с трудом. Доехав до хорошего ягеля, распряг упряжку и на веревках пустил оленей на кормежку. Затем возле нарты резгреб снег до земли и развел костер, разрубив на дрова смолистую сосну-сухару**. Березовой лопаточкой-выбивалкой набрал в закопченный котелок снега из нижнего слоя и повесил над огнем. Пока вскипала вода, кедровой лопатой разрыхлил и разбросал снег перед оленями, чтобы им легче было добраться до ягеля.

Во второй половине зимы, когда снег становился особенно глубоким, в дальний путь он всегда брал эту легкую лопату — помочь оленям и погреться самому. А лопата была, как выражались ханты, «с глазами-ушами». Так говорят о вещах, которые смастерил человек, ушедший из Среднего мира. Человека не стало, а все, что он оставил после себя, обретае «глаза и уши» — сохраняет для потомков «взор и голос» своего хозяина. Такие предметы и вещи берегли особо. И когда у Демьяна треснула лопата, он взял пур* и, просверлив дырочки вдоль трещины, старательно «зашил» ее кедровым корнем. Еще долго она будет служить роду охотника... Эту лопату выстрогал отец в год отъезда на фронт. И Демьян, притрагиваясь к лопате, чувствовал тепло отцовских ладоней, видел его глаза, слышал его голос...

Дневную кормежку и подкопку снега многие охотники не признавали. Но Демьян все делал по-своему — на то были две

* Сухара — высушенное на корню дерево.

** Пур — хантыйское сверло.

причины. Первая — в силу слишком развитой интуиции он болезненно воспринимал все боли и печали оленя и не мог поднять хорей на усталую и голодную упряжку. Не вправе был делать это. Вторая же причина в том, что в пору глубокого снега и сильных морозов олени быстро «теряют тело». А неокормленные — вдвое-втрое быстрее! Отощавший олень не то что нарту тянуть, свое тело не может поднять. Когда выбьется из сил, ложится прямо на дорогу и уже не встает. Про таких оленей скажут: «Костный мозг порвался». То есть вконец отощал, «лег». Поэтому, если не следишь за оленями, не покормишь их вовремя — так весной хоть сам в нарту впрягайся. Если оленей много, и забот нет — вернулся с дальней дороги, неделю-другую усталых оленей не трогаешь, отдых им даешь. А тут приедешь из поселка, на следующий день надо капканы или морду проверить, опять тех же оленей нужно запрягать. Раньше в зимние короткие дни никакие чаи не варили, охотник привык есть дважды в день — утром и вечером после охоты. Начнешь чаи гонять, так и моргнуть не успеешь, как сумерки уже надвинулись, как след зверя упустил, как мушку на ружье потерял. А теперь все надо учитывать, ничего нельзя упускать. Верно говорит пословица: тише едешь — дальше будешь.

Пил чай неторопливо — пусть олени поедят как следует, теперь до позднего вечера, до самой ночевки не увидят ягель. После еды он завернул котелок в мешочек, почистил от наледи полозья, собрал и поставил под сосной дрова, чтобы не занесло снегом и не отсырели. Пригодится это кострище еще какому-нибудь замерзающему путнику. Потом присел на шкуру-подстилку сиденья и, пригнув черную кучерявую голову, раскурил трубку. Сквозь сизый трубочный дымок он видел призрачные силуэты оленей, словно они из дыма и вот-вот должны раствориться и улететь в низкое хмурое небо, куда ушел и самолет, что привез пузатые бочки на Родниковое озеро. Но мысль о бочках тронула внутренний огонь, огонь острия стрелы, направленной на его зимовье. Хотя за обедом он выпил вдвое больше чая, чем обычно, но огонь все равно сушил своим пламенем нутро, и ему стало еще тоскливее и горше...

У него было такое ощущение, что он стоит под стрелой самострела — одно неверное движение — и он заденет нить-насторожку, и тугая тетива выпустит стрелу. Одно неверное движение. Хотелось избавиться от этого тягостно-мучительного ощущения, хотелось отвлечься от этих мыслей. И он заговорил с важенкой Пирни, что была в упряжке средней, между вожакom и пристяжной Пеструхой.

— Ты уже наелась? — удивился он. — Ты уже легла?.. Ты плохо кушаешь, Пирни. Поэтому и сила твоя совсем небольшая, поэтому и нарту плохо тянешь...

Недаром важенку называли Пирни — это маленькая уточка Чирок. Какой навар с чирка? Никакого навара. Но, однако же, это птица нужная Небу и Земле. Хоть и маленькая, но нужная. Без нее, значит, Земля не может обойтись. Вот и Пирни, важенька нужная. Какой ни есть, но олень. Олень с глазами, с ушами, с руками-ногами*. Олень. Каждый олень, как и человек, очень похож на свое имя. Да, недаром она получила такое имя — Пирни...

— Ты посмотри на свою маму, на Пеструху, как она ест! Но Пирни не поворачивала голову. Видно, не впервые слышит такие слова.

— Не смотришь, тебе стыдно. Пеструха вон как ест — поэтому она такая крепкая и сильная. По силе-то она вожаку Вондыру не уступит. Не смотри, что она важенька, а Вондыр есть бык...

— Чуть ли не вся Река от верховья до низовья слыхала про нашу красавицу Пеструху, — внушал он непутевой Пирни. — Какие у нее рога — мало таких красавиц. Не у всякого хора есть такие рога. Считай, почти вся Река знает ее в лицо. Не потеряется Пеструха даже без метки. Знают ее охотники и оленеводы. Ну, рога-то ладно. Вот весной она олененка принесет. Такого же веселого и крепкого, как и сама. Вот и сынок ее Пев, который дома остался и очень с нами просился, такой же озорной и быстрый, как и мама. Все ее дети большие и здоровые. Только ты вот, Пирни, в кого такая уродилась? Не в мать, конечно. В отца, наверное, уродилась такая...

Он помолчал, подымял трубкой. Потом припомнился тот год, когда появилась Пирни на свет:

— Может, и время виновато, — в раздумье проговорил Демьян. — Ты в тяжелое время родилась. Ты в тяжелый год родилась. В тот год, когда твой старший брат, Бежавший Озером, погиб. Вот тоже олень был. Всем оленям олень!.. В тот год и Пеструха была особенно плоха. Я все думал, выживет или не выживет. Много думал. Жалко ее было. А брат твой, Бежавший Озером, погиб. Прежде времени погиб...

Теперь надолго замолчал Демьян. Видно, размышлял о судьбе Бежавшего Озером. В его памяти до мельчайших подробностей сохранилась жизнь всех оленей, всех охотничьих и оленегонных собак, с которыми немало троп и дорог проторил по тайге и тундре. Да разве забудешь их, если они были с тобой, помогали тебе в самые трудные, в самые тяжкие дни и ночи в твоём нелегком пути по земле?! И в отличие от людей они никогда не обманывали и не подводили человека, не оставляли в беде. И в войну, вместе с воинами-каюрами, олени сражались на фронте. У соседей, на ненецкой

* У всех домашних и диких животных передние ноги (или лапы) ханты называют руками, а задние — ногами.

земле, формировались тогда оленье аргиши и отправлялись на Карельский фронт. На Севере, где не могли проехать на машине и лошади, пускали оленью упряжку. И там, рядом с солдатами в малицах, погибали и предки Бежавшего Озером...

И припомнилась Демьяну та весна, когда родился Бежавший Озером...

8

На южной окраине бора, на солнцепеке, где появились первые проталины, Демьян увидел махонького ушастого олененка. Прикрыв огромные лиловые глаза, подставив солнцу коротенькую мордочку, он покойно дремал. Благодатные лучи весеннего светила, согревая, укрепляли хилое тельце дитя оленихи Пеструхи. Она стояла возле своего сына и недоверчиво, высоко подняв голову, смотрела на хозяина. Демьян понял ее тревогу и, немного потоптавшись, еще раз глянув на олененка, отступил в кусты — нечего их беспокоить — и направился в сторону дома.

Он шел по весеннему гулкому утру, и на душе было радостно и светло. И свет, и радость сегодня ему доставляло все. И щедрое солнце, и то, что Пеструха рано отелилась: до тяжкого времени комаров и паутов ее сын окрепнет — и тогда ему легче выжить. И то, что Пеструха такая заботливая и чистоплотная мать — вон как старательно вылизала свое дитя, вон как тревожится за него. Ни на шаг не отходит. Да и нрава она хорошего. Доверяет человеку, доверяет своему хозяину, хотя и боязно ей, наверное, за малыша.

Сегодня оленей домой он не пригнал, чтобы не беспокоить отелившуюся важенку. Если захотят — сами придут.

В избушке он отряхнул снег с кисов, снял малую малую. Жена Анисья поставила ему маленький столик с завтраком, налила чай. И только выпив первое блюдо, Демьян сообщил новость:

— Ну, жена, Пеструха положила.

— Да ну! — удивилась Анисья. — Так рано! Ведь только первые проталины появились!

— Сам не ожидал. Думал, в Весеннее Селение успеем перекаслать.

— Я тоже так думала.

— А теперь придется немного повременить. Пусть олененок малость окрепнет.

— Какого пола — мужского или женского?

— Близко не подходил. Пеструха сердилась. По-моему, все-таки мужского пола, — ответил Демьян. — По-моему, сын.

— Значит, у Пеструхи сын, — проговорила Анисья. — Ладно, сильный олень тоже нужен.

Оба понимали, что в малооленном хозяйстве больше нужны важенки. Они приплод дадут. Да что теперь поделаешь — рады любому прибавлению в стаде.

Тут, услышав разговор про Пеструху и олененка, проснулся малый Юван, Айи. Накинув сак — меховую шубу, он выскочил к очагу и радостно закричал:

— У Пеструхи сын? Какое имя дали ему? Какое имя?!

— Имя?! — переспросил Демьян и, взглянув на сына и жену, предложил:

— Ну, так придумайте имя! Как без имени? Без имени нельзя...

— Хорошее имя ему нужно дать, — согласилась Анисья. — Чтобы хорошо ему жилось!

Сын Юван перебрал все оленьи имена. Но ни одно из них не подошло для олененка. Как тут подберешь, коль не знаешь характер и повадки того, для кого предназначалось имя. Так ничего и не придумали. Просто называли его Пеструхи сын или Олененочек.

К вечеру Демьян снова навестил Пеструху с олененком. Тот уже поднялся на ноги и, забавно задрав коротенький хвостик, сосал молоко. Мать ласково облизывала его, приглаживала шерстинку к шерстинке.

На третий или четвертый день Пеструха привела своего малыша к избушке. Малыш оказался очень любопытным: тыкался мордочкой в нарты, в бревенчатую стену сенок, в висевшие на корале мешки и ременную упряжь, лез к добродушному псу Харко в деревянное корыто с остатками рыбьих костей и уши, молотил копытцем по металлическому тазу. Словом, знакомился с домом, с хозяйством, познавал мир. Юван, словно завороченный, следил за каждым шагом олененка и все бормотал:

— Во что делает!.. Во что делает!..

Его восхищению не было предела.

Вышла на улицу и Анисья. Олененок ей тоже понравился, и она сказала мужу:

— Слови! Что смотришь...

— Да, с ним поздороваться нужно... — согласился Демьян.

И он без аркана, подкравшись из-за Пеструхи, за ножку поймал олененка. Тот хоркнул, рванулся, но Демьян уже перехватил за шею и туловище. Первым подбежал Юван, поцеловал олененка в мордочку, потом погладил по короткой шерстке, прикоснулся к уху и шее, затем потрогал крохотное копытце. После подошла Анисья, улыбнулась, чмокнула его, провела рукой по теплему боку, пожелала нараспев:

— Рас-ти боль-шой!..

Анисья выразительно посмотрела на мужа. И Демьян, немного потоптавшись, наклонился к мордочке олененка и исполнил обряд приветствия.

— Ну, здравствуй! — сказал он и тоже чмокнул олененка в нос. — Хорошо расти!

И он выпустил красношерстного малыша. Тот вскочил, отбежал от матери, отряхнулся. Видно, не очень-то по нраву ему человеческие руки — шерстку помяли.

Вскоре Пеструха повела свое дитя на теплую окраину бора, на проталины, где ягель не нужно выкапывать из-под снега, где в воздухе смолисто-хвойный воздух сосен, где на взгорке дремлет щедрое солнышко.

Хорошо на солнцепеке родного бора, куда первой приходит весна!

Проводив взглядом оленей, Анисья сказала:

— Вот Микуль-то обрадуется, когда из школы придет!

— А скоро он приедет? — спросил Юван, скучавший по старшему брату.

— Скоро, скоро. Вот река откроется, переедем в Весеннее Селение, и папа поедет в поселок за Микулем, — говорила Анисья. — На летние каникулы его отпустят. Тебе веселее будет, Айи!

О Весеннем Селении и Демьян теперь часто задумывался.

На другой день, поутру, он внимательно поглядел на восходящее солнце, на чистое ясное небо, на неподвижные вершины боровых сосен и сказал:

— Каслать* надо! Лед на озере горит!..

— Давно пора! Пеструха теперь на ногах! — откликнулась Анисья. — Люди когда уже в Весеннее Селение перебрались!

Уложили на нарты вещи и необходимую домашнюю утварь и тронулись в путь. Пеструху тоже запрягли — оленей не хватило на все упряжки. Олененок, сын ее, хоркая, исправно бежал впереди матери. Видно, ему интересно было, куда все двинулись с насиженного места? Что там впереди, за этим поворотом? За той лощинкой?

На озере кое-где уже появились промоины, в промоинах зловеще синела вода. Но колея зимней дороги была еще крепкой, и опасный участок пути проехали без всяких происшествий.

За озером, на окраине бора, Демьян, жалеючи оленей,

* Каслать — переехать с одного селения или стоянки в другое со всеми домашними вещами.

решил сделать привал с ночевкой. Пусть олени отдохнут, теперь спешить некуда — озеро позади.

Поужинали. А после Демьян на веревках развел оленей по проталинам. Ягель тут сочный, пусть пасутся. К утру быть может подморозит малость — легче ехать. Но однако ночью полил теплый дождик — и все развезло. Снега осели, а дорога скособочилась в сторону полдня. Демьян только головой качнул: с касланием припозднились. Да ладно, теперь по твердому бору как-нибудь доберемся, подумал он. Впереди озер нет, преград нет.

Он отвел оленей на свежий ягель, на новое место — пусть еще немного покормятся, а то за ночь вытоптали свои полянки.

Пеструхин сын с хорканьем носился по становью. Видно, от матери отстал. Разыщет, подумал Демьян. Тут она недалеко. Но после завтрака он обнаружил, что олененок пропал куда-то. Нигде его не было.

Тревожно захоркала Пеструха — сына звала.

— Наверно, обратно убежал, — сказал маленький Юван. — Он все в сторону озера смотрел.

— Чего ж ты молчал? Чего ж не сказал?! — изумилась Анисья. — Поди, он там в полынью попал!

— Я откуда знал — он убежит! — оправдывался мальчик.

Демьян осмотрел дорогу на озере и обнаружил след олененка. Тот и вправду пустился к зимней избушке, на тот бор, где родился. В случае, если оленията теряют мать, они убегают к месту своего рождения. Особенно когда маленькие, в пору красной шерсти, в первые месяцы жизни. «Вот глупый, — подумал Демьян. — Мать-то на этом бору пасется, чуть в сторонке от других оленей».

Он долгим взглядом окинул озеро. После ночного дождика ноздреватый лед вспучился и озеро сплошь покрылось синюшными пятнами. Не сегодня завтра ударит ветер, и лед мелким крошечком закачается на волнах. Теперь на оленях не проедешь. И Пеструху на поводке вести опасно...

Демьян молча разглядывал колею дороги.

— Может, не надо, а... — осторожно начала Анисья, глядя на посиневший лед озера.

— Не станем же тут сидеть, ждать его, — сказал Демьян. — Снег сойдет — не доберемся до Весеннего Селения.

— Может, сам вернется...

— А коли не вернется?

— Может, сам выживет...

— Малый совсем еще, сам не выживет...

Демьян молча взял аркан и длинный шест и, шагнув на коварно подтаявший лед озера, сказал будничным голосом:

— Я ушел.

— Ну, смотри!.. — только и вымолвила Анисья и быстро отвернулась, чтобы не сглазить удачу человека, который отправился в опасный путь.

Она и слово «осторожно» вслух не произнесла, чтобы не смутить мужа. Он так должен понять состояние жены и подумать о выборе дороги по зыбкому льду озера.

Она позвала сына — и пошла к кострищу. Удел женщины — ждать...

И медленно-медленно потекло время. Лишь к полудню, когда солнце поднялось высоко над верхушками сосен, вернулся Демьян и принес на плечах связанного олененка.

— Я пришел, — сообщил он, подходя к кострищу. — Бежавшего озером принес.

— Ах, озорник, попался! — обрадовалась Анисья. — Думаешь, не догоним, коль бежал озером?!

— Бежавший Озером, Бежавший Озером! — завопил маленький Юван. — Поймали Бежавшего Озером! Поймали!

Олененку развязали ноги и отвели к матери, которая хоркала не переставая — звала свое дитя.

С этого дня Пеструхи сын получил имя Бежавший Озером.

Бежавший Озером...

Через три года он стал самым крупным быком в маленьком стаде Демьяна. По пастбищу он ступал важно, не спеша, медленно ворочая бронзово-крепкими рогами, придирчиво оглядывая свои владения. Не любил он всякую сумятицу и суету. И теперь только имя — Бежавший Озером — напоминало о том, как он в детстве выкинул неразумную выходку — вспучившимся озером бежал на солнечный пригорок соснового бора, к ягельно-светлому пятачку своего рождения...

9

Демьян, очнувшись от воспоминаний, подбросил в догорающий костер два полена — вдвоем с огнем всегда веселее. Затем подошел к малой важенке Пирни, как бы успокаивая ее, заговорил:

— Ладно, лежи, Пирни, если не хочешь есть... Все равно тебя уже не исправишь, коль такая уродилась. Обратно поедем — нарта тяжелая будет. Хозяйка сказала муки купить. Мука для человека — это как ягель для

тебя, оленя. Без хлеба человек не может, как и олень без ягеля...

И припомнился ему миф о том, как Торым, Верховный бог ханты, для людей хлеб делал. Вернее, муку. В первый раз сделал муку из снега. Но недолго радовались люди хлебу: наступило лето — и растаяла снежная мука. Второй раз сделал муку — и опять ничего не получилось. А люди-то ждут, людям есть надо. Долго Торым ломал голову. И только в третий раз с помощью листьев-трав сделал муку. С тех пор у людей появился хлеб...

Понимал Демьян: не простое это дело — вырастить хлеб, коли сам Верховный бог столько промучился. И поэтому к хлебу относился с большим уважением: резал каравай по-особенному, по-демянски, на ладони, чтобы не потерять ни одной крошки.

А важенке Пирни он сказал:

— Муку-то летом надо было купить. По воде привезти. Про запас. Да промешкал вот: то путина — времени нет, то денег лишних не было. На обратном-то пути устанешь, пожалуй. Но не бойся, медленно поедем. Почаще буду делать остановки, почаще буду кормить. Будешь сыта — и силы будут. Это я знаю. По себе знаю...

Тут он замолк и вернулся на свое место. И сидел теперь неподвижно, нахмутив заиндеветшие брови и прикрыв печальные глаза, будто задремал и напрочь позабыл об оленях и трубке. Но когда Вондыр и Пеструха наелись, он сразу поднялся и запряг упряжку. Ехал, но и теперь чего-то не хватало. Потом понял, что нет песни. Нет той беззвучной тихой мелодии, что была спутницей долгих зимних дорог. Но песня не пошла, не зазвучала в нем эта давно знакомая мелодия пути.

Сейчас его мучила жажда.

Хотелось пить. Хотелось такой воды, которая притушила бы тоскливо-медленный огонь в груди. Но сколько он ни пил за обедом, вода оказалась бессильной. Эту жажду не смогли бы утолить и все большие и малые болотные озера, по которым он ехал. Их снега и воды тоже бессильны против этого огня. И стало ему еще тоскливее, когда после долготы одного оленя, миновав болото с чахлым сосняком, он въехал в старый горельник. И словно тот безумный огонь, что еще во времена его юности уничтожил этот сосновый бор, уходящий от Реки на север, на болотную сторону, тот безумный огонь вновь ожил и вновь забесновался в дьявольской круговерти: кровавым языком слизывает белоснежную кипень древнего ягеля, с хрустом глотает зелень не успевшего созреть брусника, с треском пожирает молодой сосняк, с гулом обглаживает возмужавшие сосны. Этот безумный огонь прошел с

Полуденной стороны на север и скосил все живое и неживое. И бор помертвел. И хотя с тех пор минуло немало лет и зим, но бор все еще не оправился от тяжких увечий. И печально взирает на небеса, на белые снега, на одинокого путника.

И путника буравили незрячие глаза бора.

Нагие сосны на корню догнивали на обочине дороги. Из-под снега торчали скрюченные руки-ветви стариков с черными подпалинами-ожогами на узловатых суставах. Всюду серо-бледные тела мертвых сосен. Они скончались в невыносимых муках. Как и люди, умирая, они зывали к небу, зывали к тучам, зывали к дождю. Их тоже мучила жажда. Огонь безжалостно выжимал последние капли смолы и влаги.

Тогда сосновый бор мог спасти только проливной дождь. Но дождь пришел позже, когда огонь уже сделал свое дело. И горельник слышал немало проклятий проезжих путников: в бураны здесь так заваливало дорогу сугробами, что с большим трудом можно было проехать шагом. На болоте этого никогда не случалось — там ветер сдувал снег с колен. В живой лес буран не пробивался и не мог заснежить путь — там всегда тихо под разлапистыми кронами сосен и кедров. Один только горельник ни на что не пригоден. А разве бор виноват в том, что сгорел, размышлял Демьян. И огонь, все спаливший, в чем обвинишь? Куда его пустишь — туда и пойдет. И тут, как ни крути, а все упирается в человека. Где был тот человек, который не сумел или не захотел остановить безумный огонь?! За давностью лет никто толком и не помнит, как возник пожар. И где в то время был хозяин этого бора Нюр Ох — Лысая Голова? Хозяин хоть немного и безалаберный, но, однако, себе на уме. Теперь он поставил себе избушку на окраине горельника, на крохотном пятачке-сосняке посреди болота. Жил он там со старшим сыном Петром — дочери давно вышли замуж и разъехались. Удивлялись люди: как они там живут? Вернее, их олени. Ну, осенью еще можно терпеть, когда снег неглубокий, а зимой? На бору ягель стелется сплошным ковром — олень где захочет поест, там и копытит снег. А на болоте ягель растет только между болотными кочками на торфяниках. И этих торфяников-то если наберется на болоте одна треть, так это еще хорошо. А в снежную зиму их так завалит, что не захочешь и копаться там. Потому-то и рубят зимние дома только на ягельном бору.

А где было ставить избушку бедному брату Нюр Оху, как не посередине болота, думал Демьян. Куда бы он подался с насиженных мест? Тут ведь все связано воедино: становья осенние и весенние, летние и зимние. Все эти

избушки, лабазы, навесы связаны тропами и дорогами, что много лет назад проложили предки. Разве все это покинешь? Да и податься уж некуда. Вверх по Реке, в сторону поселка начинаются угодья людей Лосинового рода — Сардаковых. Вниз по Реке — там свой род, люди многих ветвей Медвежьего рода. Конечно, мог бы он поставить избушку везде, где живут охотники, никто бы ничего против не сказал — в суровых таежных землях всегда рады человеку, рады лишнему теплому очагу...

Демьян сейчас вспомнил, как удивился, когда впервые в детстве увидел этого брата Николая, которого все звали Нюр Ох, Лысая Голова. Наверное, голова у него совсем лысая, ни одной волосинки, думал мальчик про единокровного брата. Но оказалось совсем наоборот: на его голове копна черных жестких волос, стриженных под «котелок». Поди разберись теперь, из каких соображений люди приложили к его имени это прозвище Нюр Ох. Отчего это прозвище не досталось живущему за этим болотом, ниже по течению Реки, его старшему брату Роману, у которого совершенно лысая голова?

Наконец Демьян проехал мертвый горельник и, вздохнув с облегчением, после неширокого болотца с шестью семью малыми озерцами выбрался на живой сосновый бор. Светлая зелень хвои всегда успокаивала глаз и приносила утешение, внушала мысль о незыблемости и вечности мира и всего прекрасного в этом мире. Но сейчас даже эта зелень и живительный аромат сосен не могли приглушить мучительную жажду, которую обострил старый горелый лес. И когда, миновав бор, упряжка вывезла его на Ай Нерым — Малое Болото людей Лосинового рода — он отвел влево хорей и натянул поводок. Олени остановились.

— Что, Вондыр-старик, на чай к Коске заедем? — обратился Демьян к жожаку. — Хоть и в стороне от Царской дороги, небольшой круг получается — да вот пить хочется. Нутро совсем высохло. И людей рода Лося давно не видел.

Жожек деловито уткнулся носом в утопанную колею дороги, счищал сосульки с заиндеветших ноздрей. Всем своим видом говорил: делай как знаешь — можно и заехать. Ты хозяин, тебе виднее — поводок в твоих руках.

Демьян покосился на колени, что ответвлялись от большой дороги и уходили через болото к бору, где стояли зимовья одной из четырех ветвей Лосинового рода, братьев Коски Малого и Николая Малого. Колени припорошены снегом — давно здесь никто не проезжал.

— Ладно, обновим дорогу, заедем, — сказал Демьян, направляя упряжку к зимовьям, и, как бы оправдывая свое решение, что свернули с укатанного зимника, напомнил оленям: — Дома-то на окраине бора стоят. Прорубь у них на этом болоте, отсюда питьевую воду берут, речушка маленькая есть. Тут езды-то — одно вот это болотце. Вы же в этом селении бывали, так помнить должны. Недалеко тут, полдолготы утреннего оленя даже не будет.

Колея местами была занесена сугробами, и олени шли то шагом, то рысью. Демьян пустил их свободно, не торопил.

Когда он въезжал в бор, услышал беззлобный лай — это собаки извещали хозяев о том, что едет гость. Через открытые ворота он направил упряжку прямо в кораль, в котором стояли две бревенчатые избушки с крытыми сенями из жердей. Из сеней первой избушки высунулся мальчик в короткой домашней малице и тотчас же шмыгнул обратно. По древнему обычаю первыми гостя встречают дети. Из дальнего дома вышла девочка в ягуске и платке, внимательно посмотрела на Демьяна, на его упряжку. Ей надо узнать, кто приехал: с верховья или низовья Реки, знакомый или незнакомый, близкий родственник или не очень близкий. И, если узнает, то, войдя в дом, она скажет родителям, что подъехал отец такого-то — назовет старшего ребенка в семье, скажет «мой дядя» или «мой брат», «мой племянник» или еще кто-то другой по родственной линии отца, матери и дальней родни. Если же не узнает, то опишет одежду гостя, нарту, оленей и многое другое, что она успеет охватить взором в мгновение ока.

Демьян привязал поводок за первый копыл левого полоза и, отряхнув ошметья снега, снял кумыш.

Девочка неспешно повернулась и исчезла в проеме сеней.

Собаки перестали лаять — они уже сделали свое дело.

Демьян окинул взглядом утопанный снег в корале, но оленей не увидел. Они были на пастбище. По бокам избушек, «носами» в полдень, в сторону дверей, стояли только женские нарты. Мужчины из урмана еще не вернулись, отметил Демьян. Что-то задерживаются. Лишних нарт не было, значит, никого постороннего в домах нет. В сенях он нашел выбивалку, которой старательно вы-

бил снег из меха кисов, чтобы они не отсырели в тепле. И вошел в дом старшего из братьев, Коски Малого.

— Ос пэча! — поздоровался Демьян и пожал всем руки, включая и детей; каждый раз он повторял «пэча! пэча!».

Дом ответил ему тем же: «Пэча! Пэча!»

Хозяйку Матрену, которую он звал сестрой, поцеловал в щеку. И она тоже поцеловала его в левую щеку.

— Правдивый гость всегда к столу подъезжает, — сказала хозяйка. — Верная примета древних: в самый раз к тебе подходит, брат!

И на стол, за которым она обедала с детьми, поставила кружку с блюдцем и налила чай.

— Садись ближе, брат! — сказала Матрена гостю. — Пей с нами чай! Холод-то вон какой!..

— Ну, холод... это его время, — проговорил Демьян, садясь к столу. — В своем он времени. Свое дело делает...

— Ну, пей-пей чай, согревайся! — говорила Матрена. — Сейчас рыбу подам. Вчера вот с Ефремом ездила морду проверить, — она кивнула на старшего сына, мальчугана лет пяти-шести. — Окуней поймали. Вот сварили.

И она большой деревянной ложкой-поварешкой вытащила из котла и положила в продолговатое блюдо из березы несколько окуней величиной с ладонь. Они были горячие, над ними витал аппетитный пар, ударивший в нос.

— А Митрий все ревел, пока мы ездили, с нами просился. Не взяли его, — продолжала словоохотливая Матрена, покосившись на младшего сына. — А сестра Дуся успокаивала его. У снохи они оставались, в соседнем доме.

Дети, уткнувшись в свои тарелки, молча слушали. Они были удивительно похожи друг на друга — все черно-головые, кареглазые, круглолицые. Девочка скромно потупила взор. Мальчишки искоса с интересом поглядывали на гостя — похоже, большие озорники, когда нет посторонних.

— Поймали-то что? — спросил Демьян, придвигая к себе блюдо с окунями.

— Да всего котла два, — ответила хозяйка. — Котел себе, котел соседке. Кроме рыбы, ничего нет. Ждем вот братьев из урмана, с какой удачей они вернутся...

— Как уехали осенью, так и не приезжали еще? — спросил Демьян.

— Нет, не показывались. Вот со дня на день ждем. Последний срок уже прошел. Ты-то в этом году не ездил в урман?

— Нет, дома охотился. До урмана так и не добрался. Всей семьей ехать — оленей не хватает. Один поедешь — так опять домашние пешие останутся. Дров подвезти, на забор съездить — как без оленей. И другая какая нужда придет — далеко ли пешком уйдешь...

— Ну, да... — поддакнула хозяйка. — Да еще с детьми.

— Вот в этом все и дело...

— Как там люди в низовье поживают? — спрашивала хозяйка. — Удачливы-счастливы? Не болеют? Что слышно?

— Живут вроде бы. Плохих вестей не было. Все пока живы-здоровы.

— Это хорошо. Пусть живут. В верховье тоже вроде бы пока все живы-здоровы. Одна плохая весть на этом снегу была — отец Васи, с Ершовой реки, умер. Наверное, вы слышали?

— Эту весть мы слышали, — печально кивнул Демьян. — Жалко человека: ведь еще совсем нестарый был. Может, чуть старше меня по возрасту-то...

— Да, не скажешь — старик, — вздохнула и хозяйка. — Нам он родней приходился. И вам тоже?

— Да, и нам он был родственником, — подтвердил Демьян. — Хозяйка его очага из нашего рода.

— Что еще в верховье? — припоминала хозяйка Матрена. — Слыхали эту новость: в дом Кузьмы Казамкина пришел новый человек. Мужчина. Какое же имя ему дали? Ох голова моя, сейчас вспомню, вспомню...

— Михаил, — тихо подсказала дочь Дуся.

— Вот-вот, верно — Михаил! — Матрена улыбнулась дочери, похвалила. — Хороший у тебя ум, быстрый ум!..

— Эту новость мы не слышали, — сказал Демьян, наливая чай в блюдце. — Что ж, приятная новость. Пришел человек будущего, человек завтрашнего дня...

— Как там мать Микуля живет? — спросила хозяйка про Анисью. — Как ваши дети? Большие уже, верно, стали? Девочки-то ваши. Когда это в последний раз-то виделись? В прошлом году? Ну да, больше года прошло...

— Живут пока... — односложно ответил Демьян.

Это означало, что никаких больших изменений в жизни домашних не произошло. Все по-старому идет, потихоньку, полегоньку. Слова эти он произнес спокойно, особо не выделял их. Если бы он выговорил их чуть помедлив, с оттяжкой, едва натянув неуловимую струну голоса, тогда бы Матрена догадалась, что у его домашних не все в порядке, есть и какие-то неприятности. Матрена, немало всего повидавшая на своем веку, в разговорах прислушивалась не столько к словам, сколько к тому, с какой интонацией они произносятся. И поэтому она всегда безошибочно улавливала те сотни оттенков, которые обычно сопровождают эти привычные, на первый взгляд ничего определенного не означающие слова «живут пока»...

— Сыновья-то на каникулы поедут? — спросила хозяйка.

— Куда там. В такую даль... Ну, даль-то еще ладно, так все дело опять же в оленях...

Хозяйка понимающе кивнула: что там говорить об олениях.

— Нам-то грех не ехать за Раей, — проговорила она. — Если хозяин из урмана не подъедет на днях, так сама за ней съезжу через пару дней. Ты, брат, там будешь в школе, увидишь ее, скажи: мама придет скоро. Ждет она, соскучилась. Нам тут близко до поселка, грех не ехать. И соседка поедет за дочкой.

Мальчики все поглядывали на гостя, о чем-то шушукались между собой на нарах возле чувала, куда перебрались после еды. Затем старший, Ефим, подошел к матери и зашептал что-то ей на ухо.

— Ох уж, такие большие парни — и два дня не могут потерпеть! — притворно строго вздохнула мать и, повернувшись к Демьяну, поинтересовалась: — На обратном пути чай пить в дом не заедешь? В стороне все-таки наш дом...

— В стороне-то в стороне, — Демьян покосился на мальчиков, добродушно улыбнулся им. — Нужно что-нибудь из поселка?

— Да вот сахар у нас кончился, — сказала Матрена, убирая со стола посуду. — А эти сахарные души, — она выразительно кивнула на сыновей, — не могут потерпеть!.. Мы-то как терпели, когда малыми были. Тогда о сахаре и не вспоминали...

— Чего же, если нужно — так заеду! Надолго ли задержусь... — сказал Демьян. — Заеду на чай.

— Сейчас мешочек поищу. — И хозяйка направилась в «нижний», ближний к чувалу угол дома, где была сложенная постель, а вдоль боковой стены стояли корневатики и коробки с шитьем и другой домашней утварью. Порывшись немного, она подала Демьяну небольшой мешочек, перевязанный тонким шнурком. Это и был «сахара хранитель», который давно уже сложил с себя свои полномочия.

— Вот сахара хранитель, — сказала она, подавая мешочек из белого ситца. — Там и рубли с копейками. Последние.

— На все? — спросил Демьян.

— На все.

Демьян выпил последний глоток чая и пустую кружку боком положил на блюде. Это означало, что он поел и больше ему ничего не нужно. Если кружка не повернута, то хозяйка подливала чай не спрашивая.

— Мне уж ехать надо, — проговорил Демьян, раскуривая трубку. — Дорога дальняя. День проходит...

Он как бы извинялся за то, что так мало погостил, что сказал не обо всем, о чем должен был сказать, и расспросил хозяйку не обо всех делах, о которых должен

был расспросить. Гость степенный, бывало, за разговором-размышлением выпивает два чая — «приездный» и «предотъездный». А он на сей раз не может позволить себе два чая.

— Да, твоя, брат дальняя... — согласилась Матрена. — Дорога-то. Не то что у нас...

Так она выразила свое сожаление: жаль, что мало погостил, мы всегда рады гостю, но коль спешешь, то не смею задерживать.

— Еще в соседний дом надо зайти, — вспомнил Демьян. — Заодно поздороваться и попрощаться нужно. «Здравствуй» и «до свидания» сказать полагается, тоже ведь родственники...

— О-ос*, — кивнула Матрена. — Зайди, зайди, кто гостю не рад! Хоть на минуту...

Но пока Демьян раскуривал трубку, пришла с детьми хозяйка соседнего дома, которую в разговоре называли «Зоина мама» — по имени старшей дочери.* Она с Демьяном была в особых родственных отношениях по линии мужа — они оба соблюдали обычай избегания. Она закрывала платком лицо от Демьяна. И он никогда не видел ее лица, только слышал по рассказам, что была она красавица, особенно в молодости, когда выходила замуж за Николая Малого. Сейчас Демьян поднялся навстречу ей, негромко поздоровался:

— Здравствуйте! — И, наклонившись, взял и поцеловал ее протянутую руку.

— Здравствуйте, отец Микуля! — чистым грудным голосом сказала она, и чуть наклонив голову, тоже поцеловала тыльную часть его руки.

— Это вот Вера, — Зоина мама показала на старшенькую девочку. — Иди, поздоровайся с отцом Микуля! Это наш родственник!

Затем она представила меньших дочерей, Любу и Лиду. Демьян, говоря, что помнит их имена, всем подавал руку и чмокал в щеки.

— А я только собирался в ваш дом, — улыбнулся он. — Да вот такой нерасторопный гость — вы опередили!..

— Мы ждали вас. А потом я подумала, может быть, вы спешите и вам некогда...

— Все помаленьку спешим, но людей без «здравствуй» и «до свидания» разве можно оставлять?!

— Так и есть. Вы правы, — ответила Зоина мама. — Как там люди в ваших краях — живы-здоровы? Какие новости?

* О-ос — здесь: да-а, конечно.

— Люди пока живы-здоровы... А новости?.. К нашему дому вышли невиданные гости... — и он коротко рассказал об искателях горючего жира земли, что идут, разрезая урманы и боры, с юга на север.

И хотя он говорил о них спокойно и никак не выразил к ним своего отношения, ни положительно, ни отрицательно, но Матрена сразу же уловила в его голосе затаенную тревогу. И после, когда вернется муж из урмана, она, пересказывая вести с верховья и низовья реки, особо выделит тревогу Демьяна. От себя она добавит, что неспроста тот обеспокоен приходом таких гостей. Видно, намечаются в недалеком будущем какие-то значительные перемены, которые коснутся жизни всего таежного края. Женщины сейчас более определенно выразили свое отношение к этим гостям Демьяна.

— Теперь вам, отец Микуля, хлопот не миновать, — тихо сказала Зоина мама. — Шум-гам они с собой привезут. Что-то, а это они могут...

Матрена посмотрела на все это еще шире, она как бы обобщила все, уверенно предположила:

— Не только ему, теперь всем нам хлопот не миновать. Так я думаю.

— Да, скоро они будут и нашими гостями, — добавила Зоина мама.

Она была родом с низовья реки, куда искатели-гости пришли намного раньше. И о них она знала от своих родителей и других родственников, живущих в тех краях.

Демьян прекрасно понимал женщин. Хотя, может быть, ум у них и короче, чем у мужчин, но в утонченной интуиции им нельзя отказать. Пришлые издалека гости всегда приносили что-то новое. У них было свое отношение к деревьям-травам, рыбам-зверям, водам-землям. Они по-своему смотрели на уклад жизни таежных народов. Они не знали истории, культуры и обычаев этих народов. А подчас и не хотели знать. И часто взгляд хозяев и взгляд гостей на природу и жизнь тайги не совпадали. И каждый поступал сообразно со своими взглядами. И каждый по-своему вершил свои дела. Но земля требовала единства. И жизнь требовала единства. И ради постижения этой гармонии единства кто-то должен пойти на ломку чего-то в веками сложившейся материальной и духовной культуре. А ломка всегда вызывает боль. Даже разумная. Но дело в том, еще, что разумную, как правило, всегда сопровождает ломка и неразумная. В истории примеров тому немало. И раны эти порою кровоточат многие годы и непреходящим эхом отзываются в душах последующих поколений. Такова жизнь. Так складывались отношения между хозяевами и гостями на протяжении веков.

Затянувшуюся паузу прервала Матрена:

— И до нас доберутся твои гости, брат! Машины не олени — устали не знают.

— Есть-пить не просят, — добавила Зоина мама. — Все у них при себе.

— К тому времени они, искатели, привыкнут к оленям, узнают поближе охотников-рыбаков, — проговорил Демьян, выбивая пепел из трубки. — Под одним солнцем все живем — что искатели, что охотники...

Это значило: зря не беспокойтесь, искатели — тоже люди, найдем как-нибудь общий язык.

— Ведь они, говоришь, со стороны, урмана пришли?! — быстро заговорила Матрена. — А в урмане...

— Да они с нашего урмана вышли, сестра, — впервые Демьян перебил женщину. — Это я понял по направлению их дороги.

— Под одним, конечно, солнцем живем, — согласилась Зоина мама. — Мы это знаем, а они...

— И они узнают... А может быть, уже знают... — в раздумье проговорил Демьян и, спрятав трубку, поднялся. — Ну, мне пора ехать.

Все вслед за гостем вышли из дома. Гостя обязательно нужно проводить в путь. Если не выйдешь проводить его, то, по старинной примете, он увезет удачу дома.

— Олени-то у тебя ничего, в теле, — заметила Матрена. — Бережно ты с ними обращаешься.

— Это мать Микуля балует их рыбой и костями-чешуей. А ездим мы много, без оленя куда?

Демьян надел кумыш и развернул упряжку: «домашняя» дорога — от дома до Царской — разветвлялась на болоте возле проруби. Левая называлась нижней, правая — верхней. По ней и направит упряжку едущий в поселок гость.

— Привет нашим школьницам передайте! — попросила Зоина мама. — Зое да Рае! Скажите, что отцы из урмана еще не вернулись. Как вернутся — поедем в поселок.

— Гостинцев им не приготовили, — вздохнула Матрена. — Да сами скоро приедем за ними. Я, йим улэм!

— Йим улэм, йим улэм! — попрощалась и Зоина мама.

— Я-я, ос йим улэм! — пожелал и Демьян, тронув упряжку. — С удачей-здоровьем до встречи!

Застоявшиеся на морозе олени пустились галопом, лишь на болоте перешли на привычную рысь. Видно, согрелись малость, подумал Демьян. А в его жилах все еще бродило тепло. Тепло горячего крепкого чая, тепло гостеприимного дома. Хорошо, что завернул в дом, повидался с родственниками, прихватил с собой на правах гостя немного тепла. И это тепло по-настоящему может оценить только тот, кто не однажды замерзал в снегах и льдах болот и урманов.

Демьян порадовался тому, что наконец, и лицо сестры Матрены — смуглое, с плавными мягкими линиями, с целой россыпью веснушек — стало излучать тепло. Кажется, оживились, заблестели и ее темные большие глаза, и повеселели веснушки на щеках и на чуть привздернутом носу. Неподвижными остались только веснушки на морщинистом лбу. Эти морщины прорезали ее лоб более десяти лет назад...

В тот год, заранее сговорившись, шесть или семь охотников с семьями поехали по урманной дороге* Демьяна в его дальние урманы, границ которых не всякий достигал и в одиночку мало кто пускался в такие дали. За водоразделом часть угодий выходила к реке Вах, к озеру Самотлор**, часть — к Оби. Забрались в самую что ни на есть глушь. Жили в палатках и чумах, что возили с собой. Сезон начался удачно — били зверя и птицу, радовались каждой новой пороше. Но к середине зимы пришла беда. Пришла неожиданно. Заболела младшая дочь Матрены — пятилетняя Настя. Старшая, Рая, тогда уже пошла в школу и жила в интернате, в поселке. Настя играла на улице с детьми других охотников, а в полдень зашла в чум и пожаловалась матери на головную боль. Мать развернула постель и уложила ее спать, уверив, что после сна головка не будет болеть. Но к вечеру девочка заметалась в жару — бредила и никого не узнавала. К утру она затихла, лежала неподвижно. Слышалось в тишине лишь ее хриплое прерывистое дыхание. Она сгорала на глазах. Но никто ничего не мог сделать. Ни связи. Ни дорог. Ни транспорта. О нартах и думать нечего было. И люди, как и тысячелетия назад, молча ждали: может быть, все-таки человек победит. Но человеку было всего пять лет. И чуда не случилось. И все молчали. И ее хриплое дыхание иногда прерывал лишь шум вертолета или самолета со стороны Оби. Но глушь оставалась глушью. И девчушки пяти лет от роду не стало. Ее одели в меховую одежду и положили на нарту: последнее, что могли сделать взрослые, — это не оставить девочку здесь, за тридевять земель от жилья, а привезти на родовое кладбище, где погребены предки. Обычай запрещает ушедшего из жизни человека оставлять одного. Строго запрещает. Родственников, нарушивших этот древний запрет, ждет суровая кара. Человек не должен

*У каждого рода были свои урманные дороги — угодья.

** «Самотлор» произошло от «самот» — детыш морды, рыболовной снасти; и «лор» — озеро (хант.).

быть один ни на этом, ни на том свете. На то он и человек, чтобы быть всегда с людьми.

Ехали тогда днем и ночью, много дней и ночей подряд. И Матрена ни на минуту не оставляла свою дочь одну. На недолгих остановках она с мертвым, побелевшим как снег лицом, с мертвыми, тоже побелевшими глазами замирала возле нарты, на которой везли ее дочь. Ее неподвижный взор тяжело давил на людей, на снега и урманы. Но люди должны были молчать, и они молчали. Молчала и Матрена. Ей казалось, что дочь должна позвать ее на помощь, кого еще, кроме матери, она позовет. И мать слушала, когда она шелохнется в ворохе одежд и шкур, когда послышится ее хриплое прерывистое дыхание, когда позовет маму слабым, едва слышным голосом. И женщина-мать до предела напрягала слух. И все слушала, слушала, слушала. Люди думали, что она не выдержит этот последний путь своей малышки. Но она выдержала и эту тяжесть и сделала все, что требовалось от матери и женщины. Но после... на протяжении десяти лет не могла никого родить. Десять лет ее омертвевшее сердце медленно оживало. И также медленно оживали глаза, веснушки, лицо и все тело. Жизнь есть жизнь. И десятилетие спустя она родила снова дочь, затем двух сыновей. Вот почему такой большой разрыв в возрасте ее детей — старшая, Рая, уже заканчивала школу-восьмилетку, а младшие еще и в подготовительный класс не ходили. Отстали на десятилетие...

И хотя с той зимы прошло много лет, но Демьян отчетливо помнит те пронзительно-горькие дни. Все тогда безгранично верили судьбе и твердо знали: чему быть — того не миновать. У каждого своя судьба. И кому что уготовано в жизни, тот того не избежит. Все люди знали это. Но Демьяна все равно терзала смерть малышки. Терзала, может быть, не меньше, чем ее родителей. Он позвал их той зимой поехать в урман. Он задумал добраться до самых дальних угодий, в которых когда-то ежегодно охотились предки и до которых легче было доехать большому аргишу с настоящими, любящими трудные пути охотниками. А одному-двум человекам не так-то просто проложить дороги в глубоких снегах, особенно во второй половине зимы. И, наконец, это случилось в его, Демьяна, урмане. В его родовом урмане, а не в урмане Седого, и не в урмане братьев Коски и Николая, не в урмане какого-то другого охотника. Почти у каждой ветви рода свой урман, что тянется вдоль урманных рек, левых, южных притоков Реки. И каждый должен отвечать за все, что происходит на его землях, на его урманных дорогах. Недаром эти урманы всегда получали название по имени того, кто их

наследовал, кто старше в роду — «урманная дорога Седого», «урманная дорога Коски», «урманная дорога Демьяна». Вот и выходит, вроде бы нет вины Демьяна, но в то же время есть и его вина. Вот и жил он и многие годы чувствовал ту же боль, что и сестра Матрена. И виноват, и не виноват. Виноват, потому что ничего в жизни случайного нет. Все предопределено судьбой. И раз это случилось в его урмане, значит, в жизни что-то он сделал не так, как подобает мыслящему человеку, как подобает истинному человеку земли. Где и когда?! Да разве упомнишь все! Вон сколько прожито — не один и не два дня. И дни, конечно же, не похожи один на другой. Они все разные. Не все шло гладко и ровно, особенно в молодости. Были, конечно же, грехи прошлого. И в будущем, кто знает, как сложится жизнь. Зарекаться ни от чего не стоит. Никогда не зарекался. Но в одном твердо был убежден: человеку приходится отвечать за все свои поступки. И за хорошие, и за плохие. Если не перед людьми, так перед собой уж непременно. И чаще всего — перед собой. И если люди могут дать снисхождение, то ты этого уже никак не позволишь, от себя-то никуда не денешься. За все надо платить. И время это приходит на склоне лет, когда в прошлом — больше, в будущем — меньше, всего меньше. И дней, и сил, и возможностей. И время это наступает для всех. Ни один человек не может избежать этого времени. И если многие считают, что человек может избежать этой участи, то они крепко ошибаются. Человек может избежать суда людей, но он никак не избежит себя. Этот час непременно наступит для него...

Дитя ушло из жизни. Что может быть печальнее на земле... И теперь, по прошествии многих лет, Демьян почувствовал, как из глубины души поднимается боль, что прочно угнездилась там в тот пронзительно-горький день, когда в его урмане не стало пятилетней девчушки...

Боль не прошла. Стало быть, он заслужил эту боль.

Боль напомнила историю Айсидора, деда ушедшей малышки Настеньки...

12

Когда в этих краях появились красные, Айсидор, отец Коски и Николая Малых из Лосинового рода, был в расцвете лет. Очевидно, поэтому выбор пал на него — отправили учиться в уезд на какие-то курсы. Вскоре он возвратился — с новыми, совершенно непонятными словами на языке. Соплеменникам он объяснил, что Белого царя, на которого «сидели

много лет», скинули, и теперь страной и краем начал управлять Красный царь. Ну а этого Красного царя — каков он из себя — не видел, где-то далеко сидит, за пределами уезда. Но намерения у него самые лучшие — построить для всех охотников и рыбаков новую жизнь. Но сначала нужно выкорчевать и уничтожить все старое. Все старое, белоцарское — под корень!

И Айсидор рьяно взялся за это дело.

Строить?..

— Построим!

Корчевать?

— Выкорчем!

Уничтожать?

— Уничтожим!

Трудно?.. Да, трудно. Потерпите немного, говорил он соплеменникам. Вот избавимся от прошлого, от старого, построим все новое — и заживем тогда! И наступит время всеобщего блага! Потерпите немного. Помогайте корчевать и уничтожать старое!

В верховье реки, на высоком белом яру началось строительство нового поселка. Поселок вырастал на глазах.

Колхоз-хот — колхозный дом.

Пошта и радио-хот — почта и радиостанция.

Мыр-лавка — народный магазин.

Лекарь-хот — медпункт.

Невремэт-хот — школа-интернат.

Немного позже — детский сад и детские ясли, метеостанция, водомерный пост.

Бревенчатые домики.

Домики.

Домики.

Для охотников и рыбаков.

Организовали колхоз. Колхозу дали имя Сергея Мироновича Кирова — в те дни он погиб от руки врагов революции. И заметался беспощадный огонь отмщения в яростно сузившихся глазах первого председателя Айсидора. По-быстрей надо корчевать и уничтожать, говорил он всем своим обликом. Нечего там церемониться!

Поселок строился, рос.

Жизнь входила в новое русло.

Но чем дальше, тем суровее и сумрачнее становился председатель Айсидор. Ему казалось, что все можно сделать вдвое быстрее, втрое лучше.

Он торопил своих колхозников.

Он торопил время.

Детей нужно в школу-интернат сдавать, чтобы они грамоте учились. Как?! Оторвать ребенка от семьи?! Пошумели родители, но детей свезли в интернат. Потом

вышел новый указ: люди со всей Реки должны съехаться и жить в поселке. А как рыбачить да охотиться? В каких местах? Чтобы добраться до своих угодий, нужен транспорт. А транспорта нет. И как вне угодий жить? Ведь все тесно связано — человек и земля. А земле таежной нужен хозяйский глаз, если хочешь от нее что-то получить. Осенью готовишься к зимнему сезону, весной — к летнему. А Красный царь чего-то чудит, удивлялись люди. Зачем ему все это надо?! Сколько лет жили по-своему, по своим обычаям и обрядам, а теперь все сразу нужно ломать. Охотника, предки которого всю жизнь ходили по звериному следу, стали учить, где и как выслеживать добычу. Рыбаку указывали, как он должен ловить рыбу.

Приходили бумаги со следами-строчками. Айсидор читал эти бумаги и переводил соплеменникам, как они должны жить и что должны делать. Теперь, внушал он, при Красном царе жить необходимо только по бумагам, которые приходят сверху. И он показывал в ту сторону, где ему пришлось побывать. Ему пришлось, а остальным — нет. Не может же Красный царь всех сразу обучить грамоте.

Умные не спорили — по бумагам так по бумагам, а сами посмеивались в бороды и усы. Но вскоре пришлось упрятать усмешку — наступили времена Кровавого Глаза. Тут не до смеха...

И первым каюром этого Нечистого Духа стал Айсидор. Айсидор открыл ему Реку и жителей Реки — провез его от устья до самого верховья. Провез его через многие правые притоки, боры и болота, ручьи и родники. Провез его через многие сирь охотников и рыбаков. Ему срочно требовались «враги народа» — и их делали, искали и находили.

Тот косо поглядел на колхозные дела — к тому времени в верховье и низовье Реки было организовано два колхоза в новых поселках.

Тот не очень почтительно отозвался о новом времени.

Тот некстати помянул бога, а справлять религиозные обряды строго воспрещалось по грозным бумагам сверху.

Тот шаман — своим камланием накликает всяческие беды на Советскую власть. Шаман — это самый опасный враг. А там поди разберись, шаман или не шаман. Шибко-то никто не разбирался; главный факт налицо — враг. Ну и отвечай по всей строгости времени. И люди отвечали. Нечистый Дух увозил их. И они бесследно исчезали. Даже бумаги не приходили об их кончине, не говоря уже о здравии.

И Айсидор, пошли слухи, подписывал или писал для Нечистого Духа какие-то бумаги. Какие и о чем — никто

толком не знал. На то он и председатель, чтобы иметь дело с бумагами, говорили одни. Но другие опускали взор и молчали. Только изредка кто-нибудь заметит вскользь, что Айсидор тоже вроде бы шаман, но Нечистый Дух почему-то не трогает его. Но когда список «врагов» начал, видно, иссякать, настал черед и Айсидора. А незадолго до этого, сообщила молва, он пошаманил и вынес себе приговор:

— Это я Нечистому Духу открыл нашу Реку — и не будет мне пощады ни в Среднем, ни в Нижнем Мире, куда я скоро уйду!..

Помолчал немного, а после паузы добавил:

— И все мужчины моей ветви нашего сира, до седьмого колена, поплатятся за это!..

Он снова помолчал, затем сказал:

— Женской половины это не касается — она уйдет в другие сирь...

Притихли все домашние, родные и близкие.

И эту зловещую тишину дома рванул крик жены, матери трех сыновей и одной дочери:

— Только зло!.. А добра нам не можешь пожелать?! Добра!..

Он смиренно ответил:

— Добра не ви-жу... Откуда возьму добра, коль не вижу? Откуда?!

Откуда берется добро? Откуда его берут? Кто это знает? Особенно в те жестокие годы...

Что случилось с Айсидором в ту первую поездку, когда он привез Нечистого Духа? Если бы не он, так кто-то другой стал бы первым каюром этого Духа. Рано или поздно, но Тот все равно добрался бы до жителей Реки, ибо Время неумолимо... Быть может, он отдал свою душу Нечистому Духу? За несколько лишних дней?..

Но при чем здесь дети, размышляли пожилые люди Реки? В чем тут их вина?! Нет же их вины! Нет!

Младший сын Айсидора, Иван, от рождения стал горбатым. Этот карлик умными, печальными глазами смотрел на мир и словно у каждого просил ответа. За что мне такое наказание? Что я вам плохого сделал? Почему я такой несчастный... один среди людей?! И люди поспешно отворачивались от его огромных глаз и молчали, словно и вправду в чем-то были виноваты перед ним. А отца он не мог прожечь черным огнем своих глаз, ибо того уже не было в живых.

Взяли Айсидора в Летнем Селении в первое военное лето, за несколько дней до начала войны. Кровавый

Глаз молча кивнул охраннику. Охранник подскочил и, рванув за плечо, лягнул Айсидора сапожищем:

— Скар-рей давай!

Айсидор упал и раскровянил лоб о половицу.

Дочурка Тамара бросилась к нему, отчаянно вскрикнула:

— Папа!.. Папочка!..

Отец протянул к ней руки.

Она запуталась в ногах охранника.

Охранник грязно выругался, схватил ее за шкуру и отшвырнул в угол. Там она заревела взхлеб, и слезы застили белый свет — она никого не видела и не слышала. С того мгновения и до конца дней в ней поселилась неистребимая

ЖАЖДА СПРАВЕДЛИВОСТИ.

И эта жажда поведет ее по жизни. Только ради справедливости она после начальной школы в родном поселке поедет в неведомый и страшный — ведь туда увезли отца! — город, районный центр, чтобы поступить в семилетку, чтобы найти наконец справедливость и правду. Подспудно она чувствовала, что справедливость нужно искать где-то выше, где-то далеко, а чтобы добраться туда, необходимы знания. Значит, необходимо учиться. После семилетки — фельдшерско-акушерская школа в окружном центре. Кровоточащая рана на отцовском лбу отпечаталась в сознании четырехлетней девочки. Кто, кроме доктора, излечит рану отца? Кто поможет ему?..

А жажда справедливости все не давала покоя. Перед государственной практикой, выкроив несколько дней, на собранные по копейкам рубли купила билет на пароход до Березова. Там, по слухам, обосновался Нечистый Дух, взявший отцову душу. Хотелось задать ему один-единственный вопрос, и посмотреть на его кровавые глаза, и выжечь их яростным огнем своей ненависти. А что будет дальше она не знала. Но вышло все иначе. Начальница паспортного стола долго и подозрительно расспрашивала, зачем девушке понадобился адрес такого-то. На все вопросы она давала один ответ:

«Мне очень нужно увидеть его!»

Наконец начальница сказала:

«Такой-то здесь не проживает».

«Как не проживает? — воскликнула девушка. — Должен проживать!»

«Здесь не прописан!» — сухо отрезала начальница и, сведя ниточкой губы, отвернулась.

И девушка долго бродила по заросшим травой улицам Березова в надежде на встречу с Нечистым Духом, ради которого она пустилась в путь за тридевять земель.

Когда кончились деньги и дни поиска, она вынуждена была уехать. Спешила на государственную практику — нужны знания. Без них никуда.

Пароход медленно шлепал вверх по течению.

На душе было пусто.

Вдали долго еще виднелась лиственничная роща Березова, овеянная легендами о князе Меншикове.

Много лет спустя она расскажет о своей поездке племяннику Микулю. И Микуть с высоты другого времени посмотрит на поступок своей тетушки. Наивная девчонка! Как раз в те годы Тот был там начальником милиции. И конечно же, в паспортном столе она не могла получить никакую справку.

Но следы отца она все-таки разыщет. На пожелтевшем бланке прочтет об отце:

«УМЕР В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ ГОРОДА МОЛОТОВА».

Число.

Месяц.

Год.

Закорючка.

И встанет главный вопрос:

«ЗА ЧТО?!»

На который никто не ответит.

Некому отвечать.

Так в иные времена кончается человеческая жизнь.

А люди Реки надеялись, что, может быть, Айсидорово пророчество не коснется его единственной дочери Тамары, младшей сестры Коски и Николая Малых. Жажда справедливости выучила ее, и она первой по всей Реке получила образование: другие не хотели отрываться от родных мест, поэтому не уезжали, а если ехали, то очень неохотно. После учебы Тамара несколько лет работала фельдшером в районном центре. Затем вышла замуж за бригадира рыбодобычи из такого же таежного поселка на соседней реке. Нарodiла детей, лечила охотников и других жителей поселка и округа. По слухам, жизнь ее налаживалась. В родные края приезжала редко. Не потому, что душа не лежала к родственникам. Зимой нужно на оленях, а летом большую часть пути на гребях, на лодке. А расстояния-то вон какие! Разве за один-два дня одолеешь! Потом появилась авиация, которая мало что изменила. Прямых рейсов между поселками нет, чтобы попасть из одного в другой, нужно лететь в город, доставать там билет и ждать, ибо за один день никто еще не умудрялся проделать такое путешествие. Рейсы не каждый день, непогода и куча всяческих причин у авиаторов, чтобы не подняться в небо. Пассажиры, бы-

вало, проклиная все на свете, неделями ждут своего рейса.. Тут легче на оленях доехать по старинке, да уж олени перевелись, понадеялись на технику-то, а она не спешит в отдаленные края, в таежную глухомань. Вот и годами не виделась Тамара с родственниками. А те поговаривали, что, может быть, это к лучшему для нее. Пусть живет подальше от тех мест, где когда-то отец вынес приговор себе и своему роду. Авось пронесет, обойдет ее стороной злой рок. Тем более что это не должно касаться женской половины сира.

Но не тут-то было: и в ее дом пришло несчастье.

В год, когда нефтяной бум достиг своего апогея, рыбокомбинат в городе решил, или получил указание, резко увеличить количество добываемой рыбы. С этой целью спешно сколотили «дикую» бригаду из бичей, что прибыли сюда из разных уголков страны 'на освоение «нового нефтяного региона». Их давно уже отвергли более или менее солидные организации, а для рыбокомбината они вполне годились. На деле все вышло иначе: ничего с промыслом не получилось. Пытались бичей обучить рыбацкому искусству, для чего приставили к ним бригадира рыбодобычи местного рыбоучастка, мужа Тамары. Да где там! «Дикие», не знавшие и не желавшие понять многовековых традиций рыболовства на этой реке, и слышать ничего не хотели. А о завтрашнем дне и подавно не помышляли. Начались конфликты с бригадиром. С каждым днем все острее.

Накалялась атмосфера.

Тамара чувствовала — вот-вот грянет гром. Что она могла предпринять? Мужчина есть мужчина, своим делом заниматься не запретишь.

И он не вернулся с очередного объезда угодий. На другой день нашли его пустую шлюпку с мотором. Тамара вместе со всеми пустилась на поиски.

Отыскала мужа на четвертый день. В лесу, недалеко от брошенного стана «диких».

«Началось, — говорили люди Реки, — и Тамаре досталось». Могла же судьба пощадить единственную дочь? Сыновья ладно — все же мужики, покрепче они. Хотя иной раз женщина может такое пережить и вынести, что ни одному мужчине не под силу. У жизни много граней, всякой стороной она поворачивается к человеку. Никогда не знаешь, что ждет тебя за тем ближним деревом, за тем дальним поворотом. Идешь по тернистой стезе жизни, как и многие века назад, полной неожиданностей и головокружительных виражей. Идешь с великой надеждой, что кончится темная полоса — и впереди завиднеется светлое-светлое..

Без этой надежды, наверное, немыслима жизнь на земле.

Братья Коска и Николай, как и подобает мужчинам-охотникам, молча переживали несчастье сестры. Все должно перегореть в человеке без лишних слов. Мужчина не имеет права на жалобы и стоны, не имеет права на сострадание к себе. Так было испокон веков. Так должно быть и теперь.

Внешне братья не изменились, ничем не выдавали своего внутреннего состояния, хотя, конечно же, знали — коль злой рок коснулся сестры, так им и подавно не миновать его. Хотя до сей поры судьба была благосклонна к ним.

Старшего, Коску, ничем бог не обидел — ни пригожестью лица, ни умом и сметливостью, ни силою и отвагой, ни добротой и радушием. Словом, ничего в нем лишнего и ненужного нет. Из-за небольшого роста его называли Коской Малым. Кажется, и это соответствовало его образу жизни — легче по снегам и льдам, легче по рекам и болотам, легче по урманам и чащобам мчаться за птицей и зверем. Подпояшет легкую короткую малицу с белым верхом, встанет на ходкие подволоки, возьмет в руки ружье, сделает бесшумный шаг — истинный охотник и следопыт. Ни убавить, ни прибавить.

И откуда эта точность движений, плавный шаг, необыкновенное проворство и чуткость. Все у него получалось намного лучше, чем у других охотников. И пули точнее ложились в цель, и дробовой заряд его ружья шел кучнее и дальше, и всякого зверя находил и настигал быстрее, и рыба попадалась в его ловушки и снасти больше и чаще; и колхозное стадо, когда он был бригадиром оленеводов несколько лет, лучше сохранялось — обходили его болезни и другие бедствия, олени по осени меньше разбегались по бескрайним пастбищам, не пропадали невесть куда. И важенки и быки, которых он обучал нарте, становились хорошими ездовыми оленями: если не особо резвыми, то смелыми на снег — охотно шли по глубокой целине, прокладывая путь, или выносливыми в дальней дороге. Каким-то необъяснимым чутьем угадывал в олене все возможности и, объезжая, развивал их. Словом, считался он мастером на все руки. За что бы ни брался, все у него получалось хорошо: строил ли дом или лабаз, выковывал ли нож или наконечник стрелы, плел ли рыболовную морду или аркан для ловли оленей. А особым изяществом и мастерством славились его нарты и обласки-долбленки из цельного дерева. И дело было тут не в отделке, а в пропорции, в соразмерности всех частей, в гармонии, которая вызывает желание смотреть на вещь. И, разглядывая эту вещь, вдруг почувствуешь ее характер, а через характер — совершенство мира и земли. И приходит

мысль, что ты необходим земле и миру и земля и мир не могут жить без тебя. А раз не могут жить без тебя, значит, и ты должен сотворить что-то такое, что вызвало бы такие же мысли и чувства у людей земли. Значит, и ты должен создать что-то доброе и прекрасное. И ведь это доброе и прекрасное можно сделать не только руками, но и другими делами, всею своею жизнью.

Может быть, благодаря этому люди всех родов, начиная с низовьев и кончая верховьями Реки, знали Коску Малого из Лосинога рода. Если кто и лично не знал его, так непременно слышал о нем. И даже районные руководители, давно забывшие родственные связи и ничего не ведающие о своих родах-племенах, заезжая изредка в поселок, спрашивались о Коске Малом — ведь он был лучшим охотником Реки, и о нем знали в районе: не единожды отмечали его удачи различными наградами, не единожды вызывали его на всевозможные слеты и совещания, ибо равных ему трудно сыскать среди охотников зимой и среди рыбаков в летнюю путину. Ни в чем он, казалось, не нуждался. Более или менее обеспеченным считался тот, у кого имелись собственные олени. Война подорвала поголовье частных оленей. Да что там подорвала — извела на нет. Война тяжким бременем навалилась не только на людей, но и на животных, на реки и озера, на леса и поля. Словом, на все, что окружало человека. И если до войны почти у каждой семьи имелся десяток-другой оленей, то после вконец опустели родовые пастбища. Правда, колхоз завел сначала одно, а чуть позже и второе стадо. Но и он при всем желании не мог всех обеспечить транспортом, одеть в меховые малицы, обути в кисты и накормить. И Коска Малый первым среди охотников, не считая ненца Осю с верховьев реки Ампуты, завел оленей в помощь себе. А может быть, и в помощь колхозу. Хотя в те годы косились на всех, кто имел даже одного частного оленя. Пасти их не было возможности, поэтому весной Коска отпускал на волю, «на дикие земли» — то есть они свободно, без всякого надзора, бродили там, где им вздумается. Сколько голов осенью разыскал и поймал — тем и довольствуйся. И теперь, когда промыслово-охотничье хозяйство, потомок первого колхоза, избавилось от своих стад, у Коски осталось около двух десятков своих оленей. Это и транспорт, и одежда, и пища. Худо-бедно, а жить можно. У других, особенно не очень удачливых на рыбном и пушном промыслах, и того хуже. И шли люди к Коске, шли кто с чем. И редко в чем-либо он отказывал людям. И люди этого не забывали.

И жена, Матрена, была под стать ему: искусная рукодельница-мастерица, радушная хозяйка, далеко не по-

следняя красавица своего рода. Ей словно самой судьбой предопределено занять место в доме удачливого охотника Реки. Славных детей народила она Коске: две дочери и два сына, что остались после ушедшей из жизни пятилетней Насти, росли здоровыми и жизнерадостными. Ничто их не беспокоило, ничто не омрачало их радости на земле. Матрена, возможно, никогда не говорила младшим о преждевременно погибшей малышке Насте, которая жила теперь в ее памяти и в памяти мужа. Отца, Коску Малого, дети обожали. Любил он шутки-прибаутки, во всем умел подмечать смешное, веселое. Это нравилось не только детям, но и взрослым. И где бы он не появлялся, всюду оказывался в кругу людей. Казалось, всего достиг человек, все у него есть. И материальное благополучие — олени, и удача на промысле. И верная хранительница очага — жена. И дети — продолжатели рода. И уважение жителей Реки — и старых, и малых. Людская ли радость, людское ли горе — все находило отклик в его душе. Быть может, поэтому он все чаще стал напоминать много лет назад Вверх Ушедшего Человека — соплеменники смотрели на него, а мысль уводила их в прошлое, в те времена, когда человек Божьей Реки, как об этом рассказывает быль, утром тронул упряжку и поехал Вверх, поехал в небо. Поехал вместе с женой, с детьми, со всем хозяйством. И люди земли ровно семь дней наблюдали, как они ехали Вверх по небу, как вечером распрягали оленей, ставили чум и вскоре показывались струйки дыма из макодана...

Теперь Коска Малый стал напоминать всем когда-то Вверх Ушедшего Человека. Он жил только для людей. Он постиг Истину Жизни, Истину Земли. Он постиг самого себя. Он постиг людей. Он постиг природу. И может быть, поэтому ему суждено было вознестись в небо, суждено было постигать небесную, неведомую землянам жизнь. Иначе он не смог бы подняться в небо, не смог бы оторваться от земли.

А что же ждет впереди Коску Малого? Сумеет ли постичь все и подняться на высоту, как и давний предок, Вверх Ушедший Человек? Ведь человеку всегда необходима высота. Пусть небольшая, но высота. Достигнув одной высоты, он стремится к другой. Стремится, чтобы с той, новой высоты взглянуть однажды на все, что окружает человека и человеческий род. Разве может жить человек без высоты?!

Но восхождение Коски Малого замедлилось неожиданно для всех. И беда, как водится, пришла совершенно с неожиданной стороны. Во всяком случае, никто не мог предвидеть этого.

Весной, в пору половодья, завозили катерами все необходимое для рыбаков и охотников: порох и дробь, сети и невода, ружья и топоры, муку и ткани, другие товары. А вывозили рыбу, ягоды и грибы, орехи и прочие дары тайги. Пушнину же отвозили зимой на оленях. До открытия Реки меха никогда не задерживали.

Река делала свое дело: и кормила, и поила. А поила, конечно же, не только светлой водой. Спустя десятилетие после войны в поселок регулярно стали завозить ящики с бутылками хмельного. Что ни год — так ящиков на десяток-другой больше. А время-то не стоит на месте, а время-то идет. И теперь можно было прикладываться к некогда священнодейственному напитку не только в Дни больших праздников, которых в году раз-два и обчелся, но и в будни. А тут наряду с водкой и спиртом начали привозить и вино — густое, кроваво-красное, со зловещим бурым осадком. Знающие люди говорили, что в городе такое вино не пользуется спросом. То — в городе, а в поселке, тем более в отдаленном, мол, сойдет. Выбора-то нет. И под осень работники торговли начинали невиданную рекламу и продажу красного вина, которое в народе получило много названий — «чернила», «бормотуха», «живодер», «кишкодер». Попробуй не реализуй до зимних холодов — мороз быстро расправится с ненавистным кишкодером. Вот и старались продавцы! Но все их усилия выглядят лишь жалкими потугами по сравнению с тем, что случилось попозже, когда искатели нефти на расстоянии долготы одного оленя основали свой поселок Нефтереченск, где магазины работали без перерыва и выходных. Это будет «золотой век» бутылки, апогей ее бесславной славы, ее вторжения в жизнь охотников всех родов таежной реки.

Это время придет позднее. Теперь же люди пользовались услугами райрыбкоопа.

Пили все. Много ли, мало ли, но пили. Кто пил с умом, кто пил без ума. Кто с деньгами, кто без денег. Пили по-разному, каждый на свой лад. И Коска Малый пил не больше других. А возможно, наоборот, пил меньше других. Все охотники, живущие в своих селениях на отдаленных угодьях, редко ездят в поселок, особенно зимой, когда на месяцы отправляются в дальние урманы на промысел. Коль каждый день гонять в поселок, то когда же зверя отслеживать? Когда же тропы-дороги в тайге прокладывать? Когда же зверя, рыбу-птицу вылавливать?.. Наведывался Коска Малый в поселок сдавать пушнину, выпивал, вел долгие беседы с сородичами, с коими давно не виделся, пел песни. Мог и в пляс пуститься, если душа лежала к веселью. Исполнял все обряды, связан-

ные с этой водицей, что считалась когда-то в давние времена святой. Ни с кем не ругался, ни с кем не скандалил. Так было несколько лет.

И вдруг словно нечистый дух Нижнего мира вселился в него.

Пил столько же, сколько и раньше. Но теперь, выпив водки или вина, он избивал каждого, кто первым подворачивался ему под руки. Никого не щадил — будь то самый близкий родственник, самый лучший друг или самый высокий начальник.

Нечистый дух Нижнего мира, называемый русскими сатаной, что вселялся в него, кричал в бешенстве: «Чем больше вижу крови, тем больше хочется ее!» При его ловкости и силе, удесятеренной нижним духом-сатаной, никто с ним не мог совладать. Многие пытались, но не одолели его. Наутро в нем ничего от нечистого духа, или русского сатаны не оставалось. Он смотрел на мир необъяснимо чистыми глазами только что родившегося младенца. И люди, и даже жертвы его буйства, увидев эти печально-кроткие глаза, пораженные, невольно опускали взор: пред ними младенец-ангел, человек-ангел, но не вчерашний сатана, жаждущий крови.

Отчего же в одном человеке уживаются и ангел, и сатана? Отчего же? Кто же знает это? Кто же?.. Неужели для того, чтобы разбудить или вселить в человека сатану, нужно везти сюда ящики с кроваво-черными бутылками? Разве о Коске Малом заботились, когда везли их? Жители Реки хорошо помнят тот год, когда пришло известие: за одну черно-серебристую лису, добытую Коской Малым, на ленинградском пушном аукционе такую цену дали, которая равняется стоимости автомашины «Волга». Хоть охотники и не видывали такой машины, но, однако, немало подивились событию: чернобурка наших лесов обскакала быстроходную машину! Ай да лиса! И охотнику какая удача! В иные зимы, бывало, по всей Реке чернобурка ни одному промысловнику не попадетсЯ на глаза... Порадовались люди, что земля набрала силу, избавилась от тяжких последствий войны. В те годы сколько всего брали — и зверя, и птицу, и рыбу. Все для фронта. Скудели реки-озера, скудели боры-урманы. Но выстояла земля, оправилась наконец-то от ударов войны. А вместе с ней выстояли и люди многих таежных сиров Реки.

И вот теперь с Коской Малым чем дальше, тем хуже. В год, когда Нефтереченск пустил корни на магилорском яру и денно и ночью ревел глоткой сотен машин, Коска, возвращаясь домой, завернул туда к приятелю, искателю нефти, и задержался там до полуночи. В ту ночь до своего зимовья он так и не добрался: на

переправе через Ягурьях нанес оленихе-вожаку десяток ножевых ран. И олениха изошла кровью.

Людей Реки поразила эта неслыханная жестокость — так еще никто и ни в какие времена не обходился с оленем, без которого немыслима жизнь на Севере.

За что же Коске такое наказание? Кто ниспослал ему это безумство? От кого оно? От бога ли Верхнего мира, от человека ли Среднего мира, от нечистого ли духа Нижнего мира?..

Неужели сбывается пророчество его отца Айсидора? Но время то ушло, кануло в небытие. Стало быть, вместе с временем должно исчезнуть и однажды сотворенное зло. Но зло, однако, оказалось таким же живучим, как и добро.

Что-то остается и в прошлом, но живы отголоски...

А спустя годы Микуль, сын Демьяна, многое поймет, перелистав пожелтевшие бумаги. О времени безумства Коски Малого и многих своих соплеменников ему поведает документ под названием НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАРОДА ХАНТЫ ПОЙМЫ РЕК ВАХ И АГАН, из которого он узнал, что в его родном районе на 1 января 1979 года проживало 1732 человека народа ханты (взрослых и детей). «Преимущественный образ жизни оседлый, — читал он. — Примерно 20 процентов взрослого населения живет в тайге в национальных передвижных жилищах (чумах). Занятие населения — работа в промыслово-охотничьих хозяйствах и участках рыболовецких хозяйств. Часть взрослого населения, проживающая в поселках, вообще нигде не работает и живет случайными заработками».

Да это он и сам знал.

Ниже приводились некоторые демографические характеристики народа (его народа!) за последние годы. Он узнал «о достоверном снижении численности народа ханты. Это снижение обусловлено падением рождаемости (с нулевым или отрицательным приростом), повышением уровня смертности взрослого и детского населения, миграционных процессов одностороннего порядка (уход от традиционных форм жизни и занятий)».

Результаты же выборочного и подворного обследования населения заставили его содрогнуться. Практически все взрослое население, — читал он, — (96 процентов) систематически употребляет алкогольные напитки. Пьянство имеет псевдозапойную форму (Господи! Что это?!), длительность запоев 2—6 дней с интервалами до 3—5 недель и более. При заработке до 1000 рублей в год (50—90 руб. в месяц) на приобретение крепких алкогольных напитков расходуется 400—600 рублей...»

Далее он прочел социально-демографические данные о жителях соседнего поселка Сосновый. Многих, чьи истории были здесь поведаны, он знал.

«В Сосновом сейчас 18 взрослых мужчин и 12 женщин. Из них детородного возраста — 3. Две — пьют. Остается одна. Бесперспективно не женаты восемь человек — К-ны Егор, Иван, Владимир, Сергей, Геннадий, Борис, Лаврентий, Павел.

Жизнь ханты трудна не из-за климатических условий. Дело в том, что его нужды мало кого заботят, — и это один из самых серьезных психологических факторов, усиливающих чувство одиночества и ощущение утраты личностно-социальной перспективы. Вот несколько мнений на этот счет.

Станислав Я-в (русский, коренной житель, рыбак-охотник, механик, 30 лет, двое детей, жена Надежда — ханты, зав. почтой, радистка — которая «детородна»): Ханты, по-моему, утратили ощущение заботы о себе со стороны местных властей, лишились стимулов для активной жизни. В руководстве их социальной и хозяйственной жизнью участвуют случайные люди, игнорирующие или лишь формально защищающие их интересы. Еще несколько лет назад в поселке действовали электростанция, пилорама, пекарня, баня. Магазин располагал многими товарами, которых сейчас нет и в помине. Расплата со сдатчиками пушнины, рыбы, дикоросов была оперативной и выгодной. Предусматривались многие нужды с горючим, оружием, снастями, снаряжением. Потом сломалась и была растащена электростанция, увезен в Л-к двигатель с пилорамы, исчезли товары из магазина. Нет пекарни. Давно зарос травой аэродром... Нынешний управляющий отделением пьет, бездеятелен, высокомерен, груб. Обирав ханты, не дает квитанций о сдаче пушнины. Не обеспечивает оперативную сдачу рыбы, отказывает в приеме дикоросов. Хозяйство наше год за годом приходит в полный упадок.

Евстафий К-н (ханты, рыбак-охотник, 28 лет, трое детей, средний ребенок с генетической патологией, жена страдает алкоголизмом): Наш край по-хантыйски «сорненг мэх» — «золотая земля». Мы здесь родились и не хотим отсюда уходить. У нас нет оленей. Этим летом стадо оленей без присмотра ушло и до настоящего времени не найдено. Нет одежды, снастей. Мы все время в чем-то нуждаемся...

Кузьма К-н (ханты, рыбак-охотник, 32 года, был женат, имел ребенка. Вернувшись из тайги, узнал от соседей, что жена ушла с рабочим нефтепромысла): От поселка живу четыре часа лодкой. Туда и обратно поехал — бачка бензина нет. Где взять? Бочку бензина в рыбхозе взял. Поехал едва-едва, перегруз. Опять о горючем думай... Лодок хороших нету. «Казанке» два человека нужны. Ружье

новое не купишь. Много бумажек надо, справки разные для милиции, чтобы разрешение получить на ружье. Опять надо ехать в город, в Н-ск. Жить там негде. Самолеты плохо летают, добираться туда трудно... Рыбхозу все равно: рыбы в садках полно — не забирают. Рыба гибнет. Сам в Л-к не повезешь, плашкоут не приходит... Отпуск? Нигде еще не был... Костюм? Был, а потом кто-то пиджак попросил, потом брюки, не помню...

Владимир Н-н (ханты, зав. клубом, выпускник Салехардского культпросветучилища): Для девушек и женщин отсутствуют стимулы для жизни в тайге — нет возможности красиво одеваться, приобрести украшения, предметы быта. Они чувствуют себя ущемленными. Но скорее всего не из-за того, что живут в лесу — хотя и это со счетов не сбросишь, — а потому, что нет в их жизни признаков современности.

Кирилл К-н (ханты, рыбак-охотник, 40 лет, член КПСС, имел четырех детей, которые: Лидия умерла в 14 лет от двустороннего воспаления легких; Федор утонул в 17 лет; Таисия умерла в 11 лет от двустороннего воспаления легких; Вячеслав умер в 10 лет от двустороннего воспаления легких): Молодые ханты непредставительны, плохо одеты, не идут в сравнение с городскими или постоянно проживающими в поселках, работающими на нефтепромыслах, аэродромах, в сейсморазведке, экспедициях геологов.

В 1979—1980 годах в поселке С-вый Б-р в состоянии алкогольного опьянения замерзли супруги Камин Захар и Надежда, Камин Анатолий, Камин Максим, Камин Николай. Погиб от руки пьяного брата Камин Алексей. К этому поединку прибавьте еще семнадцатилетнего Федю Камин: он и не пил совсем, но то ли с обласа неловко стрелял, то ли в стремнине где развернуло — утонул.

Такая же картина в К-ках, Л-ке, Ч-мее, А-не, П-ге, В-не и в других национальных поселках с приписанными в них ханты других фамилий. Статистика где лучше, а где и хуже.

Система существующего обучения совершенно не учитывает психологии, мышления, видения мира ребенка-ханты. Именно поэтому многие дети, отучась за годы учебы жить лесной жизнью, испытывают затруднения в последующей социальной адаптации. К чему это приводит?.. Добавить разве, что в поселке К-ки две девочки 1977 года рождения злоупотребляют алкоголем. 16-летний Сережа К-н «запивался» во время экзаменов, а 15-летнего Сережу К-ва срочно нужно лечить.

Психологическая ущербность, несостоятельность в профессиональных и бытовых навыках, необходимых для жизни в тайге, теснейшим образом связаны с недостатками школьного воспитания и обучения.

Вопрос смены — вопрос будущего любой организации. В этом смысле одной из самых серьезных проблем ханты, да и всех малочисленных народов Севера, является система просвещения и трудовой ориентации...

Условия жизни и быта ханты резко отличаются от привычных нам с первых дней рождения. Люди тайги, они прекрасно приспособлены к суровому климату, почти не знают закрытых помещений, без промаха стреляют на звук, знают все запахи леса, ощущают невидимые знаки и ветры. Им известны законы природной селекции и метеорологии, миграции зверей и рыб, периоды удач и невезений. Ханты немногословен и деликатен, никогда не подведет, не обманет, не возьмет чужого. Он надежен и вынослив. И только перед алкоголем он слаб, просто беспомощен...

Продажу спиртного нужно запретить — это мнение всех, кто компетентен и заинтересован в судьбе национальности ханты. В одном из вариантов решений вопроса мы предлагали заменить продажу крепких алкогольных напитков на высококачественные сухие и полусухие грузинские, молдавские, крымские, армянские вина с малым содержанием спирта... В ту командировку мы летели из К-ков с переломанным и отекавшим Егором Ивановичем К-ным: после ящика дешевого вина, привезенного в чум, сыну Науму «что-то не понравилось». В этот же день в Л-ке и К-ках жертвами алкогольного дурмана стали еще четыре человека. А за два «сухих» месяца ни одного несчастного случая, ни одного происшествия не было...

Западно-Сибирская низменность — это не только нефть, чья слава признана миром. Это белоснежные лебеди на таежных озерах, лесной зверь от белки до росомахи. В реках муксун, осетр, нельма, стерлядь и другие изысканнейшие яства в промышленных тоннах. Звероводство, оленеводство, коневодство, скотоводство, овощеводство — все это реально было. Кое-где есть и сейчас, но чахнет, орошаемое «винкой». И это при таких условиях, которым позавидовала бы любая сельскохозяйственная держава!..

Число оперативных и долгосрочных проблем народа велико. Многие из них далеки от решения. Но сегодня ясно одно: в хантыйские поселки для решения социально-экономических задач должны прийти коммунисты — последователи и ученики тех «двадцатипяти тысячников», которые поднимали колхозы страны в тридцатые годы.

«Нужны хозяева. Нужны политработники. Нужны партийцы».

Николай Малый, средний сын Айсидора, ничем почти не отличался от старшего брата — такой же легкий, проворный, скорый на подъем — поспевал повсюду. Но разница

все же была — лицом он смуглее, темнее и черты чуть резче, чуть грубее, чем у брата, но при этом оставались приятными и правильными.

На промысле, как поговаривали сородичи, он «конца троп и путей брата не достигал», то есть был не настолько удачлив, как брат. Но, однако, несмотря на это, считался хорошим охотником и рыбаком Реки.

Хозяйственные постройки и дома, возведенные его руками, нарты, обласа* и другие поделки из дерева, кости и бересты тоже чуть грубее, нежели у брата Коски. Получались они добротные и крепкие, но не могли похвастаться особым изяществом. Он знал это и на брата никогда не обижался, ибо не может быть двух равных мастеров, как и двух совершенно одинаковых поделок. Тем более что старший брат Коска с того лета сорок первого, когда взяли отца, еще подростком занял его место и поставил на ноги всю семью. В том числе и его, Николая Малого. А годы-то какие были!..

Но главное различие между братьями было в характерах: если старший спокойный, уравновешенный, то младший был нрава крутого, необузданного. О его вспыльчивости и неукротимости знала вся Река. «Нутро у него очень короткое, — говорили люди о его характере, — ничего туда не вмещается, особенно «кривое» слово».

«Не человек, а порох, — добавляли другие, — самовоспламениться может». Но при этом он пользовался уважением сородичей, ибо он первым никого не трогал, понапрасну не задибался. Но если уж кто завел его, так добра не жди. Однако, как все несдержанные люди, он быстро отходил и зла в душе ни на кого не держал.

Позднее, когда появился Нефтереченск и тайга загудела под напором разнообразной техники, пошла молва, что по всей Реке искатели нефти побаиваются только одного человека — Николая Малого из Лосинового рода. В этом была доля истины, ибо побаиваться надо не всем искателям, а лишь тем, кто любил втихомолку попокаститься в селениях, в лесу, на реках и озерах. И когда жители накинулись на то, что здесь раньше вызывало только презрительную усмешку и что горожане давно используют, чтобы укрыться и отгородиться от себе подобных — то есть замки, цепочки, хитроумные запоры и все тому прочее, то

* Облас, обласок — лодка из цельного ствола осины или кедра. Сначала ствол выдалбливают теслом, затем строгают рубанком. После, подогревая на костре с внешней и внутренней стороны, постепенно распирают специальными распорками. Особого мастерства требует облас из кедрового ствола.

Николай Малый не спешил, почтения к этим железкам не проявлял.

«А ягельники на борах, черные урманы и озера, а реки и неводные урии* — все это разве на замок, закроешь?!» — резонно заметил он.

Сородичи согласно кивали, но и возражали: большое не убережешь, так хоть малое надобно держать.

«А к чему малое? — спрашивал Николай. — Коль сохраним большое, так малое потом в любое время приложится».

«Так-то оно так, — соглашались сородичи, подразумевавшие под малым свое хозяйство и пожитки. — Так-то оно так, да малое-то ведь кровное — значит, ближе, дороже каждому. А там что бог даст...»

Николай только рукой махал.

Его уголья вплотную подходили к Нефтереченску. Раздумывать было некогда, и он не утруждал себя в подборе выражений, по поводу всяких пакостей крыл всегда одними и теми же словами, что крепко запомнились нефтереченцам:

«Кто мне в руки попадет, сукины дьяволы...» — и так далее в таком же духе.

При этом его круглые смородиновые** глаза извергали живой огонь, а вороновые кудри вздрагивали в такт каждому слову и завивались еще круче.

Один-таки «дьявол» попался. И все убедились, что у Николая Малого слово с делом не расходится. Больше не попадались. Видно, не рисковали.

Возможно, что его пастбища и уголья не меньше страдали от техники, чем у других. Но его промысловый инструмент, рыболовные снасти, дома, навесы, амбары — все это обходили стороной. Дошло до того, что однажды осенью, по первому снегу, обчистили лабаз Коски Малого с меховой одеждой. Рядом стоял лабаз Николая с такими же теплыми вещами. Но к нему даже не подходили — об этом сказали следы на снегу. Немало люди подивились такому обороту дела: знать, и вправду побаиваются многие Николая Малого, знать, слыхивали о нем. Да и как, поди, не услышишь, коль он никому спуска не дает — ни черту, ни человеку, ни «дьяволу» любого ранга.

Ближние родственники, предостерегая, со вздохом говорили ему:

* Урий, или курья — далеко вдающийся в сушу залив реки, в тихих заводях которого, очищенных от подводных коряг, ловят неводом рыбу летом и зимой.

** В этих краях знают только черную дикую смородину, которую охотно собирают жены охотников и рыбаков.

«Все жарче становится кругом... С таким-то нравом сгоришь ведь!..»

На что Николай Малый с самым серьезным видом, без улыбки, отвечал:

«Когда-нибудь, рано или поздно, ведь все сгорим... Все там будем...» — и кивал в сторону Нижнего мира, куда ушли предки.

И он, как и полагали люди, «сгорел». «Сгорел» без огня и дыма. «Сгорел» при загадочных, до сих пор не выясненных обстоятельствах.

Это будет впереди. Сейчас он спокойно промышляет зверя и птицу в черном урмане, не подозревая, что уготовлено ему судьбой. Быть может, одна из лучших сторон жизни в том, что человек не знает о дне и часе своей кончины.

Но еще раньше его ушел из Среднего Мира людей Коска Малый. Болезнь, рожденная кроваво-красным вином времени, разъедала, подспудно подтачивала, рассасывала его душу. Его высокую мятущуюся душу. Что это?

Болезнь души?..

Откуда?

От кроваво-красного вина времени?..

Кто знает. Он с собой унесет свою тайну. Унесет неведомо куда. То ли в Верхний мир, то ли в Нижний мир. В Среднем мире его не станет. Уйдет неведомо куда. Только на исходе лета между Нефтереченском и старым поселком найдут его пустую лодку. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. И наверное, не узнает.

Все это впереди, все это будет потом.

Теперь же Коска Малый ничем не напоминал Вверх Ушедшего Человека. Даже сама мысль, выскажи ее кто, жителям Реки показалась бы просто кошунственной. Разве может вознестись Вверх человек, который свой ум и слово, сердце и душу запятнал кроваво-красным вином времени, тем вином, которое никогда не подносили к устам боги и богини земли и неба?* Разве может вознестись человек, что оскорбил словом и действием своих соотечественников? Разве может вознестись человек в наше трудное время?! В наши дни?!

Кому это ведомо?..

Кому?!

И Демьяну это было неведомо, хотя он много размышлял о Вверх Ушедшем Человеке и о жизни Коски Малого и Николая Малого. Демьяна связывала с ними

* В религиозных обрядах и празднествах на стол не ставили красное вино.

не только дружба, но и прямое родство: дядя Айсидор был родным братом его матери. И он чувствовал, как прошлое давит и на него, хотя понимал умом, что в этом его вины нет и никто и ни в чем не может упрекнуть его. Но если ему, человеку другого рода, тяжело, то каково же приходится людям этой ветви Лосинового сира?! Как прошлое сумело сделать Коску Малого несчастным, маленьким и ничтожным?! За что такое суровое наказание?! Неужели это отзвуки того, что в свое время наделал Айсидор?! Выходит, правы мудрые старцы Реки, что внушали людям: за всякое зло, оставленное на земле, нужно держать ответ. Хотя Айсидор, корчюя подряд все старое, вначале был твердо уверен, что делает правильно — все за-ради добра, все за-ради светлого будущего. А вышло по-иному. Тогда многие не могли предвидеть такого оборота дел.

Конечно же, в то время были и такие, которым память начисто отшибло, которые жили только одним днем, не думали о завтрашнем — и этим лишили будущего многих людей земли. Все пошло, наверное, от бездумности, предполагал Демьян. Бездумные они. А бездумному что скажешь — то и станет кричать, куда повернешь — туда и пойдет. Ему, бездумному, все равно, лишь бы на виду быть, лишь бы пыль вовремя в глаза пустить...

Эх, годы, годы!..

Другими были времена Вверх Ушедшего Человека, размышлял Демьян. Тогда люди знали свое место в мире деревьев и трав, в мире Солнца и Луны, в мире звезд и небес. Люди были мудрее и добрее, ибо у добра и зла было тогда по одному лику. Земля не знала тогда небесных и наземных машин, железных и каменных дорог, искателей нефти и газа... Но возврата не будет, обратно не попятышься, размышлял охотник. Только мысль можно вперед-назад посылать...

И мысль его вернулась к Марине, в те дни послевоенного лета, когда плыл с ней вниз по реке.

13

Когда проехали Три Реки, у «головы» правого песка Демьян развернул облас и причалил к берегу.

— Что тут, остановка? — спросила девушка.

— Да, ночевать будем. Место хорошее.

Он помог девушке сойти на берег.

— А чем хорошее место? — спросила она, оглядывая округу и разминая одеревеневшие ноги.

— Просторно тут, — пояснил он. — Как море. Много воды, место открытое. Ветерок всех комаров сдует.

— А воды почему много здесь?

— Тут река на три рукава разбегается, — сказал он и показал рукой. — Вон правый рукав. Вернее, тут все рукава сходятся. Поэтому много воды.

— А мы по какому рукаву проехали-то?

— По среднему — по недавней прорве.

— Ах, да, — догадалась девушка, вспомнив бурно kloкo-тавшие водовороты, мимо которых пронеслись с бешеной скоростью. — Самый прямой рукав?

— Да, — коротко ответил Демьян.

Он быстро и незаметно обжил стоянку. Нарубил рогульки для таганка и колышки для пологов и навеса, развел костер, а чуть в сторонке — дымокур от комаров. Потом принес еловый лапник на подстилку и большой лист свежей бересты. Приволок колоду-плавник с загогулиной посередине. Загогулину выровнял топором — сразу стол и сиденье. Из обласа вытащил берестяной кузовок с посудой и провиантом, котелок и полог. И каждой вещи определил место на стоянке, чтобы все было под рукой.

— Ловко как-то у вас все получается, — сказала девушка.

— Так это... жизнь, — улыбнулся он. — Моя жизнь.

— А мне что делать? Все вы сами...

— Главное ваше дело — поддерживать огонь. Если огонь есть — что еще нужно?..

После чая он съездил «возить блесну». Плавал в тихой заводи недалеко от стоянки. Девушка видела, как расходились волны по реке. Блеснил он до тех пор, пока не попалась щука. Из щуки он сделал подовушку — распластал, посолил и на колышках с двух сторон поджарил на слабом огне. Вечерний чай пили с подовушкой — сочной, горячей, с хрустящей корочкой и привкусом дыма лесного костра.

Солнце село.

После ужина молча посидели у костра — каждый думал о чем-то своем. Потом Демьян не спеша соорудил из лапника две лежанки, воткнул колышки у изголовья и ног и попросил у девушки полог.

— Нет у меня полога, — сказала она.

— Как это нет?! — опешил Демьян. — Дома-то, в поселке, как спали?! В чем спали?!

— Да оставила я полог. Галке оставила.

— Какой Галке? — не понял он.

— Да девушке, которая на мое место приехала.

— Как же теперь быть... — бормотал Демьян, соображая, каким образом он дал такую большую промашку,

что не спросил перед отъездом свою попутчицу о самых необходимых вещах; где теперь полог возьмешь, когда лишний лоскуток-то ткани по всей Реке не найдешь. Обнищал народ в войну. Обнищала страна, не до тряпок сейчас. У оленных людей легче меховой полог найти, нежели ситцевый. Вот так дело...

— А без полога... — заикнулась девушка.

— Ну-у... — усмехнулся Демьян. — Утром следа от человека не останется.

— Так у вас же полог, Демьян Романович? — она кивнула в сторону его лежанки.

— Есть.

— Двое влезут?

— Можно, конечно... — смущенно пробормотал он.

— Я не кусаюсь! — сказала она и засмеялась беззастыдливым смехом.

— Я тоже... — выдавил он.

— Тогда в чем же дело?! — она перестала смеяться. — Может, ваши обычаи... иль законы не позволяют...

— Теперь комар — главный закон! — засмеялся и Демьян, поборов свое смущение. — Какие там обычаи...

С этими словами он начал укладывать лапник с одной лежанки на другую, пошутил:

— Теперь веток больше стало — мягче будет постель!..

— Не старики — бока не отлежим, — заметила она.

Зная повадки таежных комаров, Демьян старательно заправил края полога под постель. Затем приготовил дрова и растопку на утро и притушил костер.

Легли.

Демьян вплотную пододвинулся к боковой стенке полога, на свою сторону, и закрыл глаза. Он боялся, что не сможет уснуть — сердце билось как-то по-особенному, шумно и тревожно, как преследуемый зверь, пытающийся обойти западню. Старики, коль узнают, что он спал в одном пологе с русской женщиной из города, посмеются, конечно, беззлобно: теперь, мол, тебе, Демьян, на охотничьей тропе удачи не видать. Ведь придумал же кто-то и когда-то такую глупость. Ну, с удачей-то мы еще посмотрим, это дело будущего, решил Демьян. А вот комарам-то — кому-кому — удачи уж точно не будет сегодня! Пусть лезут через полог!.. Прислушался, но не уловил даже дыхания девушки, словно ее не было рядом. Спит, наверное, подумал он. И тут с плотно закрытыми глазами он увидел ее на песке после купания. Он увидел уходящие за горизонт удивительные линии ее тела. Он еще плотнее зажмурил глаза, но она все не исчезала. Не хотела уходить. И вдруг он понял, что теперь никто не помешает ему смотреть на нее. Он видит с закрытыми глазами. И нет

его вины в том, что он видит с закрытыми глазами. Он обрадовался своему открытию и, возможно, засмеялся совсем по-детски. Но своего смеха, конечно же, не услышал. А линии, между тем, все расходились, становились продолжением песка, воды, леса, неба... Эти линии он видел в деревьях, в травах и листьях, в облаках. Он видел их везде, на что бы ни перевел взгляд. И, словно в волшебной сказке, она сама стала частью ярко-золотистого песка, частью леса, неба, солнца... И он, утомленный целым днем езды, не заметил, как явь перешла в сон. В кругу удивительно прекрасных линий, между небом и землей, он уже витал во сне...

Утро было пасмурным.

И пришло оно очень быстро. Демьяну показалось, что он не успел закрыть глаза — и уже наступило утро, будто вовсе не было ночи, сна и головокружительных линий. Но голова слегка кружилась — значит, все это было наяву ли, во сне ли. И он насмешливо подумал о себе в третьем лице: «Еще ночь поспит — так совсем голову потеряет...» А без головы какой охотник?! Какой человек?! Эх, и сказать нечего...

Встала и девушка.

— Комары не беспокоили? — спросил Демьян. — Как спали?

— Ой, да великолепно! — улыбнулась она. — Какие там комары, когда спала как убитая...

— Первый день пути самый тяжелый, — говорил Демьян. — Это всегда так. Потом привыкаешь, легче становится.

— Да не пугает меня дорога! — воскликнула она. — Вот еще чего бояться!..

Он сначала развел костер и дымокур, повесил над огнем котелок и лишь после этого спустился к воде умыться. Потом он свернул вещи и сложил их в облас — оставил на стоянке только кузовок с провиантом. Пока он готовился к отплытию — вскипел чай, сели завтракать. И тут пошел дождь — вялый такой, неуверенный, то закапает, то опять перестанет.

— Вот ваш вчерашний дождь, Демьян Романович! — вспомнила девушка его вчерашнее опасение.

— Пришел-таки. Думал, может, стороной обойдет...

— Наверное, скоро перестанет, — предположила она.

— Нет, это долгий дождь, — говорил он, оглядывая небо. — Со всех сторон ровные облака, чистого неба не видно.

По всем приметам выходило, что дождь зарядил на долго. Быть может, на день. А возможно, и на два-три дня. Приятного маловато, соображал Демьян. В душе он всегда поругивал погоду, если она портилась не в положенное время. Ладно осенние дожди — это их время. Ладно февральские вьюги — это их месяц. А большие летние дожди

к чему? Ни природе, ни человеку, ни зверю-рыбе. Из-за лишнего дождя может и ягода не уродиться, может травостой погибнуть. Да мало ли всяких неприятностей!

А перед отплытием Демьян и вовсе огорчился. Он увидел, как вздрогнули ресницы девушки, когда она потянулась к своему веслу, — будто ударили её.

— Руки! — приказал он, шагнув к ней.

Она недоуменно пожала плечами.

— Руки! — повторил он.

Она протянула руки тыльной стороной вверх. Он немного наклонил голову, чтобы получше рассмотреть руки: узкие загорелые кисти, длинные, чуть согнутые в суставах пальцы, пахнущие каким-то лекарством.

Руки как руки. Лишь у запястья правой руки, словно островок, чернела родинка. Он задержал взгляд на родинке, будто припоминал, где мог видеть такой островок, потом взял ее руки и повернул их ладонями вверх — на ладонях и пальцах кровавые мозоли. Он завороченно смотрел на кровавые мозоли. Кровь темными сгустками запекалась под кожей. Он вспомнил, как у него впервые появились такие мозоли. Мать-покойница посадила его гребцом на корме, и они направились облавливать озеро в верховье реки Древесной. То было в начале июня тысяча девятьсот сорок второго года.

Сорок второй запомнился ему крепко.

Ему казалось, что в памяти он мог бы восстановить до мельчайших подробностей каждый день этого года. Этот год еще запомнился тем, что был долгим как вечность.

Сейчас он держал руки девушки, смотрел на ее кровавые мозоли. Мозоли расплывались. Перед его глазами промелькнули тысячи видений. Годы, дни, мгновения жизни...

Наконец он не то простонал, не то выдохнул хрипло:

— Э-эхх!..

Она резко выдернула руки.

Он машинально спросил:

— Боль есть?

Она ответила резко:

— Нет!

Он вспомнил саднящую боль. Она появляется, когда мозоли начинают кровоточить. И эта боль особенно жгуче усиливается к ночи: остаются одни весельные мозоли. Лежишь, и кажется, что, кроме них, ничего на свете не существует. Это особые мозоли и ноют по-особому.

— Лекарство какое есть? — спросил Демьян.

— Какое там лекарство! — усмехнулась она. — Если медик — так с аптечкой, что ль, должен ездить!..

— Ладно, думать будем, — солидно проговорил он. —

Может, что придумаем...

— Так заживут.

— Заживут, конечно, — согласился он. — Но зачем лишнюю боль делать?..

Он отнял у девушки весло и положил за спину, на корму.

— Пусть весло отдохнет, — пробормотал он себе под нос. — Вчера целый день гребло — устало, наверное.

Дождь все накрапывал. Дождь мелкий и нудный. А «дождевой одежды» никакой не было. Почту и другие вещи Демьян накрыл тиской — полосой из вываренных кусков бересты, сшитой руками покойной матушки. Девушке тоже выделил кусок бересты — все же какое-никакое укрытие от дождя можно соорудить. Сам же под берестой не спрячешься — грести плохо. И он надел свою малицу-шинель. А история малицы уходит опять же в войну. Возвращение каждого фронтовика было большим событием для всех жителей Реки. В конце сорок пятого вернулся и дядя Василь, двоюродный брат отца. Все, с чем он приехал, раздал родственникам. Кому достались сапоги, кому — шапка, кому — ремень. Демьяну он отдал шинель. «Много кое-чего она повидала, — сказал дядя. — Много мне помогала, пусть теперь послужит тебе». Мать долго рассматривала шинель. Не раз украдкой омывала слезой серое сукно войны. В конце концов она решилась: перешила шинель в малицу. При этом сумела выкроить какие-то лоскуты, из коих получился приличный капюшон. Заштопала дырочки то ли от пуль, то ли от осколков. Малица вышла что надо. Она обрела свое название, свое имя. Бывало, когда Демьян собирался в дорогу, мать напоминала, чтобы он не забыл «военную малицу». Она служила ему с ранней весны до поздней осени. В зависимости от погоды она была то подстилкой, то одеялом, то подушкой, когда ему приходилось ночевать в тайге. Если вдруг ожидалось похолодание, то он надевал малицу на ночь, а под голову клал пояс и подсумок с патронами.

Военная малица исправно служила ему.

Но и у нее были свои пределы. Он почувствовал, как малица стала промокать в плечах. Это в порядке вещей. Всякая одежда начинает пропускать воду сначала в плечах. Военная малица продержалась под дождем столько времени, сколько нужно было. Теперь надо ей помочь — пришло время хозяина. Он должен выдержать растекающую по телу дождевую воду не меньше, чем военная малица. Дольше — можно, а меньше — нельзя. Такой у них был негласный уговор.

Впрочем, сейчас Демьян думал не о малице, а о руках девушки. Какую промашку дал, соображал он. Вторую. Большую. Как не заметил? Почему не почувствовал ее боль?

Ведь живые руки. Руки девушки, которым предназначено вовсе не весло... Наверное, кожа моя слишком толстая стала, решил он и посмотрел на свои руки. Весло уже не чувствуют. А ладони его и вправду давно задубели от частого трения весла, никакие мозоли теперь не возьмут...

— Дайте мне весло, — попросила девушка. — Я тихонько буду грести.

— Ну-у! — только и выдохнул Демьян.

— Скучно сидеть без дела, лучше веслом...

— Ну... Скажите лучше: еще не промокли? — спросил он.

— Нет еще!..

— Ладно, хорошо... — пробормотал он, хотя знал, что никаким куском бересты нельзя полностью укрыться от дождя, особенно на маленьком обласке.

Поэтому он решил сделать привал. К этому времени и его плечи стало жечь от трения мокрой одеждой: дождь делал свое дело.

Остановились под разлапистыми кедрами, куда меньше проникал дождь. Первым делом Демьян развел жаркий костер, чтобы побыстрее обсушиться. Но сушить свою одежду не стал. Сказал девушке, что походит по лесу, поищет какое-нибудь лекарство, — и скрылся за деревьями. Девушка уже обсушила свою одежду, когда он вернулся с желтоватой пахучей смолой на куске бересты

— Что это? — спросила она.

— Живица пихты, — объяснил он. — Раны смазывают. Опухает где — тоже смазывают. Говорят, помогает хорошо.

— Откуда вы знаете?

— Так старые люди говорят.

— А пахнет хорошо. Лесом пахнет.

— Да, лесом пахнет.

И он взял сначала одну ее руку, потом вторую и смазал мозоли живицей и перебинтовал.

— Все! — сказал и засмеялся он. — Вылечим руки!

— Конечно! — сказала она и поинтересовалась: — Как эту живицу достают?

— Очень просто, — ответил он. — На коре пихты появляются пупырышки такие, вздутые — в них живица. Надавишь — появится капля живицы.

— Мне бы посмотреть — это ж медицина...

— Да увидим еще...

Дождь все не переставал.

Демьян срубил четыре рогульки и жердинки — и они сделали навес. Верх накрыли тиской и кусками свежей бересты. Стоянка стала уютнее, будто появился дом. И полдневный чай пили под навесом. Теперь дождинки тщетно бились о бересту — крыша защищала от непогоды. Демьян только усмехнулся: пусть льет, коль Богу дождя

нечего делать. Видно, заскучал от безделья, вот и открыл дождь не ко времени. Все у него в голове перепуталось...

— А как вы считаете, бог есть? — спросила девушка.

Демьян взглянул в ее цвета весеннего болота глаза. Серьезные, ждущие ответа. И он, немного подумав, ответил тихо:

— Не скажу: есть бог. И не скажу: нет бога.

В ее золотисто-зеленых глазах появилось удивление:

— Как это понимать?!

Демьян опять помедлил, словно прикидывал, отвечать или нет. Но ее необыкновенные глаза заставили его заговорить.

— Я вот как это понимаю... — начал он. — С детства помню...

Вспомнил, как он открывал мир. Старики рода говорили, что все земное сотворено богом. Есть Нум Торым — Верховный бог. У него есть дети — дочери и сыновья. Тоже боги, ведают разными делами. Есть Богиня Земли. Богиня Солнца. Богиня Жизни. Есть Золотой Старик. Бог Удачи. Бог Грома. Кроме них, есть еще местные боги и богини. Это хозяева и хозяйки рек и озер, урманов и гор. У каждого бога своя история, своя легенда, своя жизнь. Каждый за что-то отвечает, что-то делает. Разве это плохо, если за жизнью одной Реки или одного урмана следят сразу два хозяина — бог и человек?! Порядка больше будет, только и всего. Боги занимаются божьими делами, люди — людскими. Не мешают никому, живут себе... Но вот началась война — самое тяжелое время для людей земли. Сколько безвинных людей погибло! Сколько умерло от горя и страдания! Сколько покалечилось на веки вечные! Сколько невзгод свалилось на народ!..

— Первое дело. Почему бог не пришел на помощь людям? — спросил Демьян. — В это время где он был?

— Значит, нет бога? — переспросила девушка.

— Выходит, так... — печально согласился Демьян. — Глядя на все это, на людей земли, сердце какого бога не вздрогнуло бы, не загорелось бы состраданием?!

Он помолчал немного, повертел в руках трубку, добавил:

— Есть и второе дело. Пусть он есть. Но если у него равнодушное сердце, то к чему людям земли такой бог?!

— Резонно, — заметила девушка. — Выходит, все против бога!

— Нет, не все, — не согласился Демьян. — Есть еще третье дело...

— Какое же?! — живо спросила девушка.

Подумав, он ответил:

— Человеку нужна крепкая вера.

— Ну, насчет веры можно поспорить, — сказала девушка. — Слов нет — вера нужна. Но при чем здесь бог?..

Можно верить в социализм, в коммунизм. Да мало ли прекрасных идей! Это тоже вера...

— Наверное, есть две веры. — Демьян начал размышлять вслух. — Ученая вера и простая вера. У вас, — он глянул в золотисто-зеленые глаза девушки. — Ученая вера. Вы верите в учение, в книги, в коммунизм. Верите людям, которые написали эти книги, придумали эти слова и идеи. Это — ваши боги. Только вы их называете не богами, а как-нибудь по-другому. Дело не в этом. Главное — вы верите. С их помощью ищете Высшую Истину Жизни...

— Пусть будет так, — кивнула девушка. — А что такое простая вера?

— Это, наверное, вера тех, кто не сможет постичь учение, — размышлял Демьян. — Вот я, например. И многие другие люди нашей Реки...

По всей Реке, пожалуй, даже десятка человек не наберется, кто по-настоящему постиг ученую веру, искренно принял ее, говорил Демьян. Человека можно научить читать и писать, можно обучить его новому ремеслу, можно поселить его в городе вдали от природы, но нельзя его сразу поднять до высот ученой веры. Он сам должен медленно подниматься постигая мудрость и непонимание книжных богов, примеривая все это на себя и на окружающую жизнь. Он должен подниматься мучительно медленно, дабы ничего в пути не растерять. Ведь всякая высота дается нелегко... Пока же большинство людей у подножия горы. Люди живут, делают свое дело, любят и страдают, рожают детей, воют и умирают. Все они нуждаются в простой вере, которая объединяет их, которая зовет их к доброте и справедливости. Пусть символом этой веры будет бог. Может быть, его нет вовсе. Возможно, так дело и обстоит. Но что-то должно объединять людей, связывать их. Можно это объединяющее начало называть не богом, а каким-нибудь другим словом. Это все равно. Главное — чтобы в людях была простая вера во что-то или в кого-то. С помощью этой неумирающей веры они ищут Высшую Истину Жизни...

— Человек не может жить без веры, — закончил Демьян.

— Хорошо, — согласилась девушка. — А что такое Высшая Истина Жизни? Как вы это понимаете?

— Как я понимаю это? — Он призадумался, помедлил с ответом, затем сказал неторопливо: — Как и для чего должен жить человек... В этом, я думаю, нужно искать Высшую Истину Жизни.

— Вы хотите сказать: смысл жизни человека?

— Да-да. Как нужно прожить свою жизнь? Для чего?

— Можно всю жизнь искать и не найти ответа на этот вопрос, — заметила девушка.

— Искание — это тоже смысл. Искание — это хорошо. Главное, это чтобы пустоты не было...

— А пустота, что это такое?

— Есть еще такое дело: пустота, — пояснил Демьян. — У человека отняли простую веру, бога отняли, а взамен ничего не дали. Ему говорят про ученую веру, а он не может ее принять сердцем, не может подняться до ее высот. Вот тут получается самое страшное — пустота в душе...

Это люди совсем пропащие, — размышлял Демьян вслух. — Их называют «назад живущими» или «обратно живущими», ибо они не думают о будущем, не думают о своем народе, не думают о других людях. Они бывают разные, эти обратно живущие. Одни начинают жить только для себя. Другие — немало их — начинают поклоняться одному богу — вину. Третьи вообще ничего не хотят делать или все делают через пень-колоду, кое-как, словно утрачивают вкус к жизни. Четвертые мечутся, бросаются от одной крайности к другой, вибрируют на острие, что разделяет жизнь от смерти; они очень остро чувствуют, что им чего-то не хватает, чего-то очень нужного, совершенно необходимого для жизни, ибо без этого «чего-то» жизнь становится бессмысленной. Они мечутся, ищут, но ищут, как правило, не там, где нужно. У них просто нет времени остановиться на мгновение, остановиться и призадуматься о прошлом и будущем и ощутить свое «я» в извечном движении дней, лет, веков. Но у них нет этого мгновения. Они все бегут и бегут — и преждевременно проваливаются за черную черту горизонта в потусторонний мир...

Это самые несчастные люди земли.

Люди без веры. Их можно направить и назад и вперед, и вкривь и вкось. Их руками можно грабить, сжигать селения-города и убивать людей. Люди без веры идут на все, ибо в их душах нет грани между добром и злом, все у них порушено безверием...

— Есть вот такая пустота в нашей жизни, — тихо закончил Демьян.

— Не ожидала от вас! — призналась девушка. — От бога пошли — в пустоту пришли. Впрочем, все логично... Откуда все это у вас, Демьян Романович?..

— Как откуда? — удивился он. — От жизни, от дорог, наверное.

— Но вы так еще молоды!..

— Верно, жил мало, а ездил много, — сказал он. — А когда едешь — много думаешь. Зимой на оленях едешь — дорога длинная. Мысль приходит: зачем я живу? Летом по реке плывешь, по воде. А вода и вовсе бесконечна. Разве с зимней дорогой сравнишь! Опять думаешь: как я живу? Правильно ли живу? Одна дума кончится, приходит другая,

Начнешь обдумывать жизнь людей своего рода, потом жизнь людей Реки. Думы, как и дороги, бесконечны...

— А начало дум... откуда идет? Кто научил, что ли, думать? — спрашивала девушка.

Демьян взглянул на небо. Дождь все моросил.

— Многих людей я слушал. Первый, конечно, отец был...

С людьми нужно хорошо жить, говорил ему отец. Для чего? Человек, прожив на земле отведенные ему дни, уйдет в потусторонний мир. И коль он оставит о себе добрую память, люди с благодарностью будут вспоминать его. А это приятно его потомкам — детям, внукам и другим родственникам и близким. Поэтому нужно думать, как ты прожить должен свою жизнь. Ведь после ничего уже исправить нельзя... После пришел крестный отец, старец Ефрем, объяснявший все явления природы и жизни. За свою долгую и трудную жизнь он многое постиг и обдумал. Он был думающим человеком. Быть может, поэтому Кровавый Глаз одним из первых отправил его туда, откуда никто не возвращался. Но прошли годы, и он оказался единственным на всю Реку, кто вернулся с мест, откуда не было возврата.

— Может быть, ему крепкая вера помогла, — проговорил Демьян. — Не ученая, конечно, а простая...

— Вот об ученой вере, — заговорила девушка. — Почему вы не доучились?

— Не знаю... — признался Демьян. — Как-то не до учебы было. В сорок втором мое учение кончилось.

Отец и братья ушли на фронт. Мать посадила его гребцом на нос лодки — ездила так на рыбалку. А зимой взяла его погонщиком оленей, когда стала возить аргиши с рыбой в районный центр. Все же помощник. Он мог бы, конечно, учиться — никто не принуждал работать. Но он видел, как тяжело матери без него. Только по прошествии лет он понял, что матери тяжело было, быть может, не столько физически, сколько от одиночества, от потери самых близких людей. И последний сын своим присутствием облегчал ее душевные и физические муки, помог выдержать тяжесть военных лет.

К концу войны он уже самостоятельно выезжал на рыбалку и охоту. Какая тут учеба, побыстрее бы до победы!

— Другие же учились? — спрашивала девушка.

— Кто учился, кто работал. По-разному все было...

Он призадумался, потом улыбнулся грустно, сказал:

— И грех смеяться, и смешно. В школе-то, в интернате одежда на нас просто горела. А материи-то, видно, не привозили — время военное. Так нам сшили штанишки из занавесок оконных. Белые занавески были, тоненькие такие. Ну, кто их пораньше получил, кто попозже. Кто как без

штанов оставался — получал их. Вот первых белоштанников мы стали дразнить «белогвардейцами». И даже стали поколачивать их как следует... А потом и я стал белоштанником, побывав в шкуре «белогвардейца»...

Он помолчал немного, потом взглянул на девушку и вспомнил начало разговора.

— Учение мимо меня прошло, — сказал он. — Если бы я постиг ученую веру, тогда бы, может быть, о боге сказал бы по-другому, по-ученому, что ли...

— Богу мы, конечно, дали большую поблажку, — сказала девушка. — Мы же комсомольцы...

— Не все комсомольцы ученые, — возразил Демьян. — Значит, неученым комсомольцам нужна простая вера.

— Если бы наши комсомольцы в поселке слышали сейчас наши разговоры о боге, крепко бы нам досталось вместе с богом! — засмеялась девушка. — Вздернули бы на одной веревке!..

— Так и вздернули бы?.. — пробормотал Демьян и, взглянув на смеющиеся золотисто-зеленые глаза девушки, сам засмеялся и сказал: — Наверное, приятно висеть на одной веревке... с такой девушкой!

— А как повисишь — так больше не захочешь! — сквозь смех ответила она.

— Ну, один раз в жизни все можно... — многозначительно сказал он.

— Так второго-то раза ведь не будет! — смеялась она. — Второй-то жизни!..

— Ну и что, — невозмутимо проговорил он. — Одной жизни должно хватить!.. К чему вторая-то?

День клонился к вечеру, хотя это было не так просто уловить — все небо затянуто облаками. Но Демьян знал, что перед закатом дождь прекратится ненадолго: можно съездить за карасями в глухое лесное озеро недалеко от стоянки. Совсем без дела он не мог сидеть.

Когда дождь начал утихать, он взял топор и нарубил дров. В такую погоду всегда должен быть запас. Потом объяснил девушке, как нужно поддерживать огонь, и, сказав, что скоро вернется, поехал ловить карасей. Но караси попадались плохо — то ли из-за непогоды они «спали в иле», то ли кончалось время икромета, и они не ходили, то ли сетешка его вконец обветшала.

Ему хотелось порадовать девушку крупными золотисто-оранжевыми карасями — одно загляденье! Поднимешь — словно солнце в руки взял! Так и горит, так и сверкает! Вот это царь-карась! Но такие не попадались. Поймал карасишек мелких и бледных. Вот и задержался допоздна.

Все надеялся, что забредет в сеть чудо-карась.

К ночи еще плотнее сдвинулись тучи, и в лесу стало сумрачнее.

Подплывая к стану, Демьян в тусклом отсвете костра увидел встревоженную тень девушки. Она была явно чем-то обеспокоена. И когда он подошел к навесу, она схватила его за руку и почти шепотом сказала:

— Дема, там кто-то ходит!

— Кто же там ходит? — громко спросил он.

— Не знаю, — полушепотом ответила она.

— Видела?

— Нет, только слышала! — Она показала в глубину леса. — Кто-то там деревья и ветви ломает!

— Да к костру не подойдет, — успокоил ее Демьян. — Зверь, наверное, какой-нибудь ходит.

— Какой зверь? — быстро спросила она.

— Кто знает: может, заяц. Может, лиса.

— Нет, большой зверь шумно ходит!

— Наверное, лось, — согласился Демьян. — Он тяжело ходит иной раз...

— А я так напугалась! — призналась девушка. — Подумала: а вдруг к костру подойдет! Что бы я стала делать?

Тут в чаще послышался неясный говор: будто два человека, невнятно бормоча, о чем-то спорили между собой. Бормотание прервалось так же неожиданно, как и возникло.

— Люди?! — прошептала девушка и шагнула к Демьяну. — Откуда они взялись?!

Голос ее дрогнул.

Демьян повернул лицо в сторону чащи. Тут послышалось тьяканье собаки, приглушенное расстоянием и низкими тучами.

— Понятно, кто к нам пожаловал, — проговорил Демьян, подкладывая дрова на огонь.

— Кто?!

— Старый пакостный филин...

— Филин?! — недоверчиво переспросила девушка.

— Да он иногда такое вытворяет — волосы дыбом встанут! — засмеялся Демьян. — Это он так развлекается, пугает людей. Особенно весной, когда настроение у него хорошее. Мастак он на всякие штуки...

— Уф-ф! — вздохнула и засмеялась девушка. — А ведь и вправду мурашки по коже бегут! И не подумаешь — филин!

Демьян повернулся в сторону филина и крикнул:

— Ты, старый разбойник! — и добавил еще несколько слов на родном языке.

— Что ты ему сказал? — спросила девушка.

— Что мы не боимся его и чтобы он шел по своим делам!

— И все?

— Еще сказал ему, если в покое нас не оставит, я возьму ружье и так напугаю его, что он дорогу домой не найдет...

— Ружья-то у нас нет! — улыбнулась девушка. — Чем его напугаешь!

— Я ему так уверенно сказал, что он поверил про ружье.

— Он понимает человеческий язык?

— Все лесные звери-птицы понимают человека. Ну, которые, может, не очень понимают, но все равно чувствуют по голосу, о чем их просит человек.

— А одному в тайге не страшно? Останавливаться, ночевать?..

— Тут главное — в сердце нельзя пускать страх, — отвечал Демьян. — Коль пустил в сердце страх — так и филин напугает, и сова прилетит — потешится, и заяц покажется медведем. Такое вот дело...

— Как удержать страх, если он живет в человеке?

— Нет, сердце человека чистое, — возразил Демьян. — Страх приходит со стороны. И все плохое приходит в сердце человека со стороны.

— Со стороны, значит? А человек — ангел? Так, что ли?

— Так, так, — кивнул он. — Ведь в сердце младенца нет страха и жестокости. Все приходит потом, от других людей, от плохой жизни...

— А с таежным страхом как быть?

— Тут все просто. Тут вот какое дело надо знать. В тайге все звери-птицы уважают человека, уступают ему дорогу. Стало быть, человеку совсем нечего бояться. Разве что по глупости пустит в сердце пустой страх...

— А медведь? По-моему, его все побаиваются.

— Да про него много говорят. А так зверь как зверь, со своими повадками.

— Пугают людей? Пустые страхи, считаешь?

— Можно так сказать... — в раздумье проговорил Демьян. — Вот в войну был один случай... А так наша Река не помнит ни одного смертного греха за медведем. И старики не слыхали от своих предков ничего подобного. Во всяком случае, за последние сто с лишним лет...

— Расскажи, интересно ведь, — попросила девушка.

— Потом как-нибудь, — уклонился он. — Дорога длинная, успею еще... А на сегодня филина достаточно, — усмехнулся он и, глянув в сторону чащи, добавил: — Видно, полетел по своим делам — не слышно теперь его.

— А ведь и вправду, будто послушался нас! — удивилась девушка.

— Он понял, что мы не боимся его. Не испугались.

А коль пугать некого — так зачем зря шуметь. Разумная, однако, птица...

Оба замолчали. Демьян покуривал трубку. Девушка задумчиво смотрела на языки пламени.

Потом они сварили карасей и поужинали.

Шел дождь.

Глухо вздыхали кедры под порывами ветра.

Потрескивал костер.

Они сидели под навесом и молча слушали дождь. Дождинки звучно барабанили по бересте крыши.

Наконец девушка спросила:

— Что ты все молчишь, Дема?

— А о чем говорить? — осведомился он.

— Как о чем? — удивилась она и взглянула на него внимательными глазами. — О чем-нибудь.. О чем-то ведь думаешь...

Он почувствовал, как тепло ее болотных глаз согрело его лицо и стало проникать в нутро.

Он молчал.

— О чем-то ведь думаешь, не правда ли? — спрашивала она.

После паузы он согласился:

— Думаю.

— О чем же?

Помедлив, он смущенно сказал:

— Я думаю о нас.

— О нас?! — Ее брови вздрогнули и, словно натягиваемый лук, изогнулись посередине.

— Может быть, о себе? — уточняла она.

— Нет, о нас, — упрямо повторил он.

— Что же о нас можно думать? — проговорила она.

— Разное.

— Любопытно... — только и сказала она.

А размышлял он о жизни, о превратностях судьбы. Вот пришли на землю два человека, примерно в одно и то же время. Жили на разных реках. Жили, ничего не подозревая о существовании другого. И вот однажды судьба свела их. И жизнь стала больше, мир — шире, небо — выше. Удивительно преобразилась земля — все удвоилось в жизни, все повернулось к человеку только светлой стороной. Но в то же время все вдруг объединилось, все вдруг соединилось воедино. И все стало на двоих. На двоих.

Одна тайга.

Одна вода.

Одна дорога.

Одно небо.

Одно солнце.

Но придет время — и нарушится это изумительное единст-

во мира и жизни. Повернут в разные стороны и, быть может никогда больше не увидят друг друга. И уйдет в небытие один житель земли. И жизнь станет меньше, и мир снова сузится, а небо — снизится. И каждый что-то теряет. Что-то очень нужное. Что-то очень необходимое.

А время неумолимо...

Время неподвластно...

Одни потери...

Такие мысли бродили в голове Демьяна. Словно разбредшее стадо оленей, они, быть может, шли не в том направлении, в каком нужно было идти. Но он уже ничего не мог сделать.

Девушка долго молчала.

Было слышно, как звенела вода реки.

Шел дождь.

Наконец девушка подняла на него цвета весеннего болота глаза — в них была грусть. Она тихо сказала:

— Что-то ведь остается...

Он ответил не сразу, после небольшой паузы:

— Печаль потери остается...

— Значит, все бесследно не уходит. Значит, что-то все же остается.

Медленно, как бы взвешивая каждое слово, он сказал:

— Лучше бы ничего не оставалось...

— Нет-нет, — быстро и решительно перебила она. — Пусть хоть печаль остается! Разве это плохо?

— Пусть так, — согласился Демьян, чтобы не огорчать ее. — Пусть будет так.

Оба смолкли. Сгущались сумерки. Рвались искры огня в неведомую высь. Костер незаметно убаюкивал, но время сна еще не пришло. И девушка тихо заговорила. Демьян слушал ее мягкий певучий голос, похожий на мелодичный и чистый говор таежного родника. Такие родники встречались ему в урмане, на пологих склонах сопок, под сенью ельника и кедрача. Он останавливался и долго и ненасытно впитывал в себя говор родника, что завораживал его необыкновенной чистотой звуков и необъяснимыми переливами мелодии. После, спустя многие дни, он мог вспомнить весь напев и спеть его без слов: «Вов-во-во-во-во-вов...» В нескольких звуках будет столько нюансов, что невозможно их передать ни словами, ни нотами... Его заморозит мелодия, где нет ни одного лишнего и неверного звука. Что может быть искреннее и правдивее напева родника?! Что может быть искреннее и правдивее самой природы?! Но сейчас, позабыв обо всем, он смотрел на огонь и слушал мелодию, что, подобно родниковому ручью, струилась только для него. Будто наяву, он увидел город на берегу большой сибирской реки. Пристань, пароходы, вокзал, люди города. Большие и

малые дома людей города. А вот и самый лучший дом города — это ее дом. Потому что родной дом всегда кажется лучше и краше, чем другие дома. Увидел ее деда — сидит за столом, обложился книгами со всех сторон, молча читает. Ученый, по счетной части, понял Демьян. Бабушка. Она что-то говорит на непонятном наречии. Ах да, она учит внучку польскому языку. Ей очень хочется, чтобы еще одно поколение в Сибири сохранило ее родной язык. Вот вторая бабушка. А дед, другой, уже ушел из жизни. И отец ушел... Мать одна. Она в деда, тоже по ученой части... А чем в городе плохо? Да просто хотелось начинать самостоятельно все, своими силами, без опеки бабушек и дедушек. В детстве вообще мечтала стать парикмахером и поехать куда-нибудь далеко-далеко. Разве плохо ездить по миру и делать людям прически, чтобы они красивее стали? Возможно, в этом проявился тот беспокойный дух, что был присущ многим ее предкам. В ее родословной удивительным образом переплелись судьбы разных людей — и польских политссыльных, и украинских переселенцев прошлого века, и венгерских интернационалистов, и сибирских чалдонов. «Полный интернационал», — заметила девушка.

— Ну а по паспорту кто? — спросил Демьян.

— Русская.

— Как так?

— В России — мы все русские, — улыбнулась девушка. — Вернее: интернационалисты.

— Ин-тер-на-ци-о-на-лис-ты... — повторил Демьян, как бы взвешивая каждый слог, словно пробовал на прочность. — Крепкое слово...

В ушах у Демьяна все еще стояли удивительно завораживающие звуки ее голоса, что навевали родниковую чистоту и свежесть его земли.

Они снова замолчали. Они молча смотрели на огонь, и языки пламени рвались в мокрое небо, и отблески носились по их задумчивым лицам. Дождь все моросил. И под шум дождя они приняли ночь...

14

Демьян встряхнулся от дум, огляделся — подъезжал к реке Ягурьях.

Увидев впереди крутой подъем, вожак Вондыр затормозил, и упряжка пустилась галопом и легко вылетела на левый берег. Тут Демьян отвел влево хорей и натянул поводок — олени остановились под старым кедром. Пора остановку делать, решил он. Пусть дух переведут.

Жажда все мучила его, и он повернулся к реке, что дремала под покровом снега и льда. Но рубить прорубь не стал — кто из-за глотка воды станет тревожить спящую реку или озеро. Не принято такое у путников. Это одно. Но было и второе обстоятельство... Он взглянул на ствол кедра со следами старых зарубок и ран, со спекшейся смолой, с обломанными нижними ветками. Смеркалось. И под огромной кроной древнего кедра стало еще сумрачнее. Но в большой холод в сумраке всегда теплее, нежели на свету. Быть может, поэтому Демьян задержался у дерева, прикоснулся к замшелому стволу. Старый кедр на своем веку многое видел и многое помнит. Он видел, как у одного Курпелак Галактиона после войны, на этой переправе, на середине реки, замертво свалилась правая пристяжная важенька. По инерции вожак и средний протащили ее волоком десяток шагов. Курпелак Галактион остановил упряжку и, сунув под мышку самодельный деревянный костыль, проворно заковылял к важеньке, приподнял ее голову и развязал недоуздок. Еще была надежда: она просто споткнулась, сейчас оклемается и встанет. Он стоял, низко нагнувшись над ней, и ждал. И, увидев мертвеющий глаз оленихи, понял: все кончено, никакой надежды. Он выпрямился и только теперь взглянул на Кровавоглазого. Тот, в тулупе, полуразвалившись, неподвижно сидел на нарте и, казалось, дремал. Сзади подъехал Коска Малый и, останавливая упряжку, крикнул Галактиону:

— Что с ней? — и устремил взор на олениху.

— Пала, — мрачно ответил Галактион.

— Выживет?

— Пала. Замертво пала, — глухо повторил каюр.

И тут Кровавый Глаз резко, взмахнув лапами черного тулупа, словно поднимающийся на задние лапы медведь, вскочил, — видно, не дремал все же. Вскочил и бросился к одному каюру.

— Нароч-чна-а! — взвизгнул он. — Нароч-чна такого оленя запряг! Нароч-чна!..

Он подскочил к одному Галактиону и ударом ноги выбил костыль — каюр свалился в снег. И Кровавый Глаз принялся неистово молотить его ногами.

— Нароч-на!.. — рычал Кровавый Глаз. — Нарочна — сын паскуды! Мало вас били на Казыме в тридцать четвертом?! Мало!

Каждый удар сопровождал криком.

— Выродок шаманов — нароч-на!

— Подонок кулацки — нароч-на!

— Вражина народна — нароч-на!

Рев, ударяясь о берега, покатылся по унылой пустыне реки, покатылся вверх и вниз.

Курпелак Галактион, извиваясь под ударами, подтягивая негнушущуюся в коленном суставе, торчащую крючком ногу, полз к своему костылю. Пытался ползти. Но сыпавшиеся со всех сторон удары почти не давали ему возможности сдвинуться с места. А перекатываться с боку на бок не позволяла больная нога, которая при этом упиралась в снег. Приподымаясь между ударами, он падал в сторону костыля. Все ближе, ближе... Стиснув зубы, он молчал — не кричал, не извинялся за падшего оленя, не просил пощады. Он молчал. Молчал, инстинктивно прикрывая голову одной рукой, а второй подталкивал себя к костылю. Видно, его молчание еще больше разозлило Кровавоглазого: как он смеет молчать! Никто пред ним не молчит!.. И он еще ожесточеннее начал молотить одноногого каюра. Тот увидел краем глаза — костыль совсем рядом. Еще чуть-чуть — и можно дотянуться. Костыль самодельный, из крепкой смолистой сосны, с рукояткой на одном конце — ставится под мышку для упора — и с круглым тяжелым набалдашником на другом конце, чтобы в снег меньше проваливался. И наконец схватил костыль. И замер на мгновение — примеривался. Обледеневшим набалдашником — в лоб Кровавого Глаза. Березовый кап набалдашника должен снести нависшее над Рекой чудовище. Снести, раздавить, изничтожить. И он выжидал удобный момент, ибо хорошо осознал, что

у калеки единственный удар. Всего один!

И удар должен быть сокрушающим. Иначе — конец.

И, вложив в набалдашник всю свою ярость и бессилие, размахнулся. Кровавый Глаз уклонился — костыль лег на его плечо и переломился пополам.

— Нарочч... — захлебнулся и остолбенел Кровавый Глаз.

Он застыл посреди реки с открытым ртом.

А одноногий Галактион сидел на снегу и тупо смотрел на обломок костыля, что двумя руками держал перед собой. Сначала в его взоре появилось недоумение, потом — удивление, а удивление сменилось безучастием. Понял: единственный шанс упущен, сражение проиграно, конец.

Он сидел с обломком костыля, и по лицу его катились то ли капли подтаявших снежинок, то ли капли пота.

Наконец Кровавоглазый пришел в себя, глухо рыкнул. Удар отрезвил его, и он будто даже повеселел: теперь есть повод — при исполнении служебных обязанностей... и так далее, и тому подобное...

— Собаке собачья смерть! — четко, словно прочитал приговор, отпечатал он — и рука его привычно потянулась к правому боку. — Жаль — не прихлопнул с отцом, кулацкое отродье!..

Все делал с замедленным удовольствием, не спеша,

с шуточками-прибауточками, сквозь зубы скаламбурил о том, что на одного калеку меньше — так хлеба побольше достанется другим, и забормотал что-то о стране, о выгоде, о необходимости и бдительности...

Рука его привычно скользнула по боку и нашла в одеждах кобуру.

Он вытащил пистолет.

И равнодушно-холодный металл мушки нашел Безногого Галактиона.

— Ну, молись своему идолу! — милостиво разрешил он и с торжествующей ухмылочкой, почти весело добавил: — Пусть тебе местечко там уготовят! — Он ткнул дулом пистолета вниз, под ноги. — Пусть разворачивается! Срочно!

Мушка все стояла на одноногом каюре.

Кровавый Глаз не спешил. На его губах застыла ухмылочка торжества. Он растягивал удовольствие. Он ждал, когда каюр, неловко подволакивая торчащую крючком ногу, поползет к нему и начнет целовать его пимы. Подползет — куда денется. Не такие еще подползали. Не такие. Впрочем, всякие попадались. А такого, с вывертом-ногой, еще не было. Должно, забавно он станет волочить свою ногу-корягу. Поэтому Кровавый Глаз не спешил. Ждал. Ждал высшего мгновения своего торжества. Человеческое унижение его всегда возвышало в собственных глазах, утверждало в своей непогрешимости и могуществе. И после это долго тешило его самолюбие и согревало нутро. Согревало стынущее нутро. Поэтому без всего этого уже не мог существовать.

— Ну-ну, сволочь, шевелись! — почти ласково промышал он. — Молись идолу своему — авось поможет!

Он выставил руку с пистолетом.

И мушка приподнялась.

Рука дернулась.

Грохнул выстрел.

Пистолет вылетел.

Пуля дзинькнула об лед.

Эхо выстрела, перекатываясь по снегам, носилось по студеной реке.

Кровавый Глаз резко дернулся и... увидел черный наконецник хорей. Понял: Коска Малый хореем выбил из руки его пистолет.

— Брось! Брось хорей! — взвизгнул он, а рука машинально рванулась к поясу, но наткнулась на пустую кобуру.

Коска Малый, выставив перед собой хорей с металлическим наконечником, как с копьем, застыл в трех-четырех саженьях от Кривоглазого. Настороженный, бледный, весь напряженный. Казалось, вот-вот сделает выпад и отскочит назад, как это принято у медвежатников, которые с копьем выходят на зверя. Видно, выбив пистолет, он так и поступил —

отскочил на безопасное расстояние, чтобы нельзя было ухватить его хорей-копье.

— Брось! Брось! — еще раз взвизгнул Кровавый Глаз.

— Кто без хорей ездит? — удивился Коска. — Кто?

— Никто! — закричал Кровавый Глаз. — Брось! Сказано: брось!

И тут Коска Малый, словно готовясь к выпадку, на полшага отступил, а наконечник чуть выдвинул вперед и тихо, почти шепотом, приказал:

— Ссядь!

Кровавоглазый завертел головой: слева — пустынный лес на берегу, справа — пустынный лес на берегу, сзади — безногий каюр с обломком костыля, спереди — хорей с наконечником. Вскинул голову к небу — и там пусто. И правая рука перестала шарить по боку и замертво повисла вдоль туловища. Всем телом он почувствовал металлический привкус кованого наконечника и вмиг ослабел, будто жилы порвались вдруг. Так ему сподручнее, подумал он о Коске, увидев его побелевшие пальцы, сжимавшие березовый хорей с наконечником на нижнем утолщенном конце. Впился глазами в наконечник. Наконечник, кованый, с локоть длиной, теперь смотрел прямо на него. Этим наконечником проверяют толщину льда на переправах, проламывают головы нападающим на стадо волкам, продавливают лунки на обледеневшей земле. С таким наконечником, как с копьем, можно на медведя выйти.

И ноги помимо его воли подкосились, и он тяжело плюхнулся на снег. Он хотел что-то сказать, но губы задрожали, потом их свело судорогой, и он не смог выговорить слово.

— Туда! — Коска показал хореем на нарту.

Кровавый Глаз не понял или не сумел подняться на ноги. В ожидании кованого наконечника не отрываясь следил за хореем в руках охотника.

— На нарту! — повторил Коска, и на лице его появилась досада.

Кровавый Глаз скорее понял по движению магического наконечника, нежели услышал голос и осознал значение слова «нарта». Наконец тяжело поднялся и поплелся к нарте. Когда он, укутавшись в тулуп, повалился на свое место, Коска Малый переложил хорей на правую руку, ногами разгреб снег и разыскал пистолет. Стряхнув снег, он деловито осмотрел «маленькое ружье», повертел в руках, затем сунул в кaching — меховой подсумок для спичек, бруска, ниток, иголки и другой мелочи — на правом боку и завязал тесемки крышки.

Теперь край одного глаза он все время держал на пассажире в тулупе. Тот пока неподвижно сидел на нарте.

И он подошел к Курпелак Галактиону. И каюр, увидев Коску Малого, вдруг вскрикнул и тихо протянул:

— Ма невремлам...*

И по щекам ручьями побежали слезы.

Коска неловко потоптался возле него. Потом взял обломки костыля и направился к своей нарте. Вытащил из-под сиденья топорик, вытесал две реечки и, приложив их к излому костыля, крепко перемотал бечевкой. Затем вернулся к Галактиону, постоял немного молча, потом резко сказал:

— Мос!** — и хотел добавить, что у него тоже дети, но смолчал: у того одна нога, а у него — две. Вдвое больше.

И Галактион так же неожиданно перестал, как и начал. Он молча взял костыль. И Коска помог ему подняться, стряхнул снег с его малицы.

— Нунгнам курая немрэх? — спросил Коска. — Топ юх кура мурт?

— Немрэх, — усмехнулся Галактион. — Топ юх курам мурт...

— Юх курая варем. Пухел муцы пыкел, — улыбнулся и Коска.

— Нух туй — тулсахет морийэх. Алы ченя куты ил юх цоп...***

Кровавоглазый зашевелился на нарте, насторожился. Но люди, казалось, не обращали на него внимания, словно его вовсе не существовало.

Курпелак Галактион выпрямился, стряхнул снег с лямок павшей оленихи и взглянул на Коску Малого. Молча обменялись взглядами, и молча же Коска Малый распряг правого пристяжного бычка своей упряжки и подвел его к товарищу. Тот благодарно кивнул, надел на оленя недоуздок и лямки. И, развязав поводок, тронул вожак. Заскрипел снег под полозьями.

Кровавый Глаз неподвижно сидел на своем месте.

Сзади впритык ехал на двух оленях Коска Малый.

«Есть повод, отцово золото «выжимать» начнет», — подумал Галактион о своем пассажире. Но ничего тот не выжал. В поселке пробыл недолго — сказался больным и уехал. Обрато вез его другой каюр. На сей раз, к удивлению жителей Реки, он никого не забрал с собой. Видно, и вправду какая-то хворь нашла на него.

* Мои дети...

** — Хватит!

*** — Собственная-то нога цела? Только деревянную сломал?

— Цела. Только деревянную сломал...

— Деревянную-то я залечил. До поселка выдержит.

— Сучок был — там поломалась. Так бы что ей, деревяшке...

Это был его последний приезд.

Уехал. А смутные слухи о перебитой ноге — деревянной — и кованом наконечнике остались — упорно кочевали из селения в селение. Река вздыхала. Река ждала. Река чувствовала, что гроза нависла над Курпелак Галактионом и Коской Малым из сира Лося. «Тот», Кровавый Глаз, шутить не любил. Поэтому многие жители не без основания полагали, что земные дни несчастных сочтены...

Но вскоре пришла неожиданная весть — он «исполняет служебные обязанности» теперь в другом районе, на северо-западе края, в стороне заката солнца. То ли перевели его, то ли сам попросился. Это было неизвестно никому. Но все поняли другое: наконец двинулся в сторону заката, и заката ему никак не миновать...

Река облегченно вздохнула: гроза миновала, обошла стороной почтового человека Курпелак Галактиона и Коску Малого. Люди-то в то время считали, что беда миновала Коску Малого. «А миновала ли?» — размышлял Демьян. Тогда — да, а позже? Ведь именно у этой переправы много лет спустя рука Коски потянется к ножу, и олениха-вожак изойдет кровью. Именно у этой переправы через Ягурьях, а не где-то на другом месте старой Царской дороги. Может быть, до сих пор бродит здесь, возле переправы, призрак сгинувшего Кровавоглазого? Видит призрак один Коска Малый. Никто об этом, кроме него, не знает. И каждый раз, как и много лет назад, проезжая здесь, он вступает в единоборство с призраком. Призрак, кривляясь, и гримасничая, выглядывает из-за деревьев то справа, то слева, то впереди, то сзади. Призрак неуловим и мстителен, коварен и жесток. Его уже никак не достанешь кованым наконечником хорея, хотя и, дразня, вплотную подсакивает к нарте. По словам предков, призраки, как и все нечистые силы земли, очень живучи и боятся только «железа с острым краем» — ножа или топора. Если они пристают к человеку, то нужно пригрозить им ножом или топором. Коска, конечно, знал об этом. И когда, возвращаясь из Нефтереченска домой, призрак подскочил к олених-вожаку, ударил его ножом. Ударил, и показалось, что зацепил-таки острием ненавистный призрак и начал неистово колоть его. В затуманенном водкой мозгу остался только призрак. И Коска решил во что бы то ни стало избавиться от него. Избавить переправу через Ягурьях, избавить людей Реки, избавить себя...

Он хотел сделать добро и думал, что одерживает верх, а вышло все наоборот — призрак просто издевался над ним.

Быть может, в облике тех, кого избивал в поселке в пьяном угаре, ему мерещились какие-то едва уловимые черты призрака переправы. Он безошибочно улавливал эти

черты. Ведь если внимательно присмотреться, то видно, что в каждом человеке есть что-то от бога и есть что-то от сатаны. Добро и зло всегда рядом, добро и зло ходят в одной упряжке. Уловив сатанинское, Коска сам сатанел и набрасывался на человека. Но первоначальным побуждением, первым толчком было добро. Все начинал этого ради. Потом попадал в заколдованный круг — и добро непременно оборачивалось злом. Отчего так получалось?

Значит, что-то сдвинулось в нем.

Коль так, кто сдвинул?

Призрак переправы?

«Видно, призрак, иначе как объяснить его болезнь», — рассуждал Демьян, обдумывая жизнь своего родственника. Бродит где-то здесь, возле переправы, несчастный призрак. Может быть, ходит мимо старого кедра. Мимо кедра, который в тот далекий год пронзила яростная брань Кровавого Глаза, — и он стал хиреть с тех пор. На самой верхушке в год отмирало по две-три плодоносящих ветви. Но кедр еще крепко держался за жизнь, и в нем скверны не было, ибо брань пронзила его насквозь — слишком близко стоял — и ругательства впечатались в другие деревья в глубине леса и висели теперь на них. Демьян чувствовал это.

Этих умирающих и мертвых деревьев в приречном лесу десятки, а может быть, и сотни. Кто знает, сколько проклятий и всякой скверны услышал тогда лес на этой переправе. Как уверяли старики всех сиров, каждое живое дерево, когда в него попадает скверна, тотчас же начинает хиреть и вскоре умирает. Все живое более чувствительно и ранимо, нежели человек, говорили старики. Поэтому надобно быть милосердным...

Демьяну это было ведомо.

Сгущались сумерки.

Он взял хорей, развязал поводок — олени отдышались, пора ехать.

И упряжка тронулась на восток, в сторону восхода солнца.

После Ягурьяха Демьян проехал кочкастое приречное болотце с редким сосняком, миновал неширокий горелый бор, лежавший вдоль реки, и спустился к песчаным озерам. Это были даже не озера, а приборовые озерки с белым

песчаным дном — с одной стороны бор, с другой начиналось болото. Кое-где возле берегов торчали из-под снега стебельки пожелтевшего пырея. Демьян огляделся. Он любил с детства песчаные озерки. Они радовали глаз своей первозданной чистотой. Особенно хороши они летом. Вода в них до того светлая и чистая, что каждую песчинку видно на дне. Разве с мутной водой болотных озер и рек сравнить?! В детстве, бывало, через весь бор в жаркие дни ходили купаться на песчаные озерки. Те озерки на окраине домашнего бора назывались «Оленья Дома Песчаные Озера». Возле тех озер остались полуразрушенные строения, возведенные руками дедов и прадедов Демьяна. Зарастает деревьями-кустами старинное селение — пувыл* оленных предков. И осенью и весной уютны и тихи песчаные озерки. Возле них останавливаются путники на короткий привал, чтобы испить ароматной и сладкой водицы, вскипятить душистый крепкий чай. На таких стоянках Демьян всегда улавливал неразрывную связь с пространством — с уходящим за озеро лесом, с голубеющим в дымчатой дали небом, с солнцем, с луной, со звездами. И эта связь, и это пространство со всем, что в нем есть, словно родник, питало его чем-то живительным, и он становился большим и сильным. Он чувствовал себя частью этого беспредельного пространства. В такие мгновения ему казалось, что с его землей, с людьми этой земли ничего плохого не случится, что все невзгоды и беды пройдут стороной, развеются в этом удивительном пространстве или за его пределами, если они есть.

Если пространство беспредельно, значит, беспределен и человек, размышлял Демьян. То есть и он, Демьян, выходит, беспределен. И, выходит, не очень хорошо знает себя. Во всяком случае, не сможет постичь себя до конца. Как-то странно получается. Коли себя не можешь постичь, так другой и вовсе непостижим?! Такой вывод напрашивается...

Мысли в сгущающихся сумерках стали особенно четкими, ибо все остальное — деревья, снега, небо и дорога — сливалось постепенно воедино, в одно таинственно неясное и призрачное. Остались только мысли.

Задумавшись, Демьян не сразу заметил встречного путника. Упряжки сошлись на середине второго песчаного озера. По привычке вожак Демьяна повернул вправо и остановился в снегу по самое брюхо, а вожак встречного влево.

Нарты встали друг против друга.

Демьян увидел торчащую из-под капюшона малицы

* Пувыл (пауль, пухол) — селение ханты и манси в тайге.

копну белых волос и узнал густой певучий голос Седого:

— А-а, еем-ики, пэча вола, пэча вола!*

Ничего Демьян еще не успел ответить, как Седой соскочил с нарты, чмокнул его в обе щеки и со словами «пэча-пэча» тряс его руку.

— Пэча, пэча!** — отвечал Демьян, вдохнув невольно запах водки от Седого.

— Брат-старик! — кричал Седой. — Дорогой брат-старик! Я ведь выпил! Я ведь пьян!.. Твой бестолковый брат пьян! Твой плохой брат пьян! Ох, пьян и плох!..

— Бывает, — сказал Демьян. — Все пьяными бывают.

— Я к детям ездил. В интернат. У детей гостил! — громко говорил, почти кричал, Седой. — Разве сразу от них уедешь?! Разве уедешь, не погостив?!

— Так, так, — кивал Демьян в знак согласия.

— Разве так просто уедешь, когда втроем, вцепившись в тебя, ходят за тобой?! Куда тут деваться?!

— Знаю, знаю. У меня у самого двое учатся.

— Так, брат-старик, так! — кричал Седой. — Ты сам знаешь. Что я болтаю? Ты все сам знаешь!.. Погоди, я счас...

С этими словами Седой наконец выпустил руку Демьяна и, замолкнув на миг, полез за пазуху. Оттуда он извлек бутылку и, вынув пробку, снова подступился к брату-старiku.

— Брат-старик, я знаю, ты не жалуешь эту водицу. Но за-ради меня один глоток сделай! За-ради меня, за-ради мою жизнь! За-ради мою проклятую жизнь!..

Демьян молча взял протянутую бутылку. По тяжести он понял — бутылка почти полная. Как бы в нерешительности он подержал ее секунду-другую в правой руке. Седой, видно, уловив его колебание, крикнул:

— Пей. За-ради...

— Ладно-ладно, — остановил его Демьян. — Сейчас выпью. Погоди малость.

Он знал, что Седой так просто не отстанет. И, запрокинув голову, честно сделал один или два глотка. Можно было, конечно, зажать горлышко бутылки языком и ни капли не выпить: все равно в темноте ничего не видно. Но обмануть Седого... у кого повернется язык! Кого будет земля держать! Да лучше уж самому в преисподнюю!..

— С удачей-здоровьем! — сказал Демьян обычный хантыйский тост.

— Так-так: с удачей-здоровьем! — живо откликнулся Се-

* — А-а, брат-старик, здравствуй, здравствуй!

** — Здравствуй, здравствуй!

дой. — Милый Торым, удачу-здоровье нам сохрани! Так-так!

Он взял из рук Демьяна бутылку и, поворачиваясь по солнцу, чуть приседая и кланяясь, взмахивая в такт движению левой рукой, высоко вскинув голову с кочкой белых волос, громко говоря-причитая, пустился в магический танец. Переступал ногами, стряхнул снежинку, одернул малицу, сдвинул на правый бок деревянные ножны с ножом, качнулся влево, качнулся вправо — все это был танец, ибо не было ни одного лишнего движения, и, казалось, вместе с ним танцевали и хрусткие снега, и заиндепевшие деревья, и звездное небо, и песчаное озеро, и таинственно-черная ночь. Все вокруг него двигалось, хрустело, приплясывало. А он каждому богу ли, человеку ли, каждой стороне горизонта посылал свои слова-причитания, слова-молитвы.

На восток:

— Э-э-эй, милый Торым!

На юг:

— Эй, боги и богини!

На запад:

— Э-э-эй, люди Земли и Неба!

На север:

— Дайте жизнь! Ребятам-детям дайте удачливую-здоровую жизнь!

Перевел дух, вскинув белую голову, крикнул:

— Эй, вы слышите меня?! Слышите меня?!

Потом он увидел Демьяна, словно только что вспомнил о нем, пробормотал:

— А, ты здесь! Счас и я выпью! Ну, с удачей-здоровьем!

— Удачи-здоровья! — пожелал Демьян.

Седой запрокинул голову. Стало слышно, как забулькало из бутылки.

Пока он пил, Демьян оглядел его упряжку. Вернее, это была даже не упряжка, а пол-упряжки: половину нарты тянул махонький олененок с одним крохотным рожком на голове. Как только нарта остановилась, он, высунув язык, тяжело дыша, лег на снег. Кое-как, видно, дотянулся до остановки. «Бедняжка, — пожалел его Демьян. — Крепко устал». И он поднял олененка, чтобы тот, разгоряченный, не простыл на холодном снегу. Тот встал на дрожащие ноги, потерся мордочкой о бок важеньки-вожака — очистил ноздри от сосулек, — и когда Демьян отошел, снова лег. Чернобокая важенька-вожак лизнула его в макушку возле единственного рожка. Демьяну показалось, что она поцеловала олененка. «Видно, мать», — решил он. Тоже жалеет малого. Никак полнарты тянет, а в нарте кроме хозяина-каюра, еще целый мешок муки белеет в темноте.

— Оленей моих смотришь? — спросил Седой, оторвавшись от бутылки.

— Бык твой где? — поинтересовался Демьян. — Чего ж ты малого оленя мучаешь?

— Бык мой сурал!* — как-то неестественно, через силу хохотнул Седой. — Все. Конец ему. Сурал.

— Не слышал эту весть, — смущенно пробормотал Демьян.

— Бык-то мой еще осенью захворал, — заговорил громко Седой. — Кое-как дотянул до льдов-снегов этой зимы. Сейчас я полупеший. Вот последнего олененка мучаю. Что делать?! Чувствую, однако: скоро останусь с собственными ногами, совсем пешим стану. Первым пешим человеком Реки стану. Как водится, почему-то я всегда первым оказываюсь. Всякое несчастье почему-то находит меня первым. Как-то вот разыскивает, как-то находит!..

Демьян, слушая собеседника, покосился на мешок с мукой, подумал: мог бы летом запастись. По воде, по течению без всяких хлопот привез бы. Но вслух ничего не сказал: у каждого хозяина свои соображения на сей счет. Может быть, летом у него не на что было купить муку. Вернее всего так дело и обстояло.

— Брат-старик Нимьян, ты человек понимающий, слушай мою жизнь! — покрикивал Седой. — Думаешь, мне не жалко малого оленя?! Сам бы впрягся в нарту!.. Да, считай, уже впрягся. На подъемах-то я помогаю им. Бегу рядом с полозом нарты. У меня ведь тоже сердце есть — как тут усидишь на нарте?!

— Важенка-то мать этого малого? — спросил Демьян, кивнув на олененка.

— Мать, мать, — сказал Седой. — Моя последняя важенка. А малый — это дочь ее, Черна Дева. Дети мои такое имя дали ей. Не гляди, что малый, а свою половину нарты тянет! Честно тянет!

Демьяну послышалось не «Черна Дева», а «Черно Диво». Странное имя, подумал он. Но переспрашивать не стал — Черно Диво так Черно Диво, тоже имя. Видно, маленький олененок чем-то удивил детей Седого. Вот и получил такое редкое оленьё имя — Черное Диво, соображал Демьян.

— Сам впрягусь в нарту, — бормотал Седой. — Скоро впрягусь, скоро...

Его слова сбудутся. Однажды на этой же дороге Демьянов Микуль встретит его, постаревшего и изможденного. Они втроем тянут небольшую нарточку с покупками — он, Седой, его жена и собака. А сзади плетется их сынишка Андрей в интернатских валенках, в шапчонке и пальтишке.

* Сурал — скончался. Так обычно говорят о людях, но не о животных.

Нарточка тяжело переваливается с сугроба на сугроб замеченной снегом колеи. Собака, сука с отвисшими сосками на голом животе, с облезлыми боками и выпирающими ребрами, яростно ощерится на Микуля. И у Микуля тоскливо сожмется все нутро. А хозяева двух ближайших поселков, нового — геологического, и старого — охотопромыслового, только руками разведут: сам, мол, Седой виноват, все пропивает, все спускает до нитки, а в поселок перебираться не желает. «Формально они правы, наверное, — подумает Микуль. — А по-человечески...»

Теперь же Демьян, глянув на Черное Диво, сказал: — Да, с оленями дело плохо...

— Это все война! — яростно топнул Седой. — Война! Будь она проклята!..

— И война, — согласился Демьян. — И война свое дело сделала.

Ты воевал, северный олень. Перевалив через Урал, ты шел на запад. И ты привык к свисту пуль, к вою снарядов, к разрыву бомб. Ты хорошо воевал, ибо тебе не нужна была тропа в Заполярье. Ты мог пройти повсюду. И за тобой не угнаться ни собаке, ни лошади, ни машине. Ты был в своей холодной белой стихии. И ты воевал и падал рядом с каюром-солдатом на окровавленный снег Карельского фронта, и в твоём сохнувшем глазу метались кровавые сполохи и разгорающегося боя, и северного сияния.

Ты служил человеку. И служил до конца. На фронте и в тылу.

С тех лет опустели пастбища многих охотников Реки. Кончилась порода старинных оленей. Порода выносливая, надежная.

Демьян вспомнил приметку древних: если полностью исчезает одна старая порода, то новая на этом пастбище плохо приживается, неважно растёт. Болезни, мор, хищники. Да мало ли других врагов у оленя?! Вот и остались ни с чем многие семьи реки.

При колхозе была надежда только на колхозных оленей. Хоть они и менее выносливые, менее ухоженные и не блистали особенной статью, но все же это олени, тянули нарту, делали свое дело. Да много ли возьмешь с такого оленя! Над ним сто хозяев — и все погоняют. Вроде бы и мой олень — и не мой. Отъездил зиму, а там хоть пропадай. И хозяин — и не хозяин. Что ни говори, человек больше печется о тех вещах, которые принадлежат ему. Так было испокон веков, и неизвестно, когда все станет по-другому, и когда человек начнет больше заботиться о вещах общественных, нежели о собственных. На деле, конечно, а не на словах. На словах-то все правильно и разумно выходит, а толк-то ка-

кой?! Сами же себя и обводим вокруг пальца, и делаем вид, что не замечаем этого. Хороши, однако, хозяева! Дожили! Теперь нет вот ни частных оленей, ни общественных. Нет и снегоходов. На своих двух остались, как говорит Ефим Седой. И война, конечно, не вперед работала. Когда Седой уходил на фронт, у его старика отца было семнадцать оленей. А в день его возвращения домой отец на радостях привел к священному дереву в изголовье дома последнего бычка. Ефим, оглушенный и опустошенный войной, помнится, недоуменно спросил:

«Зачем все это, отец?»

«Что толку от одного бычка?!» — вопросом ответил отец.

«Все же живое существо...»

«Ты же знаешь: на пастбище одинокий олень не держится. К тому же бычок, коли бы важенка была...»

«Знаю. Но как-то нужно жить...»

«Война кончилась — теперь проживем! — бодро сказал отец Андрей-старик. — Колхоз опять же поможет. Ты знаешь, за эти годы люди дружнее, что ли, стали. Как-нибудь проживем, не пропадем!»

Тогда, глядя на коричневошерстного бычка у священного дерева, Ефим подумал: вот он, последний олень старинной породы. Что же впереди? Пустое пастбище. А пустота всегда наводит тоску. Наверное, об этом размышляет и примолкший отец. Опустело пастбище. И только спустя более двух десятилетий снова завели своих оленей. Но они плохо прижились и вот пошли на убыль. «Отвернулась от нас оленья удача. Каким арканом ее, эту удачу, заарканить можно? — вопрошал Седой. — Кто знает?! Может, у кого есть такой аркан?!»

Размахивая руками, подергивая белой кочкой волос, не отрывая ноги от укатанной колесной дороги, покачиваясь, как бы пританцовывая на месте, Седой стоял перед Демьяном. Напоминал он подраненного орла перед взлетом: вот-вот взлетит, собрав остаток последних сил, взлетит, зная, что оттуда, из поднебесья, ему суждено замертво пасть на землю. Томительно острый и притягательный взлет.

Демьян, словно пытаясь удержать его на земле, предложил:

— Заночевал бы. Твой малый олень отдохнет. Куда в ночь-то скачешь?!

— Да они домой рвутся! — Седой кивнул в сторону своей полуупряжки. — Ум у нас у троих, оленей — человека, одной тропой идет. Чувствую, как они домой рвутся. Чем ближе к дому, тем быстрее бегут.

— Ягель родного пастбища вкуснее...

— Точно так, мой брат-старик!

— На переправе смотри осторожнее, брат! — предупредил Демьян. — Все же ночь...

— Разве мы с тобой не сыновья исхо*, брат-старик! — воскликнул Ефим Седой. — Мы ль ночами не ездили?!

— Иско-то исхо, — согласился Демьян и, думая о своем, добавил про другое: — Но все же... это Ягурьях. Вода малая была, берега высокие...

Седой понял его с полуслова.

— Не бойся за меня, брат-старик! — вскричал он бесшабашно зазвеневшим голосом. — В моей душе столько дыр, столько дыр... Кажется мне — теперь сам Черный Старик** меня стороной обходит! Такое иногда на ум приходит...

— Ну, в ночь — за полночь не трогай его.

— Кто его, чудища, трогает. Это я к слову...

— Пусть он твои слова не слышит.

— Это его дело, — заносчиво сказал Седой. — Хочет слышит, хочет не слышит. Я сказал.

Демьян взглянул на оленей, что скрипели зубами и переступали с ноги на ногу, предложил Седому:

— Может, переночуешь вместе со мной возле Кава***, на боровой гриве? — Он кивнул на восток, за песчаные озерки. — Тут я заночую. Ягель хороший, снегу, должно быть, не очень много, не очень глубокий.

— Нет, я все-таки этой ночью до дома доберусь. Давно уехал, верно, мои домашние люди заждались.

— Ну, как знаешь, — сказал Демьян. — Тебе виднее. Человек лучше знает свою тропу.

Между тем Седой снова вытащил бутылку. «На прощание, такой мороз, — бормотал он. — Согреться нужно. Хоть ненадолго».

Пришло время разъезда.

Они уже развязали каждый свою вожжу-поводок, взяли хореи, поправили упряжные ремни, когда Ефим Седой, протянув руку на прощание, как бы вдруг отрезвев, сказал грустно:

— Я тут много болтал попусту. Но я знаю: на земле я не вечен, есть конец... — и, помолчав, попросил с тяжелым надрывом: — Брат-старик! Коль со мной что случит-

* Иско — «ис» — старинный, древний, «хо» — человек. Устойчивое словосочетание «старинный человек» означает — человек бывалый, многоопытный, мудро проживший свою жизнь, до ухода в Нижний мир успевший передать свой жизненный опыт сыновьям.

** Черный Старик — Пыхты Ики. В хантыйской мифологии и религии: полудемон-полубог, властелин Нижнего мира, главный дух смерти и болезней. Имеет и другие подобные имена

*** Кав — камень. Здесь: геодезический репер со столбом возле дороги, где обычно останавливаются путники на кормежку оленей.

ся, ты, брат-старик, детей моих не забывай! Сделай такое, хорошо?.. Может, где одним глазом увидишь. Может, где у твоего порога встанут, сиротиночки мои... Брат-старик, им много не нужно: одно доброе слово. Одно слово добра!.. С голоду не помрут, сейчас время такое. Теперь слово добра дороже!.. Знаю, брат-старик, ты не пожалеешь такое слово для моих сирот!.. Знаю. Поэтому и прошу для моих...

Голос его странно зазвенел. Как в песне, он словно взял неожиданно высокую ноту — и вот-вот сорвется... Демьян крепко тряхнул его руку, быстро перебил, запротестовал:

— Что ты! Что ты!..

— Прошу для моих!.. — держался Седой на своей голвокружительно высокой ноте.

— О жизни надо думать! — рассердился Демьян и повысил голос. — О житье-бытье! Вперед думать надо! Вперед, о будущем!..

— ...детей, сирот... — продолжал Седой.

— Впер-ред!.. — зарычал вдруг Демьян. — А ты куд-да тянешь?! Вперр-ред, ссукин сын!..

— Я это так... на всякий случай. — Седой наконец сошел со своей ноты, уже спокойно добавил: — Мало ли что в этой жизни случается...

Помолчали. Олени топтались в ожидании отъезда, нетерпеливо натягивали поводки, оглядывались на хозяев.

Звезды молча перемигивались меж собой.

Снега чутко прислушивались кговору братьев-путников.

Ночь подступила со всех сторон.

Демьян оглядел темное звездное небо и, словно ему предстояло уйти не в землю, а в эту звездную высоту, тихо сказал:

— Может, брат, я раньше тебя уйду...

— А я тебя не пущу, брат-старик! — засмеялся Ефим Седой и крикнул бесшабашно весело: — Не позволю! Нет-нет! Ты еще, брат-старик, людям земли нужен! Не позволю! Не пущу!

— Если бы это от нас, людей, зависело!..

— От нас тоже кое-что зависит! И немалое, брат-старик! Демьян ничего не сказал.

— Я уже свое дело сделал, — говорил Седой. — Свое дело жизни, свое главное дело на земле. Я, считай, брат-старик, свое отжил. Как умел, хорошо ли, плохо ли, по тропе жизни прошел. Старался, конечно, получше пройти. На людей плохого в душе не держал. Нет. Мой ум чистый*. Кто скажет: Седой для себя старался?! Кто скажет: Седой кому плохое сделал?! Скажи, брат-старик, так ли я говорю?

* Ум — здесь: совесть.

— Это так, — подтвердил Демьян.

И это была сущая правда. Об этом можно было не говорить: они все прекрасно знали и понимали. Но сейчас Седой прилично выпил, и ему хотелось многое услышать и уточнить заново. Тем более что брат-старик Демьян никогда не кривил душой в угоду кому бы то ни было.

Олени нетерпеливо дергали поводки, спешили на ночлег, на кормежку и отдых. И Демьян сказал:

— По-моему, пора ехать. Олени есть хотят.

— Коль пришла пора — поедем.

Снова подали друг другу руки.

— Йим улэм, брат-старик! — хрипло проговорил Седой. — Приятного сна!

— Йим улэм! — пожелал и Демьян. — Приятного сна, брат!

— Оянгки-талангки! — С удачей-здоровьем!

— Оянгки-талангки! — С удачей-здоровьем!

Это последние слова расставания.

Тронулись упряжки.

И тут, вскакивая на нарту, Седой крикнул:

— Брат-старик, ты все ж помни мои слова: мои дети-сироты.. — на этом он поперхнулся холодным воздухом, запершило в горле, закашлялся, пропали слова...

Но темная ночь четко расчленила и повторила:

— Дее-тии... сии-роо-тыыы-ы-ы...

Важенка-вожак Седого рванулась, натянула недоуздок олененка малого и, круто изогнув шею, ибо хозяин сдерживал ее за поводок-вожжу, уверенно взяла дорогу. Она тянула нарту с мешком муки и человеком и олененка. Тот едва поспевал за ней, перебирая своими короткими ножками.

Заскрипели полозья.

Вздогнула дорога.

Упряжка растворилась в ночи.

И тут Демьян услышал пронзительный щемящий голос Седого:

По военной дороге...

16

Песню подхватила ночь. Песня тысячеголосым эхом отозвалась в ночи. Вместе с Седым пели снега, пели деревья, пели звезды. И когда он въезжал в лес, песня усиливалась, нарастала, набирала необыкновенную силу и

мощь. И в этом торжественно-печальном хоре запевалой был Седой, а снега, деревья и звезды, как в солдатском строю, подпевали ему. И, должно быть, сейчас, в это мгновение, он был счастлив. Есть песня. Есть дорога. Есть движение на запад. Как и много лет назад, он молод. Он силен. Он крепок. Он здоров. И под его напором черная мразь откатывается на запад. Он вдавливая эту черноту в жесткую линию горизонта. Он чувствует, как за его спиной оживают и встают из пепла хоты-дома, паули-деревни, горты-города. Он ощущает всем своим существом, что нужен людям и земле. Прикрыл собою родственников, людей Реки, людей страны. Кто знает, скольких он прикрыл?! Полпланеты ли, всю ли планету, иль Вселенную всю?! Нет такой меры, которой можно измерить силу человеческой любви и человеческой ненависти!..

И подпевающие ему снега, деревья и звезды когда-то он прикрыл собою. И они помнят об этом. Это видно по тому, как они подхватили его песню, песню его молодости и силы. Песня отозвалась в каждой снежинке, в каждой хвоинке соснового бора, в лучистых глазах* каждой звезды.

А на переправе песня рванулась вверх и вниз по Ягурьяху, напугав до беспамятства обитающий здесь черный дух давно сгинувшего Кровавого Глаза. Быть может, перекатываясь с берега на берег на крутых поворотах, песня умчалась вниз до самого устья и вверх до самого источника, загнав в неведомые дебри дух большого начальника, который никогда не нюхал военных дорог... Впрочем, этот дух вернется к Седому через несколько лет, в пору белых ночей, когда управляющий местного отделения пром-охотхозяйства привезет нефтяного начальника. «Они приехали на шлюпке, под вечер», — припомнит эту историю Семен Казанкин, родовой зять Седого.

«Большого начальника вот привез, — сказал управляющий. — На карасей надо съездить, Ефим Андреевич. Показать надо. Человек он новый, в наших краях недавно...»

И управляющий хитро так подмигнул: мол, ты уж постарайся — это нужный для нашего хиреющего хозяйства человек.

Седой молча оглядел вместительную шлюпку с ярко-красными бортами, сидевшего в ней пожилого моториста и вышедшего на берег гостя — важного, румяного, с железными глазами*, золотисто блиставшими на солнце. Что ввысь, что вширь — полтора Седого. Всем начальникам начальник.

* Имея в виду звезды, ханты иногда говорят «хос самэт» — «звезд глаза». На небе появились глаза звезд.

* Здесь: железные глаза — очки.

«Что большой — вижу, — сдержанно отозвался Седой. — А караси... Коли надо — покажем. Чего же с хорошим гостем не порыбачить? Вот с зятем моим, Семеном, мы и поедem. Есть озеро. Хорошее озеро. Давно никто туда не ездил».

Взяли на буксир один обласок и на шлюпке гостей пустились по Урманной реке. Седой сидел рядом с мотористом, показывал, по какой протоке проехать, куда сворачивать, где причаливать. Затем по давно не хоженному волоку пробирались к заповедному озеру в таежной глухомани. Впереди Седой с зятем Семеном волокли обласок, за ними управляющий с сетями и моторист с провиантом гостей, последним шел начальник — с двустволкой за плечом.

На озере Седой сам принялся ставить сети. Управляющий рубил тычки для сетей. Зять Семен с мотористом обживали стоянку — собирали хворост, разводили костер, расчищали полянку от пней и кустов. Потом повесили над огнем чайник и котел. Какая рыбалка без ухи?

Начальник, посверкивая стеклами очков в лучах закатного солнца, стоял на берегу озера, наблюдал за рыбаком. Проехать он не мог — обласок не выдерживал его тяжести. Вскоре, отмахиваясь от комаров березовой веточкой, вернулся к костру, повесил ружье на сук дерева и устроился у огня на колодине для сидения. Было тихо. Лишь слышен плеск воды на озере да потрескивание горевшего сушняка.

На приозерной гриве свистнул рябчик. Большой гость вскочил с завидной прытью, неподобающей его тучному телу, сорвал с ветки ружье. Седой с озера видел, как он, прижав к груди двустволку, пригнувшись, вертя голову как филин, замирая при каждом шорохе, крался к рябчикам. «Стал бы с таким-то ружьем за рябчиками ползать, — подумал Седой. — Лучше бы рыбалкой занялся — какая сейчас охота...»

Не успел он поставить вторую точку, как на другом конце сети дернулся карась. Затем попался второй. Он молча распутал их и бросил в обласок. А когда вытащил из воды третьего, сам удивился:

«Ух, этот с лопату! Карасей царь!»

«Уха-то какая будет! Ух-ха!» — обрадовался управляющий, увидев карасей.

После, когда сварилась уха, полукругом сели у костра. Седой с зятем Семеном вытащили из берестяного кузова свои ложки и кружки и краюху хлеба. На рыбалку, как водится, ничего лишнего не брали. Гости выложили свою снедь, выставили миски.

«Карася с лопату — гостю! — сказал Семен. — Не в каждом озере такие водятся».

Управляющий неспешно выудил откуда-то бутылку, переложил ее с ладони на ладонь, как бы взвешивая, затем

сковырнул пробку. И тут выяснилось, что у гостей есть все, кроме кружек. Некуда наливать.

«Ну и ну...» — озадаченно пробормотал управляющий и, оглядев стол, встряхнул сумку, потом перевел взгляд на большого гостя.

Все проследили за взглядом управляющего и, увидев посмурневшее лицо гостя, смолкли. Седой с зятем Семеном потупились, опустили глаза, будто они во всем были виноваты. К трапезе не приступали — не принято раньше гостя притрагиваться к пище. А управляющий сидел с бутылкой в руке и невольно, не поворачивая головы, стрелял глазами: кружки рыбаков — большой начальник, от него — обратно. Но тот ничего не хотел видеть. Притянул сумку, сам порывшись в ней и, убедившись, что кружек нет, отложил ее в сторону, оглядел стол, побряхтел:

— М-да... — и промычал что-то неопределенное.

— Как же быть, Геннадий Николаевич? — услужливо спрашивал управляющий. — Надо же как попались... На шлюпку, что ль, сбегать?.. Так опять же уха остынет... Не то!..

— Не то, — согласился начальник. — Остынет...

— На свежачка бы надо...

— М-да, свежачок не помешал бы...

Седой с зятем Семеном и пожилой моторист молча смотрели на них. Седой, чуть подавшись вперед, с детским любопытством ловил, казалось, каждое слово и движение, словно это было забавное кино с неизвестным концом. И он ждал, чем все кончится.

Между тем большой начальник медленно обвел стекляшками весь стан. Кусты, деревья, костер. Споткнулся его взгляд на двустволке за костром. Мгновение, как замороженный, молчал, потом посветлел ликом и низким утробным басом выдохнул:

— Придумал!

Проворно вскочил, выхватил патронташ, снял двустволку, переломил ее, заложил в верхний ствол папковый патрон двенадцатого калибра и, вскинув ружье, бухнул в небо.

Пушечным грохотом отозвался выстрел в тиши белой ночи. Испуганно пискнула птичка в кустах. В озере вздрогнула вода. Эхо, перекатываясь, понеслось по сонной тайге.

«Ну вот, порядок! — сказал большой начальник и вытащил гильзу и бросил управляющему. — Держи, Коля!»

Управляющий поймал гильзу, повертел ее в руках.

«Так, поди, мала будет...» — неуверенно вставил Семен.

«Ничего-о, в самый раз!» — усмехнулся большой начальник. — Чем не рюмка? Хоть и не хрустальная...»

«Мне-то что? Рюмка так рюмка... — пробормотал управляющий и, сполоснув гильзу двенадцатого калибра, налил в

нее водки и подал большому начальнику со словами: — За карася, что ли, Геннадий Николаевич?!»

«Можно и за карася», — кивнул тот и поднес гильзу к губам.

А управляющий опять забегал глазами. Видно, соображал, в какую посудину себе налить. Между тем гость осушил свою гильзу, потом протянул ее управляющему:

«На, лей себе да пей!»

Управляющий взял гильзу, налил себе, потом плеснул в кружку Седому и его зятю Семену. Выпили. После управляющий вопросительно глянул на моториста. Тот с едва заметной усмешкой взял кружку Седого, протянул ее через стол, сказал глухо:

«Мне сюда».

Все молча принялись за еду. Потом в том же порядке — кто из гильзы, кто из кружки — повторили. Гости стали нахваливать уху, карасей, озеро, Седого, его зятя Семена, их земли и воды, а попутно поругивали комаров и мошкару.

Большой начальник сполз с колодины, привалился плечом к выпиравшему из земли корневищу кедра, сладко потянулся. Потом снял очки, прикрыл глаза, словно задремал. Но вдруг, ни к кому не обращаясь, заговорил ровным низким басом:

«Вот жили тут... Зверя ловили, карася ели. И ничего не надо было... А мы вот... — словно вспомнив о чем-то он запнулся, помолчал дольше обычного. — Скоро и карася сведем...»

Возможно, ему припомнилась поездка со Слюньковым, всемогущим приятелем из города, который цинично заявлял: «Я не охотник, я — промысловик!» Как по графику, дважды в год, весной и осенью, иногда прихватив нужных людей из главка или из Москвы, тот со своей «охотсвитой» вылетал на промысел. На вертолете. На угодьях ждали специально оборудованные избушки или палатки. Затем мясом и дичью набивались холодильники ОРСа, что большею частью пустовали. «Продовольственную программу выполняем, — говорил Слюньков. — Государству помогаем!» Добычи с лихвой хватало до следующей вылазки на промысел. Но в тот раз произошел не совсем приятный инцидент. Напромышляли на славу. Как говорится, «под завязку». Но когда собрались домой и все разложили в ожидании своего борта, приземлился вертолет охотинспекции. Долговязый инспектор с удлинненным сонным лицом порыскал наглым глазом по добыче и самодовольно усмехнулся: мол, попались! Потом, не глянув ни на кого, он снял с дерева ружье-автомат Слюнькова известной зарубежной фирмы и переломил стволы. Все притихли, но Слюньков даже глазом не моргнул, лишь с ласковой насмешкой сказал: «Ну-ну, погляди. Поди, в руках-то никогда не держал». Долговязый недавно выдвинулся по службе — вот и старался вовсю, нарушил негласное правило,

существовавшее между двумя ведомствами. Все знали, что выслужился он рьяным ползанием по пойменным лугам возле города. Притаившись в кустах или в траве, он подолгу наблюдал из бинокля за стоянками охотников: кто какие пункты правил охоты и обращения с оружием нарушит. Затем на веслах, хоронясь за прибрежными кочками и кустами, подбирался поближе, дергал мотор и на полном ходу вылетал к стоянке, выскакивал на берег и первым делом хватал ружья, которые тут же совал в руки здоровенному помощнику, обычно общественному инспектору. Это был его коронный номер. И по всем показателям выходило, что он — самый добросовестный и непримиримый страж всего живого. Но при случае он не прочь был погреть руки на том, на страже чего стоял. Это тоже ведомо многим. И поэтому Слюньков с явной издевкой спросил: «Надоело ползать за мелкой дичью? На крупную потянуло?!» Узкое лицо долговязого вытянулось и стало еще длиннее. Он подобрал губы и бесстрастно объявил: «Вынужден составить протокол!» И вытащил бумагу и ручку. «Брось бумагу изводить! — засмеялся Слюньков. — Пустое делаешь!..» Заполнив протокол, долговязый собрал ружья и, поразмыслив, кивнул на добычу: «А это — вам!» Слюньков шутовски поклонился ему и смиренным голосом произнес: «Премного благодарен!» Но когда долговязый закинул ремень его ружья за плечо, он выпрямился и властно приказал: «Как вернусь домой, все ружья мне доставишь. Самолично. Понял?!» Долговязый лишь ухмыльнулся и махнул своим: пошли. И когда он поднимался в вертолет, Слюньков крикнул вдогонку: «Как тебя там, Кисельный иль Кислый, протоколом-то, как пойдешь с..., не забудь обтереться! Все польза будет!» И громоподобно расхохотался. Потом потряс в воздухе плотно сжатым тяжелым кулаком — мол, все они у меня здесь, чуть что — все ко мне бегут. Только долговязый дураком этого не понял. Слюньков опустил кулак, подмигнул своим, пошутил: лишний груз забрали — нам же легче. Поди, наш борт еще не потянул бы — вон как постарались, кивнул на добычу. Подошел к столу, улыбнулся: — Не унывай, ребята! Давай за удачу промысловика! — и залпом осушил стакан. Все он делал с размахом, основательно. Единственное, куда он не ездил, — это на зимний промысел, где стрелки цепочкой ложились на снег и вертолет гнал на них оленей, отбитых от стада. Слишком все просто и обыденно. А ружья и в самом деле вернули сразу же. Правда, привез их не инспектор, а зам. по быту. Но главное — доставили в целости и сохранности, без лишних хлопот. Слюньков тогда похлопал приятеля по плечу и, по-серьезнев, сказал наставительно: «Гена, дружочек, не век нам в козырях ходить. Не забывай это». И тот сделал верный вывод: успевай, пройдет нефтяной бум, и что упустишь — не вернешь. Он внимательно стал приглядываться к почерку старших во всем,

будь то производство, отдых, женщины, увлечения. Но при этом он почувствовал, что времена меняются не в пользу «промысловиков» и поэтому во все нужно вносить свои коррективы. И в промысловые вылазки — тоже...

И вот теперь он повторил:

— И карася сведем...

— Сведете-сведете! — бодро вставил захмелевший управляющий. — Вы все можете! Все сведете! Хе, караси там какие-то...

— Люди жили... — эхом, словно издалека, врезался голос Седого. — Народ жил...

Все смолкли. Минуту помолчали.

Наконец Семен, прислушиваясь к всплескам воды возле сетей, сказал:

— Сегодня карась хорошо ходит. Ваша удача, гости.

— Куда она денется-то удача?! — усмехнулся Железный Глаз.

Говоря «сведем», он, возможно, имел в виду то, как сюда придут два ведомственных рыбака безо всякой «свиты», опустят в воду взрывчатку и рванут ее. Потом прилетит вертолет и, как с прилавка, загрузит рыбу, уже затаренную в мешки и коробки. Все произойдет тихо, быстро, незаметно. Даже Седой, хозяин этих мест, ничего не будет знать. Возможно, его озеро никто и не тронет. Мало ли других водоемов на этой бескрайней земле! Поди, на сотни лет хватит всем, не только одному Седому. Впрочем, что караси, когда рядом на Оби еще белая рыба не перевелась...

Между тем Седой выпутывал из сетей золотистых лопатообразных карасей. Его зять Семен собирал хворост для костра. Пожилой моторист с чайником в руке ушел за водой. Только управляющий и Железный Глаз дремали у огня. Разговор то угасал, то вновь возобновлялся. Когда Седой вернулся с озера, управляющий, стряхнув дрему, попросил:

— Расскажи-ка, Ефим Андреич, как ты на войну ходил. Вначале-то, верно, натерпелся страху...

— Страху? — помолчав, переспросил Седой. — Думаю, не за свою жизнь боялся. Знал: мое дыхание в руках моего Большого Отца-Торыма, — он кивнул на небо. — Страшись не страшись — как Он решит, так тому и быть. Деваться дыры нету...

После паузы он сказал:

— Другого боялся: себе подобного порешить. Тоже ведь на двух ногах. Это у нас таким грехом считается, которому нет оправдания ни в Верхнем ни в Нижнем Царстве. Вот этого страшился. Особенно вначале...

Он замолк. Но управляющий стал настаивать на своем:

— Говорят, с тобой там много разных приключений было...

— Было... — согласился Седой. — Всяко было... И вперед ходили, и назад бежали. Всяко было...

Он обвел всех остро блеснувшим взглядом и, увидев на лицах ожидание, через левое плечо глянул за спину, в сумрачную темь леса, будто там было прошлое.

— Друг у меня есть, — начал он после паузы. — Вместе в сторону заката идем, вместе войну гоним, войну тесним. Он из города Омска. Прежде-то наши северные края к Омску-городу были приписаны. Ну и дивизии наши там формировались. Земляки, значит, сибиряки. До города на пароходе по Оби да Иртышу плыли. По-хантыйски это Ас да Лынгал. А оттуда уже на фронт по железной дороге. На войну он, мой Друг, ранее меня пришел. И, как жителю города, ему многое привычнее, что ли, нежели мне, человеку из малого селения. Все у него лучше получалось. Разве только по стрелковому делу мог с ним потягаться. Это и понятно: с ружьем я родился, на то и охотник. Так вот, идем, вместе огонь войны гасим. Бывало, разговоримся: как войну одолеем да домой поедем. Как до его города железной дорогой доберемся, как в его доме чай попьем. Может, в ожидании парохода я у него погощу. А потом он на первый же пароход проводит меня, и я к себе домой поплыву. Такие вот думы-говоры приходили... У меня в ту пору своей семьи не было, а у него дома жена да дочка. Когда он на фронт уезжал, дочка совсем махонькая была — не помнит его. И я думал: если он погибнет, дочка так и не увидит, так и не вспомнит его. Ни голоса, ни смеха, ни слов, ни тепла отцовских рук. Ничего. А карточка — это не живой человек, нет. Жалко было ребенка. А он, словно угадав мои размышления, говорил: дочка моя в надежных руках, жена да бабушки-дедушки пропасть не дадут. Потом, глядя на меня, добавлял: у многих, мол, еще не было ни жизни, ни любви. Словом, ничего... Так вот, с такими думами-мыслями в сторону заката идем, войну за горизонт ждем. К этому времени я вроде бы уже в военное дело втянулся. В мой язык всякие крепкие солдатские словечки попали. При надобности такое мог выдать — добавив, конечно, свое, сибирское, — у бывалых солдат таких слов не находилось. Только рты открывали. Это тоже понятно: у меня-то два языка, значит, вдвое больше слов. И крепких — то же. Словом, пообвык я. Человек ко всему приспосабливается, если нужно жить. Но одно меня пугало — рукопашка! Был во мне страх, был. Был страх перед себе подобным. Одно дело пуля — это на расстоянии. Совсем другое дело рукопашка — это рядом, вплотную. Видишь лицо, видишь глаза себе подобного. Это страшно. Это пугало. Такое вот дело... Ну, старшие, понятное дело, подбадривали: не бойсь, мол, в рукопашке совсем не страшно, если ты не один, а со всеми вместе. Вот если ты один — тогда дело твое плохо. Тогда, считай, пропал. Как было? Перед

боем несколько человек договариваются вместе идти. Группой, значит. Чтобы, когда нужно, подсобить друг другу, помочь. Вот тогда, уверяли меня, ничего не страшно. А один? Про одинокого и сказать нечего... Ну вот, настало время — и пошли мы. Слева, чуть впереди, Друг мой, из Омска-города. Справа другой солдат. Тоже наш, сибиряк. Не помню уж, как его деревня называлась. Чуть позади, в двух-трех шагах, новичок из недавнего пополнения. Вчетвером пошли. Это как в упряжке — все связаны друг с другом. Все смешается, все в единый гул сольется, земля переворачивается, небо теряется — но ты должен держать связь, должен видеть всех своих. Не дать разбить свою связку, свою упряжку. Тут словами трудно все сказать. И подумать не успеваешь. Все как-то само собой выходит: кому нужна твоя помощь, а кому — нет. Кому нужно подсобить, а кому — нет, сам управится. Кому дать передых, а кому — нет. Когда повернуть влево, а когда вправо. Где — быстрее, где — тише. Мы тогда вчетвером пошли. Жутко было подняться, оторваться от земли. Это вначале. А как поднялись — вроде ничего. Шибко пошли. Иду, легкий такой стал, будто это не я. Не знаю, сколько так шли. Может, много. Может, мало. И тут увидел среди чужаков «своего» — прямо на меня прет. Фигуру вижу, лицо вижу, глаза вижу. А на лице такое выражение — будто улыбается. Это, видно, и сбило меня с толку. Я вдруг свои руки-ноги потерял, одни мои глаза остались. А он все ближе и ближе. Вижу: верткий такой, проворный, быстрый. Жуть берет. Вот-вот сойдемся, а у меня ни рук, ни ног. Ничего у меня. Но тут слева, перед самым моим носом, Друг, омиц, перехватил его. Взял на себя. Взял... Взял... и сам тоже... пал... Ах-ты-беда, ах-ты-беда! Такое худое дело я сделал. Худое. Беда. Я ближе всех был. Я должен был подсобить. Вся надежда на меня была. Ах-беда!.. Огнем мое сердце вспыхнуло. Взъярился. Осатанел. Взревел. Возможно, что-то непере译имое на хантыйско-русско-немецком. И попер. Горностаем закрутился-завертелся. Себя не чувствую. Попер. Одного хотел — свою голову положить. Мне не нужна была моя голова. Ну вот, когда надо — не получается так, как ты хочешь. При мне осталась моя голова... А Друг мой ушел. Ничего при нем не было. Ничего лишнего. Как пойдешь в атаку — все бросаешь, чтобы ничего не мешало. Такое мгновение наступает — ничего тебе не нужно. Совсем ничего. Нет над тобой никого и ничего. Помню, первым делом каску бросал. Шибко она мешала. Потом все остальное. Это только в кино видел, как солдаты с полной выкладкой бегут. А там... все бросаешь. После опять начинаешь разными вещами обрастать, всем хозяйством. До следующей атаки. Друг мой ушел. Ничего при нем не было. И ничего ему теперь не нужно. Но мне хотелось сохранить какую-нибудь его вещь. И вот нашел ложку с буквами его имени: «Б. Н.»

Такие вещи у нас цены не имеют. Вон зять мой, Семен, знает это. «С глазами-ушами вещи» — так их наш народ называет. Человек ушел из жизни, но на его вещах его взгляд, его слова, тепло его рук остались. Вещь все о человеке сохраняет, все о своем хозяине помнит. Такие вещи берегут и передают из поколения в поколение. Так память о человеке живет. Вот такая ложка мне досталась. Ничего дороже этого у меня не было...

Седой помолчал, потом тихо сказал:

— Там сразу видно человека: один вместо своей головы подставляет чужие, а другой наоборот — вместо чужих подставляет свою. Такие вот дела...

— Н-да, как везде... — вставил молчаливый моторист.

— Вот такой Друг у меня есть, — закончил Седой.

— Почему есть? Был, — уточнил Железный Глаз. — Коли его уже нет, значит, был.

— Есть, — упрямо повторил Седой и тяжелой мозолистой ладонью медленно провел по левой стороне груди, сверху вниз. — Вот когда я уйду, тогда, может, и он уйдет...

Теперь никто не стал ему возражать. Он задумался о чем-то своем и уже до самого утра не вымолвил ни слова.

Так пролетела короткая белая ночь.

Когда солнце поднялось высоко и караси перестали ходить, сняли сети и вернулись в селение. Седой вслед за зятем Семеном вышел на берег и, взяв свой пустой обласок за нос, вращая влево-вправо, как обычно делают рыбаки, долго полоскал его в воде. После этого вытащил его на песок, перевернул, а сверху, поперек, положил весло. Затем так же старательно, как и обласок, вымыл руки речной водой, подержал их перед собой и, осмотрев, встряхнул и опустил. Потом долгим взглядом обвел Реку — с низовья в сторону верховья, будто хотел убедиться, что в его отсутствие ничего не случилось с водами-землями. Наконец, решив поставить точку, остановил пронзительно-острые глаза на розовом лице Железного Начальника и с печальным состраданием отвесил слова:

— С тобой на войну-место... не пойду...

Он с судорожным шумом вдохнул воздух и закончил:

— Ах-ты-беда, лучше одному... Эхх-аа...

Повернулся и, тряхнув седой головой, медленно, будто нес тяжелую ношу, стал подниматься на яр, где стоял его дом.

Так спустя годы Черный дух вернется к Седому в облике Железного Глаза, который тоже никогда не нюхал военных дорог. И Река станет называть его «Тот, с которым Седой на войну не пойдет», «Тот, который из пустого патрона пил», «Тот, у кого железные глаза», или просто «Железный Глаз». Других имен у него не будет.

...Седой скрылся в ночи. А песня его, подхваченная заснеженным пространством, осталась. В многоголосом хоре

голос Седого уже невозможно уловить — песня продолжала звучать без него, песня жила самостоятельно...

Переправа через Ягурых еще не раз услышит его песню.

Особенно после того, как геологи на Большом Яру построят свой базовый поселок Нефтереченск и Седой зачистит туда летом и зимой. У него появится много приятелей среди геологов и строителей: приезжай хоть днем, хоть ночью. Привози что-нибудь — меха, рыбу, ягоды, орехи. А взамен можешь заказать то, что нельзя купить в магазине: мотор или бензопилу, запчасти или бензин. Геолог может все. Он всемогущ. Даже вертолет предоставит, если куда-то нужно слетать. У всех охотников Реки заведутся такие приятели, которые все могут достать. Правда, Седому ничего не надо. И в доме у него — это известно всему Нефтереченску — ничего не залеживается, особенно меха. Может быть, поэтому и Железный Глаз объезжает его дом. Но однажды летом к нему приедет геолог из Нефтереченска и, напоив его чаем, Седой спросит:

«Ты, наверно, не знаешь: мой дом многие объезжают?»

«Знаю», — ответит русский геолог.

«Ты, наверно, не знаешь: в моем доме не бывает дорогих мехов».

«Знаю».

«Ты, наверно, не знаешь: моя жена не шьет бурки*, которые так нравятся вашим женам. У нас нет лап и шкур...»

«Знаю».

«Тогда ты наверняка не знаешь, что у нас нет ни одного оленя — наш дом бедный. Мы — пешие!..»

«Знаю».

Молчание.

Седой внимательно взглянет на гостя, затем повернется в угол, где сидят жена и дети, и растерянно произнесет:

«Смотрите, он все знает!..»

Потом он снова обернется к старинному русскому, странному потому, что он не интересуется тем, за чем приезжают к охотникам все нефтереченцы, и скажет:

«Все знаешь, а приехал... К другим надо ездить».

«А мне ничего не надо», — улыбнется русский.

«Мне — тоже!» — скажет Седой.

И оба засмеются.

И русский после этого часто начнет заезжать к Седому — просто так, «чай попить», как говорят ханты. И в селении всегда будут рады ему. А однажды он приведет на буксире

* Бурки — меховые сапожки с орнаментами и другими украшениями из сукна и бисера.

лодку со стационарным мотором в кормовой части и скажет Седому:

«Это — тебе».

«Ах ты беда! Ах ты беда! — заволнуется и начнет причитать Седой. — А я тебе что отрежу?! Что отрежу?!* — И он повернется и обведет взглядом свое становье.

«Я тебе друг?» — спросит русский.

«Друг!.. Лухс!..» — сразу на двух языках подтвердит Седой.

«А друг разве не должен помогать другу?! Разве за это ему обязательно что-то надо отрезать?!» — резонно заметит русский.

«Так... Верно... — смущенно тряхнет Седой своей белоснежной кочкой волос. — Но почему я? Почему именно мне?!»

«Ты посмотри: вся Река давно перешла на моторы, — скажет русский. — Ты только с веслом остался. На гребях ездись. Один — на всю Реку!»

«Так, так! Ах-ты-беда! Ах-ты-беда!..»

«А нужно, чтобы ты ездил на моторе, как все...»

«Ах-ты-беда!» — скороговоркой пробормочет Седой.

«Поэтому не упирайся, возьми лодку. Лодка как раз на твою семью...»

Седой долго будет молчать, сведет кустистые брови, задумается. Потом поднимет глаза на русского и тихо скажет:

«Ладно, ладно. Вот мое слово: спасибо, друг! Спасибо»**.

А лодка хоть и деревянная, но добротная, крепкая. В нее вмещалась вся семья Седого с домашним скarbом и двумя собаками, с рыболовными и прочими инструментами. Плыла ли лодка на Большой Урий за брусникой и черникой, направлялась ли на Урманную речку за кедровой шишкой или морошкой, устремлялась ли в поселок за продуктами и разными напитками, посреди судна, у руля, в окружении детских головок, покачивалась белая кочка волос. Это Седой. Люди Реки безошибочно узнавали его издали, как только из-за поворота показывалась его лодка, что ползла медленно, не спеша. Но это нисколько не смущало Седого. «Конца путей и дорог впереди идущих все равно достигаю, — говорил он. — Куда мне спешить. Лодка тихоходная, но зато мотор сильный: на буксир цепляй сколько угодно неводников и обласов — все равно тянет. Надежный мотор, умный мотор». Внутренним чутьем, присущим всем охотникам, Седой на удивление быстро уловит принцип его работы и освоит, будто всю жизнь ездил на моторной лодке.

* «Что-то отрезать» — устойчивое словосочетание у ханты, означающее «чем самым дорогим отблагодарить тебя».

** Ханты очень высоко ценили слово «спасибо». Если человеку дали кров, его накормили-напоили — он не должен говорить «спасибо», ибо это такая мелочь, которая не стоит благодарности. Это обязан сделать каждый хозяин, каждый человек земли.

Лодка обретет свое имя «Лухс мойлэпси» — «Друга подарок». А русский тоже получит новое имя «Седого Друг». И весть о нем пройдет по всей Реке, и в селениях не спросят ни имени, ни отчества, ни фамилии. Седого Друг — все ясно, все понятно. Чаем напои, дай ему кров.

Русский Лухс будет приезжать в самые безвыходные моменты в жизни Седого и его семьи. Заболеют ли дети, кончится ли бензин, поломается ли мотор, кончится ли последняя корка хлеба и дом перейдет на «белую воду»* и жидкую ушицу, смотришь, Лухс примчался. Считай, не пропадешь — выручит обязательно.

«Ах ты беда, не шаман ли ты, а, Лухс?! — спросит однажды изумленный Седой. — Все знаешь. Знаешь, когда ты нужен нам!»

«Может, и шаман, — улыбнется русский. — Тебе виднее».

«Среди русских тоже есть шаманы, — серьезно скажет Седой. — И довольно сильные. Правда, их меньше, чем у хантов».

И он припомнит случай, как померились шаманской силой русский лекарь из Сургута и Марк-старик Лисманов с низовья Реки, один из самых сильнейших шаманов начала века. Дело было возле устья Агана, в селении рода Лисмановых. Сговорились — начали. Марк-старик уходил вверх, все выше и выше. Русский лекарь все говорил: «Вижу, вижу, вижу...» А потом русский... раз — и вниз! Марк-старик тотчас терял его из виду. Так выяснили, что русский шаман сильнее. Но когда прощались, русский сказал: «Ох, Марк, ты что-то мне, однако, сделал...» И едва доехал до Сургута. Умер.

«В начале нашего века такое вот дело было, — добавит Седой. — Как хочешь думай...»

Помолчат. Потом Седой в раздумье скажет:

«В те времена у Лисмановых сильный род был. В одном только селении семь шаманов жили...»

«Я что-то не встречал такой фамилии. Где они теперь?» — спросил русский Друг.

«Кончился род, — вздохнет Седой. — Шестеро на войне погибли. Алексей, Петр, Егор, Прокопий — это четыре брата было, сыновья Василия. Да Денис — Григорья сын. Да Киприян — Дмитрия сын. Эти по-военному делу ушли... Последний из рода их, Ефремка, парень, недавно утонул. По пьяному делу. В Нижнем Поселке жил...»

«Как хочешь думай, — повторит Седой. — Ты все знаешь, ты все понимаешь, Друг... Думай...»

После, спустя годы, когда Микуть вернется домой, спросит у своей тетушки, жены Седого:

«Где ваш русский Друг? Я хочу увидеть его».

* «Белая вода» — кипяток без заварки.

«Нету его. Наш Друг-геолог уехал куда-то».

«Как его имя? Фамилия?»

«Фамилья?.. Так мы его звали просто Лухс, Друг. Зачем фамилья, когда он Лухс?!»

«Может, адрес оставил? Ну, бумагу какую-нибудь?»

«Да-да, бумага его была».

«Где она? Покажи».

«Ах, жизнь наша мокрая. Бумага пропала. Мы бумагу промочили. Бумага вся как есть пропала. Как прогнившая шкура — вся развалилась...»

Потом тетушка совсем по-седовски всплеснет руками и ахнет:

«Ах ты беда, какой человек был! Совсем как хант. Вся Река его знала. Ах ты беда, какой человек был!..»

И Микуль, сын Демьяна, горько пожалеет, что не увидел так чуткого к чужой боли и радости русского человека, русского геолога, каких немного не только среди хантов, но и среди русских. Каких вообще немного на земле...

...Демьян потоптался немного, прислушиваясь к песне Седого. Потом пробормотал:

— Ладно, ладно, брат... — и пустил упряжку на восток.

Чуть отъехав, он повернул голову, поглядел вслед Седому, в темноту, произнес в раздумье:

— Может, и не совсем ладно... Кто знает?!

17

Он ехал на восток, в сторону восхода солнца. Ехал и думал теперь о Седом брате и его полуупряжке. Думал об олененке Черное Диво. Выживет иль не выживет? Станет взрослым оленем иль не станет? Ему бы только до весны дотянуть! До теплых весенних проталин! Там он уж спасет свое дыхание. А за лето подрастет, окрепнет — второй снег ему легче пережить, легче бороться за свое дыхание. Половина нарты покажется не такой тяжелой, как в первую зиму. А в первую зиму он должен только развлекать детей и радовать своим озорством глаза взрослых. В старые добрые времена оленят вообще не брали в дальнюю дорогу, не запрягали в груженные нарты. А чтобы дать олененку полнарты — это значит дойти до предела, до последней точки, до последней черты, за которой... Что есть за ней, за чертой?! Есть ли там что-нибудь?! Что?! Разве что собственные ноги? А по теперешним временам далеко ли уйдешь на собственных ногах? Надо к чему-то приспособливаться, как-то нужно жить.

Какую зимнюю машину, что ли, прибрать к рукам? Опять

же какпустишь ее по заповедно-чистым борам и урманам? Это тебе не Черное Диво Ефима Седого!

Черное Диво... Доживешь ли до весны? Доживешь ли до своего второго снега? «Ты должен дожить», — подумал Демьян и не заметил, как свою мысль-пожелание повторил вслух:

— Ты должен до-жить...

Казалось, чуткая ночь отозвалась:

— До-жить...

Ты, Черное Диво, не оставишь своего хозяина, моего Седого брата его собственным ногам, не сделаешь его пешим человеком. Куда он без тебя? Куда он без оленя? Совсем, считай, пропадет. А пропадать ему еще рано. Ему еще пожить надобно, у него еще дети малые, не выросли еще, не поднимают свои желудки. У него еще много неотложных дел в жизни. Ты, Черное Диво, должен помочь ему, моему Седому брату. Так что потерпи как-нибудь до весны...

Тихо, почти шепотом разговаривал Демьян с Черным Дивом, успокаивал его, упрасивал. Но чем больше он говорил-думал, тем меньше верил своим словам-думам. Он слишком хорошо чувствовал печаль и тоску оленей по их глазам — выразительным и огромным. И сейчас это чутье беспокоило его: возможно, что дни Черного Дива сочтены. Лучше бы, конечно, ошибиться. Да где там!.. И зачем подходил и поднимал усталого олененка? Не подойди — ничего бы не знал...

Между тем он проехал третье песчаное озерко, затем четвертое и выехал на довольно широкую гриву, отделявшую озерки от следующего болота. Кава боровая грива. Слева и справа молодые стройные сосны — до середины черные, а выше, до верхушки, золотисто-желтые. Поблизости нет такой уютной гривы с ягелем; поэтому все путники кормили здесь оленей, а кто хотел — устраивал ночлег. Демьян решил заночевать возле Кава, столбик стоял недалеко от дороги. У него было подспудное уважение к этому знаку: Кава не просто сидит в земле, а работает, делает важное дело. Когда реперы устанавливали вдоль старой Царской дороги, Демьян, как и все охотники, живо заинтересовался у геодезистов: для чего? Ему объяснили, что эти Кавы, как он называет их, определяют, куда растет земля — вверх или вниз. Тогда, помнится, Демьян поразился тому, что подтвердилась его мысль — земля живая! Он и раньше думал, что у земли, как и у человека, своя жизнь. Живая жизнь. Земля чувствует и боль, и радость, и горе, и любовь. Земля живая. И она еще, оказывается, растет. Выходит, она молодая, еще в юном возрасте. Демьян, конечно, хотел бы, чтобы его земля росла вверх, в высоту, к звездам, а не вниз, в сторону Нижнего мира. Куда спешить, Нижний мир все равно никому не миновать. После геодезисты не попадались ему на глаза, и он так

и не узнал, куда же растет его земля — вверх или вниз. Впрочем, он без всяких там Кавов-реперов понимает, что Земля может расти только вверх, но никак не вниз. Тем не менее сейчас он добродушно спросил, расчищая снег под костер:

— Что, Кав-старик, работаешь?.. Ну-ну, работай! У каждого должно быть какое-нибудь дело. Без дела какая жизнь?

Он вскипятил крепкий чай и медленно, смакуя каждый глоток небесной воды — из растопленного снега, — пил живой напиток из дорожной кружки с щербинкой на крае, возле дужки. Удивительный все-таки напиток — чай! Вдохнул аромат, выпил несколько глотков — и рассеялся туман в голове, вроде бы ум прояснился. А туман от той водки, что навязал Седой брат. Выпивал Демьян редко — когда просили хорошие люди, которым невозможно отказать, или наоборот, когда самому хотелось угостить друга или родственника, словом, человека стоящего, приятного. А душа не принимала водку и вино потому, что, выпив, у него затуманивалась голова, затуманивался разум — и обрывалась связь со всем, что его окружало. Обрывалась связь с людьми, с деревьями-травами, с реками-озерами, с птицами-зверьми. Словом, обрывалась связь с природой, с землей, с жизнью. После, отрезвев, когда рассеивался пьяный туман, он с пронзительно-острой болью в душе чувствовал, что ушли, канули в небытие, канули безвозвратно лучшие мгновения жизни. И нет и не будет им возврата никогда. Никогда! А жизнь в единстве с природой — с изумительно чистой природой — так прекрасна, что не хотелось терять ни мгновения! Ни одного мгновения! Благо, если бы жизнь была вечной! Но и тогда, пожалуй, Демьян пожалел бы эти неразумно убитые мгновения человеческой жизни... Сейчас он порадовался тому, что аромат чая уносит пары «дурной воды» — водки. Но по мере того, как улетучивались пары, усиливалась иссушающая боль в груди, что родилась после встречи с искателями на Родниковом озере. Боль за родную землю, за родственников, за всех людей Реки и Земли, за их будущее. Ах-а, дурная вода притупляет боль, с удивлением отметил Демьян. Стало быть, если побольше выпить, то можно совсем заглушить душевную боль, можно позабыть о ней, на какое-то время. Не поэтому ли сородичи, живущие в низовье Реки, в последнее время особенно рьяно стали прикладываться к дурной воде?! У них есть боль, их давно сдвинули с насиженных мест искатели нефти и газа, строители дорог и городов. Вот они и заливают старательно внутренний огонь души, не ведая, что она, дурная вода, намного опаснее огня...

И Демьян не ведал, что она опаснее огня. Не было времени, не успел еще все осмыслить, и понять, и сделать свой вывод.

Сидя у яркого костра, он выпил много чая, но, так и не притушив боль-огонь души, лег на хвойную заиндеветшую

подстилку. Он лежал под седыми от холода таежными звездами, которые подмигивали и будто утешали его: терпи, охотник, привыкай, то ли еще бывает в земной жизни. И он соглашался: да, всякое бывает в земной жизни. Никогда точно не знаешь, что тебя ждет впереди — только появляется смутное предчувствие больших перемен...

Лежа на жесткой подстилке, он вспомнил утро этого умирающего дня, вспомнил, как жена провожала его в дорогу. Поразмыслив, он понял, что Харко высказал свои предчувствия, а жена Анисья затаила тревогу, чтобы не расстраивать мужа. Вот оно что, соображал он, но Харко был не на машины искателей, вернее, не только на машины. Ведь и звезды намекают на что-то такое... А звезды с высоты лучше видят земную жизнь, нежели человек.

Он смотрел на звезды и размышлял. Звезды живут на небе, а приходит время, кончаются отпущенные им дни и годы, они срываются с небосклона, загораются и с огненно-ярким хвостом падают в бездну. Так умирают звезды. Умирают звезды — и рождаются звезды. И небесная жизнь их никогда не кончается, они вечно будут жить на небе... И люди что звезды. Только живут на земле. Тоже умирают и рождаются. С той лишь разницей, что, умирая, все звезды оставляют след, а люди — не все: один оставит сколько сможет, а другой совсем ничего не оставит... Жизнь звездная и Жизнь земная, каким боком вы повернетесь к человеку завтра?! Вот сейчас, на пороге ночи и дня, взойдет Звезда Утренней Зари. Вечная Звезда неба и земли. Никто еще, кроме Курынг воиха*, не знает о приближении утра, когда на востоке из-за горизонта поднимется Звезда Утренней Зари. Уже за ней немного погода покажется тоненькой ниточкой бледная полоска зари. Заря все будет расти, наливаясь медно-густым и чистым румянцем, и вскоре взорвется оранжево-золотистым ликом юного Солнца. Так приходит Солнце. Но это все после, а самой первой восходит Звезда Утренней Зари. С ее восходом кончается ночь и начинается день.

Надо уловить мгновение, когда замирает Вселенная и тихо всплывает из-за горизонта Звезда Утренней Зари. В одно и то же мгновение рождается день и умирает ночь. Уловив это волшебное мгновение, поймешь, что ты нужен Земле, Солнцу и Звездам так же, как они нужны тебе. Земля не может, чтобы не оставлял на ней свои следы-тропы человек. Солнце не может, чтобы его лучи не согревали человека. Звезды не могут, чтобы по ним не находил свои пути-дороги человек...

Он лежал с открытыми глазами, в которых поблескивал далекий свет седых звезд. Уже погасла и растворилась ярко-

* Курынг воих — «ногастый зверь», или лось. Хантыйское название Большой Медведицы.

красная вечерняя заря. Затем закатилась за горизонт Звезда Утренней Зари и пришла ночь. А Демьян, томимый нутряной жаждой-болью, долго еще ворочался на жесткой постели и не скоро заснул. Во сне он снова куда-то ехал, встречался с Мариной, с искателями и родственниками, среди которых был и брат Седой с заиндевелой кочкой волос на бесшабашной голове.

Но жажда-боль не отпускала его и в сновидениях. И он просыпался и долго смотрел на яркую звезду над собой. Она напоминала ему другую звезду, там, на западе, что горела над Кремлем и освещала землю. Он стал думать о Москве. Москву видели его отец и братья, когда в составе сибирских дивизий шли на фронт, чтобы отстоять ее, столицу. Может быть, со временем, когда вырастут, побывают там и его сыновья и дочери. А ему вот не пришлось съездить туда. Но, несмотря на это, он хорошо знал Москву. Особенно центр, Кремль. Так ему, во всяком случае, казалось. Ведь в мыслях он не раз приходил сюда вслед за отцом и братьями. Приходил и исполнял древний обряд своего народа...

Дома, обычно по утрам, он внимательно прислушивался к говору приемника. Если голос Москвы уверенный и спокойный — значит, все в порядке. И ты делай свое дело, попусту не беспокойся...

Думы о Москве всегда отодвигали все суетное, наносное, мрачное. И сейчас эти думы оттеснили жажду-боль. И, прикрыв глаза, он ступил на священную землю Красной площади...

Проснулся Демьян поздно, после восхода Звезды Утренней Зари — такое с ним не случалось, когда ночевал зимой под открытым небом. Под открытым небом он был ближе к звездам, к деревьям-травам, поэтому обычно лучше чувствовал их свет и тень.

Иссушающая боль в груди не прошла за ночь, не успокоилась. С этой болью он развел костер, вскипятил и попил чай, запряг оленей, пустился в путь в сторону восхода солнца. Не умерла она и в полдень, когда добрался до поселка. С этой болью он чмокнул в интернате сыновей — малого Юванко и старшенького Микуля, здоровался с родственниками, сдавал в конторе пушнину. И кассирша Лида, внимательно глянув на его обветренное лицо, спросила, хотя не переспрашивала об этом:

— Как всегда? Миру — тоже?

— Конечно, — медленно, ответил Демьян и, немного помолчав, добавил. — Руки-ноги мои на месте — чего об этом спрашивать?

— Мне показалось... — сказала кассирша, пересчитывая деньги.

А что ей «показалось», она так и не объяснила. «Видно, во мне что-то сдвинулось с места, зашаталось, может, и треснуло, — подумал Демьян. — Они, женщины, это сразу учуют, чутье у них на это есть. А что треснуло? От боли, что ли какая трещина?» Да не может того быть. Земная боль ему с детства знакома, она не одолеет его так скоро.

— Вот, Демьян Романыч, распишитесь. — Кассирша подвинула листки бумаги. — Это — вам. А это — Миру.

И Демьян поставил свою метку-тамгу, свою подпись. Мало ли что тебе покажется, мысленно возразил он кассирше. Видишь ли, ей показалось!.. Прежде чем пуститься по следу Мира, он много размышлял. Это как на охоте — сначала нужно все взвесить и обдумать со всех сторон. Найти ответы на все вопросы, связанные с характером зверя, временем суток, временем года, с погодой, с рельефом местности, условиями сезона. Ответить надо быстро и безошибочно, без всяких схем, карт и приборов. Одна надежда — своя голова. Иногда ей помогает интуиция — подсказывает, куда повернуть.

А понятие «Мир» было для Демьяна почти всеобъемлющим. Мир — это и состояние без войны, и взаимопонимание между людьми, и помощь друг другу, и радость в доме, и хороший гость и встреча с путником в пути. Мир — это и Земля, и Небо, и Звезды, и тихий костер в ночи. Мир — это и Солнце, и Луна, и другие большие и малые дела добрых людей, деревьев-трав, зверей-птиц. Но на первое место он всегда ставил отсутствие войны, ибо слишком дорого обошлась людскому роду последняя война, его сиру — в том числе.

После гибели отца и братьев на фронте он особенно часто задумывался о войне и Мире. Отчего это наступает миг, когда силы войны берут верх над силами Мира? Почему?! Ведь люди нормальные и разумные, а их большинство на земле — это Демьян чувствует всем своим существом, — на стороне Мира! Как же так получается, что меньшинство берет верх над большинством? Почему приходит война?.. Откуда приходит?.. Раз приходит на землю, значит, у нее есть корни. Значит, она пускает корни в людей, в землю, в деревья-травы. А нельзя ли корни войны ослабить, подточить?! Так подточить, так подрубить, чтобы она захирела на веки вечные, чтобы она испустила дух на все времена и люди бы вообще о ней позабыли! Так нельзя ли корни войны подточить?! И на это когда-то ответил человек с самыми мирными корнями, директор школы

КОРНЕЕВ,

добровольцем ушедший на фронт в семнадцать лет. Все понимающими глазами он охватил Демьяна, словно им вместе предстояло идти в атаку, по-хантыйски построив фразу, тихо, но твердо сказал:

— Корни войны подрубить можно.

Демьян облегченно вздохнул. Но тут же, молодой и нетерпеливый в те годы, заерзал на табурете, забеспокоился. Не заметил, как вылетел второй вопрос:

— Как?! Каким образом, Александр Анатольевич?!

И Корнеев медленно заговорил. Говорил он толково, просто, понятно, без всяких ученых выкрутасов. Демьян слушал, слушал и в соответствии с его словами построил свою лесенку: Мир держится на нашем Государстве, Государство — на людях многих национальностей и народов, а нации и народы — это ты, я, он, они. Это добрые дела твоей головы и твоих рук. И чем крепче Государство, тем прочнее Мир... Тем труднее силам войны одолеть силы Мира...

Когда замолк Корнеев, Демьян, выдержав нужную паузу, сказал:

— Это понятно...

Он поднял голову, через окно всмотрелся внимательно в полоску голубого неба над дальним лесом за околицей, недоверчиво спросил учителя:

— И это все?! Больше никак нельзя?! Подточить-то?..

Александр Анатольевич улыбнулся своей светлой улыбкой, развел руками: мол, этого разве тебе недостаточно? Потом, погасив улыбку, серьезно сказал:

— Есть еще Комитет защиты Мира.

— Коми-тет за-щиты Ми-раа!.. — медленно, словно пробуя каждое слово на вес и крепость, повторил Демьян.

Все три слова, будто богатыри, показались ему выносимыми, добротными, крепкими. А когда услышал, что Комитет возглавляет поющий, как и Седой, человек Николай Тихонов, улыбнулся. Он знал, что сердце поющего человека намного чувствительнее к добру и злу, а ум ходит неизмеримо дальше, нежели у непоющих людей. Удивительно все-таки устроена жизнь: все одно к одному, добро тянется к добру, песня — к песне, человек — к человеку, размышлял Демьян. Вот взять Корнеева. На разных землях родились, на разных языках пролепетали свое первое слово, по-разному сложились судьбы. И вот — поди ж ты — встретились и поняли друг друга. И не просто поняли с помощью слова-языка, а нутром. Мыслями, сердцем. И теперь Демьян не представлял Мир без Корнеева. Корнеев так же нужен Миру, как и Солнце, Луна, Небо, Свет...

Корнеев начал рассказывать о зарождении Движения сторонников мира, о Первом Всемирном конгрессе в Париже и Праге в апреле сорок девятого.

Демьян не пропускал ни одного слова. Но, прикрыв глаза, он увидел не Париж и Прагу, а полюбившийся ему Комитет защиты Мира. Он увидел людей. Много людей. Они стояли плотно, плечом к плечу. Все внимательно следили, чтобы откуда-

нибудь не выползли черные силы войны, чтобы эти силы не пустили корни в людские души, в деревья-травы, в землю, в звезды, в Солнце и Луну. Люди стояли кругом. А в центре круга, за спинами людей, высокая башня-дом. Это, наверное, Кремль, подумал Демьян. Символ Мира, символ Спокойствия и Жизни. Кремль он часто рассматривал на фотографиях и картинках в букваре детей, поэтому ошибиться не мог. Он сам, Демьян, тоже находился в кругу, может быть, даже в Кремле, высоко над землей, потому что видел далеко и видел почти все, что было вокруг. Рядом с собой он почувствовал всех родственников и людей своей Реки, саму Реку с ее многочисленными притоками, озерами, урманами левобережья и борами и болотами правобережья, со старинными селениями и таежными избушками, с бесконечными дорогами и тропинками, с каждой хвоинкой и песчинкой... И запах каждой хвоинки вдыхали и люди всех гор и равнин, всех морей и океанов, всех звезд и небес. Особенно те, кто любит и остро чувствует щемящую прелесть земной Жизни...

Умолк Корнеев.

Молчал и Демьян.

Тишина.

Демьян, наконец встряхнувший думы и видения, не то сказал, не то подумал: «По следу Мира пойти хочу...»

В те трудные послевоенные годы, когда жизнь только начала входить в свое русло, ему сподручнее было помогать Миру. Он остался один: кормить-поить, одевать-обувать некого. А зверя-рыбы добывал не меньше других охотников и рыбаков. Сейчас, правда, появилась семья. «Но живем не хуже и не лучше своих сородичей», — размышлял Демьян. Для дела жизни все самое необходимое есть. Не то, что после войны — жизнь намного полегчала. Только оленей не хватает. Так это беда всех людей Реки, беда машинного времени. А что дети? Старшие, считай, только три месяца в году дома бывают: как подросли — их в школу-интернат забрали, в поселке живут. Государство их грамоте учит, одевает-обувает, кормит-поит. Как бы Государство им теперь вместо отца-матери. Лучше бы, конечно, они находились под рукой, в семье росли — Демьяну это не в тягость, управился бы с обязанностями отца-родителя, научил бы их промысловому делу. И детям бы хорошо было. Но он не может жить в поселке, вдали от своих угодий. Не может, ибо каждый день он занят: отслеживает ли зверя, ловит ли рыбу, мастерит ли промысловый инструмент, пробивает ли новые тропы-дороги, обихаживает ли реки-озера, боры урманы, сора-болота. Всякой земле нужен пригляд, всякая земля нуждается в зорком глазе, в дружеской ласке, в понимании. Без всего этого захиреет земля, утратит свое дыхание, опустеет. Поэтому ни под каким предлогом не покинешь свои угодья, свою землю. И в поселке, коль перебраться туда, заниматься

совершенно нечем: как закрыли лисоферму, так полсела слоняется без работы. Вот и приходится отдавать детей в школу-интернат. Иного выхода нет. Дети у Государства.

И, как водится, Демьян увидел свою цепочку, которая связывала его с Государством: Корнеев, Корнеевы, Россия, Государство. Корнеев являлся началом начал, фундаментом его, Демьянова, Государства. Вот он, можно к нему прикоснуться, можно поговорить с ним о чем угодно, не сводя глаз с его иконообразного красивого лица. Словом, весь он излучал красоту неприметную, неброскую, поэтому очень сильную. Каждый раз, встречаясь с ним, Демьян находил в нем что-то новое: то одно, то другое, то третье, словно он был многоликим, а душа вмещала весь мир. Когда думал о нем, Демьян всегда поражало то, что, почти мальчишкой пройдя самое страшное и противоестественное — войну, он сохранил душу, не ожесточился, не очерствел, не запачкался черной грязью военных дорог. Не поразительно ли?! Наоборот, кажется, еще больше полюбил жизнь. Любил жизнь такой, какая она была: с радостями и печалью, с изменой и высокой любовью, с правдой и ложью, с великолепным началом и неизбежным концом. Ничто человеческое не пугало его, не страшило, не гнуло в дугу, ибо он был Человеком, а не святым. Он сражался, любил, ошибался, учил, падал, вновь поднимался. Поэтому Демьян особо и чтит его.

За Корнеевым шли другие Корнеевы, его родственники и сподвижники. Их груди разрывали прицельные пули, их заживо вмораживали в снега и льды, их топили в дымящихся прогубях и полыньях, их давили бревнами на баржах смерти, их в рогожных кулях заживо сбрасывали за борт, их бьющиеся сердца поднимали на острие хорea посреди холодных снегов, их костями усеяны берега Иртыша и Оби от Тобольска до Томска. И оттаивали снега, оттаивали льды, оттаивали людские сердца, и оттаивала земля, и оттаивал Север. Они принесли букварь, срубили школы и больницы, подняли Красные чумы, проложили новые дороги, построили города и поселки. Они живучи и непобедимы. У них много добрых корней, которые всегда находят благодатную почву, ибо добро также вечно и непреходяще, как и жизнь. И Демьян чувствовал, что они всюду вокруг него, ибо

на Корнеевых держится жизнь.

Они в прошлом и в будущем.

И люди в неоплатном долгу перед ними. И Демьян — в том же числе. Он осознавал и старался уменьшить свой долг, внести свою лепту, хотя для этого явно недостаточно одной жизни — слишком она коротка.

Таким ему виделось его Государство, на котором держался Мир.

Мир... И сейчас, когда кассирша Лида усомнилась в его

приверженности к Миру, он вспомнил свой путь к Комитету защиты и старательно нарисовал на ведомости свою подпись: чтобы ничего такого той больше «не показалось». Когда это Демьян на полпути сворачивал в сторону?! Кто такое припомнит?! Коль выдержал военные годы, в малолетстве, когда, бывало, часто становилось совсем неспособно, то теперь, на склоне лет, должен устоять...

А какие испытания выпадут на долю его детей в будущем, он не ведал. Не ведал и того, что первым будет его младший сын Юванко, с детства своенравный, но с широко распахнутыми глазами внимавший каждому слову отца. И отец с любовью звал его Айи — Махонький.

Юван примет в себя заряд, нацеленный в отчий дом из дальней стороны. Удар приподнимет его — и он отчетливо увидит своих родных возле зимней избушки в сосновом бору. Впереди всех, посреди коралля, повернувшись к нему вполоборота, чуть нагнув голову и словно согнувшись под тяжелой ношей, давившей на плечи, в одной рубашке, без малицы, весь напряженный, со скорбно-печальным лицом застыл отец. От него неведомо по какому миру пробивалось одно:

«Я жду тебя, сын...»

Это пробивалось, колебалось, исходило волнами...

Черная, с серебристой проседью, прядь на голове отца тянется со лба к затылку.

За его спиной, в шести-семи шагах, перед самым входом в бревенчатые сени дома, в светлом платке и в зимнем саке с синим матерчатым верхом, у пояса придерживая левую руку правой, стоит мать. Из-за ее спины выглядывают беззаботные сестры Вера и Таисия. За ними — лица скитавшегося где-то старшего брата Микуля, ушедших на запад дядей, захороненного в братской могиле в Берлине деда, поседевшей бабушки, удивительно волнующей одноклассницы Галинки Лейковой и лица многих других близких и дальних родственников и людей...

В корале утопанный белый снег детства и все четырнадцать сосен в защитного цвета, словно солдаты, зелени. Слева от сеней нарты со сложенной упряжью, хореи и колодки для оленей. На верхушке шеста связка порыжевшей травы на стельки кисов. За коралем плотный строй боровых сосен.

Он не почувствует ни страха, ни боли, не огорчения. Только остановится дыхание — и остановится Время. И остановится Жизнь. И отчий дом.

Отец.

Мать.

Сестры.

Родственники.

Люди.

Снег детства.
Сосны.
Небо.
Солнце.
Остановится и останется все это.
Навсегда.
На веки вечные.

18

Когда Демьян сдал пушнину и собрался уходить, его попросил зайти охотовед промохототделения Колодкин. Поговорив об «урожае» на зверя-птицу и условиях промысла, хозяин кабинета поинтересовался:

— Геофизики, говорят, к вам вышли, Демьян Романыч?
— Вышли, Виктор Иванович, — кивнул Демьян. — Вышли.
— Видели их?
— Видел.
— Угодия твои не зрят? Капканы там, ловушки?
— Так они только вышли. Пока ничего плохого о них сказать не могу, Виктор Иванович.
— Ну, в случае чего дай знать, — сказал Виктор Иванович.

— Думаю, мы с ними поладим, — улыбнулся Демьян. — Тоже ведь люди, такие же, как и мы.

— Н-да-а, — неопределенно протянул охотовед.

По его озабоченному лицу Демьян понял, что тот обеспокоен приходом неожиданных гостей — искателей нефти.

Прощались, Демьян вышел из конторы. На поселок опускались серые сумерки. Застучал дизель на станции — в окнах домов вспыхнули лампочки.

Заканчивался второй день его пути.

Возле нарты топтались сыновья. Как он приехал, они по пятам ходили за ним. Ни на шаг не отставали. Пока отец сдавал пушнину, они бегали к упряжке — то туда, то сюда. Видно, им хотелось побыть и возле отца, и возле оленей. В конторе отцу не до них, занят, а вот с оленями можно поговорить обо всем.

Увидев отца, мальчики разом замолкли. Младший Юван — он унаследовал бабушкину породу — блеснул острым глазом, надвинув на черный чубик старую шапчонку, поскущел лицом. Как и у бабушки, все у него было близко: и смех, и слезы. А старшенький, Микуль, только чуть заметно сник — на лице же ничего не отразилось...

Младший пошвыркал носом, громко засопел и наконец решился, спросил охрипшим ломким голосом:

— Кунты мэнлэн? *

Демьян посмотрел на сыновей, воробьями нахохлившихся у нарты, медленно переспросил:

— Ягунам? **

— Ягунам... — почти в один голос выдохнули сыновья.

Демьян поправил шкуру-подстилку на сиденье, принялся подтягивать какой-то ремешок на поясе вожака. Он мешкал. Все дела вроде бы сделал, остались только покупки разные. Магазин еще открыт — можно успеть, а потом попить чай и пуститься в обратный путь. Но сыновья почти полгода не видели родителей, не ездили на каникулы. Конечно же, соскучились. Как тут сразу уедешь?! Хотя и домой надо спешить — ждут там, и олени на пустом пастбище не находят себе места. И за землю тревожно — искатели идут. Зародившаяся на озере боль сушит грудь. Но Демьян пересилил себя и, взглянув на сыновей, улынулся, бодро сказал по-хантыйски:

— Здесь заночую. Завтра домой поеду.

Мальчики заметно повеселели, заулыбались. И тут же уселись на нарту, чтобы ехать с отцом на пастбище. Демьян покопился на их пальтишки и валенки, что явно не годились для езды на оленях, но ничего не сказал, лишь смущенно крикнул — все равно ведь не отстанут — и молча тронул упряжку. Коль им станет холодно, то можно в кумыш завернуть, подумал он. Пастбище тут близко, а на обратном пути согреются пешком.

Он направил упряжку за болотную речушку Лархи, или Ершовую, которую русское население в поселке называло просто Еганишкой. Там было несколько ягельных островков-боров посреди болота. На одном из них Демьян высмотрел взгорок с редким сосняком, куда и свернул с дороги. Втроем быстро распрягли усталых оленей и на длинных веревках развели их по отдельно стоящим соснам и пням.

Пеструха и вожак Вондыр сразу начали копытить снег — проголодались за день. А важенка Пирни капризно оглядывала бор, сунув нос в снег, принимавалась к запахам ягеля незнакомой земли. Как водится, она не спешила откопать себе пищу. Заметив это, Микуль взял с нарты деревянную лопату отца и выкопал молодой оленихе кормежную яму до ягеля.

— Ешь-ешь. — Юванко подталкивал олениху к яме. — Ешь, Пирни, готовая тебе еда. Ешь.

— Да ладно, оставьте ее, — сказал Демьян, укладывая упряжные ремни на амдер. — Ночь длинная, успеет еще поесть.

— Она всегда такая? — спросил Микуль.

* — Когда поедешь?

** — Домой?

— Всегда неважно ест, — ответил отец. — И нарту неважно тянет. Всегда такая, с рождения.

— Она не исправится, лучше не станет?! — беспокоился Юван.

Пирни считалась его оленем, растила оленят на его удачу.

— Куда там, — усмехнулся отец. — Ее дело теперь только о потомстве думать. Ничего от нее больше не надо...

Они вышли на дорогу и направились к поселку. Отец неспешно рассказывал о домашнем житье-бытье, о собаках и оленях, о земле. Отвечал на вопросы сыновей, расспрашивал их о жизни в поселке, об учебе в школе-интернате, об учителях, об охотниках, приезжающих с верховья реки. Многое интересовало Демьяна, о многом ему хотелось узнать. Но еще больше ему нужно было сказать сыновьям. Свое слово сказать. Свои думы-мысли высказать. Он чувствовал, как сыновья все отдаляются от него, как ускользают от его дум-мыслей, как зыбкой становится с каждым годом их связь с домом, с отцовским промыслом, с родной землей. А без этой связи с родившей землей в большом ли, в малом ли деле человеку не будет удачи. Это Демьян хорошо знает. Умирает душа человека. А умирает душа человека вместе с народными певцами, со сказителями, с древними «поющими древами» — музыкальными инструментами из кости, дерева, кожи, оленьих сухожилий и конского волоса*. Что такое плоть человека без души? Это уже и не человек вовсе. Он не может воспарить в небо, не может уловить радость и боль другого человека, радость и боль родившей земли. И поэтому Демьян всячески стремился сохранить и укрепить связь сыновей с домом и землей. А как это сделать, если дома они бывают всего три месяца в году — в летние каникулы?! Вот родитель и крутись-вертись, соображай, как тут быть! Нужно понять и зверей-птиц, и ход рыбы в таежных реках, и движение небесных Лун, и надвигающееся ненастье. По едва заметным признакам надо определить урожай на ягоды-грибы, на пушного зверя, на крылатую птицу. При этом необходимо выстрогать весло на топорище, построить дом и лабазы-амбары на курьих ножках, смастерить облас и нарту и другой промысловый инструмент. Но это еще не все. Далеко не все. Главное же — должна звучать мудрая песня ли, сказка ли старого человека, чтобы навсегда впечатались в сердце и Светлой Воды Озеро в оранжево-золотистом мареве утра, и листопад на узкой протоке Древесного урия, и ослепительно белый песок Сосновой Шишки косы, и печальный Кедр-старик на Домашнем острове, и высокий Яр Осеннего Селения в бордовом брусничнике и хвое...

Человек, связанный с родной землей, намного крепче,

* Струны смычковых и щипковых музыкальных инструментов плелись из волос конского хвоста и выделанных оленьих сухожилий.

думал Демьян. Такого человека не так просто сломать и покорежить, у него корень прочный, далеко в землю уходит, крепко в земле сидит. С человеком, у которого есть такие корни, ничего плохого не случится. Можно выучить его на геолога, на врача или инженера — везде он найдет правильную дорогу. И в смертельно опасную минуту, на грани двух миров, он прежде всего вспомнит о земле... Демьян не против учения, нет. Он против ослабления связи с родительским домом и родившей землей. Вот что беспокоит и мучает его с давних пор.

Земля не может жить без любящего человека. И быть может, сейчас она больше нуждается в думающем охотнике и рыбаке, нежели в геологе или инженере. У каждого народа есть исконные промыслы, от которых сразу трудно отказаться. Да и стоит ли отказываться?

Шагая рядом с сыновьями, Демьян размышлял о земле и о подрастающем поколении всех сиров Реки. Что же ждет их в грядущем? Будут ли счастливы? Сохранят ли свою землю такой же чистой и прекрасной, какой она досталась нам от предков?..

Шел Демьян, присматривался к сыновьям, внимательно прислушивался к интонациям их голосов. Время от времени спрашивал, не холодно ли им, не мерзнут ли руки, не мерзнут ли ноги. Те отвечали отрицательно.

Возле отца мальчикам было тепло.

Перед мостиком через речушку Лархи старший Микуль вдруг замедлил шаг. И, полуобернувшись, как и отец, сдержанный и рассудительный, он показал рукой на занесенный снегом бор-островок справа, спросил:

— Почему оленей тут не привязали? Ягель есть и от поселка близко...

Демьян взглянул на него, на его выбившиеся из-под шапки буйные кудри. За эти кудри его еще с малолетства прозвали Волнистая Голова. Это второе имя старшего. Сейчас отец, как бы поправляя, прикоснулся к его шапке, смахнул снежинки с его плеча. Потом перевел взгляд на окутанный вечерними сумерками бор-островок, тихо ответил:

— Тут, конечно, можно было оленей привязать. Ничего в этом плохого нет. Но наши люди как-то не привыкли попусту беспокоить такие места...

— А что там случилось? — спросил младший Юванко, подступая к отцу. — Расскажи нам.

Впереди, за сосняком, замигали огни окраинных домиков селения. Послышался стук дизеля на электростанции и лай собак.

Демьян поправил капюшон малицы, смущенно кашлянул: размышлял, говорить или не говорить. Наконец решился, повернул голову в сторону бора-островка и, помедлив, сказал:

— Там... в самеринское время... отец почтового человека, Безногого Галактиона, с жизнью расстался.

Замолк Демьян.

Молчали сыновья.

Молча сгущалась ночная тьма.

19

— Где твое золото?! — свистящим полупшепотом просипел Кровавый Глаз. — Где золото?! Где деньги?! Отвечай!

Нерм-ики молчал третьи сутки. Склонив набок седую голову, прикрыв усталые глаза, он неподвижно стоял перед Кровавым Глазом, которого будто не видел и не слышал. Он, отец почтового человека Курпелак Галактиона, не был ни шаманом, ни князем, ни старшиной, ни кулаком. Не воевал на стороне белых в гражданскую войну, не ходил у них проводником и не готовил для них оленьи упряжки, никогда не выступал против Советской власти ни словом, ни делом. Это всем известно доподлинно. И Кровавому Глазу — в том числе. Но в начале века его ветвь сира Сардаковых считалась самой богатой по всей Реке — в стаде в верховье Ягурьяха паслось более четырехсот оленей, выезжали торговать в обские города Сургут, Березов, Обдорск. И жену своему единственному сыну — статную грудастую молодайку — он сосватал у обских остяков. Так потом за невесткой и закрепилось имя Аснэ — «Оби Женщина». После гражданской войны стадо пошло на убыль — часть оленей погибли от болезней, часть передали колхозу. Последние же олени кончились в годы Отечественной войны — семья большая, ртов много — подрастали внуки, нуждались в помощи дочери. Выжить нужно. Выжили. Война недавно кончилась. Время строгое. В разгар сезона охотникам запрещалось выезжать со своих угодий, дабы не терять драгоценные промысловые дни. Нерм-ики, Степан-старик, по возрасту был в колхозе каюром. Доставлял охотникам продукты, а вывозил добытую ими пушнину. Трое суток назад он приехал с верховья реки Ампуты, где на Межземельной гриве* охотились люди хантыйского сира Казамкиных и ненецких сиров Иуси и Айвасада. Это были самые дальние угодья колхоза — в нескольких днях езды от поселка. И охотники там остались без пищи, кончились припасы, а выехать нельзя — не поступила такая команда. Продовольствие же должен доставить им каюр Нерм-ики. Зная об этом, он спешил в обратную дорогу. Очень спешил. Но в поселке его задержал Кровавый Глаз — и рухнули его надежды на скорое возвра-

* Богатые лесотундровые угодья на водоразделе между хантыйскими и ненецкими землями.

щение на Межземельную гриву. Кровавый Глаз требовал золота. Якобы его богатые предки накопили много золота, которое затем по наследству досталось ему. И он-де, Степан-старик Сардаков, запрятал это золото, чтобы оно не досталось Советской власти. В первый же день старик терпеливо попытался объяснить, что верно — некогда его сир был богатым, много оленей имели, в обские города ездили на ярмарки. Но единственное богатство — олени, которых теперь нет. А золота вообще не было. Не интересовались золотом. К чему оно в тайге? К какому месту его приложить?! А то, что без надобности, не держали. Никакого смысла держать ненужную вещь. Украшения? Может, у женщин и были какие-нибудь безделушки, но теперь ничего нет. Все, видно, уплыло в тяжкие годы жизни. Никак ведь три войны пережили. Дары богам? Так это у богов надо спрашивать. Человек за бога не ответчик...

Но тот твердил одно — золото! Ничего больше не хотел знать и слышать. И старик потемнел лицом и замолчал — оледенел вдруг. Он слишком хорошо знал хватку Кровавого Глаза. Хватка у того — мертвая. Недаром окрестили его и Нижним духом, Черной главой Подземного царства, потустороннего мира, куда уводит он людей, души которых достаются ему.

— Где золото?! — крикнул он снова, сверкнув кровавым глазом.

Словно оборотень, он был многоликим. То оборачивался Нечистым духом и вкрадчивым голоском расставлял сети, куда загонял свою жертву. То, превратившись в Кровавый Глаз, черными молниями прожигал все живое. То, осатанев, выхватывал маленькое ружье — револьвер или пистолет. Рукояткой проламывал головы, простреливал потолки, простреливал ледяные окна избышек, простреливал груди. Все это он делал маленьким ружьем. И поэтому к его имени прибавилось устрашающее «С Маленьким Ружьем», ибо от маленького ружья деваться было некуда — все решалось в одно мгновение.

— Золото!!! — прорычал С Маленьким Ружьем и выложил на стол револьвер.

Нерм-ики равнодушно смотрел перед собой. Его обветренное лицо осталось неподвижным.

— Не отдашь — весь твой род изведу! — Стук рукояткой револьвера по столешнице. — С корнем вырву! Вырву!..

Старик молчал.

— У-у-у, идол остяцкий! — Дуло револьвера ткнулось в грудь старика. — Давай золото!.. Не то пристрелю, как собаку!

Старик даже не пошевелился. И тогда Кровавоглазый, обернувшись Нижним духом, почти шепотом прошипел:

— Начну с твоих дочерей...

Он ухмыльнулся, словно уже одержал верх, остановил кровавые глаза на неподвижном лице старика, до которого,

видно, еще не вполне дошел смысл его слов, весело добавил:

— С до-че-рей... Что тебе дороже — золото или дочери, а?! Начну ведь... Это, пожалуй, будет приятнее, чем с тобой, старый хрен, разговаривать и попусту время убивать! Ха-ха-ха! — деревянно хохотнул. — Пожалуй, с младшей начну. С красавицы Федоски...

Нерм-ики вздрогнул, приподнял голову. Мучительная тоска его глаз ударилась о стену. Впереди — стена. Слева — стена. Справа — стена. Сзади — окно. И он почувствовал, как через это окно тяжелый квадрат черной ночи стал давить ему на затылок.

Его детей уже допрашивали. Что они могут сказать о золоте, о котором и слыхом не слыхали?!

— После и старшую придется — ху-ху-ху! — С Маленьким Ружьем, заложив руки за спину, самодовольно расхаживал вокруг старика. — Вон какая кобылка — лес можно возить! Ху-хух!.. Потом до твоего одноногого щенка доберусь. Быстро выправлю ему крючок — в пляс пустится. Весь остаток жизни благодарить станет, лучшего лекаря не найдет!..

Старик поймал кровавый глаз Нижнего духа и тяжело, взвешивая каждое слово, сказал:

— Они... ничего... не знают...

— Где зо-ло-то?! Зо-ло-то!

Старик медленно поднял правую руку, узловатыми пальцами прикоснулся к седой голове, выдохнул:

— Золото — вот...

— Отдай золото. Не то твое отродье возьму!

Старик тихо сказал:

— Мою голову возьми.

— Твою башку и так возьму! — хохотнул С Маленьким Ружьем. — Не спеши. Отдашь золото — отпущу на все стороны! И башка твоя при тебе останется.

Они в упор смотрели друг на друга. Молчали. Наконец С Маленьким Ружьем отвернулся к окну, устало махнул рукой, вяло пробормотал:

— Ладно, иди. Завтра продолжим.

Он уставился в черную пустоту ночи. Быть может, в этой пустоте он увидел полуголого седобородого попа. В двенадцатом году на реке Конде он выколачивал золото из местного попа-бородача. Дело было по первому снегу. Батюшку обвязали веревками и окунали в обледеневший омут. Затем вытаскивали и спрашивали: «Где золото?» Батюшка, стуча зубами, вздымал к нему обезумевшие от ледяной воды очи и хрипел: «Видит бог — нет золота! Нет, нет!..» — «Ах, ты еще богом грозишь! — визгливо кричал главный золотовыколачиватель, тыча маузером в лицо попа. — Ну-ка, ребята, еще разик окунем!» И такие же юнцы, как и он сам, с гвалтом подхватывали батюшку и швыряли в омут. А тот, выныривая из

воды, все хрипел: «Господи, спаси раба твоего грешного!..» А главный деревянно хохотал в бородатое лицо попа: «От дуrolом — чо захотел! Не у господа, а у меня спасенья проси, дуrolом! У ме-ня-я!..» Быть может, тогда он впервые ощутил сладостную силу неограниченной и бесконтрольной власти над людьми: хочу — казню, хочу — помилю. А могло ли быть золото у батюшки бедного сельского прихода?! Это его не интересовало: другие-то припрятывали, у других-то выколачивали кое-что. А коль один и пострадал по ошибке — так что теперь с того. Не может власть ломать шапку перед каждым. Ее, власть-то, все должны почитать. А самое верное почитание только через страх, только через боязнь. Поэтому и рвался на подавление Казымского восстания в 1934 году. Остяков в страхе нужно держать. Это самое верное средство. Не будет страха, так еще чего-нибудь захотят, еще чего-нибудь затребуют.

Между прочим, страх и для настырного русского мужика пользителен. На всех врагов он пользительно действует. Мало ли вокруг «врагов народа»? Нет, немало их. Правда, однажды в нем шевельнулось что-то похожее на сомнение. Это когда получил указание выдать три сотни. А сроки — довольно сжатые. Мелькнула невольная мысль: где их взять?! Три сотни!... Это впервые, столько еще ни разу не требовали. Район по территории огромный, а по населению? Можно сотни верст проехать и не встретить жилья. Вот когда в нем что-то вздрогнуло. Возможно, смутило даже не количество, а сроки. За неисполнение в сроки, это он хорошо усвоил, можешь самолично угодить в те же три сотни. Бывало и такое. Сосед с западного района, бедолага, то ли пожалел кого, то ли в сроки не уложился, то ли еще чего-то вовремя не сообразил, в общем, сам попал туда же, откуда нет возврата. Нет-нет, он не хотел участи соседа. Надо найти что-то свое. Кладовую, что ли, какую-то нужно сделать. И он крепко задумался. После долгих размышлений он взял листок и старательным почерком составил для себя следующий документ.

ВРАГИ НАРОДА (Русские)

I. Бывшие.

1. Дворяне, их родственники — учинить розыск!
2. Уездное начальство, их родственники — имеются.
3. Церковники, их родственники — имеются.
4. Купцы, богачи, их родственники — имеются.
5. Кулаки, их родственники — имеются.

6. Колчаковцы, их родственники	— част. имеются, но розыск учинить!
7. Участники мятежа (кулац. эсер.)	— част. имеются, но розыск необходим!
II. Вредители соцстроительства, их пособники, родственники	— будут.
III. Вредители, руг. Товарища... и Соввласть	— найдем, разыщем.
IV. Спецпереселенцы	— имеются, еще придут
V. Протчие, с родственниками	— тоже будут.

ВРАГИ НАРОДА (Остяки)

I. Бывшие	
1. Князья (титуты от Катки и протчих), их роды	— имеются, но розыск учинить!
2. Князьки местные, их роды	— имеются.
3. Богачи, купцы, их роды	— имеются.
4. Старшины, старосты, их роды	— имеются.
5. Участники Казымского восстания, их роды	— имеются, но розыск усилить!
6. Пособники белогвардейцам, Колчаку, кулакам-мятежникам, их роды	— должны быть, учинить розыск!
II. Шаманы, идолопоклонники, их роды	— имеются.
III. Вредители соцстроительства, их роды	— будут.
IV. Вредители, руг. Товарища... и Соввласть, их роды	— будут, найдем, ответят.
V. Протчие враги, их роды	— будут, ответят.

Он перечитал свои записи и остался доволен собой. Он рассчитал с учетом всех мелочей. Впрочем, в его работе, как он полагал, нет мелочей. Все значительно, все важно. Сколько и откуда брать. Сколько ему должен районный центр, каждое село, каждая Река, каждый род. Брать, учитывая время года. Откуда летом, откуда зимой, откуда весной или осенью. В зависимости от вида транспорта и отдаленности — олени или кони, лодка или катер. Кого брать первым, кого немного позже. Для этого он составил списки под номерами 1, 2, 3 и так далее. Отдельно для русских и остяков. В список остяков № 1 поставил шаманов — верная добыча, поди разберись, у кого есть это шаманство, а у кого нет.

Прикинул, учитывая естественный прирост вверенного ему

нароdonаселения, три сотни, в общем-то, сущий пустяк. При таких темпах, проживи он хоть тысячу лет, ему обеспечен хлеб, обеспечена работа. Враги не переведутся. Хватит их на его век. Чем их больше — тем, искупая свою вину, большую пользу они принесут на соцстроительстве, тешил он себя мыслью. Он поставлял рабочие руки на лесозаготовки, рыбопромысел, строительство железной дороги по тундре и на другие объекты Крайнего Севера. Кто их готовит, кто все это делает для народного хозяйства? Он, один...

Отправив один список, нужно готовить другой. Управившись со вторым, необходимо браться за третий. Непростая эта работа, но нужная, размышлял он. Подспудно он чувствовал, что острая нужда в нем будет до тех пор, пока есть они, «враги народа», его подопечные. Значит, надо распоряжаться ими по-хозяйски, разумно, планоно, чтобы не иссякал их поток, чтобы на все непредвиденные случаи они были под рукой. Он из них сделает такого «врага», какой потребуется. Он знал, что верхи особо ценят эту его хватку... Тогда, после трехсот, перечитав записи, он вконец успокоился: будут «враги народа» — будет он.

Сейчас он оторвался от завораживающей черноты ночи, обернулся. Возле двери стоял Нерм-ики, Степан-старик.

— Чо ишшо? — резко бросил через плечо, отворачиваясь.

— На Межземельную гриву человека послать надо, — глухо сказал старик. — Там люди ждут, без еды остались.

Помолчав немного, он выдал главный довод в пользу, как ему казалось, охотников Межземельной гривы:

— Там на Государство промышляющие люди.

— Не подохнут, остяки живучи! — усмехнулся С Маленьким Ружьем. — Пока твое дело не закончим, никто туда не поедет. Понял?

Старик кивнул.

— Иди!

Старик неспешно повернулся и так же неспешно вышел.

В крохотном закутке Колхозного дома его ждала семья. К еде он не прикоснулся, только выпил кружку чая. Все поняли, что дела семьи плохи. Перекинулись несколькими словами и снова замолчали.

Молчали в потемках.

— Я к нему пойду, — сказала младшая, Федосья.

— Нет! — твердо отрезал старик. — Тебе еще жить надо.

— Милый Торым, где ты есть! — простонала старшая, Аксинья. — Неужели наше горе не видишь?! Где ты есть?!

Безногий сын Галактион лишь вздыхал тяжело.

Детей Степана-старика вызвали в поселок по «делу отца». Они не могли выехать никуда без разрешения С Маленьким Ружьем, которого теперь в разговоре называли Он. Особенно женщины побаивались произносить его имя вслух.

— Он сильнее Торыма, — сказал Галактион и повернулся к старшей сестре. — Перестань, Аксинья.

Аксинья через силу подавила тяжкий стон.

Ни нар, ни топчанов не было. Спать легли прямо на полу, подстелив всякое тряпье.

Степан-старик, оглядев, хорошо ли устроились дочери и сын, тихо проговорил:

— Его уму ненавистны древние корни нашего сира — хочет их вырвать. Вас он не тронет... Спите...

Сам он так и не лег. Прислушиваясь к неровному дыханию своих взрослых детей, осторожно поправляя их сползающие одежды, просидел он всю ночь напролет возле сына-калеки и младшей дочери Федосьи. Старшая недавно вышла замуж за хорошего парня из рода Казамкиных — жизнь ее налаживалась. Во всяком деле она сноровистая, проворная, да и характером крепкая. Сыну, как и всякому калеке, конечно, будет тяжелее. Да всю жизнь под крылышком отца не посидишь, самому надо свою тропу прокладывать. А какова же судьба младшей, Федосьи? Она одна еще не устроена в этой жизни... Эх, милый Торым, пошли ей достойного жениха, пошли ей достойного человека! Как и сестра, в девках она не засидится. Пошли ей прекрасного человека, добрый Торым!..

Пришел сумрачный рассвет. Засветили неяркую плошку. Ожил закуток для приезжих Колхозного дома.

— Пойду оленей смотреть, — сказал Степан-старик. — Вечером не сходили к ним.

Он обвел взглядом, стоя у порога, своих детей, кротко, как бы извиняясь, улыбнулся и бодрым голосом добавил:

— Скоро вернусь.

И вышел.

Его бодрость понравилась детям: вроде повеселел отец, авось пронесет.

Рассвело. Он все не возвращался. И первым забеспокоился С Маленьким Ружьем. Он отправил младшую, Федосью, узнать, почему отец задерживается на пастбище.

Федосья, охваченная недобрым предчувствием, почти бегом пустилась на знакомое пастбище. Только на подъеме к бору-островку замедлила шаг и, увидев нарту отца, остановилась. Возле нарты, завернувшись в оленью шкуру, лежал отец. Из-под шкуры были видны лишь ноги. Уснул ли? Спит ли? И Федосья, не в силах сдвинуться с места, со слезами, почти шепотом стала звать отца:

— Ачи!.. Ачи!.. Ачи-эй!..

Отец не откликался.

Она сделала еще несколько шагов. И увидела торчавший из-под шкуры приклад ружья — и без чувств свалилась на землю. После она долго болела, но потом поправилась, возвратилась в мир жизни, вышла замуж за двоюродного бра-

та Демьяна, за Малого Михаила. Хорошо зажила. Но, как и старшая сестра, до конца своих дней была лишена счастья материнства — не могла родить...

Кровавый Глаз только грохнул по столу: надул-таки старый остяк, что теперь с него возьмешь!

Так ушел из жизни отец Безногого Галактиона, древний корень сира Сардаковых...

В командировках Кровавый Глаз любил развлечения. Одна его «игра» называлась «Стрижка шамана», или «Тир». Когда он вез в райцентр старика Ефрема, родного брата отца Демьяна, на окраине домашнего бора, на Песчаном озере перед речушкой Нёх*, приказал остановить упряжки. Он поставил старика Ефрема посреди озера, медленно вытащил пистолет, сдул налипшие на ствол шерстинки, деловито заглянул в дуло, молча отступил на несколько шагов, повернулся полубоком, как на дуэли, и не спеша начал поднимать свое оружие.

Стало тихо.

Казалось, и олени затаили дыхание.

Каюры замерли у своих нарт.

Грохнул выстрел.

Старик Ефрем стоял на своем месте. К его ногам замедленно оседали в морозном воздухе шерстинки с капюшона кумыша, срезанные пулей.

Эхо выстрела покатилося по снегам озера и затерялось бесследно в боровых соснах.

Пропало эхо — и снова тишина.

Грохнул второй выстрел.

С капюшона старика опять посыпались шерстинки.

Укатилось эхо вдаль.

Выстрел — пучок шерсти с капюшона.

Так он стриг капюшон старика Ефрема.

Одной обоймой он остриг капюшон со всех сторон, только шерсть летела.

Когда кончилась обойма, он вытащил пачку патронов и, заряжая пистолет, подошел к старику, самодовольно ухмыльнувшись, сказал:

— Ну, благодари мою руку и глаз!

Старик стоял неподвижно.

— Никак кондрашка тебя хватил! Дар речи потерял?!

Старик все молчал.

— Аль язык откусил? Не желаешь со мной поговорить? А?

Пауза.

— То-то!... Это тебе не с богами шашни разводить! Понял теперь, у кого сила-то?!

* Нёх — «родниковая вода», текущая по сосновым борам. Священная вода сира и всей Реки.

Лицо старика было совершенно неподвижным.

— Почему не молишь пощады? Почему не кричишь? Не падаешь к ногам? Почему?! Неужели в тебе нет никакого страха, а?!

— Твой ум дальше большого пальца твоей ноги не ходит, — тихо сказал старик Ефрем.

— Почему?! — встрепнулся Кровавый Глаз.

— Мое дыхание в руках Нум Торыма. — Старик чуть заметно кивнул на небо. — Мне шестой десяток. Я пожил. И если мне суждено умереть на этом месте от твоей руки, я не сделаю ни одного шага. Я умру тут. И никто и ничто мне не поможет. Никто не спасет. Даже ты... Но если у меня еще есть жизненные дни, ты не возьмешь мое дыхание. Ничего со мной не сделаешь, хочешь этого или не хочешь. Я буду жить.

— При чем тут мой ум?

— А ты этого не можешь понять... — сказал старик. Гробовое молчание.

Старик Ефрем тогда еще не знал, что через два года вернется домой, что станет старцем Реки и разменяет первую сотню, что он один из немногих, кому на много лет суждено пережить своего мучителя...

Вдруг Кровавый Глаз ухмыльнулся, осердив желтые клыки, и, пряча пистолет в кобуру, с оттенком не то удивления, не то восхищения, сказал:

— Силен, черт!.. — и направился к нартам.

И непонятно было, к кому это относилось: то ли к Нум Торыму, то ли к человеку.

Эту историю рассказал Демьяну старый ненец Япта Вэлла.

В Колхозном доме Кровавый Глаз допрашивал Сэм-ики* из рода Лося. И вдруг он набросился на своего переводчика, обского остяка, избил его и выгнал вон с криком:

— Не то переводишь, сукин сын!

Вероятно, за много лет борьбы с шаманством он немного выучил язык и кое-что понимал.

«Меня позвали переводчиком, — вспоминал Япта Вэлла. — Я хорошо знал язык ханты. В конторе нас трое: Кровавый Глаз, Сэм-ики и я. Больше никого.

Кровавый Глаз о чем-то спрашивал. Я переводил вопрос, а потом слова Сэм-ики. Так сколько-то времени прошло. А после Кровавый Глаз остановился напротив Сэм-ики и вот что сказал:

* «Сэм» или «сам» — Глаз. Сэм-ики — Глаз-старик. Жил в среднем течении Ягурьяха.

— Сколько шаманов я перевидел! Со всех рек! Со всеми дело имел. Но ни один из них не мог одолеть меня. Я сильнее всех!.. Говорят, ты самый большой шаман этой Реки. Если это так, покажи мне свою шаманскую силу. Покажи мне что-нибудь такое, чтобы я поверил в твою силу.

Я перевел эти слова.

Сэм-ики молчит.

— Я Кровавый Глаз, а ты просто Глаз, — сказал Тот. — Мы как бы родные с тобой. Так неужели я сильнее тебя? Не бойся, хуже не будет. Покажи что-нибудь силой шаманства. Разве ты ничего не можешь, а?

Сэм-ики все молчит.

— Не можешь, значит?.. Кишка тонка?! А жаль, жаль!.. — Я перевел и эти слова, а сам Нижний дух все ухмыляется.

Тут Сэм-ики молча приподнял руки на уровень груди, локти прижал к туловищу и начал перебирать ногами, начал пританцовывать на месте. И смотрим — из ножен на правом боку Сэм-ики вышел нож.

Сам собой.

И нож поплыл по воздуху острием вперед. Нож пошел к Кровавому Глазу. И лицо его стало белое, как береста. Потом лицо его стало белое, как снег. На лице не стало ни кровинки. Это я хорошо видел. Он стоял напротив меня.

Нож медленно шел вокруг него.

Я видел это собственными глазами. Вот этими глазами.

Нож обошел его и вернулся в ножны. Сам собой.

Нож вернулся к хозяину с другой стороны. Они остались в незримом кругу, который очертил нож. Оба застыли. Не шелохнулись.

Я во все глаза смотрел на рукоятку ножа и Сэм-ики. Руки у него вверху, как были, к ножу он не прикоснулся. Такое я впервые видел.

Кровавый Глаз стоял неподвижно и молчал. Долго молчал.

И Сэм-ики молчал.

И я молчал. Все вокруг молчало.

Потом Кровавый Глаз молча выскочил на улицу. Раздетый. В мороз. Когда он открыл дверь, ворвался белый дым холода.

Я не знал, что делать.

Однако вернулся он скоро. Принес бутылку водки и полхлеба. В магазин бегал, понял я. Магазин тут недалеко, напротив Колхозного дома, на теперешнем месте пекарни стоял тогда. Сначала налил Сэм-ики. И Сэм-ики выпил. Потом он налил себе и тоже выпил. Отломил кусок хлеба и протянул Сэм-ики. И Сэм-ики взял хлеб.

Я не знаю, что мне делать. Понял, что быть мне тут плохо. Но и без разрешения Того уйти тоже нельзя. Потому что никому не известно, какими тропами его ум ходит, куда повернет, что он выкинет в следующее мгновение.

Он позабыл обо мне.

Они оба позабыли обо мне.

Я был ни жив ни мертв.

Наверное, даже дыхание мое остановилось. Только глаза мои ходили туда-сюда, туда-сюда.

Наконец он увидел меня. Мне показалось, он удивился, не мог сразу сообразить, откуда я тут взялся? Потом, видно, вспомнил все. И на его лице я прочитал: «Пшел вон!» Не помню, сказал он это вслух или нет, но моя голова ушла в мое тело, и я очень осторожно открыл дверь и тихо-тихо вышел, как будто меня там и вовсе не было. Только на улице, когда холод ударил меня, я опомнился.

После этого меня переводчиком не брали. Я не знаю, что у них было там, в Колхозном доме.

Тот уехал.

Ровно через неделю после его отъезда Сэм-ики поехал в районный центр.

На оленях.

Один.

Без конвоя.

Такого еще не бывало. Говорили, что условились о встрече там, во владениях самого Нижнего духа.

Еще через неделю-другую Сэм-ики вернулся.

Ходили слухи, что Нижний дух зарекся его трогать и отпустил навсегда».

Так и вышло.

Сэм-ики до глубокой старости жил на своих угодьях на Ягурьяхе, и никто не тревожил его. Микулю, старшему сыну Демьяна, он крепко запомнился. В тот год, когда всех рыбаков отправили на промысел белой рыбы на Обь, они оказались на одной стоянке с семьей Сэм-ики. Старик очень сердился, если маленькие дети баловались с большой водой.

Но о чем он говорил с Кровавым Глазом наедине, не знали ни родные и близкие, ни жители Реки. Не знал никто. Это так и осталось тайной, покрытой мраком.

Он был заботливым отцом семейства.

В первую военную осень ближайшие к районному центру тромаганские ханты привели три отборных оленя. Их забили во внутреннем дворе рыбокомбината. И сразу из парного мяса вырабатывали консервы. Все знали — для Большого начальника, но вслух об этом не говорили. Война... Нужны продовольственные запасы. Мало ли что может случиться... А хантам было вменено в обязанность поставлять на консервы три хорошо упитанных оленя в каждую осень, по первому снегу.

Кроме этого, охотники поставляли ему песцовый и лисий мех. На одеяла. Шкурки нашивались на атлас. Получались необыкновенно легкие и теплые одеяла. Царю такие не снились! Под ними тело прекрасно отдыхает после праведных трудов. И членам семьи — трем дочерям и сыну — тоже нужны такие одеяла. Зверей много, всем хватит. И охотников, остяков, хватает — вон как живучи, всех не переведешь...

И о жене позаботился, чтобы ни в чем нужды не знала. Благородная у нее работа, она учительница. Она должна быть лучшей в районе. И поэтому, когда она давала открытые уроки, задолго до этого специальный домашний художник готовил ей наглядные материалы. Проведя урок, она школе преподносила в дар эти материалы. Жалко, что ли? Нет. Школа была очень довольна таким даром. Еще бы — ни один учитель не может похвастаться ничем подобным!

У него все было лучше и больше, чем у других. У управляющего аптекой — одна домработница. У секретаря райкома — одна. У директора рыбокомбината — одна. А у него — две. Если сосед, управляющий аптекой, возьмет еще одну домработницу, то он пригласит третью. Впрочем, кому это взбредет в голову потягаться с ним? Разве что какому-нибудь сумасшедшему? Но таких в округе нет. Давно все признали его силу и власть.

А таким выездом, как у него, разве может кто похвалиться? Конечно, нет. Конь со звездочкой на лбу и в белых чулках сначала во дворе делал стойку, затем вылетал за ворота. Коляска на рессорах мягко подкатывала к причалу на Черном Мысу. И жители райцентра, встречавшие первый пароход, расступались и низко кланялись ему и его семейству, восседавшим в коляске. Впрочем, особенным поклоном, предназначенным только ему, кланялись жители и во время праздничных демонстраций, когда он, стройный, подтянутый, в военной форме, шеголем прохаживался по трибуне. Разве такого, как он, найдешь в районе? Нет, конечно. И в соседних районах, пожалуй, не сыщешь такого красавца!

Если у него была слабость, то лишь одна — форма. Форму он любил до самозабвения. Форму обожал. Без формы он не представлял свою жизнь. С формой никогда не расставался. Единственный, кто с ним не церемонился — так это Мороз. В дальних командировках Мороз вынуждал его кутаться в меховые одежды. В кисах и кумыше он чувствовал себя беспомощным и неуклюжим. Поэтому как только добирался до места, тотчас все скидывал с себя, кроме формы.

Форма шла ему. Он знал это. А форму украшало оружие. И с оружием он тоже никогда не расставался. Руки постоянно поигрывали оружием во время допроса — перекидывал пистолет с ладони на ладонь, стучал рукояткой по столу, поглаживал, похлопывал.

Без формы и оружия он сам себе казался маленьким и ничтожным.

После, когда изобрел меховые одеяла из песка и лисы, к концу длительных командировок он начинал скучать по ним. Особенно, если возникали непредвиденные задержки. Хотя не терял самообладания, но становился раздражительным. По ночам грезилось тепло и уют «белоснежного песка». Так называл он свое любимое одеяло.

Маялся, маялся и, наконец, нашел выход — брал «песца» с собой. Благо, одеяло легкое и всегда есть кому нести. Не надо ведь самому таскаться с вещами. Как это раньше не догадался!

А потом и в летние поездки стал возить с собой это одеяло, рядом с которым покойно вроде на душе. Ему казалось, что «белоснежный песец» согревал его стынущее нутро. Ничто другое так не согревало его.

Песцы приходили со стороны тундры, с севера. Если на побережье Великого Океана наступал голод, снег покрывался толстой коркой льда, в поисках пищи они пускались на юг и добирались до самых черных урманов.

Бывало и такое, что песцы не показывались. В такие зимы им, видно, вольготно жилось на родине. Это его омрачало.

В песцовые же годы он довольно посмеивался.

Ведь каждый что-то ему должен.

Охотники — меха.

Оленеводы — оленей.

Рыбаки — белую обскую рыбу. Обожал строганину.

Шаманы — свои земные дни.

— Все — должны ему.

Только он один никому и ничего не должен.

Нет, не должен.

Много лет спустя в городе, в районном центре, Микуль встретился с бывшим сослуживцем Большого начальника. Сослуживец, широкий в кости старик, когда услышит имя своего начальника, вздохнет и скажет:

— Ох, и попил он кровушки народной!..

Помолчит, по-стариковски кряхтя, закурит, оглядит Микуля с ног до головы, откашляется, потом заговорит:

— Почитай, двумя ногами в могиле стою. Так и быть, спрашивай... Скажу...

Немного помедлив, после паузы, Микуль спросит:

— Каким он был... на службе?

— На службе-то?.. Был очень выдержанный.

— Как это следует понимать?

Старик призадумается. Потом вскинет голову, его водянистые глаза странно заблестят. Пояснит:

— Помню вот, калмычку он допрашивал. В войну сюды калмыков сослали. Из ссыльных она. Молодая такая была. Он положил незаряженный пистолет на стол и начал допрос. Ходит по кабинету, сапогами скрипит. Допрос ведет. А калмычка в обморок падает. Беременная была. Ну, помощники водой обливают холодной, в чувство приводят. Он дальше допрашивает. Она опять в обморок. И так до утра. Всю ночь. Лицо его не дрогнуло ни разу. Будто из железа или стали. А утром он свеженький такой, будто не работал всю ночь. Крепкий он был, выдержанный.

— А пистолет почему не заряженный?

— Э-э, дело тут известное. Арестованный недалеко от стола сидит или стоит. А он положит свое оружие на стол и ходит по кабинету или по камере, допрос ведет. Потом как будто забывает про оружие, отходит к окну или двери, спиной может повернуться. Коль арестованный шибко озлобленный, совсем к стенке приперли, хватить пистолет — и в него. Чак — осечка. Чак — осечка. Пистолет-то пустой. Конфуз вышел. А он хохочет. Любил пошутить... Опять же охранника проверяет, коль не уснул и тот возле двери стоит. Особенно, если это новенький. Предан ли? Надежен? Шустрый охранник, бывало, успевает уложить или поранить арестованного. А иной, коль начальник рядом, своей грудью прикрывал его. Это особо почиталось...

Микуль только головой покачает.

— Охранник не знал, пистолет заряженный или пустой. Бывало там один или два патрона. Для устрашения он выпустит пули в стену, в потолок или пол. Потом кладет на стол. Все видели, что пистолет заряженный — только что стрелял. Новички и попадались на этом.

— Какое у него образование было?

— Образование-то?... Только церковноприходская школа, говорили. До революции еще учился, в каком-то уральском поселке или городке. Гордился, что сын рабочего, из пролетариев... Видно, так и было. Потому как на службу к себе шибко образованных не брал. По себе мерил, чтобы никого учение его не было под рукой. Так-то вот.

— И с этой церковноприходской школой работал до конца?

— Нет, он учился. К нему домой ходила учительница черномысовской школы. Учила его дома. Известная учительница. Только вот фамилию не припомню. Знал ведь...

— И до какого уровня она довела его образование?

— Говорили, до уровня десятого класса. Он был очень старательным учеником. Если бы имел хорошее образование, он бы далеко пошел. Высоко бы взлетел.

— В деревнях он русских не трогал?

— И русским досталось. Но больше он шаманов брал.

— А ненцы?

— Ненцы-то?.. Ну, те быстро от своей веры отказались, перестали богу поклоняться, обряды разные перестали исполнять. На учебу, на всякие там курсы охотно ехали. Не помню, не проходили у нас ненцы... А вот остяки — другое дело. Поди, по сей день сохранили священные места и шаманят? Помнят бога? Есть шаманы?

— Есть такое дело... — скажет Микуль.

— Видишь, верно чуял мой начальник — кого и где брать. Нюх у него был острый. Его не проведешь.

— В командировки по району один ездил? С переводчиком?

— Это когда как. Он разный был. Его трудно понять. То поедет и пустит впереди охранника и сзади охранника. Потребует, чтобы и каюром непременно был партиец или комсомолец. И ночью чтобы охрана не смыкала глаз. И переводчик чтобы постоянно под рукой был... А то поедет и пять-шесть остяков привезет. Ну, которые шаманы. За раз. Один. Переводчика где-нибудь побьет и бросит. Вот такой он был... Нюх, я тебе скажу, у него звериный. И верхним чутьем тоже брал.

Микуль знал, что верхним чутьем обладают очень редкие собаки, которым на охоте нет цены. Поэтому он спросит:

— Что за верхнее чутье у него было?

— Это вот что такое. Там, вверху, в центре, разоблачили какой-нибудь блок, левый или правый. Или что-то еще тому подобное. Он тотчас же разыскивал нити заговора здесь, на месте, и разрывал их, обезвреживал.

— Какие нити? — удивится Микуль. — В такой-то глуши? При тех транспортных средствах и связи?!

— Он сам плел эти нити и сам же рубил их.

— Каким образом? Как?

— Как?.. Да способов много. Вот, к примеру, едет куда-то человек. Дают ему посылочку с просьбой, там-то передать тому-то. Ну, человек берет посылочку, передает. А получатель сообразить ничего не успевает, как приходят за ним. Заводится дело под номером таким-то. В посылочке-то что? Литература разная, инструкции и другие антиправительственные и антипартийные бумаги. И оружие там может оказаться. Да все, что хочешь, о чем и вовсе не подумаешь...

— А если человек совсем непричастен?

— Хе-е, непричастен?.. Был непричастен — так будет причастен. Через два-три дня. А то и через несколько часов. Время-то суровое было. А человек он и есть человек, из мяса и костей. Поди, ведь не железный, не стальной. Признает все, что захочешь... По этой статье русские шли, помню...

Микуль вспомнит, что такую же историю рассказывал ему старейший учитель района Аркадий Степанович. Единственное,

что спасло учителя, — это интуиция. Он почувствовал неладное и не взял посылку. Хотя потом и пришлось из-за этого держать ответ...

— На фронт он не просился?

— Кому умирать охота?! Поди, не дурак был. Хе-е, фронт?!

— Почему все-таки не попал на фронт?

— Почему?.. Трудно сказать. Во-первых, он службу держал безупречно. За-ради службы все готов был положить. Неда-ром от рядового оперуполномоченного до начальника дослу-жился. С церковноприходской школой. Учиться начал позже, когда уже начальником стал. Район давал фронту рыбу, мясо, пушнину, лес. Район крепко работал на фронт. А кто глав-ный человек в районе? Он. Значит, он крепко работал на фронт. При нем в районе был полный порядок. Вышние на-чальники знали это. Пошлешь его на фронт, а вдруг в районе все разладится? Вдруг рыбы дадут меньше? Пушнины дадут меньше? Вдруг без него поднимут головы враги народа? Где найдешь более преданного и надежного?! Стоит ли рисковать?.. Голова у него была, умен был. Все слышал, все знал. Всюду у него были глаза и уши. Превосходно знал жизнь района. Превосходно знал самые незначительные пружинки, двигавшие дела партийные, советские и хозяйственные. Ничего не ска-жешь, ценный человек для района, незаменимый. Как же его на фронт пошлешь?! Как же без него быть?! Как жить, наконец?! Опять же вышестоящее начальство свое умел хорошо встретить, а еще лучше — проводить. От этого, видно, тоже кое-что за-висело. Умен был. Хитер был. Нюх тонкий был. Такого второго я в своей жизни не встречал. Видно, немного их в жизни. Немного их на нашей земле. Так, я полагаю. Верно ли я говорю?

— Наверное, немного их, — согласился Микуль.

— А на фронт-то?.. Кому умирать охота?! Поди, не дурак был!..

Действительно, кому охота умирать, если в тылу приволь-но жилось...

20

За вечер Демьян обошел многих родственников. Как он выражался, «чай пить заходил» — отдавал дань уважения Дому и его обитателям. Людей послушал, с друзьями потол-ковал, сам наговорился — об охоте, о своем житье-бытье рассказал. По древнему обычаю гостя без чая не отпускали. А пока чай пьешь — обо всем можно поговорить.

Ночевать же остановился в доме Курпелак Галактиона, в небольшой избушке на нижней окраине поселка. Вскоре после того, как почтовые дела перешли самолетам и вертолетам, и Галактион остался без оленей, он перебрался в поселок. Еще совсем недавно, когда и у него были олени, по первому снегу он ездил по борам и болотам — с собакой охотился на белок и глухарей. А зимой вместе с другими рыбаками ловил рыбу мордами и неводом: уперев конец костыля в пояс, он не хуже всякого орудовал пешней и саком*. Теперь для охотхозяйства он колот и строгал жильник**, плел морды, мастерил нарты и прочие деревянные поделки. Демьян чувствовал, как его душа, душа исконного охотника и рыбака, рвется в тайгу, рвется в светлое первозимье боров и болот, озер и проток, в живописный Ягурьях, где он родился и где прожил большую часть своей жизни. Быть может, он, безоленный, и не выехал бы со своей реки и как-нибудь с помощью сородичей наладил бы там дела, если бы не дети. Их четверо. За ними нужен глаз, их нужно растить и воспитывать. Старшие сыновья, как и Демьяновы, учились в школе-интернате у Корнеева-старика, а младшие дочери дома сидели, цеплялись за мамин подол, поскольку мама всегда рядом, никуда не отлучается — в поселке нет работы для женщин, особенно для полуграмотных, или совсем безграмотных жен охотников и рыбаков. Места уборщиц и посудомоек в школе и детском саду, в конторе промыслово-охотничьего хозяйства и в магазине, на почте и в медпункте давно заняты. После, когда закроют ферму серебристо-черных лисиц и голубых песцов, когда изведут небольшое стадо оставшихся от колхоза коров, женская половина поселка и вовсе останется ни с чем. Разве что по осени, в урожайные годы, станут спасать от вынужденного безделья кормилицабрусника и другие ягоды-грибы. Тогда и Аснэ, жена Курпелак Галактиона, отцепив дочерей от подола и препоручив их безногому отцу, с набирками-кузовками пустится по борам-болотам, чтобы в первую голову собрать ягоду на продажу, а после уже думать о припасах на долгую зиму...

Так и жил Курпелак Галактион со своей семьей в поселке, навсегда отлученный от родовый угодий в верховье Ягурьяха.

Демьян думал о нем с того мгновения, как возле бора-островка сыновья напомнили о преждевременно ушедшем человеке, об отце Курпелак Галактиона. И тонкая нить

* Сак — черпак из черемуховых прутьев для черпания льда.

** Жильник — сосновые планки, которые сплетаются для перегораживания реки.

памяти потянулась с тех времен в сегодняшний день. И тогда же, быть может, подспудно, еще не осознавая, Демьян решил заночевать у Галактиона в доме, хотя в поселке жили и более близкие родственники. Но те обойдутся без него — на двух ногах стоят. А вот безногий Галактион, должно быть, рад каждому охотнику, который приезжает с лесных угодий и приносит с собой суровый дух таежных троп и урманов, суровый дух родной земли...

Демьян без стука открыл дверь — ведь по древнему обычаю предков гость не стучится в дверь: он всегда желанный человек в доме и его приход никогда не бывает некстати. Тем более что о появлении гостя предупреждает собака особым «гостевым голосом» — беззлобным лаем. Поэтому в хантыйские дома поселка Демьян не стучался, так входил. Русские дома — другое дело. На толстых дверных обивках он обычно с трудом отыскивал какую-нибудь дощечку и деликатно скребся — из уважения к обычаям другого народа. Коль у них так принято — чего же не постучаться, рука не отвалится. Теперь же он отворил дверь Галактионова дома и, чтобы впустить меньше холода, быстро юркнул вместе с сыновьями в освещенный электролампочкой проем. У порога он отряхнул снег с кисов, затем со всеми поздоровался за руку и лишь после этого опустил на край самодельных нар, где лежала свернутая постель — старая оленья шкура, прикрытая саками и тряпьем.

Хозяин дома отложил аркан, за плетением которого его застали гости, кивнул хозяйке, мол, огонь надо оживить, люди с холода пришли. Но хозяйка Аснэ уже открыла дверцу железной печурки, ворохнула догоравшие головешки и ало мерцавшие угли, подложила дрова. Затем она поставила на печурку медный чайник времен Белого царя.

— Ехлы?* — спросил Галактион, сочувственно глянув на съжившихся Микуля и Ювана.

— Иттыйнамья ехлы нюл кыцанги их!** — ответил Демьян.

— Тэмия лув муртыл — тулэх яцыха их***, — как бы оправдывая морозы, сказал хозяин.

— Лувья лув муртыл****, — согласился Демьян.

Демьян взял аркан, что отложил хозяин, осмотрел, переложил с руки на руку, словно прикидывал, хорошо ли пойдет на оленя, спросил:

— Для кого плетешь?

— Да давно плести начал, для промхоза, — усмехнулся Галактион. — Теперь уж у промхоза оленей нет, некого ловить!..

* — Холодно?

** — К вечеру мороза клюв больше стал!

*** — Это-то его время — зиме середина пришла.

**** — Его-то его время.

— Ну, хорошая вещь хозяина найдет, — в раздумье проговорил Демьян. — У людей еще две-три головы остались, их чем-то ловить надо...

— Да, поди-ка, кто-нибудь возьмет, — сказал хозяин. — Враз все головы не кончатся...

Они перекинулись еще несколькими ничего не значащими словами, затем хозяин поднялся и, погромохивая набалдашником костыля по гулким половицам, вышел на улицу. Пока мужа не было, Аснэ, гремя посудой возле печурки, расспрашивала Демьяна об Анисье, о домашних детях, о других «женских» новостях.

Вскоре вернулся хозяин вместе с облаком морозного пара: с «деревянной ногой» не очень-то развернешься в дверях.

— Смотреть ходил, — сообщил он с улыбкой. — И вправду мороза клюв крепким стал!

— Мороз только тебя и не видел! — усмехнулась Аснэ, как следует прихлопнув дверь. Вон сколько холода впустил!

— Я ему и показался, морозу-старiku! — засмеялся муж.

Он остановился возле жены, у глухо гудевшей печурки, протянул к огню раскрытые ладони. Он был почти на полголовы выше жены и своей макушкой чуть не задевал матицу потолка. И сейчас, глядя на этих рослых, крепких людей — на Аснэ и Галактиона, — Демьян подумал, что вот жить бы им и радоваться жизни, растить детей. Так нет же, судьба распорядилась по-иному. Вначале-то все хорошо было. Рос Галактион здоровым и жизнерадостным мальчишкой, играл, носился со своими сверстниками, встал на свои две ноги. Оленей пас, на охоту начал ходить. И тут в семнадцать ли, в восемнадцать лет свалила его неожиданно неведомая болезнь. Жестокая болезнь. Наступил день — и он потерял сознание, и омертвело тело. Как потом рассказывали, «заячьей шерстью его дыхание защищали» — ко рту подносили трепетно-невесомые шерстинки, по едва заметному колебанию которых узнавали, что «дыхание в нем еще есть», что он еще жив, хотя давно похолодели руки-ноги, похолодело все тело. Ждали неминуемого конца. Но он одолел болезнь и выжил. Вернулся с того света, из Нижнего мира. Только правую ногу свело в коленном суставе, так и торчит омертвевшим сучком. С тех пор не выпускает из рук самодельный костыль...

Мудры старинные люди, размышлял Демьян о Степане-старике, отце Галактиона. В дальних землях, на самой Оби, среди многих девушек незнакомого сира он нашел и сосватал для сына именно такую, которая не побоялась народить детей безногому мужу и поддерживать огонь в его очаге. Должно быть, вдвое-втрое труднее участь хранительницы очага в доме, где хозяин на одной ноге...

Между тем Аснэ налили гостям чай и сказала нараспев:

— Чай пейте, гости!

Юван и Микуль нажимали на единственное кушанье — хлеб с сахаром. Посреди стола находилась тарелочка с сахаром-песком, куда «макали» кусок хлеба. Демьян же больше обрадовался чаю. Внутренняя жажда-боль все не проходила, и теперь он с надеждой на облегчение накинудся на крепкий напиток охотничьего сира. Чай наливал на блюдце осторожно, не спеша, чтобы ни одна капля не упала на соскобленный до желтизны стол. И пил тоже медленно, степенно, поддерживая неторопливый разговор с хозяевами Дома. Как он и полагал, хозяйина интересовала лесная жизнь, лесные новости. И он подробно рассказывал, где какого зверя добыл, где напал на его след, сколько дней гонялся за ним, где нагонял его и где упускал. Какая при этом была погода, с какой стороны дул ветер, с какой силой дул и когда перестал. Если преследуешь чуткую лису, то ветер играет большую роль. Особенно «шум треснувшей ветки приглушающий ветерок». Без такого ветерка, считай, удачи не видать.

Демьян называл поименно реки и речушки, боры и болота, озера и урманы, поскольку хозяин, будучи почтовым человеком, хорошо изучил многие земли-воды по главной Реке. Если он что-то не знал в глубине урманов и болот и переспрашивал, то Демьян объяснял, на каком притоке той или иной реки, возле какого озера или болота.

После гостей хозяева попили вечерний чай. Затем Аснэ убрала посуду и уложила спать дочерей Нину и Аринэ, а сама взялась за шитье. Шила кому-то малицу.

— Ну, у нас до лесной жизни только сердце ноет, — сказала она, низко наклонившись над шитьем. — Все там под рукой — черемуха-брусника, вода-дрова, рыба-зверь...

Муж Галактион толоч в ступке «поджаренную» махорку вперемешку с пеплом трутовика, готовил себе табак. Он оторвал глаза от ступки и, взглянув на жену, сухо прервал ее:

— А, напрасно!.. Нечего об этом!..

Жена будто не слышала его, продолжала грустно:

— В первые годы, как в поселок переехали, так хоть на охоту ездил. Осенью на белок, весной на уток. А теперь совсем охотиться перестал. Оленей нету — так куда без оленей?!

— Тут хоть сыны по хозяйству помогают, — вставил слово муж. — После уроков прибегают.

— Верно, хоть дети под рукой, — согласилась жена. — Старший-то, Иван-то, поди, не доучится в школе. Тяжело без него в доме-то. И отец наш теперь без оленей при одной своей ноге остался...

— Ладно, хватит, — махнул рукой Галактион и перевел разговор на другое — гостей надо послушать.

И снова ожила неторопливая беседа о лесной жизни. Но Демьян не забывал при этом и о поселковой жизни: к месту вставлял вопросы, о людях расспрашивал. Ведь он поедет домой и все встречные будут у него спрашивать: «Как там в поселке народ поживает? Кто родился, кто помер? Нет ли тяжелоболеющих?»

Между тем время пролетело незаметно. Трижды мигнула лампочка под потолком. Это сигнал солидно именуемой «станции»: скоро одиннадцать — и дизель заглохнет до утра. Ночью поселок в полной темноте дремлет.

— А-а, вечер далеко ушел, — сказал Галактион, глянув на лампочку. — Станция спать хочет. Лампу можно разыскать... Где-то у нас керосиновая лампа была.

— Лампа-то есть, только керосина нет. На улице надо искать, — подала голос Аснэ.

— Да нам тоже пора спать, — сказал Демьян. — Завтра много дел. Домой надо спешить. Меня там гости ждут — искатели горючей воды...

— От таких гостей надо подальше держаться, — заметил Галактион. — Слышал я о них кое-что. Подальше надо.

— Деваться-то некуда, — усмехнулся Демьян. — На одной земле живем.

— На одной... — согласился Галактион. — Это верно.

— Как-нибудь поладим. Ведь люди они, человеки...

— Н-да, человеки-то человеки... — неопределенно протянул Курпелак Галактион, проведя ладонью по гладкой рукоятке костыля. — Н-да, все вроде бы правильно...

На этом разговор приостановился. Хозяева принялись сооружать постель для гостей, Демьян помогал им. Постелили на полу шкуру и старые телогрейки, вместо подушек какие-то мешочки с рукодельем и тряпьем. Лежанка получилась вполне приличная, решил Демьян. В доме, не под небом.

Он уложил сыновей — старшего с краю, младшего в серединку, чтобы не замерз, — накрыл их пальтишками, а сверху малицей. По словам хозяев, ночью, когда печурка прогорает, в избушке бывает довольно холодно. В интернате, конечно, теплее. Там в каждой комнате большая печь из красного кирпича. Да разве согреешь детей только печным теплом?! Еще засветло сбегали в интернат, отпросились на ночевку к отцу. Соскучились. И отец тоже соскучился. Что там скрывать.

Погасла лампочка под низким потолком. Но темнота не мешала разговору, что вели между собой гость и хозяин. Просто голоса стали тише, чтобы не мешать спавшим.

После, когда нить разговора ослабла и Демьян по-

чувствовал возвращающуюся к нему утреннюю жажду-боль, которая притуплялась и утихала во время беседы с людьми, он попросил хозяина:

— Может, какую сказку найдешь? Зимняя ночь длинная...

— Сказку? — тотчас же откликнулся Курпелак Галактион. — Это можно. Коль они есть — не жалко, цены на нее нет...

Как всякий хороший сказочник, у которого немалый запас в голове, он немного помолчал: перебирал в памяти сказки — какую рассказать. И, выбрав сказку, по обыкновению спросил, слышал ли кто эту сказку. Получив отрицательный ответ, он опять помолчал в раздумье, затем, прочищая горло, кашлянул раза два-три и каким-то особенным «сказочным голосом» — мягким и певучим — взял первое слово сказки.

Дом затих.

Дом слушал сказку.

За стенами потрескивал мороз. На дальних дворах изредка взлаивали собаки. Да вскрикивали, разрывая темноту ночи, черно-бурые лисы на верхней окраине села. Затем снова все замирало и погружалось во тьму.

Селение слушало сказку.

И Микуль с Юваном слушали сказку. Но они не дослушали до конца. На середине сказки их одолел сон. И после, два десятилетия спустя, когда Микуль придет в поселок, он вспомнит про сказочника селения Курпелак Галактиона и, прихватив магнитофон, отправится на его поиски. Шагая по поселку, он пожалеет, что раньше не разыскал старика. Все некогда было. Поездки в эти места всегда привязывались к Нефтереченску, что в двенадцати километрах отсюда. Всех интересовали только «первопроходцы», «первооткрыватели», «первостроители», неисчислимые богатства недр земли. Предпочтение отдавалось лишь работам с привкусом нефти и газа.

В верхнем конце селения Микуль увидит в темноте большой барак, отыщет нужную дверь, постучится. Ему откроют — и в уши ударит стон половиц. Он войдет, поздоровается. Помолчит, потом поговорит о том о сем. И, наконец, спросит хозяина:

«Помнится, старый человек, у тебя много сказок было...»

«Какие там сказки... — вздохнет Курпелак Галактион, заерзав на краешке железной койки, придвинет к себе деревянный костыль, сведет на рукоятке побелевшие пальцы, глухо пояснит: — Ум мой опустошился, слова мои кончились. Какие там сказки... в этот страданий век...»

Одноногий хозяин снова тяжело вздохнет:

«Люди мои кончились — совсем разума лишился. Какие там сказки...»

«Как кончились?!» — невольно вырвется у Микуля.

А люди его уходили один за другим. И начали уходить в первые же дни Безумного Времени — Времени Нефти, Времени Газа, Времени дурной воды — водки.

Первым ушел старший сын Иван. Школу не закончил — работать начал в ПОХе. В середине лета утонул. На моторе ехал. Дурная вода взяла — водка. Милый Торым, хоть сирот не оставил, только вдову. Старший он и есть старший — кормильцем был, надеждой был. Его силой жили. Не стало кормильца, не стало надежды. Ничего не стало.

И Микуль вспомнит, как в школе малыши льнули к нему, к Ивану. Он охотно играл с ними в «Пастухов и оленей», в «Охотников», в «Зимнюю почту». И Микуля, когда его привезли в интернат, взял он под свою опеку. И тот вместе с другими мальчишками бегал за неистощимым на всякие выдумки и забавы кумиром, на добродушно-озорном лице которого всегда светились веселые веснушки — словно кто-то щедрой горстью осыпал его. И эту горсть веснушек преждевременно взяла дурная вода...

Жена Аснэ ушла в середине зимы. На улице свалилась. Только утром хватились — все в доме были без ума. От дурной воды. Хранительница очага ушла. Матерь детей ушла.

Так в доме огонь очага погас.

Помнится, когда после занятий Микуль с ее сыновьями приходил к ним, она обычно подтрунивала над мальчиком. Мол, возьми меня в свахи: самую умную и работающую невесту тебе сосватаю — бабушку Анну. Вон какая проворная да быстрая, в поселке, мол, нет лучше невесты!.. Ух, а этой невесте-то, наверное, все сто лет! Самая древняя бабушка поселка. Голова белая, как первый снег. А лицо с множеством линий и складок напоминает «портрет Земли» на школьной карте. Такая вот невеста!.. Микуль краснел, бледнел, но молчал. Позже он узнал, что всем малым детям выбирают таких «невест» и «женихов» с белыми головами и посохами, чтобы они прожили такую же долгую жизнь, как и эти бабушки-невесты и дедушки-женихи.

«В те годы еще помнили об обычаях и приметах своего народа», — подумает Микуль.

После Аснэ ушла невестка, жена младшего сына Енко. Ее тоже взяла дурная вода на реке. Мальчонку сиротой оставила.

Енко привез ее с соседней Реки. И Микуль ни разу не видел ее. Как-то, будучи здесь проездом, слышал, что она собирает экспонаты прикладного искусства ханты на ВДНХ, к какому-то юбилею или празднику. То-то была новость для жителей Реки! Оказывается, орнаменты, одежда из меха и ровдуги*, кузовки из бересты и корня, резьба по дереву и кости представляют интерес для самой Москвы!.. Она заведовала клубом. И сама, возможно, была искусной рукодельницей и мастерицей.

Через год-другой и мальчонки-внука не стало. Его убила машина на дороге между Нефтереченском и поселком. Из школы на выходные ехал. В поселке-то школы до сих пор нет.

Автобус свалился в кювет, на бок. В нем остался лишь мальчонка, внук Курпелак Галактиона. Его правую руку прищемило бортом, и он, насмерть перепуганный, тихо постанывал. «Сейчас вытащим, — сказали ему хозяева, ехавшие навеселе милиционеры и водитель, — потерпи немного». Тросом зацепили автобус — встречная машина приподняла его. Но тут конец троса сорвался — мальчонка вывалился в окно и попал под автобус. После отец Енко потребовал расследования дела. Его гоняли из одной инстанции в другую, из другой — в третью. Так прошли месяцы, годы. Так он и не нашел концов. Никто не заинтересовался, что же произошло на машинной дороге и кто за это должен держать ответ.

И Енко запил. Крепко запил. И управляющий отделением госпромхоза выгнал его с работы.

К этому времени старшая из дочерей, Нина, закончила школу, но работу в поселке не нашла. Уехала, а потом в дом отца вернулась с дочкой-малюткой. Тогда матери-одиночке выхлопотали место сторожихи на электростанции. А через год прямо в поселке, недалеко от дома, на нее наехал развеселый водитель грузовика из Нефтереченска, и увезли ее в город. После пришла бумага: Старшая не может ходить — неизлечимо поврежден позвоночник. Из больницы отвезли ее в дом инвалидов. «Человека нет», — поняли люди. Многие посочувствовали горю Безногого Галактиона, а вскоре позабыли о нем, ибо каждую семью зацепило

* Ровдуга — замша из оленьей или лосиной шкуры.

что-то подобное. А своя и небольшая боль оттесняет чужую.

Средняя Аринэ нянчила дочку покалеченной сестры. И остались они втроем в старом бараке. Хозяин начал считать дни до своей двадцатишестирублевой, как он называет, «пенсии за ногу». Точнее — пособия. На пенсию же не оформляют — не хватает стажа работы, объясняют ему. Правда, добрые люди, хорошо знающие русский язык и грамоту, обещают выхлопотать для внуки на жизнь какие-то деньги. Но там требуется много всяких бумаг-справок, а «машина, делающая эти бумаги», медленно разворачивается. Чего уж там — за тяжкую жизнь его приучили ждать... Он заставлял себя жить ожиданием, но веры не было. Ни во что. Ни в кого. И в эти дни безверия постучится к нему Микуль и спросил о сказке. И он ответит:

«Голова моя кончилась... Люди мои кончились...»

И, быть может, пожалеет, что много лет назад Коска Малый не дал Кровавому Глазу пристрелить его, Галактиона, на ягурьяхском льду. Тогда бы он ничего не знал о своих близких — кто утонул, кто замерз, кто машиной раздавлен...

Микуль, обводя взглядом жилье старика, вспомнит разговор с водителем вахтовки, на которой из нефтереченского аэропорта добирался до родной деревушки.

«Давно на Севере?» — поинтересовался Микуль.

«Три года», — ответил водитель.

«Нравится?»

«Ничего, жить можно...»

«Не собираетесь уезжать?»

«Не знаю... Может, уеду. В январе срок договора истекает...»

«Что так быстро?»

«Там, — водитель кивнул в сторону запада. — Там я уже дом построил. Дом, машина...»

«Сколько выходит в месяц?»

«Шестьсот пятьдесят — семьсот».

«Мало? Много?»

Водитель хмыкнул, с удивлением взглянул на пассажира, пояснил:

«Раньше, когда приехал, зарабатывал до тысячи двухсот рублей в месяц»*.

Помолчал немного, потом добавил:

«Теперь не то...»

«Не то!..» — согласился Микуль и замолк.

Он знал, что коренному жителю без специальности, чтобы заработать эту тысячу, понадобится год или два.

* Разговор состоялся 17 августа 1984 года в Нижневарттовском районе.

А некоторым и того больше. Под напором геологов и нефтяников поселок постепенно придет в упадок. Сначала хозяйство лишится трех оленьих стад, затем коров и лошадей. Без удобрений зачахнет овощеводство. По причине загрязнения рек-озер и неразумной вырубki лесов пойдут на убыль зверь и рыба. Это вынудит закрыть ферму черно-бурых лисиц и голубых песцов.

И все женщины поселка останутся без работы*.

Закроется аэроплощадка для самолетов, а пассажирские суда начнут ездить только до Нефтереченска.

Геологи переведут к себе школу-интернат. И поселок охотников-рыбаков с приписанным населением в 481 человек — 317 хантов, 129 ненцев, школьников — 131, дошкольников — 60 — останется без школы-интерната**. Жители начнут стучаться во многие инстанции, но — все тщетно.

Тут все взаимосвязано. Одна потеря вызовет другую, другая — третью, третья — четвертую... И так пойдет по цепочке. Живи как хочешь...

Все это припомнится Микулю в старом бараке, когда услышит стон половиц под косяком бывшего сказочника и бывшего почтового человека Сардакова Галактиона.

Все это будет позже, спустя двадцать лет, когда по соседству, в двенадцати километрах вниз по реке, вырастет Нефтереченск и геологи и нефтяники широким фронтом пойдут на Север, по нескольку раз прощупывая каждую пядь таежной земли...

...Сейчас же Курпелак Галактион вел сказку. Вел не спеша, со знанием своего дела. С паузами, с остановками. С обращением к слушателям. Демьян, как и полагается, вставлял слова «так-так», «вот-вот», «так говори», «ух, ты!». Переспрашивал, уточнял детали. А Микуль заснул с мучительным желанием дослушать сказку и записать ее, чтобы и другие могли войти в удивительный мир сказочника Галактиона.

Хозяин неторопливо вел сказку. А сказка вела за собой людей. И казалось, двигалась избушка, за ней — все селение, а за селением — вся Река. А в голове этого аргиша — сказочник, Степана-старика безногий сын Галактион.

За стенами все сильнее потрескивал мороз.

А сказка согревала. Сказка была о трудной любви со счастливым концом. И под впечатлением сказки у Демьяна живо всплыло воспоминание, ощутил то состояние

* На 1 июня 1983 года по Н-скому району на каждого трудоспособного коренного жителя приходилось в среднем по 26 рублей в месяц.

** По данным на 1 января 1983 года.

счастья, которое испытал в те мгновения, когда был рядом с изумительно волнующей девушкой Мариной...

21

Шел дождь. И так же ровно и неспешно, как и мелко сеющий дождь, струился их говор.

— В лесу-то, наверное, скучно? — спросила девушка.

— Жизнь-то? — уточнил Демьян.

— И жизнь, и вообще...

— Не-ет, в поселке скучнее, в поселке хуже. Все так считают, кто на угодиях в своих селениях живет.

— Отчего так?..

— Там некогда скучать. Там все время что-то надо делать для жизни. А если не станешь делать, так в лесу никак не проживешь.

— Так много работы?

— Может, не работы, а дел. Много дел.

— Какие же это дела?

— А все разные дела. Весенние, например. Потом — летние. Осенние. Зимние. У каждого времени свои дела...

Ну, охота-рыбалка и выпас оленей — это само собой, — сказал Демьян после паузы. — Это почти круглый год. Что еще?.. Весной обласа и лодки делают. Для лета. В то же время охота на гусей и уток. Летом рыбалка. Глину для чувалов и печей запасают. Бересту и корень кедра заготавливают. Берестой крыши кроют, а корень — для плетения. На разные инструменты делают заготовки из кедра, сосны, елки, березы, черемухи. Почти все породы деревьев нужны. Под осень люди за нарты принимаются, морды и жильники плетут. Места для зимних запоров на речушках от коряг и водорослей очищают. После, когда комар пойдет на убыль, новые дома и амбары начинают строить или старые подновляют. А зима наступит — там и вовсе некогда вздохнуть. Дни короткие — самое время охоты. Затемно выходишь из дома, а обратно поворачиваешь, когда мушку ружья «теряешь». Уже в темноте домой идешь... Это дела мужские. Но у женщины не меньше дел, чем у мужчины. Может быть, и больше. На ней — весь дом, вся одежда и обувь, да еще дети. Про дом, где не стало женщины-хозяйки, скажут: «Очага огонь погас». Недаром, видно, так говорят. Все в доме на женщине держится. Много дел у людей, живущих в своих лесных селениях. Есть еще дела утренние, дневные, вечерние, — закончил Демьян свой рассказ. — Нет времени на скуку.

— А в поселке чем хуже? Ведь жизнь легче, меньше забот...

— Нет, в больших поселках и горфдах наш народ еще не научился жить.

— Не научился жить?! Разве умение нужно?..

— Конечно. В лесу, в своем селении человек каждый день что-то делает. У него дело есть. А в поселке этого дела не будет. Отработает на работе, придет домой, а делать нечего.

— Вот и хорошо: свободного времени больше, для отдыха.

— Э-э, нельзя ему в поселке свободное время давать, — уверенно сказал Демьян, прислушиваясь к шуму дождя. — Не привык наш народ ничего не делать...

— Почему же нельзя?

— Если ему нечего делать — он вино и водку пить начинает. Магазин рядом — всегда есть водка и вино. Начинает пить, а потом совсем пропадает... Если ему не на что купить, так он идет в дом, где пьют, — к соседу, к родственнику, к кому угодно. Всегда нальют — так принято.

— Откуда это знаешь?

— Вижу. Поселок-то небольшой — мы все друг друга хорошо видим. Всем известно, кто как живет.

— Но ведь они и в поселке могут что-то делать? В свободное время...

— А что делать? Нарты и обласка там не нужны. Морды и другие снасти — тоже не надобны.

— На рыбалку и охоту могут ходить?

— А куда? Угодий-то рядом нет. Если после работы — так близко все должно быть... И потом — те, кто долго в поселке живет, охотничьи навыки и сноровку утрачивают. Интерес к лесу и к лесным промыслам у них пропадает...

— Да... — задумчиво протянула девушка.

А дождь все накрапывал. И они помолчали, в раздумье прислушиваясь к тихому говору неба.

— А праздники какие отмечают? — спросила девушка. — Скажем, вот Новый год...

— Новый год в лесу не празднуют, — сказал Демьян. — По-моему, неправильным праздником считается.

— Почему неправильный? — удивилась девушка.

— Вот сказать: в поселке во всех домах в праздник елки стоят?

— Наверное. Почти во всех.

— И в городе — тоже?

— И в городах.

— И везде — елки Нового года?

— Елки...

— А теперь подумать: по всей земле надо ли ради одного дня столько живых деревьев убивать, а?! Надо ли?!

— Да... — неопределенно протянула девушка. — Подумать нужно...

— Люди считают: не надо! — сказал Демьян. — Думаю, они правы. Как-то после Новогоднего праздника в поселок приехал. Почти возле каждого дома елки валяются. Обломанные, с осыпавшейся хвоей, как скелеты. Мертвые... Тогда и подумал: может, ни к чему столько деревьев губить ради одного-то дня?!

— Но ведь праздник надо как-то украсить?

— Надо, конечно. Но разумно нужно делать. Вот у нас у каждого рода имеются в лесу Священные Деревья. Это на Священных Борах, на Священных Холмах. Люди приходят туда, разными тканями и шкурами зверей украшают их. Дерево не погибает. Дерево много-много лет живет.

— Но это же религиозный праздник, поклонение богу!

— Поклонение? Это как посмотреть, каким словом все называть... — проговорил Демьян. — Обряды-то одинаковые. Старики наши как рассуждают: у вас — елка, у нас — Священное Дерево. Вы — наряжаете, мы — тоже. Вы желаете счастья, здоровья, веселья, мы тоже просим здоровья и удачи. Одинаково все получается, лишь разными словами праздник называем. Если бог есть, то он и вашу елку, и наше Священное Дерево видит. А если нет его, то он ни то ни другое не может видеть. Так? Одна только разница есть: вы поклоняетесь мертвой, срубленной елке, а мы — живому дереву. Живому человеку все-таки ближе живое дерево, нежели мертвое. Вот старики и говорят: после вашего поклонения дерево погибает бессмысленно, а после нашего поклонения продолжает жить. Жизнь в нем живет. Разумно? Правы они?

— Много еще неразумного в нашей жизни, — сказала девушка. — И каждый, наверное, по-своему прав.

Костер прогорел. Демьян встал, подбросил дрова. Мокрые ветви зашипели на углях и густо задымили. Комарам не по нутру, подумал он. Хороший дым.

— А день рождения отмечают? — спросила девушка.

— Только детям. До трех-четырех лет. Кто до пяти-шести.

— А потом?

— Потом напрочь забывают про день рождения.

— А возраст как узнавали?

— Есть несколько способов. Например, считали, сколько лет прошло с того или иного события. Много таких событий происходило, которые вся Река помнит. Скажем, Год Большой Воды, Год Появления Красных, Год Лесных Пожаров и так далее. Выясняли, в какой Год человек родился. Другой способ — это сравнение. На сколько лет один моложе или старше другого. Вот так и узнавали настоящий возраст человека.

— А взрослым почему же не отмечали?

— Наверное, неделикатно каждый год напоминать человеку, что он все ближе к старости, ближе к концу жизни. Какой же это праздник? Особенно для пожилых.

— В этом есть резон, — улыбнулась девушка. — Остановиться на восемнадцати-двадцати, а дальше — вечная молодость!.. Не надо ничего считать.

— Так, — кивнул Демьян. — Зачем считать?

— Получается, что праздников совсем немного было?

— Нет-нет. В старину, рассказывают, много было. Сейчас с каждым годом все меньше и меньше.

— Какие еще праздники были у твоего народа?

— Самый большой и веселый — это Пляска Медведя. В нашем селении часто Медведя плясали, Медведь у нас частым гостем был. Мой отец низводил. Потом дядя Василь, мой крестный Ефрем-старец и многие мои родные и родовые братья...

— А кто главный на празднике — шаман, наверное?!

— Шаман — придумают тоже! — фыркнул Демьян. — У шамана совсем другие дела. Если он не знает песни-мифы, здесь ему делать нечего. Может, конечно, быть тут как все, как гость.

— Кто же главный?

— Главный человек Пляски Медведя — это певец.

— А много их, певцов-то?

— Петь-то все поют, да не всякая песня годится для Пляски Медведя. Тут нужны специальные мифы. Каждый со своим мотивом-напевом. Особым мифическим голосом поются. Есть и певцы такие. Большие певцы... И в нашем роду есть певцы. Это Ефим Андреевич, мой родовой брат. Все его Седым кличут. Певец. И отец его, Андрей-старик, тоже певец. Я видел их на празднике, в детстве еще. Два-три дня могут подряд петь — и все не кончаются у них мифы. Мы уже проехали их селение. Ниже от них по течению Иван Петрович живет. Гордая Трубка — так его вся Река зовет. Вечно с трубкой — что бы ни делал. Мой родовой дядя. Также большой певец. И вовсе они не шаманы. Это я точно знаю. А в нашем селении мой крестный Ефрем-старец поет. Также все мифы Медвежьего празднества знает. В следующем селении Лейков Иосиф живет — тоже из нашего рода, хотя фамилии у нас разные. На правом берегу будет длинный песчаный яр, на яру том ягель да сосны. Хороший такой бор. Там у них Весенне-Осеннее Селение и оленник. А напротив, через реку, широкий и белый-белый песок — на нем их Летнее Селение. Просторный деревянный дом с тесовой кровлей смотрит на реку. Никак мимо не проедешь — там, наверное, чай попьем, все увидим. Так вот Лейков Иосиф тоже певец.

Как у нас говорят, «горло у него очень хорошее». Запоет — уснуть можно. Другого певца с таким голосом ни разу не видел. Выходит, он — один на всю Реку. Дальше, чуть ниже устья Вать-Егана, правого притока Реки, селение братьев Епи да Кочп-ики. Также певцы и мои сородичи.

— Выходит, что всю Реку занимает наш род? Что-то много сородичей! — удивилась девушка. — Всю реку захватили...

— Мы не захватывали, а жили тут, — сказал Демьян. — И не на всей Реке, а только на Среднем течении.

Он помолчал немного, а потом согласился, что его род и вправду, пожалуй, самый многочисленный на Реке. Делится на две большие ветви — это «болотные люди» и «речные люди». Его селение относится к болотной ветви, а остальные — к речной. Это все те, кто в старину жил на устье Вать-Егана. Их тут и зовут — «Усть-Вать-Еганские люди». Они больше занимались рыбной ловлей, а болотные — оленями.

— А певцы у каждого рода есть, — размышлял Демьян. — Дальше вниз по реке селение Мохтик-Еганских людей. Сир Лося. Живет там большой певец Покачев Григорий-старик. Один Медведя может плясать — столько мифов в его голове... А о многих знаменитых певцах только память осталась. По словам людей, одним из таких чудных певцов был Нёрм-ики, отец почтового человека Галактиона. Его русское имя было Степан-старик. Немногие из молодых слышали его песни — он преждевременно землю оставил...

После Демьян вспомнил про сруб, куда собирают все медвежьи кости. Все. До единой. Сруб сооружают из бревнышек чуть выше человеческого роста от земли, чтобы не добрались хвостатые и другие звери. Верх закрывают накатом из бревнышек. На них после праздника укладывают «вещи Медведя» — куженьки, реечки «Его дома», маски, посошки и так далее. Стоит сруб на одной или двух ножках. Обычно для этого выбирают крепкое дерево и ствол спиливают на нужной высоте. Ладно все делают.

— Я много слышала про праздник Медведя, — сказала девушка. — Но ни разу не видела, Как все проходит?

— Э-э, да словами невозможно сказать, — проговорил Демьян. — Это самому надо увидеть и услышать. Хоть раз в жизни. А словами все можно испортить, не так сказать.

— А все же?.. — настаивала девушка. — Интересно ведь!..

Демьян поправил костер, потом, выпрямившись, оглядел низкое хмурое небо и, словно убедившись, что дождь кончится не скоро и спешить некуда, начал рассказ о Пляске Медведя. Обряд начинается с того мгновения, как только зверя низвели. С того, как ему «расстегивают» пуговицы на шубе, как «снимают» шубу. Потом его везут в селение. Подъезжая к домам, останавливаются и делают

пять выстрелов. Если это Она — четыре выстрела. Это предупреждают жителей, чтобы они подготовились к встрече Чернолицего Гостя, чтобы быстро обувались. Ни в коем случае нельзя показывать ему голые ноги. Привезли. Встречать на пристань выходит все селение. Здравуются с ним, целуют его в нос. Потом кого-нибудь могут обрызгать или облить водой. Кто-то с кем-то поборется, силой померяется. Это чтобы повеселить Его, поразвлечь. Потом, когда охотники отдохнут и приготовят берестяные маски, посошки, зарубочный прямоугольный брусок из кедра, реечки для медвежьего «дома», Его вводят в дом хозяина-охотника. Не через дверь, а через потолочное отверстие. Это считается самым чистым входом. Все должно быть очень чисто. Его приветствуют троекратным криком: «Човьё-човьё!» Что это означает? Нет перевода. Наверное, какое-то древнее заклинание. Установили Его. Что именно? Голова, передние лапы, а позади в кузеньке, прикрытой шкурой и одеждами, сердце, позвоночник и другие основные части. Все это называется иносказательно, другими словами. Если не знаешь этого языка, ничего не поймешь. Скажем, рядом с Его именем нельзя ставить слово «собака», чтобы не унижить Его достоинство, поэтому о ней скажут «хвостатая». Потом Ему дом делают. Вдоль левого и правого бока втыкают в нары по пять реечек, в них горизонтально вплетают еще по пять реечек. Получаются стенки с крупными ячейками. Дом готов. Если Она — тогда берется по четыре реечки на каждую сторону. Возле правой лапы ореховое дерево ставится — небольшой кедрик высотой до пояса взрослого человека, чуть выше стенок Его дома. На ствол кедрика привязывают один конец тесьмы, на которой колокольчик для сопровождения песен. Спереди, вплотную к кончику носа, острием вверх втыкается палочка, напоминающая наколечник стрелы. Справа «печь» и «кочерга» — из дерева. Тут же огниво и кремь. Это уже настоящие. «Расческа» деревянная. На «звезды», или глаза, накладывают две большие пуговицы из серебристого металла. Они светятся — будто Он смотрит и все видит. Их тут же накрывают кепкой. Если Она — краем платка, а лапы украшают кольцами, бусами и цепочками. Говорят Она любит красивые наряды. Перед Ним столик ставят. На столике кружка с чаем и три небольшие кузеньки с едой. У кузенок все четыре угла согнуты и пришиты в одну сторону, вправо, «по солнцу».

Его ввели в дом. Установили. И тут начинается главная часть праздника. Лучший певец, обычно старец, человек уважаемый, Медведя будит — подыгрывая себе колокольчиком, исполняет миф «Къингем-Еингем». На голову надевает берестяную маску, на колени кладет посошок.

Миф длинный — поется минут сорок. К концу, когда певец дойдет до слов «левую звезду открой, правую звезду открой», кепка отодвигается — Он проснулся. Хозяин-охотник огнем и кремнем стучит — огонь в печи разводит, кочергой поправляет угли. Все это будто Он сам делает, то есть Медведь. Потом хозяин-охотник Его деревянной расческой причесывает Ему голову и лапы, прихорашивает Его. После этого все здороваются с Ним — целуют Его в нос или в лапы. Маленьких детей подносят на руках. Теперь хозяин берет чашку с водой и по солнцу делает три круга по дому, со словами «човьё-човьё» брызгает воду на стены и людей. Остаток воды он выливает на какого-нибудь молодого охотника. И они тут же начинают бороться. Если хозяин победит, его тотчас же должен схватить другой соперник. Коли этот не справится, в борьбу вступает третий. Считается, что хозяина обязательно нужно одолеть. Старики обычно говорят, ободряя борцов: «Хозяина рядом с его Медведем положите!» В конце концов без передышки хозяин устает, и кто-нибудь кладет его на лопатки. Тут начинаются разные игры и шутки. Могут неожиданно облить или обрызгать водой. При этом нельзя обижаться или ругаться. Такие неожиданности допускаются между теми, у кого «шутливые», что ли, отношения: между свояками и свояченицами, между снохами и деверьями, младшими братьями мужа. А между теми, кто соблюдает обряд избегания, шутки недопустимы даже на Пляске Медведя. Кто именно? Это между свекром и невестками, между тещей и зятьями, между снохами и старшими братьями мужа, между тестем и зятьями. Тут все должно быть в рамках приличия. Поиграли, пошутили, повеселили Медведя. В дом входит певец в берестяной маске, в рукавицах, с посошком в руках. Здоровается: «Пэча-Пэча!» Потом спрашивает:

«Что за дом? Куда вы собрались, люди?»

Ему отвечают:

«Это Медведя дом. Мы сюда съехались-собрались».

«А-а, Медведя дом, так скажите. В такой, оказывается, дом я пришел».

«Может быть, у тебя есть мифы-песни?» — спрашивают его.

«А-а, немного у меня есть, — отвечает он. — Что, они вам нужны?»

«Да-да, — говорят ему. — Может быть, какой миф вспомнишь?»

«Что же, если нужны мифы-песни, вспомнил тут один, начну».

И он становится или садится перед Медведем, еще раз здоровается «пэча-пэча» и начинает петь. При этом водит головой в маске влево и вправо, словно неспешно

оглядывая дом, посылает песню в разные стороны, в дальние дали, каждому человеку. Все сидят, внимательно слушают. Когда песня кончается, певец говорит: «Шен тоты нгенты». Что означают эти слова?.. Нет перевода. Видно, тоже очень древние слова. Наверное, о том, что песня закончена, песня исполнена. Каждый миф начинается словами «пэча-пэча» и завершается «шен тоты нгенты». После этого исполняются еще два обязательных мифа, а потом пойдут разные коротенькие мифы-песни, танцы и сценки. Кто во что горазд. Могут и дети спеть, станцевать, разыграть сценку. Тут и борьба, и игры, и шутки. Обычно высмеивают жадность, лень, трусость и другие пороки людей. Иногда присутствующих задевают. Сердиться нельзя — все это как бы от имени Медведя делается. Не станешь же обиду на Медведя держать?..

Все это продолжается до тех пор, пока не устанут певцы. Теперь нужен перерыв. Один из певцов усыпляет Медведя — с колокольчиком исполняет «Кьингем-Еингем». На словах «левую звезду закрой, правую звезду закрой», Ему на глаза надвигается кепка — Он уснул. Закончился первый условный день Пляски Медведя. Певцы отдыхают — чай пьют, трубки раскуривают, своими мелкими делами занимаются.

На первых двух вертикальных реечках Его дома откалывается кусок между двумя зарубками сверху. Так «снимают» прошедший день. Справа от Него обычно лежит «зарубочный брусок». На четырех ребрах бруска зарубками отмечается каждый номер праздника, а на четырех гранях вырезаются разные интересные предметы — луки, стрелы, орнаменты, наконечники стрел, а также непонятные и таинственные линии и знаки. Каждые четыре десятка отделяются от следующих нарезками по плоскостям бруска. Для того, наверное, чтобы удобнее было считать мифы-песни.

Еду, что была у Медведя, убирают и съедают. Обычно дети любят пищу с Медвежьего стола. Удачу, что ли, приносит. На второй день ставят свежий чай и другую еду.

Когда все отдохнут, певец с колокольчиком будит Медведя. Начинается второй день Его праздника. Идут в основном такие же короткие мифы-песни, сценки, игра на музыкальных инструментах, танцы и борьба, что и в первый день. Потом приходит третий условный день. Чем дальше — тем мифы сложнее, что ли. Может быть, серьезнее. Сначала певцы переходят на мифы Урманных Богов. Это местные Боги. На каждой реке, на землях каждого рода остались места, где когда-то жили Урманные Боги. Потом певцы исполняют мифы Региональных и Верховных Богов. Это главные мифы. Это священные мифы. Это обязательные мифы.

Если нет певца, который знает их от начала до конца, Пляска Медведя не устраивается. Они исполняются в определенной последовательности — вплоть до пятого дня празднества. О чем они?.. О жизни. В них история людей Земли, вся жизнь народа ханты. Откуда и как появилась Земля и люди на ней, Солнце и Луна, Звезды и Млечный Путь, звери и птицы, воды и леса, Верхний и Нижний миры. Как Медведь пришел на Землю, что происходило в Нижнем Мире. Как жизнь текла в Верхнем и Среднем Мирах — в любви и ненависти, в войнах и мирах, в победах и поражениях. Как народ стоял на грани вымирания в пору всемирного бедствия — в пору Большой Воды. Обо всем этом и многом другом поется-рассказывается в священных мифах Медвежьего празднества, поется-рассказывается священному Медведю-гостю.

К концу Пляски играют и большие сценки. Например, появление Филина. Тут и стрельба из лука, и борьба. Всегда интересно проходит. Потом стрельба из лука по шестиногому лосю. Тоже все с удовольствием смотрят. Затем танец тетеревов, дойка коров — тут много людей участвуют, могут все желающие играть и танцевать.

Наступает пятый условный день. Последний. На столике только котелок с кашей. В него бросают кольцо. Потом, после праздника, когда все будут есть эту кашу, кольцо попадетса самому удачливому. Обычно принято, чтобы счастливец не признавался в этом никому из присутствующих.

Празднество продолжается. Приходит черед мифа «Торх» — «Журавль». Один певец исполняет его с колокольчиком, а другой, накрывшись большим платком, играет Журавля. Весна наступила. Журавль с юга прилетел. Вернее — Журавлиха. На родное болото села, клюкве прошлогодней обрадовалась, ягодой полакомилась. Потом свила себе гнездо и три яичка снесла. Поет, радуется, танцует. Тут появляется Лисовин*. И когда Журавлиха улетела покормиться, Лисовин выкрал из гнезда ее одно яичко. Вернулась Журавлиха, видит — нет одного яичка, нет одного ребенка ее. Обезумела от горя, разгневалась. Через правое крыло бросила одно яичко Небесному Отцу — Верховному Богу Торыму, другое яичко, топнув, вдавила в землю — для Матери-Земли, взмахнула крыльями и полетела куда глаза глядят. Летела-летела и увидела дом, где Медведя пляшут, где Медведь сидит. И тут обезумевшая от горя Журавлиха на Дом Медведя налетела, реечки-жердинки растоптала-разрушила, посошки и маски разломала-разорвала, берестяную посуду Медведя острым клювом

* Лиса мужского рода.

проткнула-продырявила и улетела с криком «кур-р-рив-рив» куда глаза глядят. Что поделаешь с разгневанной и обезумевшей от горя Журавлихой?!

«Шен тоты нгенты», — говорит певец, и замолкает колокольчик.

Тихо и печально в доме после такого разгрома.

С одной стороны дома, от головы Медведя до дверей, взявшись за мизинцы, выстраиваются все мужчины, с другой стороны, тоже взявшись за мизинцы друг друга, становятся женщины. Между ними узкий проход до открытых дверей. Крайние мужчина и женщина берут за «мизинцы» Медведя — сухожилия, прикрепленные к его дому слева и справа. И певец с колокольчиком начинает последний миф «Проводы Души Медведя», «Проводы Медведя в тайгу» — печально звучит древний прощальный напев. Все слушают молча. О чем говорит миф? О том, что разгневанная Журавлиха разрушила Его дом, поломала Его вещи, Он остался без дома и Ему теперь нужно возвращаться обратно в тайгу, в свои леса и урманы. И Душа Его по узкому проходу между женщинами и мужчинами уходит в тайгу. И там со временем оборачивается вновь Медведем.

В этом весь смысл праздника: вернуть Медведя обратно в природу. Его низвели, но потом с помощью обряда возвратили в урман, в Его стихию. Он не исчезает бесследно... Он вечно живет на Земле, пока есть певцы, помнящие Его священные мифы...

«Так заканчивается Пляска Медведя», — сказал Демьян и вздохнул. Девушка молчала. Задумчиво наклонив голову, она пристально смотрела на огонь.

Шел дождь. Казалось, было слышно, как дождевики струились по деревьям и уходили в таежную землю. Небесной воде не видно ни конца ни края.

Демьян поправил костер. Девушка, очнувшись от своих дум, взглянула на него и, едва заметно улыбнувшись одними весенне-болотными глазами, тихо проговорила:

— Кто бы мою душу природе вернул... — и она подняла руки, обхватила ими голову и медленно, подрагивающими тонкими пальцами и раскрытыми ладонями провела сверху вниз по волосам осенней лиственницы.

И он, замороженный весенним светом ее глаз, вдруг понял, что она и так вся в природе, вся — на его Земле. А свою Землю он знал и любил той суровой и молчаливой любовью, о которой никому и никогда не говорят вслух. И от этого она стала еще ближе, роднее и понятнее, что ли. Он еще не знал, что после начнет изводить его память каждым весенним болотом, каждой осенней лиственницей, каждым изгибом реки и озерного берега. Многие дни, долгие годы. Она будет всюду вокруг него — в цветах, в звуках, в линиях его тайги, его Земли...

Демьян прикоснулся к изумительной линии ее бытия и замер в ожидании чего-то неведомого. Девушка вздрогнула, но не отвела его руку. Он лежал неподвижно, и ему хотелось запомнить и сохранить в памяти до конца своих дней каждую линию, каждую черточку и каждое прикосновение. Рука его медленно двинулась сначала вверх, затем вниз. Потом присоединилась и вторая рука — и, крепко зажмурившись, словно слепой, стал видеть руками. Он убедится, что руки могут видеть лучше, чем глаза: в нем останутся все ее линии во всей первозданной чистоте и неповторимости, во всем совершенстве. Он сам поразится памяти сердца и памяти рук. И эти линии останутся в нем до самого последнего мгновения его жизни на земле. Он будет сравнивать, вернее, вспоминать эти линии при виде многих других линий: линии горизонта, линии Утренней Зари, линии гребеночки леса за большим озером, золотистого следа падающей звезды, куржистого следа вылетевшего из-под снега глухаря, изгиба печального месяца на ущербе, извива Агана-реки возле Летнего Селения. Прекрасны линии природы в своей законченности, ничего не скажешь. Но разве их сравнишь с этими линиями!..

Линии природы хороши и, быть может, даже совершенны в чем-то, но они без человека холодны. В них нет легкого, едва уловимого дыхания и обжигающего трепета. В них нет безумия и огня. В них нет пронизывающего тепла и неземной таинственности. В них нет того, что есть в этих линиях. Возможно, поэтому, по прошествии лет, за что бы он ни взялся, везде останутся следы, напоминающие эти линии. Смастерит ли обласок-долбленку, сладит ли нарту, изготовит ли промысловый инструмент и домашнюю утварь. Охотники с удивлением станут рассматривать его луки-самострелы на выдру и лисицу. Упруги, хороши, скажут охотники, да формы и линии какие-то... не такие. Наши предки не делали такие луки-самострелы. Демьян ничего не скажет, только усмехнется чуть заметно. Однако многим эти «формы и линии» приглянутся, и вскоре Демьян заметит то у одного, то у другого охотника точно такие луки. Значит, они приносят людям удачу.

А позже, когда по реке начнут ездить разные экспедиции по сбору песен, сказок, расшитой орнаментами одежды и обуви, старинной всякой всячины, к Демьяну придет плотный лысеющий мужчина, отрекомендуется художником Михайлой Ефимычем и начнет внимательно рассматривать предметы, сделанные руками хозяина дома. Тут и деревянная ступка с пестиком, и большая чаша из весенней

березы, и корневатик — плетенная из кедрового корня и сарги шкатулка для хранения боеприпасов, и котловая ложка... Михайло Ефимыч почешет за ухом, с расстановкой скажет:

— Э-э-э... такие вещи нам нужны!..

Демьян удивится и попытается объяснить художнику:

— Это вещи не старинные. Сам делал. После войны.

Художник тоже обоснует свой интерес.

— Ну-у-у!.. — выразительно протянет он. — Я занимаюсь народным творчеством...

— Тут и украшений никаких нет, — скажет Демьян. — Ни тамги, ни орнаментов...

— Э-э-э... — энергично махнет рукой Михайло Ефимыч. — Мы, люди искусства...

И он с жаром начнет говорить об искусстве, о народном творчестве и многом другом, связанном с этими вопросами. Демьян, конечно, не все поймет в длинном монологе художника, но главное ухватит — гостя интересует все, что создано не умом и руками, а сердцем. И Демьян, коль нужны такие вещи, без лишних слов отдаст их экспедиции из города. В музее или где в другом месте будут — пусть люди посмотрят, если это им нравится. Тем более что теперь всякую домашнюю утварь можно свободно купить. Правда, жена Анисья — на то она и женщина — все же поворчала для порядка.

Это произойдет после Дня Безумия. А День Безумия подступал постепенно. Всем существом чувствовал, как он приближался. И боялся, этого дня, и знал, что никуда не денешься. И вот...

Пришло это время — не стало жизни.

Не стало жизни. Быть может, жизнь остановилась. Быть может, жизнь кончилась. Четко запомнит только линии, что сведут его с ума. Сначала сознание заскользит по линиям, потом понесется с умопомрачительной быстротой. И он потеряет сознание, лишится рассудка. И тогда руки возьмутся за дело — сотворят первую линию. Быть может, самую главную. Сначала вверх, потом — вниз. Сотворят линию, в которой будет все. И пойдут руки творить то, что им прикажет сердце. А сердцу захочется свершить чудо — ведь оно помнит каждую линию, каждый изгиб, каждый поворот, каждое закругление, каждую выемку, наконец...

Будет восход, будет утро, будет полдень...

Сердце все творит без усталости...

Пройдет бессонная ночь.

После бессонной ночи снова придет утро, и вслед за утром придет дядя Василь...

Он мудрым взглядом окинет Демьяна, скажет обычные слова и потом, как бы между прочим, деликатно произнесет:

— Что сотворили твои руки... — хотя это творение он ни разу не видел и не увидит никогда.

И тут Демьян очнется и медленно начнет приходить в себя. Что сотворили руки? Кого сотворили? Откуда дядя Василь знает?! Почему сказал про руки, а не про сердце? Ведь творит-то сердце! Это дядя Василь должен знать. Так кого же сотворило сердце? Кого сотворили руки? Кого?!

Дядя Василь что-то сказал про день. Кажется, спросил: «Что делаешь сегодня?..»

«А-а, да, день. Это пришел День Безумия. И, быть может, дядя Василь также предчувствовал его приход, как и я. Иначе откуда бы он узнал про творение сердца и рук... Возможно ли такое творение?.. Ни один в миру еще не сотворил живого человека. Образ живого человека. Ни один. Ни разу. Ни в какие века. Творили только богинь и богов. Разве Она богиня? Богиня? Моя богиня?! И я сотворил ее образ. Взятся за творение Ее земного образа. Сердце начало творить... А что делать с этим образом? Она человек, а не богиня. Она земная, живет не в небесах. Но все же... может быть, Она выше богини? Она сильнее богини? Неужели Она сильнее и выше?! Может быть, все может быть... Что делать с образом? Что делать с незаконченным творением рук и сердца своего? Не молиться же на него. Если не молиться, не преклоняться — тогда зачем он? Ведь не станет он живее и теплее земного человека. Не станет лучше и прекраснее живого человека, своего земного двойника!.. Ох, жаль!.. Но это так... Лучше уже не сотворишь... Не вдохнешь человеческого дыхания...

Это так...

И тут уже ничего не поделаешь.

Ничего...»

Дядя Василь ушел. Видно, он и не ждал ответа на свои слова.

Демьян, окончательно очнувшись от сомнамбулического состояния, долго сидел в раздумье: как быть? Делать что с творением сердца своего? Как жить дальше? Как и для чего? Какой смысл в возвращении в жизнь? Может быть, вообще нет никакого смысла? Смысла-то нет. Нет смысла. Может быть, это и хорошо — нет смысла. В отсутствии смысла есть что-то притягательное, есть другой смысл. А, пусть будет так. Пусть... А творение? С творением что будет? Почти нет творения, есть только одна линия. Ах, да — линия! Если принять «отсутствие смысла» — что тогда будет с линиями? Значит, линии исчезнут, уйдут в небытие. Уйдут — будто и не было никогда. Но ведь они были. Они есть. Они должны остаться. Они должны жить... Вот где

истинный смысл жизни. На сегодня, на завтра, на послезавтра...

Утро. Полдень. Вечер. Ночь... Утро...

Утром он осторожно взял свое незаконченное творение и положил в дальний угол лабаза, подальше от посторонних глаз.

Прошли дни.

Снова зашел дядя Василь. Теперь он напоминал свата. Впрочем, он и вправду считался лучшим сватом среднего течения Реки: умел разговаривать с людьми, умел уладить любое щепетильное дело. Главное же было в том, что все те, кого он соединял, потом жили душа в душу. Он приходил, говорил о том о сем и между тем намекал на свои услуги. Когда Демьян понял, куда клонит дядя Василь, он резко сказал:

— Нет!

В ту пору он и слышать об этом не хотел.

Дядя Василь оставил его в покое.

Творение же много лет пролежало в укромном углу лабаза. И однажды, уже будучи учеником старших классов школы, его увидит Микуль, старший сын Демьяна. Он долго будет смотреть на таинственную линию. После спросит отца:

— Что это?..

— Эт-то... Эт-то...

Отец вдруг начнет заикаться. Но потом все же скажет после недолгого молчания:

— Эт-то... прошлое...

И сын снова замрет над линией, над этим творением, что так и осталось незаконченным. А линия полна будоражащей экспрессии: от нее трудно оторваться. Когда отводил глаза, тотчас появлялось ощущение потери, неприкаянности, пустоты. В ней была необъяснимой мощи завораживающая сила. И может быть, к лучшему то, что Демьян не довел до конца, не завершил линию своего творения. Стоит ли будоражить людей?..

На лице сына он прочтет немой вопрос: «А каким было это прошлое?»

Демьян вдруг весь посветлеет: голова приподнимется, морщинки на обветренном лице разгладятся, заблестят глаза. И он выпрямится, словно молодой человек на два-три десятка лет.

«Это... было прекрасным...»

Сын никогда больше не будет спрашивать об этом. Он чуть заметно, тепло так, улыбнется каким-то своим мыслям. И Демьян поймет: сын что-то уловил или, вернее, как и дядя Василь много лет назад, почувствовал. Почувствовал что-то такое, о чем в словах не говорят. Просто невозможно выразить словом. Невозможно, и в этом нет,

наверное, надобности. Хорошо, когда можно обойтись без слов...

Сын, верно, крепко запомнил живую линию творения своего отца. В следующий приезд домой на каникулы он привез книжку в желтой твердой обложке и пояснил, что там — рисунки. А сотворил их сородич по имени Геннадий Райшев. Это первый и пока единственный художник нашего народа, добавил сын. Профессиональный.

— Ну-ну, посмотрим, — усмехнулся Демьян. — Посмотрим, как пишушую палочку ханты держат.

Тогда он еще сомневался, что ханты могут также хорошо владеть карандашом и ручкой, всякой техникой и другими мудреными приборами, как и ружьем и веслом, топором и ножом. Больно уж все далеко друг от друга...

Не спеша, основательно осмотрел книгу со всех сторон и лишь после этого раскрыл ее и замолк. Молча, словно скрадывал очень пугливого и осторожного зверя, шел по следу книги, по следу ее знаков — перелистывал страницы. Иногда, видно, забывшись, вздыхал удивленно:

— ... — во вздохе можно было уловить только невнятные «х» и «м».

И шел дальше по следу. Шел молча. Временами, словно запутавшись и потеряв след, возвращался назад на несколько страниц и, распутав хитросплетения точек, штрихов и линий, снова пускался по следу. Наконец остановился надолго, изумленно вздохнул.

— Ту-лых!.. — взвешивая каждый слог, произнес он. — Зи-ма!

Это была поразительная зима.

Белое пространство.

Бегущая лиса.

Лукообразно изогнутая строчка следа.

Солнце...

И — все. Больше — ничего. Одно белое пространство.

Но пространство удивительное. Пространство — живое. Хотя человек только трижды прикоснулся к белому пространству — лиса, ее след, солнце.

Казалось, все просто.

Но Демьян смотрел на пространство, и оно менялось на его глазах: пространство все увеличивалось и углублялось. И в глубине его, приглядевшись, он обнаружил след еще одной лисы. Она шла с юга на север, потом повернула на восток. Ее не видно, она уже далеко в пространстве. Остался только след. Вторая же пришла с севера и тоже повернула на восток — и теперь идет по следу первой лисы. Охотник сразу определил, что это

не «она», а «он» — лисовин. Видно, нрава он спокойного, рассудительного. Хоть и хочется ему, наверно, во весь дух мчаться за подругой, но останавливается и осматривается — все ли на месте в этом мире, не нарушил ли кто покой этой земли. Как истинный хозяин белого пространства, он улавливает запахи всех ветров и снегов, все шорохи и звуки. Он улавливает многое из того, что недоступно человеку. Быть может, поэтому он в чем-то мудрее земных людей...

Демьяну показалось, что он видел этого лисовина. Ему знакомы эта мягкая поступь, эти чутко торчащие ушки, эта чуть опущенная — чтобы лучше чувствовать дух земли и снега — узкая мордочка с насмешливой улыбкой. И хвост — необыкновенно пушистый и длинный, — словно второе туловище без ног, ни больше и ни меньше, так и плывет за ним по белому пространству.

Хвост, хвост... Пушистый и длинный...

Точно такой хвост был у той лисы, которую впервые повстречал Демьян много лет назад, в далеком детстве. Помнится, дом стоял на крутояре, под соснами, над широким урием. Урий давно застыл, и на льду лежал ровный чистый снег со следами полозьев отцовской нарты. Отец уехал проверить настороженные луки и капканы, и Демьян бегал на яр поглядеть, не едет ли отец. Но отец задерживался, и он подолгу стоял под соснами и вглядывался в ослепительно белую даль, где обрывался след нарты. И вот со стороны верховья урия показался зверь с огромным длинным хвостом. Зверь шел мягко, плавно, словно парил над заснеженной равниной. Демьян наконец опомнился и помчался к матери.

«Я, кух лых чи юв!»* — таинственным шепотом выпалил он.

Мать, конечно, ничего не могла понять.

«Мувсыр' кух лых»?** — переспросила она.

«Я, кух лых чи юв!» — повторил Демьян.

Тут сын потянул ее на улицу, и мать выбежала на яр и воскликнула:

«Чит — воки!»***

А лиса, серебристо-седая, будто чуть прихваченная не-весомым инеем, спокойно шла в сторону дома.

Мать кинулась к дому, Демьян — за ней. Их неожидан-но охватил охотничий азарт.

«Ружье! Скорей!..» — бормотала мать.

* «Ух, длинный хвост, идет!»

** «Что за длинный хвост?»

*** «Это — лиса!»

— Ружо! Ружо!..» — вторил ей Демьян, хотя еще не мог поднять ружья.

Разыскали старинное, так называемое в здешних местах «замковое ружье», выбежали на яр.

Лиса, казалось, ничего не подозревала. Изящно и легко плыла со своим хвостом навстречу гибели — «замковому ружью». Но ружье не сработало — нет патронов, охотники впопыхах забыли о них. Бросились к дому, затем — в амбар, после — в лабаз. И снова — дом, амбар, навес... Пока они носились в поисках патронов, собаки, завидев ружье, как водится, заволновались, загавкали. Когда же охотники в полной экипировке выбежали на крутой, лисы, Длинного Хвоста, и след простыл.

Вскоре вернулся отец, поинтересовался:

«Зачем это ружье времен Белого царя вытащили?»

Мать все рассказала.

А отец, Роман Иванович, любивший пошутить, весело посмеялся над незадачливыми охотниками:

«Такая гостья к вам пожаловала!.. А вы, значит, решили встретить ее с ружьем времен Белого царя! Ай да хозяева!.. Верно, она уж в гости больше не придет!»

Повертел в руках ружье времен Белого царя, заметил:

«Да оно, поди, и голос не подаст. Не помню, когда и отправил его на покой».

«Кто об этом знал — подаст голос иль нет?! — сказала мать и поддела отца: — А тебе сегодня дома следовало сидеть. Что твоя поездка?! Мы хоть на живого зверя посмотрели!..»

Мать тоже не любила лазить в карман за словом.

Отец только усмехнулся, потом ответил матери:

«Чего ж 'ты мне утром не сказала! С удовольствием дома посидел бы!..»

«Посидел бы! — откликнулась мать. — Зна-ю!..»

Отец отложил в сторону ружье, взглянув на сына, сказал:

«С этим ружьем Светлому Вороту все равно бы никаких неприятностей не причинили».

«Это был Светлый Ворот?! — удивился Демьян. — А не Длинный Хвост?»

«Светлый Ворот приходил к вам в гости».

«Как ты узнал?»

«Я видел след. Светлый Ворот крупнее Креста Метки. По следу легко узнать, какая лиса прошла».

Так Демьян узнал, что в этих местах нет лис с названием «Длинный Хвост». А есть серебристо-седой Светлый Ворот, или сиводушка, и красная Креста Метка, или крестовка. И очень редко попадает охотнику Черная Лиса — чернобурка. Пока же Демьян «познакомился» только

с лисой Нэви Рок — Светлый Ворот. Но воображение уже рисовало и тех таежных красавиц, которых он еще не встречал...

Демьян все вглядывался в белое пространство. На одном уровне с хвостом лисовина скупое зимнее солнце на западе. Оно лежало на снегу там, где небо сходилась с землей. Впрочем, границу эту невозможно определить, невозможно отыскать, ибо пространство было сразу и землей и небом. Одновременно и то и другое. Значит, граница есть. Граница подразумевалась. Но она где-то там, вдали, ее просто не видно.

В пространстве было все. Север — юг, запад — восток. С севера пришел лисовин, с юга — лиса. На восток — идут. На запад — солнце уходит. Всюду — жизнь...

Жизнь на севере — лисовин. Жизнь на юге — лиса. Жизнь на востоке — лисы. Жизнь на западе — солнце. Жизнь в небе — след вспорхнувшей из-под снега куропатки. Она улетела, она летит где-то в пространстве. Она уже далеко, ее не видно, но она есть. Жизнь на земле — человек, люди, человечество. Жизнь на земле — дом Демьяна, родная река, родина, страна, страны...

Белое пространство беспредельно, как и жизнь на земле...

«Зима перевалила за вторую половину, дело идет к весне», — подумал Демьян. Это подсказали ему лисы. Таинственная и все сокрушающая сила вырвала их с разных точек земли — его, быть может, с самого побережья Ледовитого Океана, а ее из уютных таежных лесов — и привела на этот пятачок белого пространства. Такова сила любви, размышлял он, провожая взглядом уходящее на запад вечернее солнце. Быть может, эта сила все двигает в белом пространстве? Двигает само пространство? Ведь здесь все в движении: солнце, лиса и лисовин, снега, небо и земля. И лисы совсем не случайно идут в сторону восхода солнца, в сторону Звезды Утренней Зари...

Белое пространство...

Казалось, все — просто.

Оказалось же — все не просто. Все — сложно. В пространстве ничего нет — и в то же время есть все. Одновременно и просто и сложно. Сложная простота. «У сотворившего это белое пространство много мыслей, — думал охотник. — Наверное, я не смогу добраться до конца троп многих его мыслей. Если, конечно, у этих троп есть конец, есть предел. Возможно, что предела вообще нет, ибо мысль, имеющая предел, не может волновать человека, не может затронуть его душу». Это Демьян знал наверно.

Белое пространство, обладающее волшебной силой...

Белое пространство...

Демьян закрыл книгу и, погрузившись в раздумья, долго молчал. Потом, как бы вдруг очнувшись от сна, сказал тихо:

— Мас-тер!..

Опять помолчал, затем взглянул на сына, спросил:

— Ты видел его?

— Да, — ответил сын. — В поселок приезжал. В школу к нам приходил. Рисовал.

— Он... не охотник? Зверя-рыбу не добывал? — заинтересовался отец.

— Он сын охотника.

— Вот-вот — сразу видно! — обрадовался Демьян. — Жизнь наших урманов-болот знает. Не будь он сыном охотника, разве сумел бы такое сотворить?!

Микуль согласно кивнул.

— На какой земле он родился? — спросил отец.

— В селении Сивохребт, на реке Салым. Это левый приток Оби.

— Сивохребт, Салым... — повторил отец. — Знаю, слышал про эту реку. Салым по-нашему «Солхэм» — «сотворенная, созданная» река.

— Сотворенная?!

— Да. Мифы рассказывают, что в верховье Солхэма когда-то в незапамятные времена Царь и отец всех Громов жил. Так наши старики говорили.

— Ну, тогда сам бог велел ему творить, коль на такой реке родился, — пошутил Микуль, кивнув на книгу.

— Выходит, так: от бога, — согласился отец. — Хотя творит-то человек...

Немного помолчали, потом Демьян спросил:

— Его отец все на Солхэме живет?

— Нет.

— За зверем-птицей уже не ходит, значит.

— Нет... Его в тридцать седьмом увезли.

— Кровавый Глаз?

— Да.

— Вестей не было, значит...

— Нет. Сгинул бесследно.

— Бесследно... — повторил отец и замолк.

Быть может, он вспомнил тех, кто вот так же бесследно исчез в те годы на его Реке. Есть что вспомнить, есть кого вспомнить.

Молчал и сын.

Он почувствовал, что это «бесследно» имеет свои корни, и отец задумался об этих корнях, задумался о судьбе еще одного своего родственника.

Только впоследствии, спустя годы, Микуль узнает, что

отец художника, Степан Миронович, был по натуре правдоискателем и беспокойным поэтом. Это и погубило его в сорок три года от роду.

А правдоискателем Степан Миронович был сильным, ибо знал грамоту и многое постиг своим умом. Еще до революции ему удалось окончить церковноприходскую школу. По тем временам это считалось солидным образованием для инородца, рядового охотника и рыбака. А стихи и колюче-озорные частушки, что он слагал, охотно распевала вся деревня. Его слово, точно пуля, всегда поражало цель. И шли к нему люди в радости и в горести.

Чем дальше — тем больше.

Больше — горести и печали.

К этому времени он стал заготовителем пушнины. Принимал меха, слушал людей, советовал, писал, когда просили. И вдруг приехали за ним. И — бесследно... И только спустя много-много лет, когда о прошлом можно стало говорить вслух, художнику неприязненно и коротко ответили: «реабилитирован».

Но художник не уходил. И голос бесстрастно повторил: «Реабилитирован. Чего же еще хотите?» Чего я хочу?! Художник в упор смотрел на него — на круглолицего, с румянцем на обе щеки. Чего я хочу?! Да разве поймет этот румянолиций?! Да разве объяснишь словами, каково это быть сыном «врага народа»?! Каково быть женой «врага народа»?! Каково быть матерью пятерых детей «врага народа»?! Да разве найдутся такие слова? Да разве есть такие слова на человеческом наречии?.. Это надо испытать на своей шкуре. На шкуре сына «врага», в которого каждый может бросить камень, бросить палку, бросить ком грязи. Бросить безнаказанно. Еще больнее каждый может уколоть черным словом. Безнаказанно. Каждый может плюнуть в душу. Безнаказанно. Ибо ты сын «врага народа» и ты не имеешь права говорить, выступать, возмущаться. Ты вообще ничего не имеешь. Ты вроде бы уже и не человек. А теперь, оказывается, отец-то не был «врагом народа»! Ошибка вышла. Реабилитирован!

И взревела душа беззвучно:

«Реа... билитирован?! А человека-то нет!..»

Отца-то нет. Он не был «врагом народа». Но тогда кто же был настоящим врагом народа?! Кто?! Где тот, кто говорит одно, а делает совсем другое?! Где тот, кто делает только на словах?! Делает только слова! Прикрывается словами! Где тот?! Его почему-то никто не ищет.

Видно, чтобы чем-то заполнить тянувшуюся паузу, румянолицый заговорил опять.

«Реабилитирован, — сухо сказал он. — За недостаточностью улик. Чего еще хотите?»

Чего мы хотим? Чего хочет моя мать? Чего хочет жена «врага народа» — бывшего — и мать пятерых детей?! Об этом никто ее не спрашивал, когда ее дети пухли от голода и холода и она не могла найти работу — самую грязную и тяжелую. Работа была, но не для жены «врага». Ибо все оправдано одним — «на одного выродка меньше»...

И простонала душа беззвучно:

«Реа...билитирован?! Да у самого последнего преступника есть могила! Есть след! Есть земля!»

Розовощекий забеспокоился. Быть может, он почувствовал эту боль души, этот беззвучный крик, этот немой вопрос. Он не очень уверенно пробормотал:

«Допустим, я не обязан отвечать за всех. Допустим, не положе...»

Художник снял очки, откинул голову назад и, чуть сощурившись, словно собирался писать портрет и хотел ухватить сущность натуры, поймал ускользающие глаза собеседника. Мгновение смотрели друг на друга не мигая. Потом коренастая фигура круглолицего заметно вжалась в кресло, и глаза его забегали влево-вправо, вправо-влево. Видно, молодой еще, малоопытный, не научился еще сухо и бесстрастно, со спасительным для себя чувством превосходства и всезнания смотреть на всякого посетителя. Тут художник молча поднялся и неспешно вышел из кабинета. Никак не мог избавиться от мысли, что родитель этого румянощекого, возможно, в тридцать седьмом году увез отца, Степана Мироновича. Мужа и отца пятерых детей. Нет отца, пропал бесследно. И нужно было выжить. И после четырех классов, следующей осенью, он сел не за парту, а взял ружье и пошел на охоту. И первая белка. Первой белке дробинка попала в голову. Она свалилась на снег, обхватила головку скрюченными лапками и с тоскливо-жалобным криком, дергая задними лапками, закружилась против солнца. Она долго не хотела умирать. В воздухе висел ее предсмертный резкий крик. Передние лапки со скрюченными коготками судорожно хватали обе щеки, искали дробинку, застрявшую в плоти и причинявшую невыносимую боль. Она не могла поднять головку. Голова лежала на месте. Но туловище и задние лапки еще были живы, и они кружили-кружили против солнца, двигая беспомощную голову. А снег вокруг таял под бордовыми каплями крови. Белка все кричала, стонала, плакала по-человечески. И он стоял над ней и тоже плакал. Плакал беззвучно. А ночью приснилась умирающая белка. Вернее, белка, которая не хотела умирать. Сначала была

белка, потом она стала вдруг отцом. Отец лежал на земле, обхватив голову руками, и что-то кричал. Быть может, стонал и о чем-то просил. Сквозь его пальцы сочилась кровь, и тело его судорожно дергалось. Он тоже не хотел умирать. Быть может, он звал на помощь. Но сыну что-то мешало, мучительно пытался сделать шаг и поднять отца — не смог. И закричал, заметался в постели. Испуганная мать ощупывала его голову: не заболел ли кормилец? Кто ж теперь на охоту пойдет? Но еще три долгих года, падая от усталости, волоча опостылевшее ружье, предстояло бродить по борам и урманам. И долго, быть может, до скончания его дней, станет приходить к нему первая белка ночью ли во сне, днем ли наяву. Будет он слышать ее крик, ее плач, ее стон. После, спустя годы, когда он возьмется за кисть, попытается оживить, вдохнуть жизнь тем зверям и птицам, которых в горькие и суровые годы детства и отрочества настигла его пуля. Утешение небольшое, но, возможно, кто-то, взяв ружье, остановится на мгновение и задумается. Задумается о себе и об окружающем его пространстве, задумается о прошлом и будущем...

Демьян шероховатой ладонью провел по обложке книги.

— Скажи, — обратился он к сыну. — Какой он... из себя?

— Какой?.. — задумался Микуль. — Да как все люди. Голова почти высохла — седая. Борода — тоже. Лицо тонкое такое. Руки... такие быстрые и легкие.

— А глаза?

— Глаза... светлые. Может быть, серые. Может, болотные. Хорошо не помню.

— Так-так. Все?

— Нет. Светлые и... печальные какие-то.

— Ладно, — пробормотал Демьян неопределенно. — Ладно. Он снова раскрыл книгу.

Белое пространство.

Бегущая лиса.

Лукообразно изогнутая строчка следа.

Солнце...

Мастер, конечно, крепкий, соображал Демьян. Крепкий, ничего не скажешь. Но вот если бы однажды увидел ту безумную линию любви и жизни, что бы он тогда сотворил! Если бы, конечно, не лишился рассудка, не сошел с ума!.. Он бы сумел сотворить, достиг бы, наверное, того совершенства. Той высоты совершенства. А он, Демьян, обошел творца: ему досталось то, что, быть может,

предназначалось другому. И его грубая рука не смогла воссоздать полностью, довести до конца ту линию, тот образ. Он оказался бессильным...

Его рука лежала на изумительно прекрасной линии в ожидании чего-то неведомого и таинственного. И линия медленно входила в него и оставалась в нем: в руке, в памяти, в сердце. Для других она так и осталась недоступной, недостижимой, непознанной. Возможно, так и должно быть — что предназначено одному, то недоступно всем другим, ибо не каждому суждено постигнуть таинственную сущность прекрасного. Его рука лежала на этой линии в ожидании неведомого и таинственного. Рука лежала в ожидании на безумной линии, и он сам вскоре обезумел и потерял ощущение времени и пространства и, конечно же, в эту секунду он не мог знать, что много лет спустя его сына тоже изумит линия, но линия уже другая, ибо у каждого времени свои линии, и живут они сообразно требованиям и причудам своего времени...

Вскоре пришла весть: бог покарал-таки Кровавого Глаза. Его испепелил праведный огонь.

Весть прошла по всей Реке от устья до самого верховья. Молва гласила, что люди северо-западного края, березовских земель, не выдержали его непогрешимости и могущества и поэтому приговорили огню.

А немного позже появилась другая версия. Будто за многочисленные черные дела он попал в те места, откуда нет возврата и куда сам в недалеком прошлом отправил немало безвинных людей. Когда попал туда, его тотчас узнали и предали огню.

Одно несомненно: и в том и в другом случае главным судьей оставался огонь. Таким и должен быть его конец, решили старые жители Реки.

Справедливость восторжествовала. Хотя и поздно, и ценою немалых потерь. Но восторжествовала!..

Теперь он ушел навсегда, облегченно говорили люди Реки. И нет ему возврата ни в кои веки!

Но старец Ефрем сказал:

«Он и его время смогут вернуться лишь тогда, когда мы позабудем о его черных делах. Мы ничего не должны забывать».

И наверное, поэтому он со вздохом вспоминал те времена. После, когда старец ушел, Демьян иногда рассказывал о тех ушедших днях своим сыновьям и сородичам.

Так, переходя от поколения к поколению, жила память о том тяжком времени. Жила, чтобы не было возврата к тому времени.

А много лет спустя Микуль, старший сын Демьяна, в большом уральском городе в разговоре упомянет это имя. И хозяин дома, старый молдаванин Ларион Чебанаш, много лет проживший на Севере, внимательно взглянет на Микуля и, тяжело вздохнув, скажет:

— Я довольно хорошо знал его...

— Где вы его видели? Откуда знаете?!

— Я на Сосьве жил, а он в Березове работал.

Старик помолчит, потом тихо скажет:

— А конец его был другим...

— Каким же был конец? — спросит удивленный Микуль.

— Он кончил сторожем пороховушки.

— Пороховушки?.. Взорвался.. Взорвали?..

— Нет.

— Что же случилось?

— Украл, — вздохнет старик.

— Что украл?

— Украл плоты для нового детского сада. Пригнали их, на причале, когда под гору идешь — с правой руки их укрепили. Там в половодье-то вода вплотную к городу подходит. Сколько-то времени плоты простояли, а потом пропали. Ну, тут выяснилось — он себе большой дом построил из этого леса.

— А потом?

— Тут настали другие времена. Люди в первый раз заговорили о всех безобразиях. Был он начальником милиции — сняли его с работы. И он стал сторожем пороховушки. Это за городом-поселком, на коренном берегу, в сторону Сосьвы. Бывал там? Поди, видел?

— А дальше что было?

— Жена его какая-то известная работница была. Кажись, в школе работала. Когда она на пенсию вышла, дали ей квартиру в областном центре. И они уехали.

— Он еще жив?

— Не знаю.

— Ничего о нем больше не слыхали?

— Нет. Не знаю ничего. Может, жив. А может, помер. Кто знает? Годков-то немало прошло с той поры, как мы с Севера уехали.

Старик снова помолчит, после посоветует:

— Будешь в Березове — поспрашивай старых людей. Его многие знали. Его крепко должны помнить.

И старик, опустив седую голову, замолчит и надолго задумается о чем-то своем.

Микуль взглянет на него и убедится: старый молдаванин сказал все, что знал. Чистую правду сказал. Но в мыслях никак не укладываются в один ряд милиция, детский сад, пороховушка, школа, областной центр. Но в

конце концов он начнет внушать себе, что все это было возможно только в прошлом. Все это — тени прошлого...

Приехав на родную Реку и встретив близких и дальних родственников, он почувствует: нельзя людям говорить правду. И он ни разу не обмолвится о том, что узнает о последних днях того, чьим именем даже детей не решались пугать, чье имя возбранялось упоминать с наступлением первых сумерек, ибо за ним поднимались незримые тени преждевременно ушедших в Нижний мир, которых особенно вечером не принято беспокоить.

Микуль ничего не скажет жителям Реки.

Пусть хоть в памяти народной торжествует справедливость.

23

Наутро Демьян первым делом сходил к оленям. За ночь они перекопали и вытоптали снег вокруг привязи, и чтобы они еще поели и согрелись в рыхлых сугробах, перевел их на новое место. После завтрака вместе с сыновьями, отправился в школу. По дороге он сказал сыновьям пусть они спокойно занимаются, он подождет их, поедет, когда кончатся уроки в школе. Его время не пропадет даром — сделает свои последние дела в поселке.

В школу он всегда входил с большим волнением, несмело, как бы опасаясь какого-то подвоха, что ли. Стесняясь чего-то. Впрочем, его стеснение можно, наверное, объяснить словами Седого брата, который однажды воскликнул: «Ах ты беда! Мимо нас и школа прошла! Мы и школу упустили, брат!..» И теперь Демьян потоптался на крыльце, старательно выбил снег с кисов, прислонил веник к стене, оглянулся вправо-влево и лишь после этого переступил порог. Перед всеми учителями и взрослыми, независимо от того, он знал их в лицо или нет, останавливался и говорил по-русски: «Здравствуйте!» С детьми же, которых знал в лицо, здоровался за руку и разговаривал по-хантыйски. Расспрашивал о житье-бытье родителей, давно ли они приезжали в поселок, как рыбу-зверя в этом году добывают. Ребятам же, в свою очередь, рассказывал, чьих родных недавно видел, как они живут-поживают, какого зверя-птицу промышляют. Его окружили плотным кольцом, и он слышал, как не очень смелым, особенно малышам-первогодкам, шептали за спиной: «Спроси про своих! Спроси про своих!.. Это Ювана отец, он знает твоих родных...» Демьян оборачивался и, если не узнавал, то

интересовался: «Чей это ребенок?» Ему почти хором отвечали — называли отца или мать и селение. Он тотчас же припоминал и сообщал, когда и где встречался в последний раз с отцом или матерью маленького школьника, о чем шел разговор, собираются ли вскорости в поселок. В конце он обычно добавлял, что все родственники живы-здоровы.

А Рае и Зое, дочерям братьев Коски Малого и Николая Малого, почти слово в слово пересказал то, что просили передать их матери, когда он заезжал к ним в селение на чай.

Прозвенел звонок — и дети разбежались по классам.

Последним нехотя, показывая всем своим видом, что урок его не интересует, поплелся Юванко. Он сдвинул брови, и лицо его приняло выражение несправедливо обиженного ребенка. И Демьян еще раз напомнил ему вслед:

— Ма нынат лахеллэм... Мэна*...

После этого он разыскал директора школы Корнеева. Сказав обычные слова приветствия, поговорив о том и сем, Демьян, наконец почувствовал, что исчезло его смущение перед школой. Впрочем, рядом с Корнеевым ему всегда было хорошо. Тот излучал какую-то неведомую жизненную энергию и оптимизм. Вот люди и тянулись к нему.

— Как мои сыны? — спросил Демьян. — Как учатся? Как живут?

— Старший-то вон... — кивнул Корнеев. — На Доске почета его портрет висит. А про младшего что сказать?..

— Скажи как есть, — попросил Демьян.

— Парень он способный, но не очень старается в учебе, — сказал Корнеев. — Захочет — урок прогуляет ни с того ни с сего. Захочет — учителю нагрубит, ничего не выучит. Трудно с ним учителям...

Помолчав немного, Демьян промолвил в раздумье:

— Это он, Юванко, по дому скучает. Он совсем еще махонький...

— Да мы все понимаем, Демьян Романыч. Понимаем, как трудно оторвать ребенка от семьи. Как трудно привыкать ему к школе, к новой обстановке. Да что поделаешь — приходится!

— Да, да, помню. С Микулем так же было. Вначале очень скучал по дому, — вставил Демьян свое слово. — И мы, дома, скучали по нему. Они чувствуют это. Сердцем чувствуют, когда особенно маленькие.

— Мы все понимаем, — сказал Корнеев. — И стараемся

* — Я вас подожду... Иди...

сделать все, чтобы детям в школе-интернате было хорошо. Чтобы им лучше жилось, чтобы чувствовали себя как бы дома. Я знаю, что дома все равно лучше, чем здесь. Но тем не менее... Вот с этого учебного года всем ребятам начали отмечать дни рождения. За месяц соберем всех именинников, поздравляем, вручаем подарки, а потом торжественный ужин в их честь в интернатской столовой. В конце следующего месяца — другие именинники. Маленький, но для детей праздник...

— Это хорошо, — произнес Демьян. — А ханты только детям до пяти-шести лет день рождения отмечают. А потом совсем про день рождения забывают.

— Может быть, очень мудро делали твои предки, что взрослым не отмечали день рождения, — улыбнулся Корнеев. — Ведь пожилому человеку этот день каждый раз напоминает печальную истину, что ему все меньше и меньше дней остается на земле.

— Может, и так, — согласился Демьян.

После паузы он сообщил свою новость:

— Ко мне, Александр Анатольевич, искатели пришли...

И коротко рассказал о них. Но без того оптимизма, с которым говорил об этом вчера охотоведу в конторе.

— Да-а, искатели волнуют нас, русских, не меньше, чем коренных жителей, — после некоторого раздумья проговорил Корнеев. — Всех беспокоит судьба нашей земли. Что будет? Что с ней станет?! Впрочем, конечно же, судьба земли больше волнует тебя, Демьян Романыч. Ведь это твоя земля. Ты здесь родился, вырос. На этой земле покоятся твои предки... Но и русским и всем другим народам безразлично будущее края...

После небольшой паузы Демьян спросил:

— Может, на охоту ко мне съездишь? Так, ненадолго.

По осеням или веснам Корнеев охотно заезжал к Демьяну и бродил с ружьем по тайге.

— Нет, сейчас не получится, — сказал Корнеев. — Зима, дел полно всяких. Сам видишь...

— Да-да, вижу...

Они отлично поняли друг друга. Это значило: «Ты бы с моими искателями лучше сладил, нежели я. Заехал бы». Корнеев: «За всеми искателями мне одному не угнаться, свое дело тоже надо делать. Так что не обижайся, сам все понимаешь...»

— А как наш Мир себя чувствует? — спросил Демьян.

— В мире сложно... Но наш Мир чувствует себя, по моему, неплохо, — улыбнулся Корнеев. — Пока ты, Демьян Романыч, ходишь по земле, Миру, по моему, ничего не грозит.

— Э-э, я совсем маленький человек, — протестующе махнул рукой Демьян. — Это мне такой ум пришел: пока ты

живешь — людям будет хорошо. Давно такой ум пришел, Александр Анатольевич. Давно. Поэтому со мной не спорь...

И пошла у них речь о делах Мира и делах Земли. Говорил в основном, как уж издавно повелось, Корнеев. Демьян только слушал. Слушал как сказку: тоже вставлял вопросы, уточнял детали, переспрашивал, поддакивал или возражал. (В хантыйских сказках, правда, сказителю не возражают.) Корнеев связывал его не только с Миром, Россией, Государством, но и с Партией. Корнеев был еще и партийным секретарем, Главой Больших Красных Людей — коммунистов. Их в поселке немного, всего около десяти человек. Но они дружны. И уже немало лет подряд выбирают своим вожаком Корнеева. Видно, он надежный, хорошо знающий дорогу вожак, размышлял Демьян. Он понимал Партию по-своему. В его представлении это лучшие люди Земли, как бы в одной упряжи прокладывающие путь для человечества в неведомое, но прекрасное будущее. Это самые-самые лучшие люди. И ханты. И манси. И русские. И ненцы. Словом, представители всех народов планеты. А все, что связывало и объединяло людей, делало их ближе, Демьян принимал всем сердцем, принимал беззаветно.

Корнеев связывал его с Партией, Партию — с Лениным, а Ленина он хорошо знал.

«Когда-то в давние времена Ленин побывал среди нашего народа, — рассказывали ханты. — Побывал в наших краях. Проехал по этим землям, останавливался в каждом селении, разговаривал с людьми: с охотниками и рыбаками, с их женами и детьми, с древними стариками. Смотрел, как они живут, расспрашивал, в чем нуждаются, о чем думают, о чем мечтают, каким представляют свое будущее. Так он объехал всю Югру, землю остяков и вогулов — от Уральских гор до Енисея, от Тобольска до побережья Ледовитого океана. летом на лодке, а зимой на оленях. А в верховья глухих речек и в глубину урманов, где жили одна или две семьи, он, как говорили старики, «просто глаз посылал»* — и сразу вникал во все, все охватывал... Затем ступил на земли других народов Севера. Исходив всю планету и познакомившись со всеми народами, он вернулся в главный русский город и взялся творить Партию. Сотворив Партию, он сотворил Революцию. Сотворив Революцию, он сотворил Советскую власть. И сказал: люди Земли, стройте свое будущее. Будущее должно быть счастливым...

* «Алы сам катэх» — и в прямом, и в переносном смысле — «зрение внутреннее»...

Демьян зимними вечерами передавал это своим детям и сородичам. Рассказывая, он каждый раз добавлял новые подробности и детали. Однажды он заметил это и смутился: что же я придумываю... Разве можно такое?.. Но потом понял, что он ничего не придумывал. Просто он очень хорошо все видел и слышал и, пересказывая, мог задержать внимание на чем-то одном. Как, скажем, Гость пил чай, оглядывал селение, о чем говорил с хозяевами, как отозвался о морозе или комарах, как садился на нарту или облас, как улыбался или хмурился, какие слова оставил на прощание... Демьян все видел и слышал. Видел, когда в клубе, в Праздник Охотников, прикрыв глаза, слушал песню о Ленине, что исполняли девушки на удивительно тепло звучащем родном языке. Видел, когда в дальней дороге неназойливые ветры навевали мелодии тайги. Видел, когда в весеннюю пору, в межсезонье, тихим вечером погружался в легкий сон. Главное — видел. А как и при каких обстоятельствах — это уже дело другое, дело десятое.

Но в своем видении Демьян был не один. Нет, далеко не один. В эти же годы родственник и современник Демьяна, охотник и рыбак манси Петр Шешкин* в глухой деревушке на реке Сосьве простым охотничьим ножом вырезал из дерева скульптуру и показал изумленным сородичам:

«Ленин на Севере».

И люди приняли — все верно, все правильно, так и должно быть. Ленин в малице. Это чтобы ему теплее было на Севере.

...Демьян все слушал Корнеева. Но пришло время — и он с сожалением попрощался с другом и вышел на улицу. Постояв немного на крыльце, чтобы остыл мех кисов и к ним не налип снег, он направился на пастбище.

Время шло к полудню.

К магазину, где уже стояло несколько упряжек, он подъехал на оленях. Завязав поводок, он выпрямился и возле соседней нарти увидел приземистого, но быстрого в движениях Спиридона Казамкина с верховья Реки. Тот тоже глянул на него. И они одновременно пошли друг другу навстречу и поздоровались. Демьян на правах старшего поцеловал его в щеку. По обычаю при встрече, если родственники близкие, целует старший, а младшему этого делать

* Шешкин Петр Ефимович (1930—1981 гг.) — первый мансийский скульптор.

не положено — «нельзя старшего ласкать». И хотя родственник дальний и можно было обойтись только рукопожатием, но Демьян без всяких колебаний чмокнул Спиридона в заросшую щеку. Он напомнил своего отца, который в годы войны, на охоте, в жестокий мороз провалился в полынью и обморозил обе ноги. И вся Река решила, что его земные дни сочтены — так тяжело ему стало. Но иначе думал он сам, Федор Васильевич Казамкин, или, как попросту звали его охотники, Федор-старик — «Возле Сора старик»...

24

Ему хотелось жить.

Ему очень хотелось жить.

А ноги все ныли. И боль с каждым днем становилась все невыносимее. Боль поднималась снизу вверх. Медленно, но неуловимо боль ползла вверх. И он понял, что если не остановит ее, то она, добравшись до его головы, отнимет его разум — и он умрет. Самое страшное в том, что сначала умрет разум, а потом — тело. И, потеряв разум, он долго будет метаться в безумстве на беду своим родным и близким.

Нет-нет, этого совсем не нужно.

Дом либо молчал, либо говорил шепотом, словно был тут покойник. Это при живом-то человеке?! Почему все решили, что шум и говор беспокоят его? А ведь шум и говор — это жизнь. Это жизнь, ускользающая от него жизнь. Сначала уходят шум и говор, потом — жизнь.

Нет-нет, не дать жизни ускользнуть.

Тишина. Жуткая тишина. И в этой тишине обостренным слухом охотника он улавливал далекую канонаду на западе. Это война. Воображение рисовало картины войны, и он все видел наяву. Видел, как Земля вставала на дыбы, опрокидываясь навзничь и вновь поднималась. А в ушах стоял грохот войны. Потом всплывало костляво-жесткое лицо председателя Коски Большого и его голос. Ты, Федор-старик, тоже солдат, говорил он. Ты тоже на войне. Ты тоже воюешь с фашистом. Твоя пушнина — это танки, это самолеты, это пушки, это корабли. Это — винтовки, патроны, гранаты. Это — Победа!..

Он и сам понимал: его Победа — это спасенная Земля. Это — спасенные жизни. Ведь там его старший сын и зять и многие воины-солдаты Реки, воины-солдаты родной земли. Поэтому от зари до полночи он пропадал в тайге на промысле. Он спешил, очень спешил. Нужно было сделать как можно больше. Поэтому, возвращаясь на стан за пол-

ночь, не заметил заснеженную полынью и угодил в нее. Ему нужна Победа. Это десятки, сотни, тысячи спасенных жизней. И все это может, оказывается, сделать один человек!

Один!..

И теперь он лежит в своей теплой берлоге и слушает только вопль умирающих ног. А фашист неумолимо ползет сюда, ползет на восток, к его дому, к его рекам и озерам, к его борам и урманам, к его родным и близким, к его очагу, чтобы все это сжечь, растоптать, осквернить!

Нет! Нет! Этому не быть!!!

И в глазах его вспыхивал бешеный огонь.

И теперь сознание, что ничем не сможет помочь Земле и людям Земли, родило огонь бессилия. А после, все усиливаясь, этот огонь охватил все тело, пронзил сердце и душу. И эти два огня, в теле и в сознании, медленно, двинулись друг другу навстречу, чтобы испепелить его, человека. Но он не хотел сдаваться. Искал выход. Знал, что у человека не бывает безвыходного положения. Тем он и отличается от зверя и птицы. Что делать? Как быть?..

Нужно ли такое бытие ему самому и его дому?! Может быть, дотянуться до ружья и в последний раз зарядить его? Или, еще проще, как это делали сильные шаманы в старину, когда истекало время земной жизни, после полуночи, но до восхода Звезды Утренней Зари, остановить дыхание и остановить сердце. Безболезненно уснуть и не проснуться. И люди скажут, что он во сне ушел в Нижний мир. Уйти вот так, побежденным идущей по земле войной, опустошенным огнем и болью?!

Нет и нет! Ни за что!

Проклятая боль! Проклятые ноги! Избавиться бы от них! Выкинуть вместе с болью! Выкинуть? Избавиться? Постой, постой. Выкинуть? Избавиться? В этом что-то есть. Может быть, в этом спасение. Ведь зверь, попавший в капкан, отгрызает лапу и уходит. Если, конечно, он сильный духом. А потом залечивает рану и живет сколько положено. Ему, охотнику, не раз попадались такие звери без одной тапы. Живут же! Неужели зверь сильнее человека?!

Да нет же, нет! Человек сильнее. Только, может быть, не всякий об этом подозревает. У человека разум. У человека душа. У человека сердце. Человек знает, в отличие от зверя, что он хочет и ради чего принимает земные муки, и не спешит в Нижний мир. У человека дом. У человека очаг. У человека, наконец, заостренное железо и огонь...

Да поможет железо и огонь...

Избавиться от боли и выжить можно единственным способом. Есть выход. Единственный. На то ты и человек, чтобы искать и находить. Находить и одерживать победу.

У тебя есть железо и огонь...

Он не хотел умирать.

И поэтому он ушел от людей. И вдали от селения, в одиночестве, ампутировал себе сначала правую ногу, потом левую...

После, когда раны зажили, он вернулся к людям. И показал жене, какие теперь нужны ему кисы для охоты. И она сшила ему кисы-протезы. И он снова вышел на охотничью тропу.

Шла война.

И, быть может, он чувствовал, что без него войну не одолеть...

— Я ездила к нему, — сказала Марина. — Я видела его...

Она немного помолчала, словно припоминала свою поездку.

Демьян не торопил ее. Он понял, что ей все хотелось увидеть своими глазами. Она же медик, а тут такое дело... Наверное, многое ей хотелось сделать. Не только увидеть, но и помочь, как-то облегчить участь человека. А может быть, просто сказать ему какие-то слова.

И вот нашла каюра. Поехала. Долго ехали. Наконец приехали.

Кораль. Заснеженная избушка. Промерзшая дверь.

Он пронзил девушку острым светом своих глаз. Помедлив, сказал глухо:

— Здравствуйте!

Наверное, он мгновение смотрел на нее. Но это мгновение ей показалось вечностью. Шевельнув кустистыми бровями, он уже отвел свои глаза, а она еще долго чувствовала на себе его взгляд. На себе ли, в себя ли. После, много времени спустя, не пройдет это ощущение, что он смотрит на нее.

Между тем он занялся своей трубкой — медленно и как-то особенно осторожно набил ее табаком, затем долго, в задумчивости, держал ее во рту. Потом узловатые пальцы зашевелились — нашли спички.

Вспыхнуло пламя.

Запахло крепким табаком.

Он сидел неподвижно и курил.

Отблески медно-красного пламени чувала освещали его

жесткое лицо. Пламя делало морщины особенно резкими и глубокими, и он, казалось, был выточен из красного камня древности и был таким же древним и вечным, как сама Земля, как звезды, как Солнце и Луна. А может быть, древнее самой Земли, звезд, Солнца и Луны.

Он и огонь. Они смотрели друг на друга, словно в доме они были только вдвоем. Кисти рук тяжело покоились на коленях. Вернее, там, где должны быть колени. Правая рука медленно поднималась и легким прикосновением поправляла трубку, затем возвращалась и поправляла сак, которым было укрыто то, что осталось от ног. Сак подвернут по краям, на всю длину. И, казалось, под ним упрятаны ноги охотника.

Он смотрел на огонь. А огонь клокотал в чувале шумно и басовито, и дом был наполнен говором огня.

И он был в огне.

Огненно-красная седина.

Огненно-красные борозды на высоком лбу.

Огненно-красные впадины щек.

Огненно-сведенные скулы.

Огненно-заостренный подбородок...

Он молча смотрел на огонь. А огонь смотрел на него. Все молчали. Молчала и девушка. Она поняла, что он постиг что-то такое, что недоступно ей. Что-то такое... таинственное, высокое. Быть может, высший смысл жизни. И она вдруг почувствовала себя беспомощным и неразумным дитем...

И тогда она сказала каюру: пора ехать.

Она встала, попрощалась с хозяевами.

Он сказал ей:

— Здравс-твуй-те, девушка!

Он не сказал: прощайте. И, наверное, он был прав. Девушка должна уверовать в то, что будет здравствовать много лет и зим...

Приехав домой на каникулы, сыновья привезли книжку в крепкой коричневой одежке.

— Тут про человека нашей Реки написано, — сказал Микуль, Волнистая Голова. — Про Федора-старика из рода Казапкиных.

Дело было вечером, после ужина. И отец, мастеровивший топоры, сказал:

— Раз написано — читай, послушаем, — и взялся за нож, поскольку руки не должны быть без дела.

И старший начал читать. В книге был описан один эпизод из жизни старика. Тот, военный, который Демьян хорошо знал. Сначала он слушал и строгал. Потом его руки замедлили движение, и он отложил в сторону нож

и топорище. И теперь только слушал. И руки его со следами многочисленных порезов и ссадин, казалось, тоже прислушивались к странно звеневшему голосу сына.

В памяти невольно всплывали картины жизни военных лет и зим...

Смолк сын. Книга все свои слова о старике сказала, понял Демьян.

Дом долго молчал.

Наконец Микуль, встряхнув светлые кудри, тихо спросил отца:

— Возможно ли такое?..

Отец, по обыкновению, помедлил, потом, взвешивая каждое слово, проговорил:

— Было такое дело... Было.

— А больница?! — встрепнулся младший, Юванко. — Там бы все ему сделали. Может, вылечили бы!..

— Хе, в больницу? — удивился Демьян. — Так это дело-то в какие времена было?! В войну еще... Это сейчас, случись что, — вертолеты, самолеты и всякие другие машины тебе! А тогда, кроме оленьей упряжки, мы ничего не знали. Все на оленях.

— На оленях могли его в район отвезти? — спросил Микуль.

— Так дело к весне было. Когда ему стало хуже, распутица началась. А до района-то вон сколько дней надо ехать! Расстояние-то по тем временам не шуточное!

Помолчав Демьян, потом припомнил:

— Председателем колхоза тогда Коска Большой был. Рисковый человек. Большой человек. Тоже из рода Казамкиных. Так вот он, несмотря на распутицу, предлагал на оленях до района. Но Федор-старик наотрез отказался.

— Почему отказался?

— Наверное, о земле думал. Человек чем старше, тем крепче привязывается к тому месту, где родился и вырос. А ведь он мог уехать и не вернуться...

— А почему от людей ушел?

— Может быть, он не хотел сострадания. И не хотел причинить боль своим близким. Иногда в одиночестве легче...

— Это... мог сделать кто-то другой? Не сам, ведь другому сделать... проще, что ли...

— А у кого было такое право?! Кроме доктора, конечно. А доктора не было. Да и то не всякий, наверное, согласился бы в этой-то глуши.

— Чем-то лечился? Что-то у него было?

— Конечно. Разные травы, смолы, отвары грибов. Медвежье горькое, медвежье режущее, медвежья вода*. Да мало ли

* На языке табу: «горькое» — желчь, «режущее» — зуб, клык, «вода» — жир. С клыка скоблили порошок для присыпки раны.

других целебных вещей в наших урманах и борах? Все это помогало ему выжить.

— А как он охотился после?

— Как? Как все охотники. Осенью, по малому снегу, на оленьей упряжке охотился на белок и глухарей. Зимой, по глубокому снегу, конечно, лишь настораживал и проверял потом капканы и ловушки...

— Тут написано: наградили его медалью...

— Это уже по окончании войны. Оказалось, что он очень помог фронту — сдал много пушнины в военные годы.

— После войны он долго охотился?

— По-моему, не очень долго. Может, год-два. Может, больше. Как только кончилась война, здоровье его пошло на убыль, труднее ему стало. Главное, он выиграл войну. Тут и старшие сыновья его второго дома*, Спиридон и Сидор, стали подрастать, на охоту стали ходить.

— В книге еще Сухинин есть...

— А-а, это из района, Сухинин. В войну он главным по пушнине был. Все хорошо помнят его. Тогда он среди охотников дневал и ночевал. Помнят до сих пор...

Микуль, задумчиво глядя на книгу, сказал:

— Помню, когда я был еще совсем маленьким, старшая тетушка, Федосья, шила странные кисы — без носка, подошва круглая такая. Я не мог понять, для чего такие кисы. Меня брало любопытство, и я приставал к ней с расспросами. Она говорила: «Для папы шью». А взрослые шикали на меня, чтобы я не приставал к тете с глупыми вопросами. А я ничего не мог понять. Выходит, она шила для него?..

— Да. Она старшая дочь от его первого дома. Была замужем за моим старшим братом, которого звали Никитой. С войны он не вернулся...

— Значит, мы родственниками были...

— Да, родственники.

Помолчали. Потом Микуль проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Как он все-таки решился? Это, должно быть, так... — и он не договорил.

— В нем была необыкновенной силы жажда жизни. Эта жажда жизни, думаю, помогла ему, — тихо сказал Демьян. — И опять же война... Войну надо было одолеть...

— Я бы, наверное, не смог... — признался Юван. — Духу бы не хватило...

— Все это... человек обретает с годами, — сказал Демьян.

— Откуда ты так хорошо знаешь его жизнь?

* Второй дом — второй брак после смерти первой жены.

— Откуда?.. Я думал о нем... — сказал Демьян. — Впрочем, это знают все люди моего поколения. Ведь на одной Реке живем, одной жизнью живем...

Замолкли сыновья.

И Демьян осторожно, словно переполненный сосуд, взял заскорузлыми пальцами книгу, поведавшую о судьбе его родственника и земляка другим поколениям.

Ампутированные конечности сохранялись в кожаном мешке в укромном углу лабаза. И когда он ушел из жизни, по его завещанию, он взял их с собой.

По поверью ханты, без какой-либо части твоего тела тебя не примут в Нижнем мире до тех пор, пока не разыщешь потерянное.

Как и при жизни на земле, в Нижний мир человек должен являться без всяких потерь, сохранив человеческий облик.

25

Демьян, поговорив со Спиридоном о житье-бытье людей верховья Реки, об урожае на зверя-рыбу, попрощался и проводил его в дорогу. Затем вытащил из-под сиденья мешок и проворно, чтобы впустить меньше холода, открыл дверь и перешагнул порог магазина. И неторопливо, припоминая все заказы жены, покупал необходимые товары. А на остаточные деньги с болью, ворохнувшей грудь, попросил водки.

— Демьян Романыч! — удивилась продавщица. — Что с вами?!

— Так у меня гости приехали, искатели, — пробормотал Демьян. — По-русским обычаям встречать их надобно. Гости все же...

— Да они сами кого угодно упоят. Упоят да еще и оберут, — загремела продавщица. — Всякие там среди них, знаю...

— Не-е, эти не такие, по-моему... — вставил Демьян.

— Ну, сам гляди!.. — сказала она и выставила на прилавок бутылки.

Было ей чему удивляться. В отличие от своих сородичей, Демьян не проявлял интереса к дурной воде, почти не покупал ее. Правда, иногда, очень редко, выпивал. Выпивать выпивал, но потом несколько дней ходил сам не свой, с дурной головой. В такие дни он не чувствовал себя человеком. И зверем себя не чувствовал, ибо звери не пьют. А так, превращался в ничто, в пустоту. А земные дни — они так хороши! — не хотелось попусту убивать

дурной водой — водкой. Ведь они не вечны! У них есть предел. Тем более, что у него всегда находились дела поважнее, чем вино.

Но теперь, увидев в магазине бутылку, он подумал, что, быть может, это есть та вода, что способна утолить его жажду-боль в груди. А жажда-боль все не проходила, все мучила его. С этой жаждой-болью он поехал в школу-интернат проститься с сыновьями. И сыновья, как это принято у всех интернатских детей, навязывались проводить отца. Встали на правый полоз нарт — на сиденье были сложены покупки — и проехали до скотного двора возле речушки Лархи, за окраину села. Там Демьян попрощался с ними, сказав, что после охоты, коли будут живы-здоровы олени и сами, съездят сюда всей семьей. И мать, и сестры приедут. Раньше этого срока пусть не ждут. А коль кто из них, сыновей, заболеет вдруг или что другое случится, пусть об этом через путников слово-весть родителям пошлют. Тогда он приедет до срока.

Он видел лишь глаза сыновей, полные отчаянной тоски, будто навсегда прощаются с отцом. Они глазами вцепились в отца. Старший, Микуль Волнистая Голова, еще крепился. А младшенький, Юванко Айи, не выдержал. Когда отец тронул упряжку, он беззвучно заплакал. Перед мысленным взором Демьяна долго еще стояли тоскливые глаза сыновей. И он решил, что дома, когда станет рассказывать о поездке, не стоит говорить о слезах младшего сына. Горечь разлуки жжет и отцовскую душу, а материнской каково?!

Олени резво бежали в сторону дома.

И теперь, простившись с сыновьями, Демьян опять остался один на один со своими думами, со своей черной жаждой-болью. «Побыстрей бы к искателям, что ли, — думал он. — Может, дурная водица уймет боль и жажду. Для гостей ведь купил».

Он сидел ссутулившись, вжавшись в нарту, и глухо, застуженным голосом затянул наконец унылую песню. Но песня не пошла. Она вызывала жалость к себе, оленям, таежной земле и звездам. И от жажды-боли, от мыслей об искателях и дурной воде будто он сам постепенно опьянел. Ехал он в сером тумане. И туман был то теплым, то холодным и колючим. Полоса колючего тумана больше всего ударяла в голову. Но оленей не забывал. Останавливал их на кормежку, поправлял лямки, чтобы удобнее было тянуть тяжелую нарту. Костер не разводил — есть не хотелось.

Ненадолго заехал к сестре Матрене, передал мешочек с сахаром. Сказал, что дети их селения живы-здоровы — родителей ждут. Выпил чаю и простился с домом. По-

удобнее пристроил хорей на левой руке, пустил оленей по дороге и задремал. И привиделся ему Седой брат, который два дня назад проехал по этому зимнику. Как он добрался до своего зимовья? Не слег ли олененок Черное Диво? Вот если бы ехали вместе, несмотря на груженую нарту, Демьян помог бы довезти часть его вещей. Хотя бы до развилки. А может, и завернул бы к нему — давненько там не бывал.

И пошли думы о Седом, припомнились многие его чудачества. Впрочем, по всей Реке ходили о нем разные легенды. Так и сяк судили-рядили о нем. А позже, когда геологи поставили свой Нефтереченск, Седой зачастил туда. «Там чуть ли не каждый первый его приятель», — скажет Река. Но его неприкаянную душу поняла лучше других одна молодая геологиня. В ее кухне, в углу, за столом, у него было как бы свое персональное место. И они, усевшись друг против друга, начинали разговор. И однажды, когда Седой пропустил две или три стопки и внимательно взгляделся в собеседницу, увидел, что она как две капли воды похожа на Яну, полячку, которую он встретил в польском местечке, отбитом у немцев в сорок четвертом году. Так же вот сидели за столом тогда, там. И Яна что-то щебетала, порхала, куда-то вылетала и снова возвращалась. Он, уловив одно знакомое слово, пробормотал:

«Пан так пан!»*

Голова шла кругом не от трофейной водки, которой, прежде чем заправить фляжку, изрядно успел хлебнуть, а от близости Яны, блеска ее глаз, ее щебета. Он все больше пьянел, глядя на нее. И вспыхнула в нем жажда любви и жизни. А времени в обрез, надо спешить. Он не знал, когда снимут батальон и когда, если этому суждено быть, его убьют. И то и другое могло произойти в любое мгновение. Времени в обрез. Поэтому медлить нельзя. Пронеслись сумбурные мысли, что любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь. Любви и жизни. Медлить нельзя. Но ему не хотелось, как это делала рота при взятии селений и городов, брать ее молча, без лишних слов. Хотя насмотрелся всякого, и ко многому пора привыкнуть, но душа протестовала. Разве можно прикоснуться к дочке лесной богини? Без ее ведома!.. Он называл ее дочкой лесной богини**, как только столкнулся с ней. Не в силах

* «Пан» по хантыйски «клюква».

** В хантыйской мифологии это местные боги черных урманов. Богини отличались особой красотой и статью и нередко очаровывали и уводили к себе молодых охотников.

вымолвить слова, он долго молчал. Потом, не отводя взгляда от чарующего бледно-неземного лица ее, он сказал ласково: — Женщина место да-ай!..

И теперь, вспомнив лицо Яны, он вернулся в сорок четвертый год, в польское местечко, отбитое у немцев. Ему двадцатый год, он молод и силен. В нем горит огонь любви и жизни. А Яна так близка, так мило улыбается. Он чувствует ее тепло. Он чувствует ее дыхание. Ах, Яна, Яна! Любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь. Ты знаешь это, Яна? Ты помнишь это, Яна?.. Любви и жизни. Может, завтра нас не будет. Но сегодня мы еще живы, живы!..

И он сказал ласково:

— Женщина место да-ай!..

Яна-геологиня не поняла. Или сделала вид, что не поняла. И тогда он повторил. Но повторил не словом, а жестом. Да, теперь поняла. Яна молчит. Что-то долго молчит. Где же ее рука?.. Лицо Яны порозовело, и вдруг она закричала:

— Володя, ты знаешь, что он просит?!

Они же вдвоем — он и она, Яна. Откуда взялся Володя? Какой еще Володя? Командир взвода? Ткаченко Володя?.. Но его же убило. Убило утром, когда штурмовали это самое местечко. Он бежал впереди Ефима. И Ефим видел, как он упал. Подбежав, убедился, что командир в помощи не нуждается — полголовы снесло разрывной пулей. Так погиб Ткаченко Володя. Хороший был парень. Кубанский казак...

Но реальный Володя зашуршал в комнате газетой, лениво отмахнулся:

— Так дай, что там просит. Жалко, что ли.

— Жалко?! — взвилась геологиня-жена. — Что ты там мелешь! Иди хоть сюда!

— Без меня, что ль, не можете, — проворчал Володя. — Поди-ка не хватает у мужика на бутылку...

— Кабы на бутылку просил... Жену из-под носа уведут — не заметишь!

Наконец явился-таки Володя и, уяснив, в чем дело, якобы взащеи вытолкал незадачливого кавалера. По другой версии, муж геологини, человек с чувством юмора, все обернул в шутку. Посмеиваясь, похлопал Седого по плечу — ай да старина! О ревности нечего было вспоминать, ибо Седой с белой лохматой шевелюрой выглядел глубоким старцем. Только глаза, мгновение назад видевшие военную подругу сорок четвертого года, молодо искрились...

В думах о брате Седом, между сном и явью, проехал Демьян Малое Болото и сосновый бор людей рода Лося. Затем начался горельник Лысой Головы. Дальше, в сторону низовья, пошли земли разных ветвей Медвежьего сира. Его сира, ягельники его оленей.

Вожак Вондыр спешил домой — там ждали усталую упряжку отдых и сытная пища. Ягель родного бора вкуснее, чем ягель чужих боров и болот.

Торопилась Пеструха — скушает по ней сын, резвый олененок Пев. С нетерпением ждет и хозяйка. Она уже приготовила для своей любимицы лакомство — поджаренную на открытом огне хрустящую рыбу.

Важенка Пирни тоже старалась не отставать от вожака Вондыра и Пеструхи. Дом для нее — конец нелегкого пути, покой и отдых на несколько дней.

Торопясь к дому, упряжка дружно тянула нарту.

Демьян просыпался, разлеплял отяжелевшие веки, оглядывал местность — далеко ли отъехал, скоро ли будет дом. Мысль о доме приводила к думам о новых соседях, искателях горючего жира земли. Думы будили жажду-боль в груди. И теперь искатели и жажда-боль вместе наваливались на него, пьянили. Сам не знал, прикладывался к бутылке или нет. С болью думал об искателях. Перед глазами те двое, на Родниковом озере. На первый взгляд, так круглоликий Семка вроде бы добряк, без всяких шероховатостей и кривулин. А что у него на душе — неведомо. Такие времена пошли — многое становится с ног на голову. Думаешь про человека одно, а он оказывается совсем другим. А про второго искателя, кучерявого, с чудным именем Поля и вовсе сказать нечего. Тот все больше вокруг оленей ходил, на хозяина упряжки почти не обратил внимания. Но Демьян все эти дни ловил себя на мысли, что где-то его видел, когда-то с ним встречался. Какие-то до боли знакомые черты есть в его лице, во всем его облике. Какие именно черты, он точно не мог сказать. Все не очень ясно, все в тумане. Где и когда видел — не смог припомнить. Хотя на свою память не жаловался — она еще никогда не подводила охотника. Она натренирована десятками лет жизни в тайге, где без хорошей памяти никак не прожить, никак не увидеть удачи на охоте, на рыбной ловле и в других больших и малых делах.

Где и когда встречался с этим человеком?! И почему черты его лица вызывают боль и смутную тревогу?! Может, просто на кого-то похож искатель? А на кого?! И где видел человека, которого напоминает искатель?!

Где?! Когда?! При каких обстоятельствах?!

В тайге-то ведь и проезжих и прохожих, особенно в донефтяные годы, немного было...

И он снова, в который уже раз, начинал, как сквозь сито, просеивать события недавнего прошлого. Хотелось-таки ему выискать место там этому парню-искателю: кто он и кого он так напоминает. Но при этом прокручивал в памяти встречи с мужчинами, полагая, что женщины здесь ни при чем. И, во-вторых, он припоминал только те годы, что приходились примерно на юность и взрослую жизнь искателя. А в глубь времени он память не пускал. Намеренно не пускал. Считал, что искать там нечего. Хотя подспудно, еще неосознанно он чувствовал, что, быть может, там нашел бы ключ к таинственному искателю. Он знал, что корни настоящего очень далеко уходят в прошлое и, возможно, еще дальше уйдут в будущее. И, если хорошо поразмышлять о прошлом, то можно многое понять в настоящем и в будущем.

Корни все земное и небесное связывают воедино.

Правда, они могут так переплестись меж собой, что потом не всякий в них разберется.

И у молодого искателя, конечно, есть свои корни...

И у начальника искателей Медведева есть корни. Есть корни и есть наземные и небесные машины. Хороши машины, если они помогают человеку жить. Одно только плохо — у них нет головы, они не могут думать. А если попадут в руки бездумных, безголовых — тогда беды не миновать! Как с ними ладить?! Как? Ведь человек должен думать и за себя, и за машину...

Не найдя ответа на многие мучившие его вопросы, он останавливал упряжку — олени переводили дух, а он встряхивался от своих дум. Потоптавшись возле нарты, он снова пускался в путь. Ехал и дремал. Он ехал на запад, в сторону Звезды Вечерней Зари. Потом просыпался, и мысли его устремлялись, обгоняя нарту, на запад, в глубину прошлых лет. И вспоминалась та послевоенная поездка вниз по течению, на обласе, на веслах, с девушкой-медиком Мариной.

Она до сих пор жила в его памяти. И время бессильно перед ней. Она все так же молода и красива, как и много лет назад. Как туго натянутая струна. Упругая, ладная и... таинственная. Тронешь эту струну и по сей день не знаешь, что услышишь, какой будет отзвук...

Напоминала она и дождинку, что пришла с неба, перекатывалась по деревьям, по листьям, по травам — меняла форму, но оставалась по-прежнему загадочной и непознанной. Она приходила с неба, и это небо было то веселым, то грустным, то пугающе мрачным. И была то холодной, то теплой, то обжигающе горячеей.

И теперь, когда размышлял о ней, поднялась в нем волна тревожно щемящей грусти и печали.

И под шум дождя они приняли ночь.

Ночь была такой же сырой и мокрой, как и небо. И не грела волглая одежда, и сон не шел, и тепло было где-то... И Демьян не то подумал, не то сказал вслух: «Как рука?», ибо в последнее время уже не замечал, когда размышлял про себя, а когда говорил вслух. «Как рука?» — быть может, спросил он. Быть может, подумал. И нашел ее руку. И положил свою шершавую ладонь на перебинтованную кисть ее руки. И к нему пробилось тепло ее руки. Но держал он руку свою бессознательно, держал как инструмент, снимающий боль. Где-то в подсознании осталось, что чужая рука «снимает» боль. Особенно рука любящего тебя человека оказывает самое сильное действие. В детстве, бывало, если у него что-то болело, взрослые прикладывали к этому месту руку. И чем больше любишь этого человека, тем быстрее затихнет боль и тем быстрее он засыпает. Лучшее всех головную боль снимал отец. Ладонь его была и теплой, и шершавой, и тяжелой... Демьяну теперь показалось, что и его рука снимает боль. Он лежал неподвижно, тихо, прислушиваясь к чему-то, словно пытался уловить мгновение, когда боль оставит ее руку. Он лежал и ждал этого мгновения. И вдруг он почувствовал, как ходит кровь в ее руке. А потом уловил биение ее сердца. Оно билось так же, как и его сердце, — трепетно и гулко. Он не дышал, замер на миг, не поверил. Но тут услышал и, услышав, убедился — их сердца бьются в унисон, совсем-совсем одинаково. Будто одно сердце на двоих. И, уловив это, он понял — опять бессознательно, — что теперь можно прикоснуться к тем головокружительным линиям, что он видел на песке в жаркий полдень, что снились ему ночью и в кругу которых он витал, быть может, целую вечность, а возможно, был всего одно мгновение. Теперь можно прикоснуться к удивительно чистым линиям, ибо одежда, скрадывающая и убивающая красоту, сейчас никакой роли не играет. Он ничего не успел сообразить, ни о чем толком не успел подумать — руки уже прикоснулись. Сначала левая, затем правая. В другое время он бы ужаснулся ловкости и смелости своих рук. Это были его руки и одновременно не его руки. Не его руки, ибо они живут многие десятки веков, живут с самого рождения человека и знают все, что постигли все поколения предков: и любили, и ласкали, и говорили, и требовали, и познавали, и восторгались, и безумствовали, и... Руки делали многое. Руки могли все. И после, спустя многие годы и десятилетия, он будет удивляться памяти своих

рук, ибо выяснится, что они ничего не забудут. Они запомнят все до самых малых и, казалось, незначительных подробностей. Но незначительного нет — все будет значительно. Придет время — и с помощью памяти рук он восстановит многое. И, быть может, ему захочется кое-что позабыть из сделанного им в жизни, возможно, найдутся кое-какие мелочи, но эта память не позволит ему ничего. Это — после. Теперь же он прикоснулся к изумительной линии ее бытия. Прикоснулся и вздрогнул. Быть может, это вздрогнула она. Быть может, они вздрогнули вместе. Быть может, вздрогнула Вселенная. Вздрогнули... Он почувствовал, что формы и линии ее быстро накалялись. Сначала были теплы, затем жарки. А потом местами огненно накалились. И ему безумно захотелось в одно мгновение сгореть — испепелиться в ничто, исчезнуть с лица земли, сгинуть неведомо куда. Сгореть. Испепелиться. Исчезнуть. Сгинуть. И в безумном восторге необъятный мир вдруг сузился до крохотного клочка земли. Потом земля ушла — и они остались вдвоем. Он еще чувствовал, как ее тепло входило в него. Сначала тепло, потом — жар, после — огонь. Безумный огонь любви и жизни. И он понял, что загорелся и горит. И она также загорелась и горит. Они горели вдвоем. Они горели в яростном переплетении неистовых линий. И, теряя ощущение реальности, в последнее мгновение, он понял, что это — самые совершенные линии, верх совершенства. И в соприкосновении с ней становились лучше и линии его мыслей, его дел, его жизни и всего окружающего их мира. Она приподнимала все, к чему прикасалась. Приподнимала или низвергала в бездну. И он не успел осознать — воспарил в неведомую высь или рухнул в бездну. Может быть, крайности сошлись — и это было одно и то же и уже не имело значения: высота или бездна... Единственное, что он еще успел сообразить, это мгновение изменения мира. Вот оно настоящее мгновение изменения мира. Настоящее мгновение жизни и любви. Мгновение жизни и смерти.

Мгновение изменения мира...

Потом остался один огонь. Огонь безумия. И больше — ничего...

Ни морозящего дождя.

Ни глухо шепчущей тайги.

Ни вздыхающей реки.

Ни неба.

Ни солнца.

Ни ночи.

Ни звезд.

Никого...

Ничего...

Ехал Демьян на запад, в сторону захода солнца. Ехал и гнал от себя плохие мысли об искателях. Человек он спокойный, уживчивый. Сколько людей перебивало на его уголье — со всеми ладил. Что ему с ними делить? Они на нефть охотятся, у них свое дело, у Демьяна — свое. Он не мешает им, и они пусть ему не мешают. Больше ему ничего не надо. Места на земле всем хватит... Вот нынче летом увидел на пастбище след медведя. Зверь пересек оленью тропу и ушел в приречный кедровник — видно, лежку там устроил. Судя по следу, зверь старый, матерый, внушал доверие, и Демьян не стал его тревожить, попросил только:

«Пупи-ики*, ты оленей моих не трогай, слышишь! У меня мало оленей. Нет у меня для тебя лишнего оленя, слышишь?! Если вздумаешь грешить, я прогоню тебя отсюда. Слышишь, что говорю?!»

И медведь все лето жил на пастбище, но оленей не тронул. Даже не гонял их. Морошкой и брусникой питался. Поладили!

И с мыслью, что поладит с родственными искателями, он опять задремал. Проснулся, когда упряжка сошла с дороги и начала копытить снег.

— А, есть хотите, — сказал он и распряг оленей, чтобы им удобнее было разгрести снег. — Поешьте хорошо, нарта тяжелая.

Он сел на нарту лицом на восток и смотрел на звезды. Все звезды были на месте, нет только Звезды Утренней Зари. А она не скоро еще взойдет. Помнится, в детстве он долго не мог найти эту звезду. Если рано вставали, отец обычно просил:

«Сходи посмотри, возшла ли Звезда Утренней Зари?»

«Заря возшла, а звезды нет! — отвечал он. — Там много других звезд».

Они вдвоем выходили из зимовья, и отец говорил:

«Вот же Звезда Утренней Зари. Без нее заря не взойдет. Если возшла заря — значит, ее Звезда уже над ней. Это главная звезда дня».

«Если не взойдет Звезда Утренней Зари, значит, и зари не будет?» — спрашивал сын.

«Конечно, не будет».

«И солнце не встанет?»

«Без зари и солнце не встанет».

* Пупи-ики — медведь-старик. Уважительное обращение.

«И день не придет?»

«Выходит, так — и день не придет».

Сын долго смотрел на волшебную Звезду Утренней Зари и как-то тихонько прошептал отцу:

«А если... Звезда Утренней Зари обидится на кого-нибудь или заболит вдруг?.. Что тогда будет?!»

«Что, что — как заболит?» — не понял отец.

«Ну, это... не взойдет она вдруг?.. Что тогда будет?!» Отец не сразу нашелся, что ответить.

«А мне так нравится, когда светло! — говорил сын. — Так солнцу нравится!..»

Немного помолчав, отец сказал:

«Так не будет. Никто не должен обижать Звезду Утренней Зари, тогда она не заболит и всегда будет всходить. — Он снова помолчал, потом добавил: — Хороший человек никогда не обидит, а плохого надо вовремя остановить. Слышишь?»

«Слышу, — ответил сын, после паузы сказал: — Теперь я запомнил Звезду Утренней Зари. Теперь я не спутаю ее с другими звездами».

«Другие звезды тоже нужны небу и земле. Каждая звезда на своем месте. Каждая звезда делает свое дело».

«Звезды похожи на людей? У них есть дела?»

«Да, звезды как люди. Ведь все от человека пошло. Я еще не рассказывал тебе сказку Солнца и сказку Луны. Вот как-нибудь расскажу. Длинные-длинные сказки-легенды...»

Он не успел рассказать сыну сказку Солнца и сказку Луны. И о Млечном Пути — о Пути бога-охотника — тоже не успел рассказать. Он многое не успел сделать из того, для чего был рожден. Но с годами Демьян понял, что главное дело своей жизни он все-таки сделал. И братья тоже сделали свое дело. И хотя после них не осталось кровных родственников, но Демьян на этой земле не сирота — нет, не сирота.

Размышляя об отце, он видел, как тот принял пулю там, в Берлине, в конце апреля сорок пятого, за несколько дней до Победы. Пуля ударила в грудь — и отец приложил к ране левую руку. И, замерев, мгновение стоял, неподвижно. Потом задрожали ноги, и, медленно приседая, развернул туловище с трудом, по солнцу, на восток. И, машинально отведя правую руку с винтовкой, чтобы не повредить оптику, опустил ее наземь. Лежал головой на восток, в сторону дома. Сквозь пальцы левой руки тепло его тела уходило в сырую землю чужой страны. Все. Это конец его пути. И потускнел взор, и улетучилось его тепло. Но сознание еще работало. И последним усилием воли, напрягшись до предела, он еще долго держал одну

мысль. Мысль, что пуля, которую он принял в себя, уже никого не сможет убить. Эта пуля не сможет лишить жизни его кровинушку, его младшенького, теперь его единственного сына там, дома, на далекой родной Реке. Туда ни одна пуля, ни один осколок не долетит. Не долетит. Не лишит жизни... Так... Так...

Он все принял на себя.

Но в темноте, в ночи, его сын, Демьян, вспоминая отца, почувствует, как пуля пройдет по телу. Пройдет медленно, оставляя огненно горящий след. Останется рана, чуткая к пронизывающей стуже зимой и одуряющему зною в летнюю пору...

Так пуля, что вошла в грудь отца в Берлине в апреле сорок пятого, прошла и по его сердцу. Но пуля не лишила жизни, нет. Эта рана еще больше закалила его в ненависти к войне и любви к миру.

После, когда его младшего сына Ювана призовут в армию, в городе, в районном центре, старый военком приведет будущих солдат к Вечному огню на центральной площади, где на белых плитах высечены имена воинов-земляков, павших на полях Великой Отечественной войны. Он молча отыщет свою фамилию. Вот дед и дядя. Молча постоит перед ними. Потом молча, по одну и по другую сторону Вечного огня, обойдет ряды плит с именами погибших солдат:

Айваседа Меру. Река Аган.

Ганжеев Аристарх Александрович.

Ганжеев Сидор Степанович.

Ганжеев Федор Иванович.

Ганжеев Петр Никитич.

Ганжеев Григорий Абрамович.

Епаркин Иван Павлович. Аганские и обские. Все.

Катесов Михаил Петрович.

Катесов Яков Ефимович. Это река Пим.

Каюковы...

Курломкин...

Когончин...

Коголкин... Река Юган.

Кинямины... Сколько их? Четверо. Малый Юган.

Киприяновы...

Кунины...

Лемпины... Это Салым. Салымские люди.

Лисманов Алексей Васильевич.

Лисманов Петр Васильевич.

Лисманов Егор Васильевич.

Лисманов Прокопий Васильевич.

Лисманов Денис Григорьевич.

Лисманов Киприян Дмитриевич. Четверо братьев.

Двое других — тоже родственники. Да. Это устье Агана.

Лянтины... Четверо. Опять Юган.

Сколько их? Сколько их на каждую букву... М, Н, О, П...

Покачевы... Шестеро. Егор и Павел. Спиридоновичи. Должно быть, братья. Антон Степанович. Иван и Яков, Ефимовичи. Тоже братья. Дмитрий Семенович. Реки Аган и Тромаган. Там и там живут люди этого рода, рода Лося.

Пяк Тюсели.

Пяк Поинтма. Это ненцы. Жили в верховье Тромагана.

Рынков...

Рымовы... Салым.

Сопочины... Роман, Андрей, Петр... Степановичи. Должно быть, братья. Тромаганские. Из рода Лося.

Салтыковы...

Тайбин...

Юмсанов...

Юсипины...

С каких рек? Из каких родов-сиров? Остались ли у них родственники на этой земле? Вспоминают ли их?

Припомнятся родственники, что вернулись с войны. Дядя Василь теперь определяет ненастье не по народным приметам, а по фронтным ранам. Его имени в этом списке нет.

Он вернулся. Он жив.

Нет здесь и имени дяди Ефима, Седого. От тоже жив. Коль он войну одолел, считают многие жители его родной Реки, так уж ничто его не возьмет. Во всяком случае, в ближайшие годы. Видно, сам Черный дух Подземного царства побаивается бывшего фронтовика.

Юван пока не знает, как уйдет из жизни его дядя, Седой. А уйдет он неожиданно. Неожиданно для всей Реки. Поедет неводить на Большой Урий с соседом, у которого есть упряжка оленей. Он бодро возьмется за привычное дело — выдолбит лунки, вычерпает ледяное крошево, приготовит шесты и невод. Но к полудню вдруг почувствует слабость. Сосед уложит его на нарту. Дома он откажется от чая и пищи.

«Давай в поселок, врачам отвезем!» — забеспокоится жена.

«Нет, — откажется Седой. — Никуда не поеду».

Помолчит, прикроет глаза и ясным голосом добавит:

«Кажется, все...»

В тот же вечер его не станет. (Это случится в феврале 1984 года.)

Так Река потеряет своего последнего воина и последнего певца.

Юван вспомнит рассказ коренного русского старожилы Алексея Ивановича Сорокина о том, как провожали на фронт Айваседа Меру, чьим именем открывается список

павших. Пока катер с мобилизованными воинами огибал поворот Реки, родители и родственники Меру на обласах по волокам-перетаскам догоняли его. Лихорадочно гребя, плыли за катером. Прощались. Махали руками, что-то кричали, плакали. Потом отставали. Но за следующим поворотом снова показывались их согнутые в беге, волокущие обласа фигурки. Так шли за катером до тех пор, пока не вымotalись вконец на долгих волоках.

Поименно названные и безвестные, павшие и живые...

Да разве возможно объять необъятное?! «Сколько рек в этом и в остальных семи районах края? А на тех реках сколько людских родов-сиров», — придет мысль Ювану... Спустя годы в другом районе, при других обстоятельствах его брат Микуль, пораженный, остановится у белого обелиска: у этой небольшой реки Назым война взяла более двухсот жизней. Словно надеясь увидеть силу и упорство выстоявшего против войны людей Реки, Микуль обведет взором село, печальную гладь воды, темный урман на увалах противоположного берега...

Сколько людей потеряла Земля!

Те, кто заживо сгнил в казематах и рудниках, кто погиб на эшафотах и баррикадах, кто до последнего дыхания шел со знаменем Октября, кто умирал в тифозных бараках, кто вколочен в вечную мерзлоту Заполярья, кто падал на поле брани в гражданскую и в Отечественную, все, кто выжил и кто не выжил в этой беспощадной борьбе за свободу и жизнь человечества, все они, павшие и живые, вызывали у Демьяна трепетно-священное чувство...

Это его чувство потом унаследуют его дети...

Тут Демьян очнулся от воспоминаний и запряг оленей.

— Ехать, ехать пора, — говорил он вожажу Вондыру. — Вот дорога, ты лучше меня ее знаешь. Иди по ней, домой иди. Там нас ждут. Вера и Таисия ждут. Мы им гостинцы везем. Обрадуем их. И хозяйка ждет. И Воки Хор ждет. И маленький Пев ждет не дожидется мамы Пеструхи. Он мал еще, поэтому скучает. А когда родился, совсем махонький был — вот и назвали Певом, сосновой шишечкой. Теперь-то он немного подрос... И Харко нас ждет, возле конуры сидит и на дорогу смотрит. А как скрип нарты услышит, сразу всех домашних лаем обрадует. Он раньше других о нашем приезде узнает. И бестолковая Кутюви тоже ждет, тоже скучает. Она еще молодая, со временем и она поумнеет. Не все же ей быть бестолковой, как думаешь, Вондыр?.. Быстро не будем ехать, тихонько-тихонько — нарта у нас тяжелая. Но чем ближе к дому,

тем нарта легче станет. Это всегда так бывает ближе к дому.

Он укоротил ремень, которым Пеструха была привязана к лямке Пирни, сказал красавице важенке:

— Знаю твою привычку, Пеструха, — как начнем к дому подъезжать, ты станешь рваться вперед, тебя трудно остановить. Не терпится к сыну Певу. А тебе нельзя так рваться, ты должна сейчас спокойно ходить. Куда денется твой сын — он дома. Хозяйка его любит, оберегает. Хозяйка его подкармливает, как и тебя. Еще и Звезда Утренней Зари не взойдет, как мы домой приедем. Все, наверно, спать будут, но их поднимет Харко — даром что старый, а уши еще чуткие, далеко слышит. Может, и не столько слышит, сколько чувствует наше приближение к дому... Так, Пеструха, ремешок твой я укоротил — вперед Вондыра да Пирни не забегай, дорогу у них не отбирай. Понимай меня — не станешь им мешать, так быстрее доедем, скорее сына увидишь.

С этими словами он тронул упряжку. Вожак Вондыр уверенно взял темную нить дороги. Он шел, прислушиваясь к голосу хозяина, который разговаривал со звездами и оленями.

Казалось, во всей Вселенной не спали только звезды и человек.

Демьян ехал на запад, в сторону, куда уходит солнце. Там Звезда Вечерней Зари. А Звезда Утренней Зари осталась за спиной, позади. Но и на запад ему хорошо было ехать: его многое связывает с этой стороной света. Именно в том направлении много лет назад он плыл с той удивительной девушкой и впервые в жизни надолго потерял свою голову. Потом немало лет и зим мысль его ходила только одной дорогой, вниз по течению, куда уехала его девушка...

Там, на западе, на далеких землях покоятся его братья и отец.

Там, за далью снегов и лесов, его Москва, голос которой он слушает по вечерам. Чем дальше по времени, тем меньше у него шансов побывать там. Это он понимает. Но, может быть, такая возможность будет у его детей?! И он глазами своих детей увидит то, что не удалось ему в жизни увидеть самому! Ведь их тропа должна быть намного длиннее, чем родительская... И придется им размышлять о судьбах людей Севера*, о судьбах края белых снегов и метелей, жестоких буранов и холодов.

* По данным переписи населения на 17 января 1979 года: ненцев — 30 тысяч, ханты — 21 тысяча, чукчей — 14 тысяч, иганасан — 900, юкагиров — 800, алеутов — 500, негидальцев — 500. Всего народов Севера — 158 тысяч человек (включая коренные народы Дальнего Востока).

А Север так юн!

А Северу так нужно ра́сти!

Север должен решать свои проблемы. А проблем накопилось немало. Его сын Микуль вспомнит рассказы старожил о времени грандиознейших преобразований. О том времени, когда все дела Севера находились в одних руках, изучит множество документов. В 1924 году был создан Комитет Севера при Президиуме ВЦИК под председательством П. Г. Смидовича. Главная задача: «Содействие планомерному устройению малых народностей Севера во всех отношениях». Развернули работу комиссии: административно-правовая, хозяйственно-финансовая, научно-исследовательская, оздоровительная и просветительная. Функции Комитета состояли в изучении экономики, культуры и современного положения северных народов, в разработке и проведении мероприятий, необходимых для экономического и культурного подъема народов Севера, и в наблюдении за выполнением этих мероприятий на местах. Десятилетие спустя, в тридцать четвертом, в связи с упразднением Комитета Севера, его функции были возложены на Главное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР под руководством академика О. Ю. Шмидта. Большую роль в проведении политико-воспитательной работы и привлечении коренных северян к социалистическому строительству сыграли Политуправление Главсевморпути, а на местах — политотделы. После, по прошествии лет, Микуль с любопытством перелистает книги, изданные этим управлением для жителей Севера. Литература на самые разные темы. Тут и политическая, и учебная, и художественная, и научная. И все в основном на языках этих народов. Он увидит на совесть срубленные фабрики и культбазы, снабженные всем необходимым для нормальной жизни человека. Увидит школы-интернаты, медпункты и больницы, оборудованные по последнему слову науки тех лет. Все тогда делалось добротнo, по-хозяйски, на долгие годы.

Но главное — во всем, что сохранилось с тех времен — он почувствует и увидит трогательную любовь к Северу и северянам. Все отмечено этой печатью, неподвластной годам. Многие из тех, чьими руками все создано, уже оставили землю. Но творения их рук и сердец все еще служат людям. И, наверное, будут служить еще немало лет и зим...

Микуль вспомнит те годы преобразований Севера. Призадумается. Куда все ушло? Где эта любовь к земле и к людям?

Припомнятся Микулю и ханты Васьюгана, левого притока Оби. В 1924 году тот район, Александровский, был передан в подчинение Томскому округу Сибирского

края. Более полувека спустя окажется, что они почти полностью утратили родной язык и духовную и материальную культуру. Ибо в пяти районах Томской области, имевших статус национальных, не велось преподавание родного языка в школе, никто не занимался вопросами развития и сохранения культуры коренного населения. Ученые Томского университета ездили за научным материалом в соседний автономный округ, где только-только начало налаживаться преподавание родного языка в школе и возник интерес к национальной культуре.

Есть вопросы, требующие ответа.

Ну а кереки — народ Тихоокеанского побережья. Народ в восемь человек! Есть ученые. Об исчезающих растениях пекутся ботаники. Об исчезающих животных и птицах — зоологи. Об исчезающих насекомых — энтомологи. А кто печется об исчезающих народах?! Врачи?! Но он отвечает только за здоровье человека. Есть ли такие ученые?.. И если кереки уйдут, Микуль чувствовал это, не только человечество, не только его народ, он сам что-то теряет. Что-то очень нужное для продолжения жизни. Что-то очень необходимое, человеческое. А терять не хочется. Ох как не хочется!..

Американка, встряхнув светлыми волосами, прикоснулась к груди и провела рукой вниз, спросила:

«Хон?»

«Хон», — подтвердил он.

Потом она показала на рыбу:

«Хул?»

«Хул», — согласился он.

После она подняла глаза к небу, — посветлела лицом, с чуть заметной улыбкой спросила:

«Хос?»

«Хос, — удивленно приподнял он брови. — Звезда!..»

Он все понял без перевода. И в ответ на его недоуменный взгляд она открыла номер журнала «Нэшнл джигрэфик». И он увидел людей. Охота на мамонтов с копьями. Зимнее жилище, очень похожее на хантыйский зимний дом-землянку. Наскальные рисунки, изображающие зверей. Выделка шкуры. Словно это не индейка со скребком в руках наклонилась над работой, а бабушка из далекого детства. Знакомые орудия из кости, камня, железа. Копчение рыбы и мяса. Даже рогульки для котла точно такие же, какими до сих пор пользуются в тайге его сородичи.

Она развернула карту-схему. На ней он увидел Иртыш и Обь, а дальше, на восток, вдоль побережья Ледо-

витого океана — сплошная суша до самой Аляски, Берингов пролив обозначен только пунктиром. И она объяснила, что очень давно, когда не было пролива, возможно, остяки и вогулы жили вместе с американскими индейцами. Потом индейцы ушли на Аляску. «Шли за рыбой» — так мотивируют это переселение легенды и предания. И в доказательство этой теории она подобрала слова, обозначающие одно и то же у индейцев Америки и обских угров, остяков и вогулов. Вот только на буквы «к» и «х»: «утренняя заря», «седой», «копье», «узор», «бросать», «рыть» и так далее. Убедительно? Да. Что может быть убедительнее родного языка?! Пусть даже зазвучавшего на другом континенте...

«Кэтрин Джефферсон, Калифорнийский университет, — представлялась она. — Хочу написать книгу про остяков, то есть про ханты».

«Почему именно про ханты?» — удивился он.

«Их мало. Нужно писать про вымирающие народы Земли...» — последовал ответ.

В ее широко распахнутых глазах он уловил неподдельный интерес к Северу и северянам.

Америка, американцы... Индейцы, коренные жители Америки, тоже американцы. Значит, что-то есть родственное с ними. Он задумался, начал размышлять, начал вспоминать...

«Пуритане Новой Англии — эти виртуозы трезвого протестантизма — в 1703 г. постановили на своей Assembly (Законодательном собрании) выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый индейский скальп и за каждого краснокожего пленника; в 1720 г. премия за каждый скальп была повышена до 100 ф. ст., в 1744 г., после объявления в районе Массачусетского залива одного племени бунтовщическим, были назначены следующие цены: за скальп мужчины 12 лет и старше 100 ф. ст. в новой валюте, за пленника мужского пола 105 ф. ст., за пленную женщину или ребенка 55 ф. ст., за скальп женщины или ребенка 50 фунтов стерлингов! Британский парламент объявил кровавых собак и скальпирование «средствами, дарованными ему богом и природой»*.

Навсегда исчезли с лица земли индейцы многих племен.

Истреблены колонизаторами.

Истреблены колонизаторами английскими.

Истреблены колонизаторами французскими.

Истреблены колонизаторами испанскими.

Истреблены колонизаторами прочих мастей.

Истреблены колонизаторами и прочей мразью.

Хорошо вы поработали, колонизаторы, не правда ли?!

* Маркс К. Капитал. Том I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 763.

Могикане, шестьсот человек, резервация Стокбридж, штат Висконсин, США.

Делавары, две с половиной тысячи, резервации, штат Оклахома, США.

Кри, шестьдесят тысяч, резервации, Канада.

Оджибве (чиппева, сольто), сорок две тысячи, резервации, США, сто двадцать тысяч, резервации, Канада.

Если до прихода колонизаторов Старого Света ирокезов жило в Америке до полутора миллиона человек, то к тридцатым годам двадцатого столетия их осталось менее шести процентов...

Новый Свет...

Этот фундамент преуспевающих Соединенных Штатов.

Какая страна мира может сравниться с вами, Штаты?!

Кто еще с таким цинизмом и размахом расправлялся с человеческим родом?!

Как вы себя чувствуете на таком фундаменте, Штаты?!

Штаты молчат.

«Эта молодая женщина, апатичная, истощенная голодом, привела меня на глинистый косогор, где она постоянно скоблит себе и сыну глину на пропитание.

— Скажи, разве это вкусно?

— Да.

— Но какой же у этого вкус?

— Гм-м... А ты никогда не пробовал?

— Я бы хотел попробовать. А твои родители тоже это едят?

— Конечно, и притом постоянно.

— Как же вы это зовете? «Красная глина»?

— Нет, мы зовем это «сладкая земля»...

— А вот на Севере, я знаю, это зовут «миссисипская грязь». Много ли еще людей едят глину в ваших краях?

— Конечно, много...

— Кто, например?

— Моя тетя...

По официальной статистике, десять миллионов американцев страдают от голода. Комиссия сената вынуждена была признать, что в штатах Миссисипи и Алабама каждая вторая негритянка вынуждена есть... землю»*.

Он вспомнит: Якоб Хольдт из обеспеченной семьи, ни в чем не нуждался. Но в двадцать два года он успел

* Хольдт Якоб. Американские картинки. — «Литературная газета», № 31, 29 июля 1981 г.

во всем разочароваться: его не устраивали и «хилые европейские демократии». Но ему хотелось верить, что единственный «оплот надежды» — это Соединенные Штаты Америки. «Эта вера была во мне так велика, что я решил сделаться американцем...» — скажет позже Якоб Хольдт. За пять лет он пройдет по дорогам Америки сто шестьдесят тысяч километров, сделает пятнадцать тысяч снимков. Потрясенный всем увиденным, вернувшись домой, он напишет книгу и сделает фильм*.

По данным, опубликованным в журнале «ЮС ньюс энд уорлд рипорт», в сравнении с другими жителями США индейцы вдвое чаще кончают жизнь самоубийством, в шесть раз чаще гибнут от туберкулеза, в восемь раз больше подвержены алкоголизму.

Их, краснокожих аборигенов Америки, белые завоеватели угнетали всегда, а нынешняя вашингтонская администрация и вовсе свела на нет ничтожные суммы, отводимые на их образование и здравоохранение.

Мировую прессу ударит сенсация: в США, в целях планомерного сокращения численности «неполноценных», по рекомендациям ученого-расиста Уильяма Шокли, в принудительном порядке стерилизовали каждую четвертую индейку!**

Он долго молчал, прокручивая в памяти то, что ему ведомо об Америке и американцах. «У этой страны было и есть немало прекрасных людей, — подумал он. — Но и нечисти всякой, конечно, хватает...» Вот и Кэтрин Джефферсон. Кто она?! Джефферсон, Джефферсон... Томас Джефферсон, кажется, третий президент: «Главная и единственная задача хорошего правительства — заниматься жизнью и счастьем людей, а не их уничтожением». Декларация Независимости — автор проекта. Может быть, родственник Кэтрин? Вернее всего, нет, просто однофамильцы...

«Почему не напишешь про вымирающие народы своей страны?» — спросил он.

Она промолчала.

«Я хочу сделать контраст, — наконец заговорила она. — Как живут эти народы у вас и у нас. Все как есть... Как остяки живут. Как думают, о чем думают. Как приходят на землю и как уходят. Как поют, любят, страдают, наконец. Словом, все-все...»

* Фильм Я. Хольдта «Американские картинки» демонстрировался на Международном кинофестивале в Канне в 1981 году.

** Паллади А. И даже без права на материнство. — «Известия», 7 октября 1984 г.

«Это надо ехать на Север», — сказал он и задумался. Он знал, что никакого материала она не наберет. В лучшем случае ей покажут образцово-показательный поселок — эту потемкинскую деревню двадцатого века, — которым потчуют всех гостей. Туда возят различные делегации и комиссии. Образцовая школа-интернат, коттеджи для учителей, детский сад, Дом культуры, музей, обшитые тесом с улицы и свежеевыкрашенные дома коренных жителей... Местные власти не очень-то жалуют гостей не только дальних, но и ближних — ученых из Эстонии, Венгрии, ГДР. Всех пугает одно: как бы не увидели чего лишнего. В сущности же, просто похвастаться нечем. То, что было построено в тридцатые-пятидесятые годы, давно сгнило или пришло в крайнюю ветхость...

«Зачем тебе все это? — спросил он. — Могла бы без этого прожить».

«Да, могла бы прожить без головы, — согласилась она. — Но все время есть, пить... неинтересно. Нужно что-то делать».

Теперь к нему пришла мысль, что, возможно, и она, вернее, ее предки причастны к колонизации великого континента — Америки. К колонизации и истреблению народов континента. Причастные. Вроде бы в этом есть и доля ее вины. Хотя проделки предков сейчас никак не поправишь, и ответа ни с кого не потребуешь. Отвечать некому.

«В истреблении людей приоритет принадлежит вашим колонизаторам...»

«Возможно. Но колонизаторы всех стран и времен совершенно одинаковые...»

«Да?»

«Колонизаторы английские, французские, испанские, русские и прочие. Будь они в Америке, в Африке или в Сибири. Все они одинаковые, все одного цвета».

«Колонизаторы русские?»

«А их не было?»

«Они не снимали скальпы. Даже в царские времена».

«Вам повезло. В отличие от индейцев».

«Повезло...»

«Конечно же, у моей страны приоритет во многих черных делах...»

По-русски она говорила с забавными оборотами речи:

«Мне как будто холодно».

«Почему «как будто»? — смеялся он. — Говори просто: «Мне холодно».

«Мне холодно», — как старательная ученица повторяла она.

«Теперь правильно».
«Я буду тебе сказать...»
«Надо говорить: «Я тебе скажу...»
«Я тебе скажу...»
«Верно».
«Туда ходить не можно...»
«Туда ходить нельзя».
«Туда ходить нельзя...»

Он узнал, что у нее есть работа по поэтике мифических песен остяков. «Откуда материал?»

«Из архивов: Венгрия, Финляндия, ГДР. Регули, Мункачи, Кастрен, Карьялайнен, Сирелиус, Штейниц».

И они попрощались. Он смотрел ей вслед, и к нему пришла мысль, что общечеловеческое начало, несмотря на расовые, языковые и прочие барьеры, у всех чувствуется одинаково. У человечности одна природа...

С некоторых пор он открыл в себе способность «чувствовать человека в людях». Возможно, многие и вовсе не подозревают о том, что в них есть «темные пятна». О себе он тоже не мог определенно сказать, есть в нем такое пятно или нет. Но в других он почти безошибочно стал улавливать это, словно в нем сверхчувствительный «луч», что ли, как рентген, просвечивающий людей. Наверное, иногда могут повлиять какие-то обстоятельства и не исключена оплошность. Все может быть.

Он смотрел, как она идет легко и уверенно, словно родилась и выросла здесь и ей знакомы и близки все улицы и закоулки этого старого города. Во всяком случае, город принял ее. И принял хорошо... Возможно, так и должно быть: каждый, где бы ни жил, прежде всего обязан чувствовать себя человеком своей планеты.

Он начал думать о работе, которая добавит светлые краски в жизнь многих землян...

А потом пришла она. Пришла неожиданно. Она, как невидимка, всегда исчезает и приходит неожиданно. Она пришла грустная и тихая. И пристально, не отводя глаз, посмотрела на него.

«Пока ничего не получается».

«Почему?» — Впрочем, он все поймет без слов.

«Ах, наши боссы все никак не могут — как это называется — не могут сговориться, заговориться, договориться...»

Он все понял и без слов. Так и должно было случиться. Все дело в боссах.

И она ушла. Ушла и медленно растворилась в серых тенях осеннего дня...

Выехал Демьян на Родниковое озеро и остановил упряжку. И теперь, когда он услышал шум машин, вдруг с новой силой вспыхнул безжалостный огонь души. А перед домом надо убить эту жажду-боль, обязательно надо. Если уж не убить, так хоть приглушить. Нельзя ее домой привозить, никак нельзя. Ведь дом совсем рядом. До дома долготы одного вечернего оленя не будет. Нельзя с такой болью домой приезжать. Домашние от него не жажду-боль ждут. Нет, нет... Кто поможет ему избавиться от этой боли? Помог бы кто, хоть поговорить с кем. С кем же? Отца нет, братьев нет, сыновья еще малы... Да и далеко они, в поселке... Разве что искатели? К ним заехать?! Тем более что он не с пустыми руками. Про-давщице он правду сказал, когда покупал водку, — об искателях-гостях думал. Прикидывал, как встретит их в своем доме. Он знал, что к этой «белой водице» русские так же неравнодушны, как и многие его сородичи. Почитают особо, любят «к языку приложить» при встрече и расставании. Вроде разговор лучше идет. И, в отличие от сородичей, они крепки против этой водицы, так просто не валятся с ног. Крепки и, видно, давно привыкли к ней. А сородичи что? По-настоящему эту водицу увидели на его, Демьяновой, памяти, когда отстроились поселки и открылись магазины. В старину-то раз или два в году к языку прикладывали, если выезжали на ярмарку в иртышские или обские города. Купцы в глубинку редко забирались.

Есть белая водица — заехать, что ли?! Убить жажду-боль, приглушить ее. Поговорить с людьми о жизни этой земли, о будущем ее. По душам поговорить... Искатели-родственники — вот кто поможет! Сам Медведев ему поможет, сам начальник искателей...

В нем подспудно жило предчувствие, что кто-то ему должен помочь. Теперь только ясно осознал, что острие стрелы, направленное на его зимовье и на его сердце, может отвести в сторону только сам Медведев. У него уже сложился в голове образ Медведева: бородатый и круглолицый искатель богатырского сложения с сильными огрубевшими руками. Но глаза веселые и добрые. Он даже голос его слышал: звучный и неторопливый. Вот он какой, начальник искателей Медведев!..

А ведь искатели, которых он видел, звали в гости, сами звали. Не чужой он им — родственник.

И решил он сначала посоветоваться с оленями.

— К искателям заедем, Вондыр?! — обратился он к жожаку. — Это ж родня наша. Они совсем недалеко от дороги, долго сидеть и гостить не будем. Скажем «здравствуйте», поговорим немного о жизни да о делах наших и скажем «до

свидания». И все... Нельзя с плохими мыслями домой приезжать, понимаешь, Вондыр? Боль надо оставить в стороне, нельзя домой брать. От этого домашним будет плохо. Мы ведь не хотим, чтобы кому-то плохо было. Что, Вондыр, поедем?.. А ты, Пеструха, что думаешь? Тебе, конечно, не хочется — тебе поскорее домой надо, я понимаю тебя. Но и ты меня пойми — мне нужно увидеть начальника искателей Медведева. Мне с ним поговорить надо... познакомиться. Сначала я к нему приду, потом он к нам придет, гостем будет. Мы его хорошо встретим. Гостей встречать мы умеем. Мы его обязательно в гости пригласим. Он тоже из рода медведя, он наш родственник. Так-то вот, Пеструха! Вот такие у нас дела! Много у нас родственников, а иметь много родственников, скажу тебе, это приятно, да! Это я знаю!..

Затем он обратился к важенке Пирни:

— А ты что думаешь, Пирни? Тебе даже лучше, пока я у искателей чаевничать стану, ты отдохнешь. Есть ты не хочешь, я недавно кормил вас. А вот отдохнуть надо, у тебя ведь сил меньше, чем у других. Вот и полежишь, пока я чай буду пить у родича своего Медведева. Значит, Пирни, ты не против — поедем к искателям. Я там совсем немного побуду!

Демьян развернул упряжку в сторону виднеющегося невдалеке леса.

В снежном вихре ворвались они в грохот машин, в резкий свет электрических лампочек, крепкий дух резины и домиков. Он привязал упряжку, снял кумыш и заглянул в первый домик на бревнах-полозьях — там горел свет, потрескивала печка, но никого не было. Только в третьем домике, стукнув в дверь, он услышал голос:

— Заходи, кто там!..

Голос ему показался знакомым. Толкнул дверь и огляделся: перед самым входом пышущая жаром железная печка, вдоль стен спальные полки в два яруса, под низким потолком электрическая лампочка, в одном углу столик. За столиком, наклонившись, сидели два знакомых бородача — кучерявый парень и широкоплечий мужчина в голубой майке. Демьян еще ничего не успел сказать, как кучерявый проворно выскочил из-за стола и сунул охотнику свою жесткую холодную руку.

— Ко мне он приехал! — крикнул весело. — Это мой охотник, мой!..

«Разве у каждого искателя есть свой охотник? — соображал Демьян. — Почему он меня своим охотником называет?»

— Эй, Семка, наш приятель явился!.. Шире ворота — мой охотник идет!..

— Вижу, — пробасил мужчина в голубой майке. — Веди его сюда!

— Давай, дед, раздевайся — жарко у нас!

Демьяну хотелось сразу же разыскать Медведева, поговорить с ним и ехать, чтобы оленям не пришлось долго ждать. Но кучерявый цепко держал его за руку, а обижать его не хотелось, и Демьян развязал пояс и опустил на табурет.

— Ну как, холодно? Замерз малость?! — спрашивал Семка. — Раздевайся, погрейся!

— Зима, — отвечал Демьян. — Какая зима без холода?!

— Как съездил, Демьян Романыч? Как дорога? Какие новости?

— Ничего съездил, дорога хорошая, — отвечал Демьян. — Народ помаленьку живет. Тяжелоболеющих нет. Люди вроде здоровы.

— Есть хочешь малость?

— Есть не хочу. А пить хочу. Чай есть?

— Ты никак, батя, с похмелья? — спросил кучерявый Поля-Аполлон. — В поселке водка есть?

— Есть, — кивнул Демьян.

Хозяева переглянулись.

— Сейчас мы с Полей угостим тебя, батя! С мороза согреем малость! — весело подмигнул Семка и пояснил: — У нас тут сухой закон. Да я в город летал за запчастями, прихватил малость. Вот сидим, вечер коротаем, закон мочим...

— А тут гость — по такому случаю сам бог велел! — подхватил Поля.

— Счас мы хлебнем огненной водицы малость!

— Я бы чай выпил, чаю хочется, — сказал Демьян.

— Сначала огненной, а потом чай! — зарокотал Семка. — Чай никуда не уйдет. Успеется.

— Не уйдет, — согласился Демьян и, оглядев пустые полки, поинтересовался: — А где остальные искатели?

— В соседнем балке кино смотрят, — пояснил Семка. — Сегодня свежие кинобанки привезли. Пожалуй, фильма два подряд смотреть будут. У нас тут народ такой — все сразу им подавай, а кроме кино, ничего нет.

«Весело, однако, у них, — подумал Демьян. — В тайгу им кино привозят, как в городе живут. Самолет все, самолет привозит». Сами они с Анисьей видят кино очень редко — только весной и летом, когда в поселке бывают. Обычно после сезона в поселке устраивается Большой праздник охотников — в клубе поют, пляшут и кино показывают. Хороший праздник. Раньше таких праздников не было.

Между тем Поля разлил водку по кружкам, чокнулись и выпили. Семка стал еще словоохотливее, а Поля, наоборот, насупил брови и угрюмо поглядывал на бутылку.

— Что скис малость, друг ты мой Поля? — пробасил Семка. — Держи выше! Аль опять свою шмару вспомнил?

— А-а, оставь ее, — лениво отмахнулся Поля. — Оставь...

— Плюнь ты на нее! — весело зарычал Семка. — Плюнь, пока тебя не прогнала! Рано ль, поздно ль все равно прогонит, слышь?!

— Меня прогонит, не тебя, — так же равнодушно отмахнулся Поля. — Не твоя забота!

— Стерва она! Форменная стер-рва! — зарокотал Семка, видимо, задетый равнодушным тоном приятеля. — Гнать надо вовремя стерву! У-у-у, мне бы ее...

— Не трожь! — вдруг тонко взвизгнул Поля и, вскинув руки, подскочил к Семке. — Не трожь! — кричал он. — Не трожь! Она моя!..

— Да бог с тобой! — протянул Семка с улыбкой. — Бог с ней!.. Успокойся!..

— Она моя! — кричал Поля. — Лучше один раз с такой стервой... Лучше один раз...

— Да бог с тобой! — опять примирительно сказал Семка. — Бог с вами! Кто ее трогает!

— Не трожь! — повторил Поля, остывая. — Не имеешь такого права! Не трожь!..

Его трясущиеся руки опустились, и, тяжело хлопнув промезшей дверью, он выскочил вон.

— Чумной какой-то! — проговорил Семка. — Пусть побегает! Мороз его быстро остудит!

Демьян молча сидел за столом.

— Точно, чумной малость, — опять заговорил Семка, поскольку собеседник молчал. — Баба одна сбила его с панталыку. А он, чумной, и мотается туда-сюда. В один год его на Урал гоняла. Он там богу, вернее, медведю, говорят, душу чуть не отдал. Но все же достал нужный ей минерал. Он все может, если захочет. У самого черта из преисподней целым и невредимым выберется за-ради этой стервы...

— А что это такое — минерал? — поинтересовался Демьян.

— Минерал?! Да камень какой-то. Не то хрусталь, не то что-то другое. Камень какой-то красивый, ценный камень. Ну, птица она не простая — эта баба-то, скажу я тебе. Видно, и вправду хороша стерва! Крепко присушила парня. Сейчас он словом не дает задеть ее. А выпьет еще немного — и сам начнет поносить на чем свет стоит. А кончится сезон — снова к ней. Да не пустой. Все, что она пожелает, доставит ей. Будь то хоть птичье молоко. Вот какая у него стер-рвоза, а не баба! Запутался он в сетях бабьих, что рыбешка малая, да!.. Я вот выпутать его хочу, да он ерепенится малость!..

Прислушиваясь к рокочущему басу собеседника, Демьян пожалел бездомного и неприкаянного парня Аполлона. Каково ему по белому свету туда-сюда мотаться?! Без отчего дома, без своей Звезды?! А потом пришла мысль: может быть, у него любовь? И он счастлив?! Но никто об этом не знает...

— Все ему говорят: «Плюнь ты на нее!» Не слушает ни-

кого! — рассказывал Семка. — До добра она, конечно, не доведет его. Бабы — они такие!.. Придет время — прогонит его, выкинет, как щенка! Вот что его ждет!..

— Он знает это? — спросил Демьян. — Ведь у него голова...

— В том-то и дело: знает! А что голова? Все равно делает по-своему. Вернее, как женщина захочет. Эх, Поля, Поля! Тебя изведет она... Твоя ненаглядная подружка!..

Слушая Семку, Демьян представил себе женщину Поли. Но он увидел ее вовсе не такой, какой нарисовал ее злой на язык Семка. Нет-нет, она совсем другая...

И он снова подумал о парне: может быть, у него большая любовь...

В то памятное лето, к концу пути, дожди, видно, все перепутали в жизни Демьяна. Вдруг он обнаружил, что начисто забыл о Рыбе Удачи. Он случайно наткнулся на нее и понял — все пропало. Испортилась Рыба. Надо было сразу же ее разделать и засушить. Он молча смотрел на Рыбу и размышлял о том, что раньше с ним такого никогда не случалось. Смотрел и молчал. И, как вода в реке, потекли мысли. Потекли, одна сменяя другую, другая — третью... Что же будет?.. Что впереди ожидает их?.. Что ожидает их в жизни?.. Что им преподнесет Время?.. Что?.. Где?.. Когда?.. Скоро иль не скоро?.. Радость иль печаль?..

Девушка тоже почувствовала что-то неладное. Подошла, постояла молча, затем тихо спросила:

— Что случилось?..

Не сразу, после паузы, он сказал:

— Да Рыба Удачи... совсем плохая стала...

— Рыба Удачи?..

— Да, помнишь: птица подарила. В первый день.

— Ах, да...

— Это я позабыл. Совсем без ума остался.

Помолчали. Потом, как бы утешая его, она улыбнулась глазами цвета вечерней лиственницы и сказала:

— Не расстраивайся — я не верю в приметы. Это все так, придумывают разное...

— Это же Удача, — возразил Демьян. — А в Удачу надо верить. Как без Удачи-то жить?!

— Удача-то во многом зависит от самого человека. Никто за него ничего не сделает, он сам должен...

Демьян, немного поразмыслив, согласился:

— Так-то оно так. Но без веры в Удачу тоже нельзя. Так я думаю...

Рыбу Удачи он все-таки не выбросил на землю, как это делают с обычной испорченной рыбой, а, приподняв наджаберную пластину, по-хозяйски вдел в еловый сучок. Пусть хоть

повисит до той поры, пока не «капнет» на мшаник. Когда же «капнет», то голова все равно останется на дереве и высохнет. Значит, Удача вся не уйдет бесследно, что-то сохранится...

Теперь же весь остаток дня Рыба была в его памяти, не хотела уходить. Он задумчиво смотрел то на девушку, то на тихий огонь костра. В его голове свивала себе гнездо мысль о конце. О близком конце. О неминуемой разлуке. И он понял и ощутил физически всем своим существом, что это самое тяжкое, самое беспросветное, трагическое, что ожидает его впереди. Он не знал, будет ли что после... Будет ли?.. И душа взныла и яростно воспротивилась. И он, крепко прижав локти к бокам, невольно сомкнув пальцы рук и ног, весь сжавшись, как тугая пружина капкана, сдавил в себе эту боль... А ночью, в темени полога, рядом с Ней, вбирая в себя все ее тепло, все ее думы, всю ее самоё, он беззвучно, одними губами не то скажет, не то подумает:

«МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ НАДО ЕХАТЬ...»

И она также беззвучно, одним дыханием не то вслух, не то мысленно откликнется:

«Может, И НЕ НАДО...»

— Жаль мне дружка-то! Жаль... — гудел Семка. — Пропадет малость. Ни за грош пропадет!..

— Человеку нельзя пропадать, — возразил Демьян. — Человек не зверь. Человек должен жить...

— А сколько людей пропадает! — вскричал Семка. — В поисках нефти-газа! В поисках денег! В поисках себя! В поисках черт знает чего!..

— В поисках себя человек не пропадает, — опять не согласился Демьян.

— Ах, как бы не так! — воскликнул Семка. — Тоже малость помотался по свету. Всякого насмотрелся, всякое видел...

А Демьян слушал и размышлял о жизни искателя Аполлона. Как пояснил Семка, это имя дали ему в честь какого-то древнего бога. Искатель с божественным именем? Вроде бы неплохо. И Демьяну хотелось его понять: кто он и чего хочет в жизни. Его ум какими путями-дорогами ходит?..

Слушал-слушал Демьян слова Семки да наконец заерзал на табуретке: пора разыскать Медведева. Сколько времени олени будут хозяина ждать. Им ведь домой хочется, на отдых и корм. И он тронул Семку за рукав:

— Главный искатель...

— Искатель?! — перебил его Семка. — Слово-то какое хорошее придумал: «искатель». Я еще на озере заметил, когда в первый раз встретились.

— Ты-то какой искатель?! — закричал ввалившийся в домик Поля — видно, не совсем еще остыл. — Ты-то какой искатель?!

К искателям хошь примазаться?! Ты — сшибатель! Монету сшибаешь! Копейки, рубли сшибаешь! Вот ты кто!.. Тебе бы пахать да сеять, ты спец по этой части! У тебя дом, короеды! Жил бы жил! Да нет — мало показалось тебе! Все бросил! Нет, ты не искатель, ты — копитель! Тебе кучу надо! А на нефть ты плевал! Тебе только монету подавай!.. Слышь, батя! — повернулся он к Демьяну. — Он не искатель! Копитель. Нет, искатель не он!

— Может, ты искатель, а? — засопел Семка. — Верно, я не искатель малость. А ты, ты — настоящий искатель, а?!

— Я тоже не искатель! — согласился Поля. — Я — бродяга! Я родился тут — и брожу тут! Не лезу туда, где меня нет!

— Слышал, батя? Он — бродяга! Бич! — Семка приблизил к охотнику малиново-широкое лицо. — Он тоже не искатель! Я честный копитель, а он бродяга. Кто лучше? Не бродяга, конечно...

— Это еще как посмотреть! — встрепенулся Поля. — Может, тут бродяга-бич более к месту?!

— А тебе, батя, разве не все равно, кто нефть ищет — настоящий искатель или нет? — спросил Семка. — Не все ли равно, кто нефть найдет? По-моему, тебе все равно. Какое твое дело до нефти...

— Как не мое дело?! Почему не мое дело?! — заволновался Демьян. — Мое дело — кто на моей земле нефть ищет! Как раз мое дело! Хороший или плохой искатель тут ходит...

— Твое так твое! — согласился Семка. — Сразу так бы и сказал, что нефтяное дело тебя тоже интересует.

— Так его, варяга, так, земля! — Поля одобрительно подмигнул охотнику. — Так его, пусть хозяина знает!

— Мое и есть! — громко повторил Демьян и, поднявшись и взяв малицу, спросил: — Главный искатель Медведев где тут живет? Я хочу видеть его.

— Нету Медведева.

— Как нету?! — остановился Демьян и дрогнувшим голосом переспросил: — Как нету?! Случилось что?! Заболел?!

— Не-е, в город улетел.

— А зачем улетел в город? — Демьян стоял с малицей в руках: не успел надеть.

«Какая беда, — соображал он, — главного искателя Медведева нету. Заехал только ради него, а его нет. Какая беда...»

— Что вскочил-то? Брось свой балахон, посиди еще! — остановил его Семка.

Демьян все мял в руках малицу и не решался ни надеть, ни положить на полку.

— А какой этот Медведев? — спросил он. — С бородой.

— Нет у него бороды. Всегда чисто бритый ходит малость!

— А роста... большого?

— Тоже нет. Вот с тебя, батя, примерно, ростом. Ниже среднего.

— А искатель он хороший? — все допытывался Демьян. — Настоящий искатель?

Семка с Полей переглянулись.

— Справедливый он искатель! — помолчав, ответил Семка. — Давно он тут, говорят.

— Строгий он искатель! — добавил угрюмый Поля. — Уважают его мужики! Вот он — искатель!... Никто не будет отрицать это!

— А голос у него какой?

— Голос?.. Крепкий у него голос. Мужской.

— А зачем он тебе нужен? — заинтересовался Семка. Демьян неторопливо ответил:

— Он мой родственник.

— Как родственник?! — воскликнул Семка.

— Родня?! — удивился и Поля. — Как так?!

— Родственник! — подтвердил Демьян. — Родня!

И он не спеша рассказал им свою родословную и про свое родство со всеми людьми Вселенной.

— Разрази меня гром — это великолепно! — заорал Семка. — Ну, батя ты мой, Демьян Романыч, давай хлопнем за братство-родство! Чтобы всем чертям тошно стало малость! Где кружки? Поля, наливай!

Выпили. И Демьяну так понравился тост, что он сходил и выставил на стол все, что купил для искателей, и сказал:

— За братство-родство!

— Жаль, ей-богу, жаль — не ведаю, откуда мой род идет! — бубнил Семка, обняв Демьяна. — Может, и я твой родственник!

Кто-нибудь наливал в кружки, чокались и пили.

Поля нервно поглаживал твердый подбородок — весь он ожил, и его неуловимые глаза заматались еще быстрее.

— Ты и вовсе без роду-племени! — махнул на него Семка. — Все равно не подходишь к бате Демьян Романычу, не примазывайся!

Но Поля подвинулся к Демьяну и, не обращая внимания на Семку, тихонько стал расспрашивать охотника:

— Родственники должны помогать друг другу? Так?

— Так, так! — согласился Демьян.

— И мы с тобой можем быть родственниками. Я родился на этой земле. Значит, есть шанс — мы с тобой тоже родня?

— Есть, конечно.

— В таком разе помоги, Демьян Романыч, своему родственнику Аполлону! — торжественно-трагически произнес Поля и, вскинув голову, ребром ладони чиркнул по горлу. — Вот как нужно!.. Поможешь — вовек не забуду!

— А как помочь надо?

— Дай мне рога твоего пестрого оленя! Больше ничего не нужно мне!

— Чего же, вот весной отпадут — и привезу! — добродушно улыбнулся Демьян. — Каждый год новые рога нарастают, чего же не отдать?

— Нет, мне сейчас нужны, понимаешь? Сейчас!

— Ну, можно отпилить, пожалуй! — протянул Демьян после паузы. — Хотя важенке рога не отпиливают, не делают этого.

— Ты не понял: мне с черепом рога нужны, понимаешь? Без черепа они ни к чему!..

— С головой, что ли? — уточнил Демьян.

— Во-во, с головой!

— Нет, с головой никак нельзя!

Демьян долго молчал, вполуха слушал Полю. В голове у него глухо шумело и мысли разбегались куда-то. Он надел наконец малицу, вытянул пояс из-под лежавшего на полке Семки. Тот, видно, и вправду на совесть «хлопнул» за последний тост и сейчас всю храпел.

— Я заплачу! — убеждал его Поля. — Сколько пожелаешь.

— Пеструхе цены нет, — покачал головой Демьян. — Нельзя ее за деньги!

— А за что можно? За что?

— Вот если бы ты умирал да тебя могла спасти только Пеструха...

— А может, я на волоске от смерти, а?! — И Поля еще раз чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Может, жизнь моя поставлена на карту, а? Ведь не помрешь, ведь проживешь, а?!

— Я-то проживу, пожалуй, — согласился Демьян. — Но у Пеструхи есть еще сын Пев, есть Анисья, Вера, Таисия...

— Во-во, видишь — сам-то проживешь! — обрадованно перебил его Поля. — Ты главный хозяин! Давай по-родственному — выручи! Хочешь, дам последнюю бутылку водки?! Последнюю, самую бесценную?!

— Нельзя, не по-родственному будет! — упирался Демьян.

— И за деньги не по-родственному, так?!

— Так, — кивнул Демьян и попытался растолковать Полю, что по-родственному — это когда без всякой корысти, когда по-иному никак нельзя, когда по-доброму только можно.

— А твое родство, выходит, только на словах! — напирал Поля. — А как до дела дошли — так в кусты!.. Так, что ли? Оно ничего на словах-то не стоит. Я тебе десять коробов всякой всячины могу наговорить!.. А дело надо, дело. Мы люди деловые, зря не треплемся!.. А у тебя все на словах, выходит, а?!

— Не на словах! — озлился наконец Демьян. — Не только на словах! Нет, ты меня совсем не понял! Не так понял! Твой друг Семен! — он поискал глазами Семку, храпевшего на полке. — Твой друг понял, а ты нет!..

— Так ты объясни! — притворно обрадовался Поля. — Садись, сейчас разберемся.

И Демьян в третий раз, теперь уже не снимая малицы, тяжело опустился на табурет. В голове сильно шумело.

Ему стало тоскливо. Ведь Поле, чтобы понять, что значит Пеструха для семьи охотника, надо побывать в его, Демьяна, шкуре. Надо понять Анисью, дочерей Веру и Таисию, сыновей Ювана да Микуля. Надо понять сына Пеструхи — маленького олененка Пева. Даже собак Харко и Кутюви надо понять...

И тут Демьян с ужасом почувствовал, что язык плохо слушается его — водка сделала свое дело. А без языка как?! Никак нужное слово не родишь! Беда!.. Духота спертого воздуха и жар раскаленной печки ударили в голову, и все поплыло в зыбком тумане, потонуло в топкой болотной трясине...

29

Очнулся он на своей постели. Глазам больно от светлого оконца, заставленного куском льда. И он отвел взгляд в темный угол, где ничего не видно, где чернота. Анисья стукнула дужкой котла возле чувала, и снова все стихло, будто в доме был покойник. Демьян пошевелился, кашлянул и попросил воды.

подавая ковши́к с водой, Анисья недобро осведомилась: — Где Пеструха?!

Демьян пил медленно и долго. Слишком долго и медленно. Но вода наконец кончилась, он выпрямил онемевшую руку. И так сидел с вытянутой рукой, в которой мелко подрагивал ковши́к. Нет Пеструхи, сообразил он. И в одно мгновение похолодело нутро: вот отчего болела душа, вот отчего было ему плохо. Одновременно стало и легче, и тяжелее. Легче, потому что выяснилась причина боли. Пришла беда, она определена и теперь не так страшна. Страшнее само ожидание беды. Тяжелее, потому как потерял родоначальницу оленьего рода, надежду на завтрашний день. А впереди опять неизвестность...

— Где Пеструха?! — повторила Анисья, не замечая ковши́к.

— Пеструха?... — осторожно переспросил Демьян и, помолчав, хрипло сказал: — У машинных людей был. С главным хотел поговорить... — и он поведал об искателях, которые двигаются на них.

На улице тоскливо взвыл Харко, хотя днем он никогда этого не делал.

Анисья машинально подняла ковши́к, выскользнувший из руки мужа, и выдохнула напряженно и сипло:

— Сколько?!

— Не знаю, — тихо ответил Демьян. — Там было очень жарко, я разум свой потерял. Ничего не помню... — Помолчав немного, он повторил: — Не помню ничего. Но больше одной у них не оставалось.

И ему показалось, что в неподвижных глазах жены блеснула надежда.

В доме опять все стихло.

Демьян лежал опустошенный и похолодевший, прикрыв глаза рукой — не мог смотреть на белый свет. «Не только Пеструху, а ведь Анисью потерял, — думал он. — Надолго теперь потерял, если не насовсем, один остался опять. Да что Анисью — может быть, самого себя уже потерял...»

По знаку Анисьи зимовье вдруг ожило. Она с дочерьми начала рыться в мешочках с шитьем, игольницах, в берестяных туесках и кузовках — тихо брякнули монеты. Жена с дочками собирали мелочь, что оставляли на дне мешочков и туесков на удачу. Эту мелочь никогда не трогали, только в самый черный день вспоминали о ней.

Демьян приподнял голову и увидел отчаянное лицо жены: она держала сак младшей дочери Таисии и смотрела на продетую в жилу трехкопеечную монету — украшения на детской одежде никак нельзя срезать, это большой грех, ребенку будет плохо. Но в голове Анисьи, видимо, билась лишь одна мысль — о спасении Пеструхи, которая не могла остановить ее ни перед чем: сначала надо попытаться отвести беду, что уже стучится в дверь, а там что будет — того не миновать. Поэтому она наконец решилась и одним махом срезала трехкопеечную монету. Демьян понял: все перетряхнули жена и дочери, а не могут набрать трешку с копейками на спасение оленихи... Он хотел сказать жене, что эта медь не поможет — надо бы мехами, шурами, на худой конец мясом или рыбой. Но все это теперь, пожалуй, ни к чему — слишком много времени прошло, бесполезно все. И Анисью отговаривать тоже бесполезно — не станет слушать, он хорошо ее знает. Одно не мог понять — зачем она девочек с собой берет, зря ведь промерзнут только.

Харко старческим воем проводил нарту Анисьи.

Стих скрип нартовых полозьев, и в дом вернулась тишина. «Вот ведь как мир устроен — Пеструхи уже нет, а я лежу тут, живой, когда следовало бы захлебнуться той водкой — не захлебнулся... Виноваты ли искатели-родственники? Виноват ли один Поля? Ведь не силой Пеструху-то взяли. Сам к ним заехал. А теперь вот поставил искателей под удар Анисьи... Нехорошо получилось...»

Лежал он в своей постели, и казалось ему — то плыл неизвестно куда, то проваливался в бездну и растворялся в сумрачном холоде. Не сон и не явь, а страшный кошмар с

дырявой монетой. Вспомнил, как Анисья срезала дырявую трехкопеечную монету и положила в пустой кошелек. Дырявая монета, дырявая монета... за Пеструху, за надежду... Что стоит дырявая монета? Что стоит дырочка? А дырочка-то кое-чего стоит, пожалуй. Острые стрелы вот. Стрела пронзила сердце и умчалась дальше, чтобы поразить сосны и кедры, зверей и птиц. Она оставила в сердце пустоту, дырочку. Теперь он словно наяву увидел на ладони жены дырявую монету, увидел, как дыра эта стала увеличиваться и в нее бесследно уходят Пеструха, жена Анисья, сыновья и дочери, звездное небо и земля предков. Его охватил ужас, хотелось, чтобы кошмар немедленно умчал его в страну предков, в Нижний мир, но этого не случилось.

Вывал его из кошмара хриплый вой Харко.

Он очнулся и услышал скрип снега — к зимовью подъезжала нарта. Вместе с холодом вошли Анисья и дочери. Глянув на постаревшее лицо жены, Демьян все понял. Когда совсем немощную стало ее тягостное молчание, он тихо спросил:

— Что?..

Она пустыми глазами скользнула по темному углу, где он лежал, бесстрастно и вяло сказала:

— Сожрали.

Помолчав, добавила еще несколько слов, из коих Демьян узнал, что она стыдила искателей — за трешку сгубили олениху, которой цены нет. Да, видно, стыд свой они давно растеряли.

— Рога надо было спилить, — закончила Анисья. — Рога им шибко понравились. Чтоб подавились!..

Она тихо и печально опустила на чурку возле чувала.

Демьян повернулся лицом в угол, чтобы побыстрее раствориться в темноте и ничего не слышать, не чувствовать. Но мысли роились в голове, не давали покоя. Он думал о Пеструхе. Все. Конец. Пеструху убили. У б и л и. Никто не отпел ее душу. Значит, случилось убийство. Если бы он, Демьян, был там, как это ни горько, он бы все сделал так, как того требует обычай. Демьян никогда не убивал оленя. Он всегда исполнял длинный старинный обряд возвращения души оленя какому-нибудь богу, обряд возвращения души оленя природе. Олень уходил, но душа его оставалась, и через некоторое время он снова приходил на землю в образе нового оленя. Конца не было, жизнь продолжалась... Люди становились лицом к оленю, и особенным голосом, протяжным речитативом, Демьян начинал обряд возвращения души: «Отт-то-то-то-о-о-о-о!..» Без этого обряда рука у него не поднималась на оленя. Впрочем, все старшее поколение придерживалось этого обряда. Правда, слова были трудные и ведомы не каждому. Поэтому соседи обычно приглашали Демьяна... А вот Пеструху убили по-варварски, без всякого обряда. И она не сможет вернуться на землю, на свое ягель-

ное пастбище. Продолжения жизни не будет. Все пошло вперекос. Может, началось это с гибели Бежавшего Озером, сына Пеструхи.

В то лето возле оленника жил дядя Василь, дымокур подерживал. Когда комар пошел на убыль, уже на исходе лета, пропал Бежавший Озером. Через день или два, обходя пастбище, дядя Василь наткнулся на издыхающего быка с простреленной шеей. Причем входное отверстие пули было сверху. «Вертолет подстрелил, — объявил старик. — То-то все над болотом кружил...» Видно, стреляли на чистине, открытом месте, а раненый олень убежал в сосновую гриву, куда вертолет не мог приземлиться.

Демьян сначала не поверил рассказу дяди Василя. Но когда увидел шкуру оленя, замолчал. Он слишком хорошо знал, какой след оставляет пуля при входе...

Так погиб Бежавший Озером, который, если был бы жив, в этой поездке заменил бы Пеструху. И тогда, может быть, все вышло по-другому... Впрочем, чему быть — того не миновать...

Сколько времени прошло, Демьян не знал. Очнулся от голосов дочерей. Видно, девочки поссорились.

— Я Пеструху запрягу! — кричала младшая Таисия. — Моя очередь! Моя!

— Нет моя! — убеждала старшая Вера. — Ты сейчас на ней ездил! Ведь ездил? Скажи: ездил?

Они играли в свою обычную игру: в игрушечные нарты «впрягали» чурочки, рога и другие предметы и на веревочках возили по полу, будто упряжку оленей.

— Да моя Пеструха!

— Нет, моя! Не дам!

Услышав имя своей любимицы, Анисья вздрогнула и вскинула голову, оглянулась, словно чаяла увидеть оленюху.

— Где Пеструха?! — отрывисто выдохнула она.

— Вот она, — пролепетали разом присмирившие девочки и показали на бутылку с темной металлической пробкой.

— Дайте сюда! — приказала Анисья.

Девочки подали ей бутылку.

— Где взяли?

— Под папиной малицей нашли, — сказала Вера. — Когда малицу убирали.

— Там, там, — подтвердила Таисия. — Мы ее играть взяли, она такая гладкая.

— Выбросьте бутылку, — попросил Демьян из своего угла, при упоминании о ней тошнота стала подступать к горлу. — У меня за пазухой была, наверно. Выбросьте, а!

— Ты погоди! — жестко сказала Анисья. — Тут еще на донышке есть, на два-три пальца. Ты погоди, ты уже свое отгулял! Ты погоди-и!..

И Демьян уловил в сухих глазах жены колющий огонь отчаяния.

— Ты пого-ди-и! — недобро повторила она.

Теперь она сидела, уставившись невидящими глазами куда-то в пространство, словно хотела вызвать образ преждевременно ушедшей оленихи.

— Я Пеструху помяну! — сказала она решительно. — Раз она ушла, раз оставила нас, значит, на роду у нее так написано. Значит, такая у нее судьба, а судьбу не повернешь куда захочешь. Помяну ее!

С этими словами Анисья вытащила маленькую чашечку и зашептала что-то.

«Не повредился ли у нее рассудок, — забеспокоился Демьян. — Кто поминки по оленю устраивает? Олень есть олень, это тебе не человек. Никто не делал этого, что за новый обряд выдумала Анисья? Зачем теперь все это — Пеструху-то все равно не вернешь!»

— Ицык Торым*, — внятно сказала Анисья, одновременно и жалея и осуждая Верховного бога своего, и с горьким отчаянием на лице опрокинула чашечку.

Опрокинула — и замерла! Будто в чашечке был сильный яд, что мгновенно поразил ее. Сведенное судорогой лицо. Закаменевший открытый рот. Неподвижные глаза. Сидела так несколько мгновений — без движения, без дыхания. Лицо мертвецки побледнело.

— Мама-а! — закричала Таисия.

Анисья вздрогнула и вдохнула воздух. Поднесла бутылку к глазам, а правой рукой нащупала доску-правило и ударила мужа по вытянутой ноге.

Доска разломилась на две части.

Демьян вскочил, оторопело вскрикнул:

— Што? Што случилось?!

— Смотри, смотри, что тебе дали дружки твои! За Пеструху что дали! Смотри, смотри хорошо! — и Анисья сунула под нос Демьяну пустую бутылку.

Демьян тупо уставился на нее:

— Што смотри?! Што?!

— Метку смотри, метку!**

— Метку?! Обыкновенная метка... бумажная, — растерянно пробормотал Демьян.

Анисья вырвала бутылку из его рук и по слогам прочитала:

— Тю-мен-ская ми-не-раль-на-я во-да! Слышишь: вода! Значит, ингк — во-да! Пеструху — за бутылку воды! Где ты есть, Торым?!

* Ицык Торым — переводится приблизительно: «О-о, Господи!», но произносится с различными оттенками — от мольбы до угрозы.

** Метка — здесь: этикетка.

— Что ты чепуху мелешь?! — забормотал Демьян. — Что искатели, не люди? Придумала — за бутылку воды! Это они в придачу дали, видно! В придачу воду дали, слышишь?!

Присмотревшись, Демьян увидел: точно, метка на бутылках с водкой не такая, там рисунок совсем другой. А следы-слова на этой метке распутывать он не умел, а Анисья умеет — вот и напирает на него, будто подшутили над ним искатели. И он впервые за свою жизнь горько пожалел, что не научился грамоте.

— Там соленая вода! Там горькая вода! — зловеще шептала Анисья. — Разобью бутылку... о головы твоих родственников, о головы твоих дружков! О твою голову разобью! — повернулась она к мужу. — Навсегда вышибу из тебя родственный дух! Никогда не захочешь иметь таких родственников! Надо было пораньше вышибать из тебя этот дух, да родственников таких не попадалось.

Но до головы Демьяна она не добралась — задела край чурки, и бутылка разбилась раньше времени. Осколок порезал руку, и кровь потекла ей на полы сака.

— Рука в крови, — сказал Демьян. — Перевязать нужно, слышишь?

Но Анисья не слышала его.

— Жизнь наша соленая-пересоленая-а-а! — зарыдала она и между рыданиями посылала проклятия то ли бутылке, то ли мужу, то ли искателям — возможно, всем сразу.

Кровь попала на лицо, и казалось, она плакала кровавыми слезами.

В голос заревели перепуганные дочери Вера и Таисия.

Шум вырвался из дома, и, услышав его, на улице завыл Харко и забрехала Кутюви.

Демьян метался по зимовью, пытаясь помочь жене и успокоить дочерей. Но, так и не добившись ничего, выскочил на улицу.

Холод отрезвлял его. Он ходил по плохо утопанному коралю, а Харко сидел возле конуры, молча и понимающе смотрел на хозяина. Когда тот приближался, он поднимался и слабо помахивал хвостом, будто извинялся за тоскливое и печальное вытье в последние дни.

Сначала Демьяну хотелось отмщения — немедленного, сию же минуту. Но, немного успокоившись, подумал, что если бы умел читать, то, может быть, не случилось бы всего этого: уж самый что ни на есть последний искатель держал бы себя по-другому с грамотным охотником. И жена Анисья не напирала бы на него, будто подшутили над ним искатели, — была бы уверена, что он распутал бы следы-слова на метке. Эх, не выучился грамоте, не выучился! А ведь почти год ходил в школу, почти весь букварь прошел, да тут война грянула, ушли мужчины на фронт, не до учения стало.

Взяла война время его учения.

До учебы ли было?.. Самой тяжелой была для него вторая военная зима. В ту зиму стал он маленьким каюром, помогал матери — на оленьих упряжках возили рыбу до села на берегу Оби, оттуда уже на лошадях переправляли ее дальше. Председатель колхоза Коска Большой жестко отсчитывал время: сколько дней туда, сколько обратно, и ни дня, ни часа больше. И провожал всегда одним суровым словом: «Фронту!» Ездили, возили мешки с мерзлой рыбой и возвращались к сроку. Но помнится, очень хотелось спать, постоянно хотелось спать. Это было самым тяжким испытанием. Как только распрягали оленей на кормежку, падали в снег — лишь бы подремать. Сон побеждал все — и кружку кипятка, и костер, и пищу. А слезы мутными льдинками скатывались со щек женщин-каюров и мальчиков-погонщиков.

А в последний год войны он уже петлял-выслеживал зверя в тайге, лунки долбил на реках-озерах для невода и сети. Никто не принуждал делать это, можно было учиться. Но кто-то должен был зверя добывать, рыбу ловить, отцу да братьям на фронте помогать. Он хорошо выучил грамоту тайги, хорошо усвоил почерк зверей и птиц. Война помогла выучить все это до срока. А вот грамоту букваря не одолел, все перезабыл. Да и немудрено: в тайге-то читать нечего было в те годы. А теперь кого винить, что не выучился грамоте? Кого? Войну? Фашиста? Время... Себя?! Может быть, сам виноват во всем?

Из зимовья вышла Анисья с красными от слез глазами, но спокойным лицом. Взяла мужа за руку.

— Домой пойдем, холодно, — тихо сказала она. — А-а, как-нибудь проживем... Сын Пеструхи уже большой, обойдется.

И она, как ребенка малого, повела Демьяна в дом. Он лежал на своей постели и слушал, как по коралю с хорканьем носится Пев — плачет и зовет свою маму-олениху. Подумал с сожалением, что нет даже крови Пеструхи смазать носик олененка. По старинному обычаю, если сделаешь это, у осиротевшего олененка меньше будет болеть сердце по матери, он меньше будет плакать.

Теперь, прислушиваясь к плачу Пева, он понял, что, в сущности, Анисья права: какая разница между бутылкой минеральной воды и бутылкой водки?! Никакой! И то, и другое ничего не стоит...

Вполголоса переговаривались дочери, у чувала хлопотала Анисья. Зимовье медленно оживало, приходило в себя, словно после тяжелой болезни. «Со временем оправится и Анисья, — думал он. — Она сильная». И самому, может быть, полегчает — спасет дивная Земля предков, что поставила его на ноги. Он был что дерево, которому не раз подрубали корни и ветви, но

он яростно цеплялся за жизнь, за землю и снова оживал — пускал новые корни.

Он встал, вышел на улицу — казалось, там будет легче. Немного потоптавшись возле нарт, снова вернулся в зимовье. С улицы тянуло в дом, а из дома — снова на улицу. Нигде он не находил себе места.

— Что ты мечешься?! — проворчала Анисья. — Холоду напустишь!

— Что?! — остановился Демьян. — Холод?! Уже напустил холода.

Выйдя опять на улицу, он вдруг остановился пораженный: Харко что-то давно не подает голос! И вздрогнул в предчувствии недоброго. Медленно подошел к конуре: Харко с натянутой цепочкой лежал на животе, вытянув морду в сторону зимовья. Глаза его уже затянуло пленкой. Демьян долго и безмолвно стоял над ним: хорошую жизнь прожил Харко, не раз приносил хозяину удачу, старый и мудрый был, все понимал, но не вовремя умер. Демьян думал, что он дотянет до теплой весны и встретит перелетных птиц. Не дотянул... Впрочем, какая смерть бывает ко времени?! Пеструха тоже думала о весне, о свежей травке, о тепле и детях, а вот не дотянула...

Похоронил он Харко в сосняке за коралем: выкопал в снегу яму и правым боком вниз положил его туда. Но Харко, хотя уже окоченел на морозе, словно живой, снова поворачивался на живот — не хотел лежать на боку. И Демьян, измучившись, так и оставил его — будто ползущего куда-то с вытянутой заиндеветшей мордой. Может быть, к дому, к человеку? Демьян поспешно накрыл его лапником, присыпал снежком и отошел.

Сумерки окутали сосновый бор и зимовье. Бледная полоска зари уходила за горизонт, а вслед за ней опускалась и Звезда Вечерней Зари. Помнится, в детстве спрашивал у отца и про эту звезду:

«А для чего Звезда Вечерней Зари на небе живет?»

«А чтобы ты мог узнать, когда приходит ночь, — это главная задача ночи».

«Я без этой звезды могу узнать, когда ночь приходит. Когда совсем стемнеет — значит, тогда и ночь пришла».

«Темнота — это еще не ночь, это еще только вечер. Вот когда Звезда Вечерней Зари упадет за горизонт, тогда ночь наступит. Полная ночь наступит — на земле и на воде ничего нельзя тогда тревожить».

«Почему нельзя тревожить?»

«Потому что деревья засыпают, звери и птицы засыпают. Земля засыпает. Все спят».

«А кто главнее: Звезда Утренней Зари или Звезда Вечерней Зари?»

Отец немного подумал и сказал:

«Для человека главное Звезда Утренней Зари: ведь восходить труднее трудного, а падать за горизонт легче легкого. Так я думаю. А ты как думаешь?»

«Я тоже так буду думать: Звезда Утренней Зари тянет вверх, а Звезда Вечерней Зари — вниз».

«Да, подниматься трудно, а падать всегда легче».

«А для кого живет Звезда Вечерней Зари?»

«Как для кого? Для людей живет».

«И для меня живет Звезда Вечерней Зари?»

«И для тебя она живет, как и ты для нее. Все люди на земле для кого-то живут...»

С тех пор он стал думать, что для него живут и Солнце, и Луна, и звезды, и Земля. Тогда, в детстве, он считал, что жизнь его бесконечна, как и у небесных светил и Земли. Теперь уже он не собирался жить вечно, но в отпущенные ему дни все было для него, как и он — для всего и для всех.

Он отряхнул кисы от снега и прошел в ворота коралля. Одиноко чернела в ночи конура Харко. Пусто и тоскливо стало без него, без его живого негромкого воя. Кутюви не смела при хозяйине взвизгнуть, молча наострила уши в сторону Родникового озера, где нарушали вечную тишину искатели горючей нефти. «Хоть бы взвыла, что ли, — подумал Демьян про Кутюви. — Друга не стало, а не догадается даже взвыть. Выла бы, когда положено выть». Но собака молчала — экая бестолковая.

Возле нарты, свернувшись удавкой, валялся кожаный плетеный аркан, совсем еще новый и крепкий. «Порядка вовсе не стало, — подумал Демьян. — На место надо положить, почему он со своего места убежал?!» Он поднял аркан и машинально сунул его под мышку. Теперь он ходил по коралю и думал о Пеструхе, о Харко, об искателях, об аркане, который зачем-то попался ему на глаза. Вспомнил предание о том, что много-много лет спустя мужчины возвращаются из потустороннего мира на землю в образе таежных птичек. А почему бы им не превратиться в звезды?! Ведь звезды, наверное, нужнее человеку, нежели таежные птички?! Тогда бы весь род Демьяна и он сам с небосклона светили бы на землю, смотрели бы на тайгу, на знакомые реки и озера. И он увидел бы всех своих родственников и... Ее, первую. Ее. Он так долго думал об этом под таинственными ночными звездами, что и сам наконец почувствовал себя Звездой Утренней Зари. Никогда раньше он не ощутил себя Звездой Утренней Зари. Никогда раньше он не ощущал себя звездой, а сейчас впервые и вот так сразу будто стал Звездой Утренней Зари. И он понял, как непросто быть человеком и как непросто быть звездой. Теперь и Небо, и Земля смотрят на него так, словно он стал их центром и от него зависит в будущем жизнь и небесная, и земная.

Теперь он должен сделать для них еще больше, нежели будучи на земле. А под силу ли это ему?! Ведь говорил же отец, что восходить всегда труднее, а падать легче. Но лучше раз взойти и взглянуть на все с высоты звездной, откуда виднее, кто тянет вверх, а кто тянет вниз. Виден каждый человек — и охотник, и искатель, и любой родственник.

Он почувствовал себя Звездой Утренней Зари. Он стал Звездой Утренней Зари. Если он не взойдет однажды — утро не придет, солнце не придет, день не придет. Что же тогда делать человечеству?! Может быть, тогда Жизнь начнется сначала?! И все-все начнется сначала?! А если вообще не начнется и не будет начала?! Что тогда?! Наверное, будет Вечная Ночь — и вечный холод, и вечная темнота, и вечная слепота?! Нет-нет, этого нельзя допустить, думал он. Никак нельзя допустить. Нельзя.

Закатилась Звезда Вечерней Зари, и пришла ночь. И стало еще темнее.

А он был Звездой Утренней Зари. Он чувствовал себя звеном той связи, которая соединяет воедино все то, что называется Жизнью — и Солнце, и Звезды, и Землю, и людей — близких и дальних родственников. Без него немыслима Вселенная... Но закатилась Звезда Вечерней Зари, пришла ночь — и настало время его ухода. И он замер, и в самое последнее мгновение перед его мысленным взором промелькнули все дни жизни на земле с их радостями и печальями, с блаженством и муками, с вечною первою любовью... И, ощутив упругое тело аркана, он шагнул в черноту ночи, уверенный в том, что, когда придет время, он взойдет на востоке Звездой Утренней Зари и принесет людям новый день...

1977—1987. Варьёган — Ханты-Мансийск.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Я думаю, книга «Клятвопреступник» удивит даже многих друзей Еремея Айпина. Им хорошо известно, что последние десять лет писатель посвятил роману «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Этот роман много раз переписывался и с большим трудом пробивал себе дорогу в печать. Он обошел почти все «толстые» литературные журналы, но в «Москве» прочитали только несколько страниц («Это экология, несите в «Наш современник»), в «Знамени» вообще отпиской отделались, «Дружба народов» потребовала сократить рукопись на три четверти, оставить лишь пять печатных листов, а «Новый мир» хотел урезать наполовину и даже планировал «Хантов» на какие-то номера, но потом уволился горячо ратовавший за Айпина заведующий отделом прозы, а затем «Хантов» отодвинули на неопределенное время публикации романов Пастернака и Солженицына. Шесть лет пролежала рукопись и в издательстве «Молодая гвардия», прежде чем была сдана в производство. Куда больше повезло повести «Я слушаю Землю», которая создавалась в перерывах между заботами о романе. Она переиздавалась чуть ли не каждый год. Но чтобы у писателя еще что-то было в «запасниках», по своему художественному уровню не уступающее роману и повести, об этом никто не знал. Как я понимаю, Айпин не говорил о своих неопубликованных или крайне редко печатавшихся рассказах только потому, что на какое-то время забыл о них — вся энергия уходила на то, чтобы «пробить» в печать роман, это казалось самым главным делом. Теперь собранные вместе, они дают представление о том, как формировался писательский путь.

Начинал Айпин с охотничьих зарисовок. Это и понятно. Он вырос в охотничьей семье. Мальчишкой научился читать таежные следы, выслеживать зверя, ставить капканы. Дед писателя, который считался лучшим медвежатником рода, передал внуку главную заповедь — всегда чувствовать на охоте свою меру: чтобы не оскудела тайга, не брать больше того, чем нужно для дома. Различные охотничьи истории стали основой первых рассказов Айпина.

Однако начало писательской биографии Айпина совпало с нефтяной эпопеей. В краю потомственных таежников геоло-

ги открыли богатейшие месторождения нефти и газа. На месте родовых угодьев появились буровые вышки. Над священным озером Самотлор взвилось пламя попутного газа. Зажглись огни новых поселков. Как остаться в стороне! Сотни молодых хантов и ненцев потянулись к буровым. Айпин не стал исключением. Окончив первый курс Литературного института, он вернулся в родные места и ступил на тропу нефтедобытчика.

Верховой из Айпина получился неплохой. Пошло у него дело и с дизелями. Со временем он мог бы вырасти в помощника бурового мастера. Но не захотел. Через несколько месяцев оставил Айпин буровую, и не потому, что кончились каникулы и надо было уезжать в институт. Нефтяные вышки разрушили ту гармонию, которую он с детства привык в тайге наблюдать. Машины перепахали оленье ягельники, солярка залила рыбные реки, частые пожары уничтожили красивые, богатые зверем и ягодами леса. Правда, тогда соседство с нефтяниками Айпину еще не казалось трагическим. Ему, как и герою его давнего студенческого рассказа «В урмане» старому таежнику Коске, «не нравилась нефть, зато нравились люди».

Иллюзии стали исчезать, когда в домах охотников, которые испокон веков не знали замков, стали пропадать меховые вещи и пошла охота на оленье рога. Приключенческие романы Купера просто померкли на фоне разбоя нефтяников. Как итог — несколько хантыйских охотничьих родов прекратили свое существование. Нефтяники спалили десятки стойбищ, споили сотни потомственных таежников, многие семьи хантов и ненцев оставили без личных оленей. Но рассказы Айпина об этом никто ни в семидесятые годы, ни в восьмидесятые печатать не захотел, у нас тогда нефтяникам только гимны пели.

Число хантов, которых всего насчитывалось чуть больше двадцати одной тысячи, стало неуклонно сокращаться. В советское время целый этнос оказался на грани исчезновения.

Размышляя о драматической судьбе своего народа, Айпин обратился к истории. Он хотел понять, всегда ли так было, почему в прошлом ханты мирно уживались с соседями и когда в жизнь его соотечественников пришла смута, только ли нефть во всем виновата.

Раньше писатель слышал, что в царское время ханты вымирали. Но странное дело оказалось: при царизме никто не покушался на традиционный уклад жизни северян и никто их не притеснял. Больше того, власть Белого царя создавала условия для сохранения малочисленных народов как этносов. Она позволяла развивать традиционные отрасли, не вмешивалась в быт, не нарушала многовековые обычаи. Дети не забывали материнский язык. До революции перед хантами не было угрозы исчезновения как этноса.

Смуту принесла революция. Ханты не приняли красных. А новая власть не захотела учитывать особенности Севера, всех гребла под одну гребенку. Таежники ответили на это многочисленными восстаниями в двадцатые и тридцатые годы, пока не были покорены силой. Как не карала новая власть непослушных и как не заметала она следы своих преступлений, люди побеждали страх и из поколения в поколение передавали рассказы о злодеяниях режима, о чем красноречиво свидетельствует рассказ писателя «Клятвопреступник».

Впрочем, к выводам Айпин пришел позже. Сначала он опирался только на документы и воспоминания. А они были крайне противоречивы. Одни материалы убеждали в правоте Советской власти. Так было с рассказом учителя и журналиста Сензепова, который однажды поведал писателю историю первого хантыйского ученого-филолога Терешкина. Случилось это в первые послереволюционные годы. У Терешкина тогда погибли родители, мальчик в Назыме замерзал, спасли его случайно проезжавшие мимо родственники. Отталкиваясь от документального факта, Айпин написал рассказ «Зимовье в кедровнике» и драму «Красная нарта», которые по современной терминологии носили откровенно просоветскую окраску.

Но вот в 1978 году он попал в добротню отстроенную еще в прошлом веке русскими переселенцами деревню Елизарово. На местном радио от него ждали репортажи о ветеранах революции. А в деревне жило несколько участников гражданской войны. Писатель разговорил одного из них — Василия Евдокимовича Шаламова. Три кассеты записал Айпин. Шаламов вспоминал о том, как зимой он с отрядом красных шел из Тюмени через Конду. Тогда везде писали и говорили, что ханты и манси сразу приняли сторону Советов и повсюду поддерживали новую власть. А Шаламов рассказывал, как на их отряд периодически нападали ханты, неожиданно выскакивали из леса, обстреливали и снова в тайге укрывались. Но это только цветики. Вечером писатель буквально был ошеломлен, когда бабушка назвала красных карателями. С такой характеристикой красного движения он столкнулся впервые. А позже Айпин узнал о том, как через шестьдесят с лишним лет в деревне стреляли в памятник комиссара. Это лучше всего говорило об отношении народа к новой власти, которая лишила людей Бога, разорила деревню и всю Россию, бездарно промотав наследие сразу нескольких поколений. Из Елизарово Айпин вернулся с готовым рассказом «Клятвопреступник». Правда, сам писатель еще не чувствовал, что своим рассказом он бросал вызов существовавшей системе. Его вели исторические события. И он искренне не понимал, почему «Клятвопреступника» не захотели печатать ни в одном журнале, с трудом ему удалось только несколько отрывков прочитать

по Ханты-Мансийскому радио. А я удивляюсь, почему бдительные редактора не донесли на автора.

Теперь я понимаю, что именно рассказы семидесятых годов во многом подготовили Айпина к роману о судьбе своего народа «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Этот роман органически вобрал в себя и опыт охотничьих зарисовок, и предания древнего охотничьего рода, и раздумья современника о влиянии горючего жира земли на жизнь мира, и размышления об истории Севера.

Я не знаю, о чем будет новая книга Айпина. Может, это будут сказки, которые писатель собирает много лет, а может, роман о прошлом хантов, которое многим нашим современникам практически неизвестно. Но я верю, что новая книга получится такой же талантливой, как и всё, что им уже написано. Айпин, без сомнения, художник от Бога.

ВЯЧЕСЛАВ ОГРЫЗКО.

КОММЕНТАРИИ

Медвежье горе. Рассказ навеян мотивами хантыйского фольклора. Написан в Литературном институте в 1972 году. Впервые опубликован на молдавском языке /1973/, затем в окружной газете «Ленинская правда» за 10 июня 1978 г. Вошел в сборник автора «В ожидании первого снега» /Москва, «Современник», 1980 г./

Последний рейс. Написан в 1972 году. Впервые опубликован в «Ленинской правде» за 15 сентября 1979 года /Ханты-Мансийск/. В переводе Ф. Керести и А. Саламон вышел в венгерском журнале «Алфолд» /1980, № 8, г. Дебрецен/. Затем увидел свет в сборнике «Современный уральский рассказ» /1982, Свердловск/ и журнале «Полярная Звезда» /1982, № 4, Якутск/. Включен в сборник «В ожидании первого снега» /М., 1980/.

Волки. Написан в 1973 году в Москве. Впервые опубликован в альманахе «Родники» /Москва, «Молодая гвардия», 1975/. Затем публиковался в журнале «Сибирские огни» /1977, № 7/, в газете «Ленинская правда» за 20 сентября 1977 года, в переводе Ф. Керести и А. Саламон в венгерском журнале «Алфолд» /1980, № 8, г. Дебрецен/. В сборниках автора не выходил.

В урмане. Рассказ написан в 1972—1973 годах. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» /1977, № 7/. Затем в переводе О. Кравченко выходил на украинском языке /Сборник «Первоцвет», Киев, 1982, кн. 2/ и в переводе Ф. Керести на венгерском языке в журнале «Новая Заря» /1983, № 2/. Вошел в сборник автора «В ожидании первого снега» /М., 1980/.

Конец рода Лагермов. Написан в 1973—1974 годах, в период учебы в Литературном институте в Москве. Впервые опубликован в журнале «Нева» /1983, № 3/. Затем вышел в коллективном сборнике «Мой лучший рассказ» /Москва, «Современник», 1989/. В сборниках автора не выходил.

Лебединая песня. Рассказ написан в Ханты-Мансийске в 1976 году. Впервые опубликован в газете «Ленинская правда» за 14 октября 1978 года. Затем в переводе Ф. Керести и А. Саламон был напечатан в венгерском журнале «Алфолд» /1980, № 8, г. Дебрецен/. Вошел в сборник «В ожидании первого снега» /М., 1980/.

Старшой. Написан в 1975 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» /1977, № 7/. Затем выходил в коллективных сборниках «Вам, романтики!» /Свердловск, 1978/, «Братство» /Новосибирск, 1982/.

«Голубые горы» /Ленинград, 1985/. Включен в сборники автора «В ожидании первого снега» /Свердловск, 1979, и Москва, 1980/.

Во тьме. Рассказ написан в 1977 году. Отвергнут многими литературными журналами и издательствами. Публикуется впервые.

Время дождей. Рассказ написан в 1977 году. Побывал в редакциях ряда литературных журналов и издательств, но нигде не был принят для публикации. Публикуется впервые.

Клятвопреступник. Написан в 1978 году на документальном материале. Изменены имена главных героев и русское название села на Оби. Редакторами всегда изымался из состава рукописей в журналы и издательства. Публикуется впервые.

Бездомная собака. Рассказ написан в 1979 году. Впервые опубликован в альманахе «На Севере Дальнем» /1983, кн. 2, Магадан/. В сборниках автора не выходил.

Божье Послание. Рассказ основан на документальном материале, написан в 1989—1990 годах. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» /1991, № 9/ и удостоен премии редакции за лучшую публикацию года. В книги автора не включался.

Русский Лекарь. Построен на документальной основе. Сохранены подлинное имя главного героя и географические названия места действия. Рассказ, или точнее повесть, написан в 1991—1993 годах. Публикуется впервые.

Осень в твоём городе. Написан в 1993 году. Публикуется впервые.

Ханты, или Звезда Утренней Зари. Роман. Написан в 1977—1987 годах. Рукопись побывала в редакциях многих журналов, но нигде напечатана не была. Отдельное издание вышло в 1990 году в издательстве «Молодая гвардия», предисловие к книге написал С. Залыгин.

КОММЕНТАРИИ В. ОГРЫЗКО

СОДЕРЖАНИЕ

Время дождей. Рассказы разных лет	3
Наедине с осенью. Вместо пролога	5
Медвежье горе	6
Последний рейс	9
Волки	18
В урмане	25
Конец рода Лагермов	36
Лебединая песня	50
Старшой	56
Во тьме	65
Время дождей	74
Клятвопреступник	81
Бездомная собака	100
Божье Послание	108
Русский Лекарь. Рассказ Сардакова Иосифа	124
Осень в твоём городе	168
На пороге в другую Жизнь. Вместо эпилога	172
Ханты, или Звезда Утренней Зари. Роман	175
В. Огрызко. Вместо послесловия	424
Комментарии	428
Содержание	430

Сдано в набор 02.04.1993. Подписано в печать 07.05.1993. Формат 60×90 1/16.

Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная.

Учетно-изд. л. 30. Тираж 15 000 экз. Заказ 122 ф.

Отпечатано в ГП "Полиграфист".

248640, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

МП «Русло» 103750 Москва
Цветной бульвар, 30

ББК 84

А36

**ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ
ВЯЧЕСЛАВА ОГРЫЗКО**

**ХУДОЖНИК
НИКОЛАЙ КАДНИКОВ**

- А36** **Айпин Е. Д.**
Клятвопреступник. Избранное:
Роман и рассказы/Послесл. и комментарии В. Огрызко.
Художник Н. Кадников. — М.: Русло, 1993. — 423 с.
ISBN 5-87900-014-1.

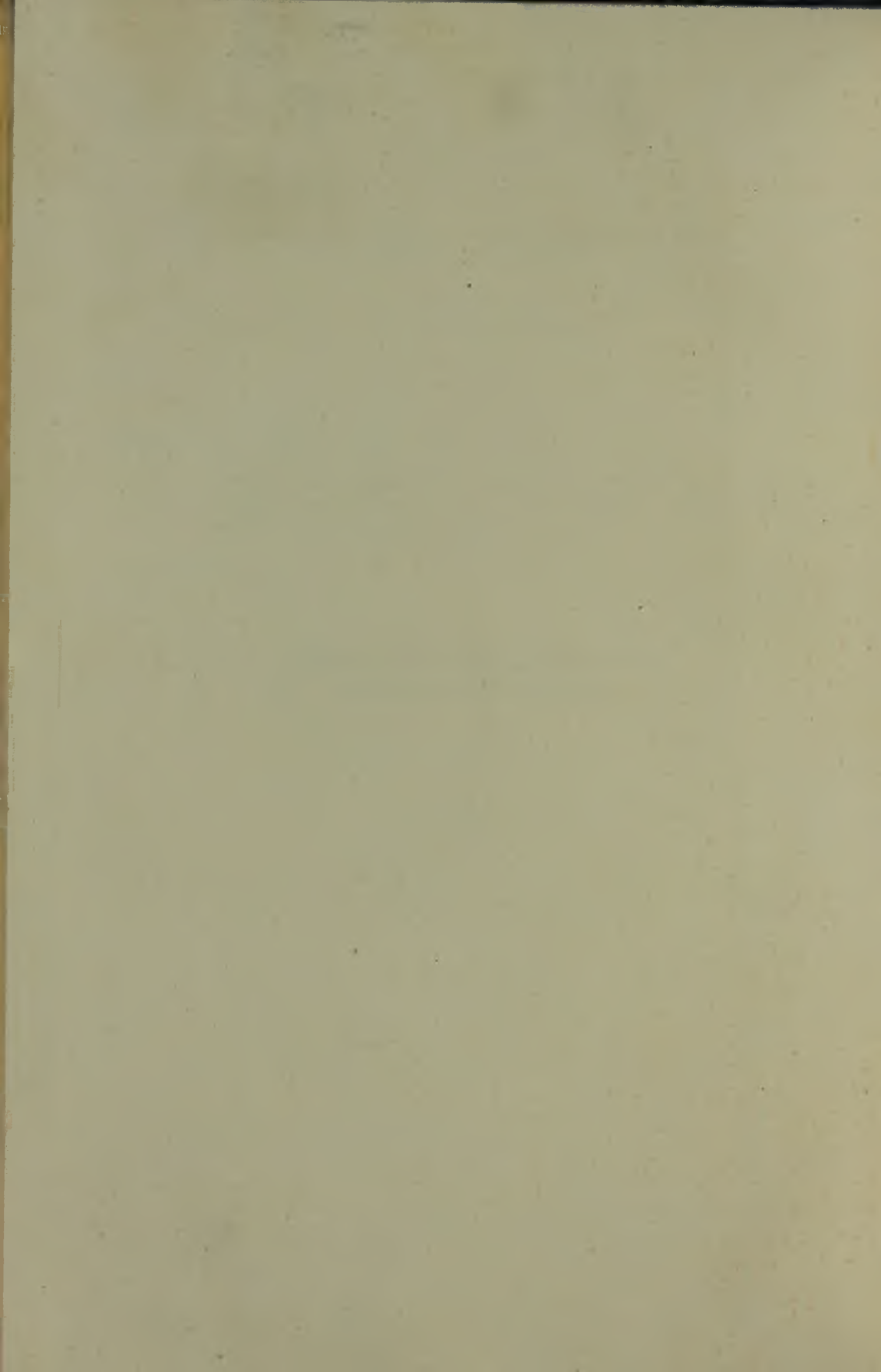
**АЙПИН ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ
КЛЯТВОПРЕСТУПНИК**

Ведущий редактор А. Чиркин

ISBN 5-87900-014-1

© Еремей Айпин, 1993 г.

© Оформление «Русло», 1993 г.





77252004
Окружная библиотека

